

# НОВЫЙ МИР

3

---

МОСКВА

1941

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1941 г.

№ 3

Год издания XVII

★ ★ ★

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Литература должна показать наших героев	3
Степан Щипачев — Два стихотворения	10
Федор Гладков — Березовая роща, повесть	11
М. Исаковский — Спой мне, спой, Прокошина, стихи	60
Анна Караваева — На горе Маковце, историческая повесть, окончание	61
И. Франко — Стихотворения	119
Вилис Лацис — Рассказы	123
—	
Раиса Азарх — Генерал народа, очерк	134
Леонид Леонов — Путевые заметки	147
—	
Б. Изаков — Дипломатия и дипломаты	158
Геннадий Фиш — Снова о вредной черепашке и теленомусе	169
—	
Ю. Данилин — Поэзия 72 дней Парижской Коммуны	186
Б. Рейх — Заметки о советской драматургии	200
Р. Варт — Поэзия осуществленной мечты	216
Ал. Исбах — Литературные взгляды Дмитрия Фурманова	223
И. Астахов — «Суворов»	232

## БИБЛИОГРАФИЯ

А. Гурштейн — Стихи М. Рыльского (Максим Рыльский. «Избранное»)	239
Я. Рыкачев — Повесть о подростке (С. Гехт. «Вместе»)	241
Ив. Мартынов — Роман нарастающих событий (Ю. Либединский. «Баташ и Батай»)	243
Р. Воннов — Искусство воспитания (Н. Пфлаумер. «Моя семья»)	245
Е. Златова — Безоблачный мир (С. Фиксин. «Легко дышать»)	247
Д. Сенин — Равнодушная поэзия (В. Лозин. «Здесь я живу»)	248
К. Богаевская — С ученым видом (А. Ульяновский. «Няня Пушкина»)	250
Р. Юренев — Четыре сценария (Сборник «Американские киносценарии»)	252
Коротко о книгах	254

★



# Литература должна показать наших героев

★

С неослабевающим вниманием советский народ следил за работой XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б); она займет видное место в истории борьбы большевистской партии и всего советского народа за коммунизм. Собралась конференция ровно через два года после XVIII съезда партии, на котором товарищ Сталин выдвинул задачу — в ближайшие 10—15 лет догнать и перегнать главные капиталистические страны в экономическом отношении.

Конференция единогласно приняла резолюции по докладу товарища Маленкова «О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта» и по докладу товарища Вознесенского «Хозяйственные итоги 1940 года и план развития народного хозяйства СССР на 1941 год», а также по организационным вопросам.

Резолюция по докладу товарища Маленкова является документом большого политического значения. Конференция наметила конкретные пути ликвидации недостатков в области промышленности и транспорта, указала, как надо работать, чтобы выполнить исторические задачи, стоящие перед нашей промышленностью и транспортом. Резолюция по докладу товарища Вознесенского сосредоточивает все внимание и силы партии и народа на решающих народнохозяйственных задачах текущего года. Единогласно утвержден план развития народного хозяйства в 1941 году.

Исходя из решений XVIII съезда

партии, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР поручили Госплану СССР приступить к составлению генерального хозяйственного плана Советского Союза на 15 лет, рассчитанного на решение задачи — перегнать главные капиталистические страны в производстве на душу населения чугуна, стали, топлива, электроэнергии, машин и других средств производства и предметов потребления. Намечен грандиозный план большевистских дел, мобилизующий и вдохновляющий советский народ на новые победы.

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) показала огромные успехи, достигнутые нашей страной под руководством товарища Сталина. Картина наших достижений ярко нарисована в докладах товарища Маленкова и товарища Вознесенского. Цифры, приведенные в этих докладах, свидетельствуют о неуклонном подъеме социалистической промышленности. Например, продукция промышленности в 1940 году, по сравнению с предыдущим годом, выросла на одиннадцать процентов. Такие темпы недоступны для экономики буржуазных стран. Советская страна, не подверженная экономическим кризисам, стала могучей индустриальной державой. Наша партия обеспечила самостоятельность народного хозяйства СССР. Советский народ по праву гордится результатами своего труда.

Решения XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) вооружают каждого гражданина нашей родины четким по-

ниманием задач нашего строительства и знанием путей его успешного осуществления.

Советская художественная литература — мощное средство политического воспитания масс. Передовых советских писателей товарищ Сталин назвал инженерами человеческих душ. Товарищ Жданов в речи на первом Всесоюзном съезде советских писателей в следующих словах определил обязанности, которые накладывает на литераторов это высокое звание.

«Товарищ Сталин, — говорил он, — назвал наших писателей инженерами человеческих душ. Что это значит? Какие обязанности накладывает на вас это звание?»

Это значит, во-первых, знать жизнь, чтобы уметь ее правдиво изобразить в художественных произведениях, изобразить не схоластически, не мертво, не просто как «объективную реальность», а изобразить действительность в ее революционном развитии.

При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должна сочетаться с задачей идейной перedelки и воспитания трудящихся людей в духе социализма. Такой метод художественной литературы и литературной критики есть то, что мы называем методом социалистического реализма».

Решения XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) ставят перед советской художественной литературой серьезнейшие задачи.

Советские писатели могут и должны сыграть большую роль в деле осуществления решений конференции. Советская художественная литература занимает серьезное место в той политической пропаганде и агитации, которую повседневно ведет в массах наша партия. Возражая литераторам, отделявшим литературное дело от общей практической работы партии, Ленин указывал, что оно должно стать частью общепролетарского дела. «Спору нет, — указывал Ленин, — литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству

большинства над меньшинством. Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, но все это доказывает лишь то, что литературная часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с другими частями партийного дела пролетариата. Все это отнюдь не опровергает того чуждого и странного для буржуазии и буржуазной демократии положения, что литературное дело должно непременно и обязательно стать неразрывно связанной с остальными частями частью социал-демократической партийной работы».

Советская литература черпает свою силу в неразрывной связи с жизнью советского народа, она обязана отвечать на вопросы, волнующие его. Читатель хочет знать о героической деятельности советских людей, их труде; он хочет видеть литературные образы лучших представителей советского народа. Наша литература сделала немало для показа деятелей великого исторического прошлого нашей родины, истории гражданской войны. Достаточно сказать, что в прошлом году закончены такие крупные произведения, как «Тихий Дон» М. Шолохова и «Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского. Подходит к концу работа А. Толстого над трилогией «Хождение по мукам». Нельзя забывать о таких произведениях поэзии, как «Маяковский начинается» Н. Асеева.

Растет литература братских республик. Хорошие произведения подарили советскому народу Лео Киачели («Гвади Бигва»), Павло Тычина («Сталь и нежность»), Янка Купала («От сердца») и другие. Советскими писателями написан ряд книг о людях социалистической промышленности и перестройке сельского хозяйства. Но сделанное в этой области нас не может удовлетворить. Особенно бедна наша литература, повествующая о превращении нашей родины в могучую социалистическую индустриальную державу. Следует подчеркнуть, что большинство

произведений на эту важнейшую тему относится к первым двум пятилеткам. Таковы «Гидроцентральный» М. Шагинян, «Соть» Л. Леонова, «Большой конвейер» Я. Ильина, «Энергия» Ф. Гладкова, «Магистраль» А. Карцева и другие.

Из произведений на эту тему, написанных в последнее время, можно назвать только повести Ю. Крымова «Танкер Дербент» и «Инженер», роман Б. Полевого «Горячий цех», «Фарт» А. Коптяевой и несколько других, менее значительных. Читатель ждет от своей литературы большего. Гигантская работа советского народа не нашла еще достойного художественного воплощения. Между тем работа по созданию социалистической индустрии дает советскому художнику много прекрасных тем и благодарнейший материал для романа, повести, драмы, поэмы. Есть еще у нас такая категория писателей, которые рассматривают промышленность, хозяйство вообще, как голую технику, как скучную, «практическую» область, где художник не может найти источника для своего творчества. Но это глубочайшее заблуждение. Нельзя забывать, что за могущественной техникой стоят люди. Их воля, разум, чувства приводят в движение машины, решают судьбы всего народного хозяйства. О них, в первую очередь, должен думать и писать литератор.

Великий русский писатель М. Горький представлял себе литературу социалистического реализма как литературу героического эпоса. Основным героем этого эпоса должен быть человек труда. Работники социалистической промышленности и транспорта имеют право быть героями лучших произведений советской литературы. Их яркие образы и деятельность будут служить примером, образцом для народа, будут вдохновлять его на новые подвиги. Нашим писателям следует еще раз продумать блестящие стихи поэта революции Владимира Маяковского, умевшего не отставать от жизни и поэтически говорить о самых обыкновенных «прозаических», но очень важных для жизни вещах.

Поэт писал в стихотворении «Технике вниманье»:

Коммуну,  
 сколько руками ни маши,  
 не выстроишь  
 голыми руками.  
 Тысячесильной  
 мощью машин  
 в строй  
 вздымай  
 камень!

Читая материалы XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) и размышляя о состоянии нашей литературы, все более и более начинаешь ценить драгоценную способность Маяковского откликаться на явления повседневной жизни не в ущерб художественному качеству поэзии. Не всем дан талант Маяковского, но учиться у него следует.

★

Успехи нашей страны велики и общеизвестны. Но достигнутое не может удовлетворить большевиков. Успехи могли бы быть более значительными. Конференция прошла под знаком суровой большевистской самокритики. И докладчики, и выступавшие в прениях говорили главным образом о недостатках работы промышленности и транспорта, о недостатках работы партийных организаций и наркоматов в области промышленности, транспорта, о причинах этих недостатков и мерах их устранения.

Советский писатель, вдумчивый и наблюдательный, живущий интересами своей страны, а не увлеченный (по выражению Белинского) только своими «птичьими песнями», понятными ему одному, найдет в нашей жизни много благодарных и острых тем для своих художественных произведений. Решения XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) подсказывают много таких тем.

Приведем примеры.

Решения конференции направлены к укреплению производственной дисциплины. Художественная литература может оказать здесь незаменимую помощь в пропаганде нового отношения к труду. Указывая, что печать острейшее оружие партии, Ленин писал: «Нашим первым и главным средством для повышения

самодисциплины трудящихся и для перехода от старых, никуда негодных, приемов работы... должна являться пресса». Советская художественная литература — неотъемлемая часть большевистской печати. Недисциплинированность, безответственность, лень — все это еще остатки неизжитых собственнических настроений и традиций. Долг каждого литератора раскрыть величие творческого отношения к труду и в то же время воспитывать в каждом рабочем, колхознике, интеллигенте чувство непримиримости к застою, расхлябанности, консерватизму. Это один из существеннейших элементов коммунистического воспитания.

Великую силу художественного слова хорошо понимают многие практические работники. Например, как сообщает журнал «Большевик», в числе мер борьбы против прогульщиков на Магнитогорском металлургическом комбинате было предпринято следующее: «Лодырей, рвачей, срывщиков бичевали в печати и в сатирических номерах стенгазет—«Крокодилах»... У входа в завод был установлен большой плакат в красках, размером около 30 квадратных метров, с текстом Маяковского:

Не опаздывай ни на минуту,  
Злостных вон!  
Минуты сложатся —  
убытку миллион».

Нетрудно понять, какие многообразные и эффективнейшие средства борьбы с лодырями и прогульщиками находятся в руках литератора. Но, к сожалению, эти средства остаются пока у наших писателей одной возможностью. У многих эта возможность не превращается в действительность, не становится активным фактором нашей повседневной жизни.

Работе промышленности и транспорта сильно мешают недостатки руководства со стороны наркоматов и ослабление работы обкомов и горкомов партии в области промышленности и транспорта. Наркоматы во многом ведут свою работу бюрократически, руководят своими предприятиями не по существу, а формально, путем бумажной переписки.

Проверка исполнения зачастую отсутствует.

Характеризуя причины, мешавшие работе нашей промышленности, товарищ Маленков говорил в своем докладе на конференции: «Мы обязаны вскрыть эти причины со всей большевистской прямоотой. Чем честнее мы вскроем наши недостатки, тем скорее от них освободимся. Этому повседневно учит нас товарищ Сталин. Люди, замазывающие недостатки, оказывают плохую услугу партии».

Тов. Маленков говорил о необходимости покончить с бюрократическими методами руководства, с биологическим подходом при подборе кадров, когда «во многих партийных и хозяйственных органах при назначении работника больше занимаются выяснением его родословной, выяснением того, кем были его дедушка и бабушка, а не изучением его личных деловых и политических качеств, его способностей».

Надо смелее выдвигать новых, хороших, способных, инициативных работников. Речь идет о выдвижении не только партийных, но и непартийных большевиков. Вместе с тем надо своевременно ставить вопрос о замене негодных, слабых, безвольных работников, заменять болтунов, не способных организовать живое дело, губящих его. В докладе на конференции товарищ Маленков дал яркие и образные характеристики таких плохих руководителей:

«Бывает у нас нередко так. Получит завод срочное задание по выпуску особо нужной продукции. А во главе этого предприятия стоит горе-хозяйственник, не работник, способный выполнить это задание, а болтун.

Спросит секретарь обкома такого директора, как идет дело с выполнением задания, а болтун отвечает, — «нажимаем, товарищ секретарь». Ну, секретарь и доволен. Раз нажимает, значит дело будет.

Однако вскоре выясняется, что никакого дела нет и задание не выполняется. Снова спрашивает директора секретарь обкома: «В чем дело, почему не выполняется задание?» «Осваиваем, товарищ секретарь», — отвечает болтун.

Секретарь удовлетворяется и этим ответом. Раз человек осваивает, значит будут скоро результаты. Но дело вперед не двигается. Опять запрос к директору: «Почему до сих пор не выпускаете продукции?» «Заедает, товарищ секретарь, на-днях поправим дело». Проходит время, нет никакой продукции. «Что у вас делается на заводе?», спрашивает секретарь. «Устраняем неполадки и неувязки», отвечает болтун.

Так и морочит без конца голову, и если, товарищи, паче чаяния, все же такой директор с большим запозданием выпустит немного продукции, то не ждите, что у такого директора продукция будет выпускаться систематически. Ждите наверняка, что скоро он прекратит этот выпуск. И если его спросите: «Что случилось, почему вы только что начали выпускать продукцию и уже прекратили?» — так и знайте, что болтун и тут найдет вам ответ и в таком случае обязательно заявит: «заделы все съедены».

Вот так и водят за нос наших секретарей обкомов такие горе-руководители предприятий, такие болтуны.

Вооружились эти болтуны словечками: «осваиваем», «заедает», «устраняем неполадки и неувязки», и живут себе за государственный счет, расходуют громадные средства, а в народное хозяйство ничего не дают.

А многие наши руководители слушают такие ответы и удовлетворяются ими, хотя в точности не знают, что, собственно, хочет сказать горе-хозяйственник. Получается, как это в песне поется, — «...и кто его знает, на что намекает» (с м е х). В песне, правда, в конце концов выясняется, о чем идет речь. Там, как вы помните, сердце принимает некоторое участие в этом деле, и дело проясняется. А вот в отношении болтунов дело так и остается неразгаданным. Тут сердца, видимо, мало. Надо головой поработать и раскусить во время болтуна».

Это одна разновидность горе-руководителей. Имеются и другие, это—невежды. О них тоже красочно рассказал на конференции товарищ Маленков.

«Об одном из своих героев, — говорил товарищ Маленков, — Салтыков-Щедрин писал: «Он не был ни технолог, ни инженер... Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать: от сих мест до сих — и на протяжении отмеренного пространства, наверное, возникнет материк, а затем попрежнему, и направо и налево, будет продолжать течь река».

Существуют подобные невежды и в наше время. Займет такой невежда пост директора ли предприятия, начальника ли дороги или другой какой пост и ничего слушать не хочет. Ты ему говоришь о новой технике, о необходимости улучшения технологического процесса, о наведении чистоты и порядка на предприятии, а он сидит по уши в грязи, сидит прочно на своей невежественной основе и не обращает внимание ни на какие советы, ни на какие указания. (В зале оживление). Я, дескать, сам соображаю, я сам все могу. Да еще обычно кичится своим пролетарским происхождением».

Товарищ Маленков не случайно при характеристике порочных методов руководства и их носителей обратился к сатире Салтыкова-Щедрина. Бюрократизм, канцелярщина, косность, неорганизованность еще кое-где остались не только в промышленности, но и в других областях нашей жизни. Они требуют беспощадного сатирического разоблачения. Салтыков-Щедрин создал бессмертные образцы сатиры. Он с возмущением обрушивался на отрицательные явления своего времени. Сатиру его вдохновляла любовь к родине, благороднейшее стремление сделать ее жизнь счастливой. Эти чувства проникают в классическую революционно-демократическую критику и публицистику Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева.

Сатирическую традицию продолжил после Октябрьской революции лучший и талантливейший поэт советской эпохи — Маяковский. Не потеряло и в наши дни своего значения в числе других классическое произведение советской сатиры — стихотворение Маяковского



«Прозаседавшиеся». Полный ненависти к бюрократам, подменяющим живое дело бесчисленным количеством заседаний, поэт писал:

Мечтой встречаю рассвет ранний:

О, хотя бы

еще

одно заседание  
относительно искоренения всех заседаний?!

Пафос этих строк вполне может быть направлен и против современных носителей канцелярско-бюрократических принципов руководства, любителей излишних заседаний, болтунов и невежд.

Актуальное политическое значение сатиры Маяковского в свое время отметил В. И. Ленин. В докладе «О международном и внутреннем положении Советской республики» (1922 г.) он говорил:

«...Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вздым высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно. Мы, действительно, находимся в положении людей (и надо сказать, что положение это очень глупое), которые все заседают, составляют комиссии, составляют планы — до бесконечности. Был такой тип русской жизни — Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы. С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а все же Обломовы остались, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что *старый Обломов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы*

*какой-нибудь толк вышел.* На этот счет мы должны смотреть на свое положение без всяких иллюзий».

С тех пор как закончилась поэтическая деятельность Маяковского, прошло много лет. Жизнь быстрыми шагами идет вперед. Канули в Лету псевдонаучные теории некоторых литературоведов о ненужности сатиры в нашей литературе. Напротив, потребность в хорошей революционной сатире чувствуется настоятельно. Но где же она в нашей литературе? Писатели прошли мимо многих явлений, достойных сатирического изображения. За последние годы не создано крупных сатирических вещей. Ее меч не обрушился с достаточной силой на остатки старого, мешающие работе и жизни советских людей. А важнейшее значение сатиры бесспорно! Она заражает ненавистью к недостаткам, возбуждает общественное мнение против их носителей.

★

«Наша партия всегда была сильна тем, что она соединяла и соединяет сугубую деловитость и практичность с широкой перспективой, с постоянным устремлением вперед, с борьбой за построение коммунистического общества. Советская литература должна уметь показать наших героев, должна уметь взглянуть в наше завтра. Это не будет утопией, ибо наше завтра готовится планомерной сознательной работой уже сегодня». Эти слова товарища Жданова, сказанные семь лет назад, имеют программное значение для художественной литературы. Особенно подчеркивается их существенность в свете задач, поставленных XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б).

Утвержден государственный план развития народного хозяйства СССР на 1941 год. Госплан приступил к составлению генерального хозяйственного плана СССР на пятнадцать лет. Страна преобразуется. На очередь дня настоятельно встали вопросы углубленного изучения экономики социалистического общества. Литература не может пройти мимо них.





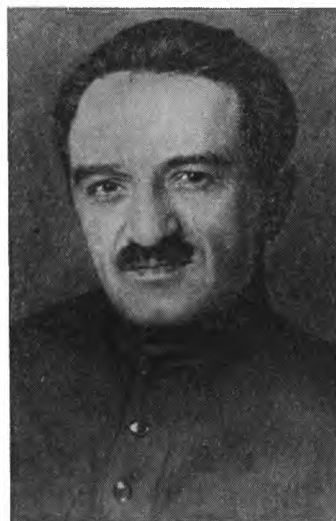
**ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б):**

*Андреев А. А.,  
Ворошилов К. Е.,  
Жданов А. А.,  
Каганович Л. М.,  
Калинин М. И.,  
Микоян А. И.,  
Молотов В. М.,  
Сталин И. В.,  
Хрущев Н. С.*

**К а н д и д а т ы:**

*Берия Л. П.,  
Вознесенский Н. А.,  
Маленков Г. М.,  
Шверник Н. М.,  
Щербаков А. С.*







Писателю трудно писать о человеке, его борьбе, чувствах, переживаниях, мыслях, не понимая хорошо содержания народнохозяйственных планов, по которым перестраивается жизнь страны. Если художник не проникнет глубоко в смысл социально-экономических отношений, определяющих характер действия его героев, то он останется на поверхности событий, что, несомненно, отразится на содержании его произведений. Человек может быть всесторонне обрисован только при условии яркого изображения обстоятельств, в которых он вырос, которые обусловили его поведение. Следовательно, перед советской литературой стоит задача более глубокого проникновения в экономику социалистического общества. Необходимо более ярко, в живых образах, показать ее новое качество по сравнению с экономической досоциалистических обществ. Конечно, художественная литература имеет свои особенности: экономика, ее законы в литературе всегда показываются через человека, человеческие отношения. Поучительно, что произведения большинства великих художников прошлого отличаются глубоким проникновением в сущность общественно-экономических отношений своего времени. В письме к Маргарите Гаркнес Энгельс между прочим заметил, что из «Человеческой комедии» Бальзака он «узнал даже в смысле экономических деталей больше (например, перераспределение реальной [real] и личной собственности после революции), чем из книг всех профессиональных историков, экономистов, статистиков этого периода, взятых вместе». Золя правдиво изобразил жизнь промышленных предприятий при капитализме.

Глубокое проникновение в тайники экономики Ленин отмечал у Чернышевского, Щедрина, Успенского. Ряд произведений Горького, Серафимовича, Мамина-Сибиряка написан на темы, свя-

занные с проблемами экономики промышленности. И в этом смысле они отличаются большой познавательной ценностью. В одном из примечаний к своей знаменитой работе «Развитие капитализма в России» Ленин особо выделяет рассказ Мамина-Сибиряка «Бойцы». Здесь мы читаем: «Ср. описание этого слава в рассказе «Бойцы» г. Мамина-Сибиряка. В произведениях этого писателя рельефно выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с беспорядком, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с «добросовестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России».

Русская и иностранная классическая литература чрезвычайно много сделала для освещения экономики капиталистического общества. В Советском Союзе на базе нового социалистического уклада произошли грандиозные изменения в сознании людей. Однако в советской художественной литературе новые свойства социалистической экономики затронуты мало и недостаточно глубоко. Тут для наших писателей огромное поле для проявления творческой наблюдательности и силы художественного изображения жизни.

Партия наметила грандиозную программу строительства. Наша литература обязана по-большевистски помочь советскому народу выполнить исторические задачи, намеченные XVIII съездом ВКП(б) и XVIII Всесоюзной конференцией. Решения конференции вызовут новый подъем творческого энтузиазма народов нашей могучей страны. А воля народа всемогуща. Замечательные люди страны социализма, их воля к труду, их несокрушимое желание идти вперед — вот основные герои и темы нашей литературы.

# Два стихотворения

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

## КОММУНИСТКА

Махновцы уходили от погони.  
В местечко красные вошли, пыля.  
И у крыльца привязанные кони,  
роняя пену, грызли тополя.

Позвякивали стремена, уздечки.  
И девочка четырнадцати лет  
По улице еврейского местечка  
шла и буденновцам махала вслед.

Все глуше, глуше цокали подковы,  
и слышались уже из тишины.  
Сквозь легкий шум собранья заводского —  
прислушаться — они сейчас слышны.

Чуть дрогнув бровью, худенькая встала  
над резким председательским звонком,  
не девочка в местечке захудалом, —  
партийка на собранье заводском.

Ее привел сюда сквозь двадцать лет  
немеркнувший красноармейский след.

★

## ВОСХОД СОЛНЦА

Давным-давно на пашне трактористы:  
куда ни глянешь, пахота чернеет,  
все песни раза по два перепеты, —  
а солнце только-только показалось.  
Оно над пашнями сначала  
чуть-чуть горбушкой красной показалось,  
и пашни черные зарозовели.  
А солнце выкатилось, как из кузни,  
где кузнецы его всю ночь ковали,  
горячее, помятое, большое.

---

# Березовая роща

ФЕДОР ГЛАДКОВ

★

Каждое утро Мартын Мартынович выходил на верандочку, шурился от солнца и, словно собираясь чихнуть, нюхал воздух. До чая он не одевался, а набрасывал на плечи старое байковое одеяло и бродил по комнате, кудрявой от растений, по верандочке и по двору, если была хорошая погода. Он наслаждался утренним часом, когда воздух бывает еще синим, прохладно-терпким, с туманцем, оставшимся от ночи, с росой на траве и густым запахом земли. Домик был старенький, верандочка сизая, скрипучая, с гнильцой. Такой же деревянный флигелек вращался в землю и напротив; а налево, во дворе, стоял двухэтажный каменный дом, облезлый и грязный.

Пока шумел примус и грелся закопченный чайник, Мартын Мартынович бродил по саду. Этот сад занимал другую половину двора и отделялся от жилой части грядой акации. Акация уже дымилась пушистой зеленью, а площадка между верандочкой и садом была чисто выметена.

Он останавливался в садике между голыми ветвями яблонь и наблюдал за размытыми облаками, которые плыли очень высоко.

Каждый день улюлюкали журавли, добродушно и утомленно. Мартын Мартынович улыбался дрожащими морщинами на лице и приветственно махал им рукою.

— Здравствуйте, здравствуйте, мо-

лодцы!.. Добро пожаловать! Ишь, летят как важно!..

Страшно высоко, в дымной синеве, среди облаков, медленно и упруго летел на север треугольник птиц с вытянутыми длинными шеями. Тускло поблескивали крылья на солнце, и птицы стремились одна за другой удивительно стройно. Передовой журавль, вожак, будто тянул всех на своих крыльях.

Высокий, поджарый, с серой бородкой, с провалами на висках и костистыми скулами, Мартын Мартынович казался больным и слабым. И нос был сухой, тонкий и твердый, как клюв. Был он похож на старого профессора в отставке, который проводит свою одинокую жизнь вдали от совершающихся событий. И всем, кто знал его, думалось, что этот чудака равнодушен к людям и не интересуется, чем живет страна; что он весь в прошлом, а настоящего не видит и не понимает; что к деревьям относится, как к людям, а к людям, — как к пням.

В этом маленьком городе Мартын Мартынович прожил сорок лет и был самым старым из всех жителей. За годы революции население города обновилось, даже язык изменился. Городок был будто проходным двором или гостиницей, где люди появлялись внезапно, жили хлопотливо, самоуверенно и так же внезапно исчезали. Они оставляли после себя и хорошее, и плохое, — но всегда новое. Город стал жи-



вее, начал строиться, мостить улицы, а вдали, на голых склонах увалов, появился другой город — огромные корпуса заводов, мощная электростанция и новая железная дорога. И людей стало очень много. В деревянном домике, где ютился старик в маленькой комнатке, было тесно: в передней половине, с выходом на улицу, в четырех комнатах помещалось три семьи, а рядом с ним, за стеной, жила учительница из той школы, которую он когда-то открывал и оборудовал. Эта учительница была еще молодая девушка, недавно кончившая педагогическое училище. Она была конопатенькая, с золотыми волосами, и казалась всегда сконфуженной, растерянной, неловкой. Звали ее Клавдией Николаевной, и это имя как-то не шло к ней. Она изредка заходила к Мартыну Мартыновичу посоветоваться по методическим вопросам или разрешить некоторые сомнительные случаи правописания. Говорила она на южном диалекте — часто делала неправильные ударения (пòняла, зàняла) и произносила звук *г* придыхательно. Мартын Мартынович сердито теребил бородку, раздраженно ходил по комнате и строго внушал ей с учительским ригоризмом:

— Это, ведь видите ли, сущее безобразие, Клавдия Николаевна! Как же вы можете учить детей русскому языку, если вы не знаете нашей орфоэпии? Откуда вы откопали это «пòняла», «перèдала»?.. И какая же вы учительница, если позволяете себе выдыхать наше взрывное *г*?.. Не годится, не годится, родная!.. Это — жаргон, а не великий русский язык...

Клавдия Николаевна густо краснела, терялась еще более, но смеялась и пристально смотрела на Мартына Мартыновича умоляющими глазами.

— Как вы интересно негодуете, Мартын Мартынович!..

Он косился на нее, останавливался и сразу же добрал.

— Негодование всегда интересно, ежели оно переходит в гнев. Негодовать скучно — значит ворчать по пустякам.

— Почему вы всю жизнь отдаете

деревьям, а не людям, Мартын Мартынович?

— Я отдаю свою жизнь зеленому миру, потому что отдаю ее людям: я хочу, чтобы люди были прекрасны...

— Но ведь люди хороши только в борьбе, Мартын Мартынович.

— В грязи, в пыли, в хламе люди нехороши даже в борьбе. Человек должен жить прекрасно, во имя прекрасного. Он обязан не дичать, а постоянно облагораживаться.. Так я привык думать с юности, когда стал учителем...

Клавдия Николаевна любила заходить в его комнатку, а комнатка была похожа на оранжерею: и на окнах, и по стенам, и на столе густо кудрявились растения. Даже над головой, по проволокам и шпагату, играли мотыльками вьющиеся многолетки.

— У вас, говорят, сын — летчик, Мартын Мартынович? Сами-то вы не летали еще над нашей грешной землей?

— Я люблю землю и деревья, а небо и облака — не по мне.

— Вас, Мартын Мартынович, наша действительность, кажется, совсем не затронула... Она, очевидно, проходит мимо вас...

Мартын Мартынович сердился: седые брови шевелились, бородка и усы вздрагивали, а серые глаза становились колючими.

— Что значит — не затронула? И что значит — проходит? Уличная девка, что ли, извините, эта действительность?

Клавдия Николаевна краснела и становилась смуглой от веснушек.

— Как же можно жить, Мартын Мартынович, только одной страстью? Деревья, деревья... сады, бульвары, парки... А я вот не успеваю тетради исправлять... Общественная нагрузка... Ребята в классе волнуют... Сегодня хулиганы девочку избил...

— Вот, вот-с!.. Разумеется!.. — ворчал Мартын Мартынович. — Но ведь это же говорит против вас... Не поучайте до изнурения, а воспитывайте... Не уста и не самоволие нужны, а самодетельность... вдохновенная... Я не понимаю, извините-с, что такое нагрузка... Словечко-с!.. нарузка! да еще общественная... Мы — не ослы! Не нагруз-

ка, как ноша, а наслаждение, как возлюбленный труд... Я, ведь видите ли, чувствовал в детях прежде всего себя... Они у меня целый город превратили в зеленый шум...

— Ах, Мартын Мартынович, неужели вы не знаете, что такое система?..

— Что? Не система, а люди, дорогая моя... без людей нет и системы... Систему создаете вы-с...

— Вы — наивны, Мартын Мартынович, хотя и прожили длинную жизнь...

И Клавдия Николаевна устало смотрела в угол комнаты, где стояла целая толпа плешек с маленькими деревцами, и прижимала пальцы к вискам, — должно быть, у нее болела голова от переутомления.

Мартын Мартынович сопел, щипал бородку и, странно всхлипывая, смеялся.

— Меня, дурака, всю жизнь считали одержимым... маньяком... и не догадывались, что это для меня — высшая похвала. Это же самое сильное оружие против косности.

С некоторого времени он чувствовал недомогание: боли в пояснице, дрожь в конечностях, головокружения и странная пугающая неразбериха в сердце. В прошлом году после одного тяжелого припадка он пошел к врачу, и этот врач, — такой же старик, как и он, — неодобрительно взглянул на него из-за очков и почему-то враждебно пробурчал:

— Я не должен вам говорить... понимаете?.. Но не скрою — скверное у вас сердце: едва ковыляет... Одно, два потрясения или там этакая авария, усталость, переживание, ну и истощение, конечно... и вы — чук!.. — юркнете в небытие... В наши годы нужны только надежный покой и воздух.

С тех пор Мартын Мартынович больше о докторах и слышать не хотел.

Прохаживаясь по садику, он всегда испытывал блаженство в толпе этих кротких яблонь, кудрявых кустов смородины и крыжовника. Этот сад насадил он сам восемь лет назад. Горкомхоз дал ему эту комнатку, взамен той, которую он раньше занимал в центре.

Там он жил лет двенадцать, и пустой двор, заваленный полуразрушенными сарайчиками и всяким хламом, засадил яблонями, грушами, сиренью, липами. Особнячок был старый, в пять комнат, полный мышей и крыс. Квартиранты нахально ломали сирень, молодые липы, цветущие ветви яблонь, обрывали фрукты, — вообще, держали себя негодниками. И, когда Мартын Мартынович, видел в саду бритые головы этих граждан и их щебечущих жен, которые жадно ломали и грызли все, что попадалось под руку, он начинал трястись от гнева и до сердцебиения ненавидел этих людей. Он выходил в сад, стучал палкой о землю и кричал пронзительно:

— Это, ведь видите ли, свинство, граждане... Ежели хотите гулять, — прошу-с... но зачем вы ломаете кусты и деревья?..

На него смотрели со смехом и удивлением, подмигивали друг другу, потешаясь над старым чудачком.

— Позвольте, Мартын Мартынович... что вы, собственно, волнуетесь?.. Ведь сад-то не ваш... Не для себя же вы насадили это барахло... Вы, честное слово, как собака на сене...

Но он продолжал воевать каждый день и надоел всем до последней возможности. Ему начали мстить и уже назло ломали ветви и бросали на землю.

Он пошел к коммунальному. Его направляли от стола к столу, и он рассказывал о свинстве людей; им надо дать по рукам, надо вдолбить в их башки, что сад — это драгоценность, которую нужно беречь и радоваться. Его сочувственно слушали и бормотали:

— Правильно... именно... Но что вы, собственно, беспокоитесь?.. не рубят же этих деревьев... не корчуют же их... Эка, ужас, подумаешь! сломали одну-две веточки...

Однажды он пошел в милицию. Добился приема у начальника отделения. Начальник, бравый, усатый человек, строго и молча выслушал его и отрубил одно слово:

— Есть!

На другой день он пришел с двумя милиционерами и каким-то пухлым,

бритым человеком. Они погуляли по саду и, не обращая внимания на Мартына Мартыновича, обошли вокруг особняка, поковыряли штукатурку, нырнули в дом и заглянули во все комнаты. Потом без предупреждения ввалились в его зеленую закуту и бесцеремонно начали играть с цветами.

Разглаживая усы, начальник объявил:

— Вам, гражданин, придется отсюда перекочевать. Отведем другую жилплощадь: на улице Меринга. Этот особняк освобождается. Приготовьтесь. Завтра в десять часов утра.

— А сад?

— О саде позаботятся и без вас. Сад-то как-раз и нужен. А вы там новый натываете... только и всего...

Только и всего. Начальник милиции рассудил решительно, энергично и просто. Он не имел надобности спросить у Мартына Мартыновича, сколько ему стоило труда, забот и волнений, чтобы охранить каждое деревцо, сколько любви и самоотвержения требовало от него каждое растение. Им угрожали всякие опасности: и соседские свиньи, и уличные ребяташки, и гусеницы, и грибки, и квартиранты. А сколько страданий и сколько борьбы перенес он, оберегая цветы и плоды от людей, привыкших к даровщинке. Мартын Мартынович познал здесь одну ошеломляющую истину: многие, даже добропорядочные, люди, которые громко кричат об этике, о честном отношении к труду, о любви к общественной собственности, — кое в чем такие же правонарушители, как и те, которых они карают за проступки. Только те — с клеймом профессионалов, а эти — организованные граждане, работающие по найму, за вознаграждение по такому-то разряду тарифной сетки. Так расценивал он своих соседей, ломающих цветущие ветки, рвущих зеленые яблоки, уродующих молодые посадки. Он познал, что вор-профессионал — это квалификация, которая требует затраты сил, изобретательности, ловкости. Вор-профессионал — на учете у угрозыска: это — разрушитель системы общественного распределения; он — вне общества.

Это — грызун, подтачивающий общественный порядок. А вот некий легальный гражданин — иногда не менее опасен, потому что он — вне подозрения. Портить и уничтожать зелень, это — его удовольствие, развлечение в часы отдыха. Это бытовое воровство украшает его жизнь. Ломать ветки с молодой липы, рвать незрелые плоды, обрывать цветы, а потом бросать под ноги, как сор, — это не считается воровством и уничтожением продуктов долголетнего труда. Это, видите ли, продукт природы, а он, Мартын Мартынович, который отдает все силы на то, чтобы этот продукт создать, только треплется попусту, беспокоит порядочных людей и изображает из себя шута горохового.

Особняк переделали, обновили. Он стал нарядным, ярко окрашенным в голубой цвет. Вокруг сада зашпательная зеленая ограда. И, когда Мартын Мартынович проходил мимо этого дома, он видел, как у крыльца стоял черный, блестящий автомобиль. И потом долго не забывал этого места: обходил вокруг забора, пылливо и любовно смотрел сквозь штакетник: сад был цел, но немного дичал. Его охраняли, но предоставили самому себе. Много в нем было бурьяна, много выросло волчков, кустарники не подстригались, но липы по забору росли пышно и сочно.

Однажды он не утерпел — открыл калитку и прошел в сад. Осматривая деревья, он забылся, увлекся и начал работать ножницами и кривым ножом, как в былые дни.

— Гражданин, вы что там стрижете?

Мартын Мартынович не заметил, как к нему подошел молодой человек во френче и галифе. Засунув руки в карманы, он смотрел на него холодно и улыбался, как хозяин, который поймал вора на месте преступления. Мартын Мартынович смутился, — смутился не потому, что почувствовал себя виноватым, а потому, что этот молодой человек уж очень нехорошо улыбался.

— Это кто же разрешил вам хозяйничать здесь?

Мартын Мартынович почувствовал на своем лице судорожную гримасу —

эта гримаса раздирала рот плачущей улыбкой. Он здорово тогда струсил, старый дурак. Он потерял тогда свое достоинство.

Но вдруг ощутил и другое: среди этих деревьев, насаженных его руками, он — не один. Эти яблони, липы, вся эта гушина зелени — это его сила и жизнь, и никто не может у него отнять право любить их. Все они — живые и сплетаются вокруг него, как надежная его защита.

— Этот сад насадил и вырастил я, молодой человек. Но здесь я не вижу заботы о растениях. Мой долг и потребность помочь этим деревьям жить хорошо.

Молодой человек вынул руки из карманов, и черные брови у него удивленно поднялись. В глазах блеснула улыбка.

— Понимаю и догадываюсь, кто вы. Илья Осипыч, конечно, ничего не будет иметь... Я — его секретарь, Защепков. Очень приятно... Пожалуйста, заходите, когда вам будет угодно...

Они прошли по всему саду, и Мартын Мартынович поучал, как подрезать деревья, как и когда подкапывать землю и окрашивать известью стволы.

— Фруктовые деревья — как дети, молодой человек. Они, ведь видите ли, требуют постоянной заботы и беспокойной любви. Мало насадить сад, — надо его создать. Озеленять жилища, насаждать бульвары, парки — это творчество, молодой человек. Это — не простое ковырянье земли и втыканье саженцев, это — устройство человеческой жизни, это, ведь видите ли, — воспитание человека.

— Вы правы... — согласился Защепков. Он внимательно вслушивался в слова Мартына Мартыновича, как будто они для него были совершенно необычны и новы. — Мы как-то мало обращаем на это внимания. При нашей напряженной работе было бы дико, если бы, скажем, я занимался этой проблемой.

Зашчепков засмеялся и погладил бритую голову, точно хотел удостовериться, способен ли он думать о садах и скверах в его положении.

«Службист... — неодобрительно подумал Мартын Мартынович, позвякивая ножницами. — У таких адъютантов все силы идут на исполнительность и выправку».

Но Защепков понравился ему: и слушает хорошо, и молодость в глазах и жестах; по привычке сдержан, старается говорить как-то издалека, оберегает себя и самоуверенно вскидывает голову. Мартын Мартынович чувствовал, что молодому человеку хочется взять у него ножницы и с удовольствием отхватить ветки у деревьев: он украдкой ловил их взглядом, сжимал и разжимал пальцы. У Мартына Мартыновича лукаво посвежили глаза; он без робости взял Защепкова под руку и повел его к яблоне. Дерево стояло еще голое, широко разбрасывая сизые ветви. Тонкие побеги были фиолетовые, будто налитые кровью, и покрыты пепельной пылью и седым пушком.

— Вот-с, молодой человек... Этой яблоньке — пятнадцать годков-с. Белый налив. Плоды — как лицо молодой девушки. И ухаживать за этой яблонькой нужно так же, как за невестой: чтобы забота о ней была таким же наслаждением и трогательной радостью...

— Вы — поэт, товарищ Подсосов. Замечательно.

— Поэзия и есть жизнь. Вы видели картину Нестерова «Пустынник»? Глаза у старичка заметили?

— К стыду моему, не обратил внимания. К тому же, пустынников не принимаю и не люблю.

— Нет-с, молодой человек: это — вечно человеческое. Это — глаза младенца и мудреца.

Зашчепков с интересом вслушивался в слова Мартына Мартыновича и снисходительно усмехался.

— По-моему, это очень далеко от жизни, хотя вы и поете ей гимны.

— Возражаю. У Климентия Аркадьевича Тимирязева именно-с были такие глаза... У Пушкина тоже... Знаю-с, вы хотите надо мной, молодой человек...

— Ну, что вы, товарищ Подсосов!.. — смутился Защепков и опять потер рукою бритую голову.

— Так вот-с... хотел было я, чтобы вы побеседовали с моим Володькой... Он вам рассказал бы больше, чем я...

— Ну, как же! Мы все гордимся вашим сыном...

— Итак-с, яблонька... Вот вам ножницы — действуйте... Это — увлекательно, ведь видите ли... Начнем с волчков...

Защепков с удовольствием провел с Мартыном Мартыновичем целый час и незаметно почувствовал, что этот старик-чудак стал близок ему, точно знал он его очень давно.

Мартын Мартынович начал насаждать новый сад на новом месте. Много он хлопотал о разрешении озеленить свой двор. В коммунхозе от него отмахивались, как от бездельника и маньяка. Комендант дома, всегда мрачный человек, с черной повязкой на глазу, с неизменным, приросшим к бедру, рваным портфелем, говорил ему глухо и напряженно:

— Нечего канитель разводите, гражданин Подсосов, у нас жакт, а не совхоз. Двор есть двор, а не парк культуры и отдыха.

Помог новый друг — Защепков.

И когда планировался двор под сад, когда Мартын Мартынович сам рыл ямки, сам волочил на своих плечах деревья, сам приносил в корзинке перегной и навоз, комендант так же обозленно распоряжался:

— Вы мне сплошь засаживайте: ни одного порожнего места не оставляйте... А то вон лысины... Куда это годится!..

★

После завтрака Мартын Мартынович в старом пальтишке и давнишней шляпе выходил из дому и, опираясь на палку, брел на бульвар. Этот бульвар тянулся по всей улице на полверсты. Много лет назад эти липы и серебристые тополи, теперь еще голые, с разбухшими почками, сажали всей школой. Тогда деревья были ростом с ребяташек — жиденские, беспомощные прутики, которые нуждались в уходе и надзоре. Он укреплял каждый саженец между тремя колышками (защита от

свиней, коз и людей) и привязывал веревочками, чтобы не раскачивало ветром. Эти деревца посадил он в четыре ряда. А теперь они — могучие, и их кроны сплетаются ветвями очень высоко.

В конце аллеи, в узкой прогалине, белел фасад старинного здания с колоннами, а по сторонам, за деревьями, прилиная друг к другу и отбегая друг от друга, шли особнячки, двух- и трехэтажные дома.

Навстречу Мартыну Мартыновичу шли одинокие прохожие: домашние хозяйки с кошолками, крикливые, начиненные лавочными и рыночными впечатлениями и сплетнями; советские служащие с портфелями и папками, с припухшими от сна лицами. Молодые женщины в теплых пальто подталкивали детские коляски и о чем-то тихо разговаривали.

Мартын Мартынович шел медленно и смотрел по сторонам. Знал он каждое дерево и до мелочей помнил историю его роста. Он страдал, если видел, что какая-то озорная рука вырезала ножичком на коре ствола всякие пошлости — имена, сердца, похожие на червонный туз, и гнусные слова. Сразу замечал он сломанную ветку, подходил к дереву и старательно ампутировал испорченный побег, который жил и развивался несколько лет. А коммунхоз до сих пор не поставил даже охраны этого богатства от воров и громил. Вот бордюры из акаций погибает: кусты помяты, изломаны, потоптаны — один хлам, грязная щетина из сухих прутиков.

С бульвара Мартын Мартынович проходил на площадь, где когда-то, тоже очень давно, он вместе со школьниками разбил сквер. В былые времена широкая площадь с собором утопала летом в пыли, а в ненастье превращалась в грязное болото. Прохожие жалась к заборам и стенам домов, а по площади, увязая по ступицу, бултыхались телеги. Дрогая и деревенские мужики лупили дрожащих, замызганных грязью лошадей и орали, надрываясь:

— Но-но!... н-но!.. хал-лера!..

Тогда автомобилей еще не было.

По широким сторонам квадрата площади теперь облаками клубятся липы в два ряда, в середине толпятся высокие ели в бисерной бахrome, серебром переливаются березы, а между аллеями — полянки в бархатной зелени газона. Собор сейчас превращен в клуб кожевников. Кресты сшиблены, а на колокольне развевается красный флаг; колокола сброшены, и в отверстиях звонницы разворочены кирпичи.

В этот час обычной прогулки Мартын Мартынович проходил мимо клуба. Комсомольцы и комсомолки рассыпались по площадке — иные стояли группами у портала, другие бродили по дорожкам сквера. Все оживленно разговаривали, смеялись. Две девушки в легких пальто и белых беретах стояли на широких ступенях лестницы. Они в ожидании смотрели навстречу Мартыну Мартыновичу и улыбались. Может быть, они улыбались не потому, что увидели его, а просто оттого, что была весна, солнце, теплое небо, что они были молоды и наслаждались жизнью, но в этих лицах и ожидающих улыбках он почувствовал что-то милое и ласковое. Он тоже улыбнулся им, остановился и снял шляпу.

Девушки сбегали вниз и направились к нему.

— Мартын Мартынович!.. давайте познакомимся... Заверните к нам... Мы вас хорошо знаем, а вы нас еще нет...

Черненькая девушка с усиками учтиво и сдержанно предупредила:

— Мы вот с Агнией учились в вашей школе. — Она подтолкнула к нему краснощекую толстушку, с маленькими смелыми глазами.

Агния бесцеремонно взяла под руку Мартына Мартыновича.

— Пойдемте... клуб наш посмотрите...

Наталья смотрела на него с умным любопытством.

— Что же это так много собралось молодежи?.. — спросил Мартын Мартынович.

— А мы сейчас устраиваем поход в противогазах... Осоавиахим... — быстро и охотно ответила Наталья. — Часть — из ночной смены... кожевники... часть — из рабфака...

Он видел, что девушки рады встрече с ним и что ведут они его к своим ребятам, как человека, которого ждали давно и с которым связаны с детских лет: память о нем жила и в школе, и в рабочих кварталах старожил.

Около портала Мартына Мартыновича окружила толпа парней и девушек. Все хлынуло в открытую дверь клуба. Мартын Мартынович очень давно не испытывал такого радостного волнения, какое переживал сейчас в этой теплой, молодой толпе. Все эти не известные ему девушки и юноши, с отблеском отроческой наивности в лицах, были близки и понятны, как и в прошедшие годы его учительства. В этой телесной, горячей толчее он всегда чувствовал себя легко, бодро и молодо. Смех, разговоры, суета, неукротимое клочкотанье жизни заражали и самого Мартына Мартыновича. Но теперь это волнение было похоже на радостное воспоминание.

В клубе показывали ему библиотеку, выставку художественных работ по рукоделию, какие-то макеты. Но в зрительном зале с алтарной нишей мерцал бронзовый полумрак, а раскатистое эхо путало голоса и тушило слова. Многого Мартын Мартынович не рассмотрел, многого не расслышал, но ему было хорошо переходить из комнаты в комнату и медленно шагать по сумеречным пространствам зрительного зала в кругу молодых людей, слышать их переделки и смех и видеть их лица, обращенные на него с веселым любопытством. Не то от непривычки, не то от старости он все же утомился и был рад, когда вышел на воздух: этот воздух показался ему горячим, ароматным и хрустально-чистым.

Наталья и Агния проводили его до бульвара. По дороге он рассказывал им о прошлом города, об известных в стране людях, которые учились в его школе, о героях революции 1905 года и о гражданской войне.

— Всякая река имеет свои истоки, милые девушки, а букварь обязывает двигаться в глубины энциклопедии. Городок наш не последний в истории. На месте сквера и этого бульвара в де-

вятьсот пятом году было кровавое побоище... Это было сражение рабочих-кожевников и железнодорожников с полчищами черной сотни и с казаками. Десятки людей пали в бою, а многих расстреляли солдаты здесь же, у ограды собора.

— Да, нам много об этом рассказывали... — сказала Наталья. — Мой дядя — брат мамы — тоже погиб здесь...

— А фамилия его какая?

— Подгорнов.

— Ах, вон оно что!... Вы, значит, племянница Миши Подгорнова. Знал я его хорошо. Горел революцией. Говорил, бывало: «Сколько страданий пережито, сколько крови пролито рабочим классом! Подумать страшно...» Он верил в будущее народа и умер гордо. И вот мы с ребятишками, с детьми этих людей, решили, что лучшим памятником для их отцов будет на этом месте сад... Нам есть кем гордиться, есть кого любить.

На бульваре он простился с ними, но им не хотелось уходить. Он пожимал им руки и говорил:

— Не забывайте меня, старика... Я с вами будто живой воды выпил...

А когда он по дороге оглянулся, девушки смотрели ему вслед, а Агния махала рукой.

★

Каждый день Мартын Мартынович ходил в городской парк. От площади он брел по грязным тротуарам до окраины города, где уже не было каменных особняков, а смотрели из-за палисадников резными наличниками окна деревенских изб. Это были крестьянские дворы с тесовыми навесами, с курами на улице, с хрюкающей свиньей в луже у забора. Здесь тоже жили городские служащие и рабочие кожевенных заводов.

Городской парк рос каждый год в даль и ширь. Много лет назад Мартын Мартынович начал засаживать этот пустырь вместе со своими школьниками и учениками высшего начального училища. Молоденькие деревца с колышками обнесли колючей проволокой. Он

сам с учениками охранял его от мальчишек и коров. Часто пастухи, чтобы разозлить Мартына Мартыновича, разрывали проволоку и загоняли в сад стадо. И, когда приходил туда Мартын Мартынович с ребятами, он с ужасом смотрел на коров и телят, разгуливающих между деревьями. Много липок, березок, кленов и ясеней было поломано, вырвано с корнем. А пастухи бежали между деревьями, щелкали кнутом, орали и на бегу ломали посадки. Както Мартын Мартынович в припадке иступления налетел на пастуха и, хрипя от ярости, ударил его палкой.

— Старый чорт!.. Я тебя научу пасты своих паршивых коров... Ты — не пастух, а негодяй...

Пастух, сгорбившись, убежал. А Мартын Мартынович долго возился над оградой: укреплял столбы, связывал проволоку, выправлял деревца. И он никогда не забывал одного случая, который потряс его в тот день. Володька, сцепив руками голые колени, сидел на земле, качался вперед и назад и плакал молча, горестно и покорно. Он не жаловался, не смотрел ни на кого. Лицо его корчило от боли, он сжимал зубы и весь ушел в свое горе.

— Володенька! Чего ты, родной?..

Володя молчал и словно не слышал отца. Вокруг него собралась ребятишки и, притихшие, смотрели на него с испугом. Один из ребят, задыхаясь не то от гнева, не то от того, что не мог еще отдохнуть от беготни, крикнул:

— Его пастух кнутом стеганул... Огрел его, а сам наутек.

Мартын Мартынович подошел к Володе, поднял рубашку и увидел на спине его красную полосу, которая вздулась кровоподтеком. Володя даже не шевельнулся; он продолжал качаться и молча плакать. Когда Мартын Мартынович поднял его на руки и понес домой, Володя вдруг обнял отца, прижался головой к его груди и впервые зарыдал и задрожал всем телом.

— Папа, папочка!.. Зачем же... зачем он ломал мои деревца?

Ночью он метался в жару, плакал, и Мартын Мартынович так и просидел

около него до утра. И с этого дня он стал иначе относиться к тем деревьям, которые сажал в парке. Они казались ему частью Володи.

Городская управа не давала ни денег, ни рабочих и на докладные записки Мартына Мартыновича о необходимости озеленения города отвечала короткой бумажкой: «Мысль о насаждении деревьев в городе одобрить, но, за неимением средств, в ассигновании денег на сей предмет отказать, не возражая однако предприятия учителя Подсосова в порядке личной инициативы и использования для оной цели силы учеников вверенной ему школы в воспитательном направлении».

Мартын Мартынович отрывал от своего жалованья последние гроши, ходил обтрепанный, полубосой, перебиваясь с хлеба на квас (Надя, жена, умерла молодой, когда родила Володю). Мартын Мартынович завел лошадь и телегу и сам ездил за двенадцать верст в лес, выкапывал там деревья и привозил их для посадки. Через пять лет городской парк занимал уже четыре десятины. И когда Мартын Мартынович доносил городской управе, что лес нуждается в благоустройстве и охране, что он не в состоянии больше обслуживать его, оттуда прибывали стереотипные ответы: «Донесение учителя Подсосова принять к сведению». И только перед войной, когда городским головой стал известный либерал, адвокат Жеребцов, Мартын Мартынович был вызван к нему в кабинет. Жеребцов принял его очень предупредительно и усадил в кресло:

— Я давно следил за вашей самоотверженной деятельностью по благоустройству города, Мартын Мартынович, и доселе изумляюсь вашему необыкновенному бескорыстию. Городское самоуправление решило выразить вам благодарность за ваши заслуги перед городом и взять бульвары и парки на свое попечение. Отныне вы можете считать себя свободным от всякой заботы о насаждениях.

Жеребцов крепко пожал ему руку, и Мартын Мартынович подумал, глядя на черную бородку Жеребцова, что она

стоит ему, должно быть, дорого: она была подстрижена и старательно причесана. К этой шелковой бородке очень шло золотое пенсне. Жеребцов благосклонно улыбнулся, провожая Мартына Мартыновича:

— Вы, как представитель местной интеллигенции, должны бы заявить общественности свое политическое кредо. Можете рассчитывать на мое содействие в случае желанья вашего примкнуть к нашей партии.

А Мартын Мартынович простодушно ответил:

— Но у меня у самого партия, да еще какая!.. Ее все любят и к ней тянутся. Мои дерева — самая здоровая партия: без обмана, ведь видите ли, — без дипломатии, без игры... А как пойти в вашу партию, ежели я — без рубашки, без сапог, без всякого достойного ценза?..

И он ушел из кабинета городского головы с чувством удовлетворения и гордости. Шел он по улице бодро, дышал свободно, радостно и щелкал пальцами. А дома он громко звал Володьку, и, когда он прибежал, Мартын Мартынович начал с ним возиться, как мальчишка.

— Кричи «ура», Володька, стервец! Мы с тобой, мальчоныш, не продаем души своей дьяволу. Мы живем и трудимся во имя гордого человека... Понял ты меня, ну?..

В этот день они были счастливы, и им казалось, что солнце светило ярче и оставалось на небе дольше.

Мартын Мартынович возвращался из парка по городским задворкам, пересекал луку в самом узком месте между изгибами реки. Он шел к плотине, чтобы побродить по глинистому берегу озера. Его постоянно тянуло это озеро, и он подолгу расхаживал вдоль берега, задумчиво и одиноко.

Когда строили электростанцию и сооружали сельмаш, навалило много народу — рабочих, сезонников, инженеров. Жилплощади не хватало, пошло уплотнение, и улицы зашумели и затолпились народом. Люди жили одним — стройкой. Старожилы и городская голвка с гордостью говорили о колос-



сальном будущем города; это будет один из крупных культурных и промышленных узлов. Для электростанции и заводов нужна была вода. Речку загородили бетонной плотиной, и теперь к северу от города разливалось широкое озеро. Горожане в выходные дни гуляли по берегу, и всем было приятно смотреть на зеркальную тишину воды, в которой отражались облака и новые здания на той стороне.

Тяжело опираясь на палку, Мартын Мартынович брел очень медленно, часто останавливался, смотрел на озеро и на голые берега. За озером громоздились кирпичные и бетонные корпуса сельмаша, и тремя кургузыми трубами дымилась электростанция, похожая на величавый дворец. Ближе красными глыбами в беспорядке разбросаны были скучные корпуса многоэтажных общежитий. Между ними строились другие здания, опутанные сизыми лесами и стройными стеблями вышек. Мартын Мартынович смотрел на эти неприютные и неприветливые корпуса среди буераков, ям и строительного мусора, и ему было тягостно от этого безжизненного места.

Он не мог отсрваться от этих пустырей и новых красных зданий, среди которых ходили одинокие люди, и чувствовал, что он болен—болен не от того, что не в порядке сердце, а от того, что обречен блуждать в этих голых, грустных местах за городом, ненужный всем и беспомощный.

Озеро в эти дни весны было холодное, стальное и тусклое, и в нем мутно отражались кирпичные дома. Мартын Мартынович угрюмо усмехался: эти дома построены так, что их можно поставить, как угодно, — и на крышу, и на бок, — они не изменят своего вида.

Со стороны строительства певуче гремело железо, шустро вскрикивали паровозики, грохотали вагоны и бухали паровые молоты. Сириной выли пилы на лесопилке, и металлической дробью прошивали воздух клепальные молотки. Это была новая, незнакомая жизнь. Там, в этой пуганице лесов, вышек и железных конструкций, с каждым днем росло и могуче потрясало пространства

огромное машинное величие. Когда-то здесь горели в солнечном зное зеленые поля, бежали облачные тени и высоко под облаками переливались песни жаворонков. И было очень хорошо — приятно, задумчиво, грустно — в эти маревые дни в поле. Вспоминалась молодость, весны и колокольные звоны, вспоминались девушки, с которыми ушла юность, и, как образ далекого сна, улыбалась из прошлого последней улыбкой страдания жена с прозрачным лицом.

Каждый день строительство захватывало новые поля. Заводские корпуса приближались к старинному городу, похожему на деревню, и этот городок, где прошла вся его жизнь, казался уже маленьким, вросшим в землю, притихшим и испуганным.

«Стары мы стали с тобой, городишка... — поглядывая на пестрые крыши домов, думал Мартын Мартынович. — Уйдешь ты в историю вместе с ненужным атласом Петри. Ты рождаешься для новой карты страны. А я?.. Владимир! Володька!.. — мысленно кричал он сыну, глядя в небо: — Летаешь, Володька?.. Летай, мой милый Икар... Рядом с тобой орел—дряньенький стервятник... Величие, брат, сейчас не измеряется больше пернатыми хищниками...»

Он брел, сшибая палкой прошлогодние будяки, и смотрел на скучные казармы рабочего городка на том берегу. Среди этих каменных казарм тоже были отвалы глины, мусора и болота грязной воды, холодной от льдистого отражения неба. В этой грязи и на кучах глины играли детишки. Видны осыпи на отвалах, комья земли и даже доски на дорожке от корпуса к корпусу. Вон, около двери, на бетонной площадке, стоит старая кривая табуретка. Вышла женщина в подоткнутой юбке, с голыми икрами, с ведром в правой руке и с размаху выплеснула черные помои перед окнами. Прямо перед нею висит на веревке белье и машет рукавами и кальсонами на ветру.

Как, вероятно, тоскливо и безрадостно жить в этих казармах! Должно быть, людям всё опостылело, и глаза их — бесцветны. О чем они могут меч-

тать?.. Можно ли думать о близком счастье, любоваться красотой заката в этом диком, безжизненном пустыре?.. Здесь люди, должно быть, устают от домашней духоты, от этих забытых глинистых насыпей, от помоев перед окнами, от одинаковых кирпичных корпусов...

Из трех труб электростанции выбрасывался в небо густой нефтяной дым и бурными тучами низко плыл на город. И от этого дыма, и от неряшливого пустыря на том берегу, и от одиночества своего среди этих полей Мартыну Мартыновичу было тягостно. Он хватался за мочку уха и отдергивал с отворачиванием руку — чувствовал, как хрустели толстые волосы под пальцами, точно сухой мох на старых сучьях старого дерева.

★

Однажды Мартын Мартынович зашел в свою старую школу и долго бродил по саду. Яблони росли во всю ширину заднего плана. Почти на каждом дереве было поломано много сучьев, и они безобразно свешивались до самой земли.

Этот сад был его биографией: здесь, в этих деревьях, — его молодость. Тут он не был больше десяти лет: оскорбленный вынужденной отставкой, чувствуя холодное и даже враждебное отношение к себе районного руководства за его оппозицию к новшествам, он не показывался среди учителей. Впрочем, он несколько раз заглядывал через забор в этот сад, но всегда расстраивался от его неряшливой запущенности.

Грустно бродил он от дерева к дереву, отстригал старые ветки, отрезал ножом сучки и знал, что одному не справиться ему с чисткой сада, что, если не придут сюда люди, сад совсем одичает и погибнет, предоставленный себе и вредителям.

Где-то пели скворцы, — вероятно, в соседнем дворе, на скворечнике. Ветер пощивывал в ветвях яблонь печально и тоскливо; бурные и седые ветви покачивались и постукивали одна о другую. Старый штакетник со стороны улицы

был разрушен, и в широкие дыры видна была булыжная мостовая в ямах. С треском и грохотом проехал дрогаль. На другой стороне улицы деревянный домик с мезонином был памятен Мартыну Мартыновичу с молодости. А вот забор — тоже штакетник — зеленел там свежей краской. Может быть, этот забор сбит из вырванных школьных штакетин?.. Вполне вероятно: ведь в этом домике попрежнему живет старик Широков, похожий на старовера, — бывший подрядчик по постройке церквей, а сын его сейчас служит кладовщиком на стройке. Если нет надзора за садом, то за оградой и подавно некому глядеть: цел забор или разрушен — никто даже и внимания не обратит.

Раньше в саду были дорожки, обложенные дерном, а между деревьями земля пропахивалась, и в междурядьях были кусты смородины и крыжовника. Теперь земля так утрамбована ногами ребят, что трава не растет, а смородина и крыжовник давно уже распотаны или вырыты кем-то из соседей, может быть, тем же Широковым.

Можно ли так варварски относиться к самым человеческим деревьям в природе? Этому саду двадцать пять лет; пятнадцать лет Мартын Мартынович бережно, заботливо воспитывал каждое дерево. Он знал любое из них со всеми их особенностями — сам прививал, сам формировал кроны, сам подрезал, и они толпились в его голове даже во сне.

Когда любишь предмет своего труда и, трудясь, болеешь и наслаждаешься, — созданный тобою продукт становится живым, бесценным и прекрасным. И дерево, возвращенное тобою, — это твой «неподвижный брат», как хорошо выразился Золя.

А вот этот сад никому не нужен: он заброшен, загажен, изуродован. Учителя и дети равнодушны к нему. Если бы они знали, сколько дней своей жизни отдал ему Мартын Мартынович! Впрочем, они, может быть, удивились бы: зачем ему нужно было терять дорогое время на эту нелепую затею, когда сад все равно — не его достояние, а для школы вреден, потому что загромо-

ждает площадь, нужную для игр, и разворачивает детей, приучая их воровать фрукты. Яблок уже давно нет: цветущие ветки ломаются школьниками и посторонней молодежью.

Мартын Мартынович давно уже не был в своей старой школе. Тут работала Клавдия Николаевна, но она ни разу не приглашала его на уроки, а учителя не интересовались им, стариком: для них история школы не существовала. А ведь он, Мартын Мартынович, — главный деятель этой истории. Он с изумлением вспомнил, что Клавдия Николаевна ни слова не проронила о фруктовом саде. Она толковала об общественных нагрузках, о состязовании учителей и классов на стопроцентное отличничество, о слабой дисциплине учеников, о жуткой власти улицы над некоторыми ребятами. Но не догадывалась, что дисциплина, работоспособность и интерес к урокам зависят во многом от целеустремленной самодеятельности ребят.

Он вошел в знакомый с давних пор вестибюль и, не раздеваясь, направился мимо вешалок к учительской. В коридорах шелестел тот особый, пчелиный шум, с которым он сжился с юности и который неугасимо пел в нем помимо его сознания даже теперь.

— Вам кого нужно, гражданин? — строгим басом окликнула его толстая старуха с седыми усами и лиловым пятном в бородавках на правой щеке.

Мартын Мартынович медленно обернулся и, опираясь на палку, снял шляпу.

— Учительская там же, где и была? — спросил он почему-то с робкой улыбкой.

— А куда же она, по-вашему, скрылась?

— В мое время она помещалась во второй комнате, налево по коридору.

— Ваше время нас не касается, а учительская находится на втором этаже. Там и кабинет директора. И канцелярия там же.

— Вот видите...

— Я ничего не вижу. А вы вот шагаете самовольно. Родитель, что ли?

— Нет, учитель бывший...

— Это который? Я тут уж тумбой сижу десять годов, а личность вашу не помню. Да оно и не диво: не то что людей, — себя забываешь.

Старуха оживилась и, облокотившись на прилавок, поманила его рукой.

— В наробразе, что ли, служите? Обследователь, что ли? Милый, дети-то какие пошли... Не то что учителей, — меня, старуху, на урал берут...

— Сад-то вон... тоже на урал взяли... А какой был сад!..

Старуха оглядела его без всякого любопытства пепельными глазами, потерла плоскими пальцами ядовитое пятно на щеке.

— Жила вот... — пожаловалась она равнодушно, — шестьдесят пять годов прожила... а старость моя — сирота...

Где-то в ворохах одежды засмеялась, должно быть, девушка.

— Какая же твоя заслуга, Митревна, что ты до старости дожила? Человек не лематами хорош. Возьми-ка вон Владимира Подсосова — летчика: молодой, а какие смелые дела делает!.. Богатырь!

Митревна, качая седой головой, ткнула пальцем в пухлые кучи одежды.

— Вот они какие ноньче! К старости почтенья не спрашивай...

И опять насмешливо крикнул молодой голос:

— Я и говорю: старость — не заслуга... старость-то часто и в тягость бывает...

Митревна даже задрожала от негодованья:

— Видал? Гордости-то сколько!.. А эту гордость я еще в младости выпалакала.

Она с обидой покосилась на вешалки.

— Образованная... читает все, учится... Сидит со мной на гардеробе — не гнушается... Пушай... хорошо это... А вот к старикам-то интересу нету... Не страдала еще...

Она вдруг посуровела и строго предупредила Мартына Мартыновича:

— Перемена сейчас: гляди, как бы с ног не сшибли...

Эта старуха своей воркотней будто обласкала Мартына Мартыновича. «Хорошая женщина» — решил он, улыбаясь. Приятно звенел в ушах смех и

неожиданные слова девушки, спрятанной в ворохах одежды. «Умница!.. Вишь ты, и о Владимире вспомнила! Хорошо, Володька — это и мой кзырь...»

Он поднялся по знакомой лестнице на второй этаж и с удовольствием отметил, что пол коридоров и на первом, и на втором этаже — не дощатый, как был раньше, а застлан дубовым паркетом в елку. За дверями классов переплетались детские голоса, постукивали крышки парт. Учительница визгливо надрывалась, стараясь перекрыть учеников.

«Неопытная... — отметил Мартын Мартынович: — не знает, как овладеть классом... горячится... А дома, должно быть, плачет над тетрадами...»

Он прошел по широкому коридору с окнами, обращенными в сад. Такие коридоры Мартын Мартынович запроектировал когда-то сам: нужно было, чтобы они полны были небесного сияния и простора. Собственно, это был не коридор, а рекреационный зал, по обе стороны которого, примыкая к классам, темнели площадки лестниц в нижний этаж. К залу по концам примыкали комнаты, где помещались: физический кабинет, библиотека и кабинет наглядных пособий. Внизу, в подвальном этаже, в былые времена были мастерские ручного труда—столярная, переплетная, кройки и шитья и изделий из папье-маше. В этих мастерских сами ученики изготавливали несложные физические приборы, схемы и рельефные планы и карты для всех школ города. На стене еще до сих пор висят запыленные рельефы местного района и старой Европейской России.

Здесь прошли лучшие годы его жизни. Даже стены дышали его прошлым: они впитали его мечты, его постоянное беспокойство и любовь к делу. Здесь же учительствовала и его Надя. Ее любимый класс был тот, в котором Мартын Мартынович слышал обиженно-гневный крик учительницы. Но Надя обладала какой-то особой тайной ясности общения с детьми: она никогда не сердилась, не нервничала. В классе ее всегда была задушевная тишина, и ребята

сами проникались этой мягкой тишиной и были счастливы, когда встречали милый, любовный взгляд Нади. А когда она умерла, ребята плакали навзрыд, а потом часто ходили на ее могилу.

И вот теперь Мартын Мартынович испытывал странное состояние: все здесь родное, все—его... Каждая дверь, каждая стена и этот воздушный свет в зале, и этот лесной шум во всем здании, — все волнуется в душе слезами воспоминаний. Но сейчас здесь какой-то холод веет отовсюду. И чувствуется леденящий вопрос: «А была ли здесь когда-то твоя жизнь? может быть, ее совсем не было, и твои воспоминания — это призраки, созданные тобою в последние годы старости?...»

Он остановился перед надиным классом, но дверь быстро распахнулась, и из комнаты вырвался грохот и гам. Несколькими ребятами озорно налетели прямо на него и вытолкнули в коридор Клавдию Николаевну. Один из мальчишек, рыжий, с озорным лицом, толкнул Мартына Мартыновича и сразу же ошалело отскочил в сторону. Лицо его вспыхнуло радостным изумлением, и глаза заиграли лукавством.

— О! Ребята!.. Гляди: Зеленая радость...

Он указывал на Мартына Мартыновича и счастливо орал:

— Он! Гляди!

Ребятишки столпились вокруг Мартына Мартыновича и с любопытством подтакивали друг друга.

Клавдия Николаевна покраснела и сконфузилась.

— Мартын Мартынович! Вы?

И сердито крикнула:

— Кургузов, как тебе не стыдно!..

Мартын Мартынович — старый учитель... из нашей школы... Как же ты встречаешь его?.. Он — наш дорогой гость...

Мальчик лихо повернулся на одной ноге, отступил в сторону, сгорбился и затеребил воображаемую бородку. Кто-то из ребят засмеялся, кто-то сердито крикнул на него: «Ну, ты, перец!.. Чего хулиганишь?»

Хорошенькая девочка с двумя золотыми косами и красным галстуком, смело, с приветливой радостью в ясно-голубых глазах, подошла к старику и очень сердечным голосом сказала:

— Здравствуйте, Мартын Мартынович!.. Мы очень рады, что вы пришли к нам... И вас, и вашего сына мы хорошо знаем... Мы уже просили Клавдию Николаевну, чтобы она пригласила вас... или чтобы мы — к вам... А о Владимире Мартыновиче просто мечтаем...

Детски-живая и беспокойная толпа хлынула к Мартыну Мартыновичу и густо обступила его со всех сторон. Одни смотрели на него с жадным любопытством, другие хотели заговорить с ним, но не решались, иные враждебно оглядывались на Кургузова и сердито перешептывались. Совестились особенно девочки. Они, обнявшись, стояли перед стариком и ожидали, что он скажет. Кургузов с независимым видом зашагал к лестнице, посвистывая и выбрасывая ноги, как плясун.

Прошел мимо учитель, высокий и бледный молодой человек, с гладко причесанными черными волосами и очень близко к носу сдвинутыми глазами. Он был, очевидно, болен или очень утомлен: прошел он безучастно и даже не взглянул на густую толпу детишек. Но пожилая учительница, стриженная под-польку, рябая, с глобусом в руке, пораженная неожиданным появлением Мартына Мартыновича, ахнула, остановилась и заулыбалась.

— Мартын Мартынович!.. Голубчик!.. Какими путями?..

Клавдия Николаевна спохватилась и смущенно пригласила его в учительскую. Он степенно поклонился пожилой учительнице, но ничего ей не ответил, а она почему-то обидчиво отвернулась и пошла дальше.

— Нет, Клавдия Николаевна, зачем же в учительскую?.. Мне хорошо и здесь... с детьми...

Он прижал к себе девочку и сказал ей дрогнувшим голосом:

— Лучшего привета, родная моя, как от вас, нет для меня на свете. С детьми я прожил многие годы душа в

душу... с детьми я трудился и радовался... всю жизнь я проводил с молодой порослью...

Девочка зарделась от его ласки и взяла его за руку.

— Мартын Мартынович, — с изумлением в глазах спросила она, — как это вы смогли такую массу деревьев насадить. Это же — ужас!

— О! если захочешь, — все сделаешь. Задумал — делай, а начал — доводи до конца. Хоть и трудно, а не отступай. Этому правилу мы и следовали с ребятами. Вот и добились. Советую и вам бороться так же. Это — большое удовольствие. И счастье!

Толпа еще теснее сгустилась около него: все почувствовали в нем не обычного — утомленного, неразговорчивого — учителя, а доброго, проникновенного дедушку. Одни старались протиснуться к нему поближе, другие поднимались на дыбки и ловили его глаза, третьи жались к нему и слушали, что он говорит. Кургузов, побежденный любопытством, медленно приближался к толпе ребят: стараясь показать, что ему наплевать на это сборище, он нахально поглядывал на старика, на ребят и, с руками в карманах, вертелся из стороны в сторону.

— А вот садик свой вы запустили, ребятки... — с грустным упреком сказал Мартын Мартынович и покачал головой. — Но когда-то мы с учениками очень о нем заботились... Сколько яблочек собирали! И какая в нем была красота!.. Сад гибнет, и это очень печально... Один и я не мог бы его сохранить...

— Дедушка! — покрикивали, перебивая друг друга, детские голоса: — Мартын Мартынович! Почему вы в школе не учите?..

— Дедушка, расскажите о вашем сыне... о летчике... у нас есть портрет его в классе...

— Мартын Мартынович! Дедушка!.. — звали его со всех сторон. Каждому хотелось, чтоб он обратил на него внимание.

В этот момент задрезжал звонок, толпа ребят дрогнула, заволновалась, но не расходилась. Мартын Мартыно-

вич закивал головой и с дрожащей улыбкой стал пробираться сквозь толпу. Все закричали, замахали руками и двинулись вместе с ним по коридору.

Уже на лестнице кто-то схватил его за рукав. Он оглянулся и увидел Кургузова. Позади, на верхней ступеньке, стояла девочка с двумя косами. Мартын Мартынович хорошо знал детей и очень глубоко переживал вместе с ними такие безмолвные их признания. Он обнял мальчика и, наклонившись к его уху, прошептал:

— Я знаю, что ты хороший... знаю и чувствую... Если пожелаешь, приходи ко мне в гости...

Мальчишка со всех ног бросился по лестнице вверх.

★

Конец апреля и начало мая для Мартына Мартыновича были самым беспокойным временем года. Душа его начинала смутно волноваться, как весенняя птица. «Над природой можно властвовать, только повинувшись ей», — любил он повторять слова Бекона, которые запомнил с молодости. И он с наслаждением чувствовал свое подчинение природе, потому что всей своей жизнью любил ее и горел ненасытной жаждой преобразовать ее своим трудом. Он был предан ей, как матери, и она сама нуждалась в его любви.

Но в этот день Мартын Мартынович чувствовал себя нехорошо: встал он с гнетущей тоской в сердце, очень похожей на тяжелое предчувствие. В теле была слабость, дрожали ноги, не хватало воздуха. Чтобы немного развеяться, он прошелся по своему саду, но прогулка была только в тягость.

Задумчиво плыли облака, и очень высоко, у самых облаков, летел на юг одинокий самолет. Где-то в соседнем флигеле патефон противно наигрывал пошленький фокстротик, и гнусавый голос подпевал идиотически томно и пьяно. Этот фокстротный голос и запутанное вихлянье джаза нагло вытесняли Мартына Мартыновича из этого

дома, из сада, из города. Ему чудилась развратная, мясистая морда какого-то сукина сына, который ворвался в его скромную, трудовую жизнь и топчет его душу.

«Спотыкач... — шептал он горестно и злобно. — Спотыкач... спотыкач...»

Этот спотыкач вертелся перед ним, плешивый и рыхлый, сонно мигая алкоголическими веками, мял кусты, цветы, ломал деревья и нахально вваливался в комнату.

И никогда Мартын Мартынович не чувствовал себя таким одиноким, забытым, чужим, ненужным, как в это утро. Жизнь прожита, она ушла незаметно, растаяла, как сон. Как будто и не жил он. И вот этот садик, и вон те прозрачные облака густых ветвей за крышами домов — длинная толпа деревьев на бульваре — живут отдельно от него. Никто и не подумает о нем, как о человеке, который лучшие дни своей жизни отдал зеленому миру этого города.

Но совсем расстроился Мартын Мартынович в этот день от встречи с замначем строительства, а потом подкосило его одно неожиданное событие.

После многодневного раздумья решил он пойти в управление стройки — предложить свои услуги по озеленению набережных. В сощгороде он останавливался на перекрестках, осматривал площади, улицы, размышлял, чертил своей палкой линии на земле. Прохожие — строительские служащие, женщины с сумочками и корзинками и рабочие — с удивлением осматривали его, проходили мимо, вдоль неприятных кирпичных стен, оглядывались и, встречаясь с другими людьми, останавливались, — очевидно, спрашивали друг друга, кто этот странный старик и что он тут планирует. А ребятишки гурьбой сбежались к нему и с любопытством следили за его непонятными манипуляциями. Беловолосая девочка, курносенькая, с умненьким лицом, с ребенком на руках, недружелюбно спросила его:

— Ты чего это, дедушка, тут колдуешь?

Он рассеянно взглянул на нее и ничего не ответил, занятый своими мыслями. А девочка нерешительно шагнула к нему:

— А ты не нищий?.. Тут у нас страсть не любят нищих... Здесь никто не подает...

Мартын Мартынович очнулся и улыбнулся ей. Подумав над чем-то, он сказал ей, как взрослой:

— Видишь ли, душа моя, в чем дело. Я думаю, что на улицах неплохо бы посадить деревья, а на площади, в серединке, раскинуть цветничок... Ты как на это смотришь?

Девочка подобрела и охотно сообщила:

— А я сама около сарайчика ветлу посадила... Уж пупышки надулись...

Мартын Мартынович озадаченно поднял брови:

— Гм... пупышки... Это — верно, у ветлы, особенно у вербы, пупышки надуваются еще на снегу... Чудесно!.. Сажай деревца всюду — у сарайчика, на дворе, вдоль стен. Вырастешь и увидишь сама, как ты хороша.

Девочка уже растерянно смотрела на него, не понимая, что он бормочет, и ей казалось, что говорит он не ей, а сам себе. Нестриженные ребятишки впервые видели этого тощего старика в шляпе, бородатенького, с необычными словами, с добрым, задумчивым голосом. Так и чудилось, что он сделает сейчас что-то необыкновенное.

Он зашагал через дорогу, тяжело опираясь на палку и не оглядываясь.

В кирпичном здании управления он сразу утонул в толпе суетливых, деловых людей. Они носились по коридорам, по лестницам, толкали его, и бритые лица их были озабочены, нервны, но чужие, как у иностранцев, а глаза слепые, когда встречались с его глазами. Где-то хрипло кричал человек и ругал кого-то с безнадежной злобой. Где-то рядом смеялись несколько человек, а на лестнице у стены стояли двое инженеров (бритые усы и тщательно подстриженные бородки) и, подозрительно оглядываясь, тихо и негодующе критиковали какой-то проект.

Мартын Мартынович поднялся на второй этаж и столкнулся с седенькой, бедно, но чистоплотно одетой, старушкой, с маленьким румяным лицом, с веселыми глазами и вздернутым носиком.

Она изумленно ахнула и стала у него на дороге:

— Ой! Как вы сюда попали?

— А разве пути здесь заказаны? — сухо спросил он, обходя ее с удивлением и опаской.

Старушка засмеялась, подхватила его под руку и потащила в сторону.

— Я поражена: какие у вас могут быть дела в нашей суматошной жизни?

Мартын Мартынович никак не мог вспомнить, кто такая эта жизнерадостная старушка: он никогда не встречал ее в городе. Но старушка, несомненно, знала его, как близкого знакомого: в ее бойкой фамильярности была дружеская простота и искренняя радость.

— Простите, — вежливо предупредил он ее, — вы, очевидно, ошиблись: приняли меня за другого...

Старушка беззаботно отмахнулась от него сухонькой ручкой и насмешливо оглядела его:

— Ну, вот еще!.. Вы же здешняя знаменитость... Я — Софья Мартыновна, к вашему сведению... Тезки по отцу... Здесь я в роли председателя культкомиссии рабочкома и член редколлегии строительской газеты... Вот и познакомились...

И она засмеялась, очень довольная своей речью. В ней было что-то очень привлекательное и милое — и наивная искренность, и молодое лукавство, и неудержимая прямота...

— Впрочем, я знаю, зачем вы пришли... Ваша страсть... настоящая человеческая...

— Страсть?.. — изумился Мартын Мартынович и растерянно затеребил бородку. — Мне шестьдесят семь лет. Какая там страсть?

Софья Мартыновна вознегодовала. На жухлых щечках ее появились красные пятна, а в глазах заблестели искорки.

— Нет, нет, Мартын Мартынович! Страсть — это чудесное свойство всех одухотворенных людей. Страсть — это идея, воплощенная в чувство, в поведение. Вы это сами знаете... Впрочем, не будем спорить. К делу! Сейчас вы ничего не добьетесь. Люди у нас заняты суровыми планами: они строят корпуса, дома и всякие циклопические сооружения. О деревьях и цветниках они пока не думали. Напишите-ка лучше в нашу газету статейку о необходимости озеленения соцгорода. Покрепче напишите: благоустройство города и озеленение — это первоочередная забота о культуре быта. Идите туда — вон в ту дверь: там — замнач. Он будет соглашаться с вами, выразит вам сочувствие и будет крепко жать вам руку... Потом вы сами сделаете выводы.

Она жарко и без передышки сыпала словами, хватала его за рукава пальто, за пуговицы, наступала на него, и от этого Мартыну Мартыновичу было неловко и приятно. Он любовался ею, слушал внимательно и улыбался тепло, хотя и сдержанно.

— Что тут важно, Софья Мартыновна? Детишки играют... Сор, глина, ямы, грязь, пыль... От этой сплошной глины и пустырей можно провалиться в тартарары — в канаву. То же самое — озеро... Ведь видите ли, можно сделать рай...

— Ах, что вы мне говорите! Я очень хорошо знаю... Люди не понимают благоденствий до тех пор, пока сами не претворят это в дело своих рук...

Она подтолкнула его к двери напротив.

— Входите смелее. А за статьей забегу к вам дня через три... Не беспокойтесь, я знаю, где вы живете...

Ждал он приема у замнача долго. Перед ним была очередь человек в пять. Все это были люди строительские, — должно быть, инженеры и всякие ответработники. Разные по виду были люди: и седые, почтенные старики, и молодые непоседы. Всем было скучно, и они коротали время в тихом невнятном разговоре. Молодые шептались друг другу, вероятно, анекдотики и смеялись. Но смеяться и перешепты-

ваться надоедало: они вздыхали и отчужденно задумывались. Старики были терпеливее и скуку принимали, как необходимую обязанность. Когда звонил телефон, все оживлялись и с любопытством следили за разговором секретаря — молодого человека, прилично одетого, с тихим, холодным голосом.

Мартын Мартынович смотрел в окно, и ему казалось, что у него стынет и глохнет душа: за окном было мутное небо, свинцовое озеро в глинистых берегах и неисчерпаемые отвалы рыжей земли с забытыми на них ворохами старых досок, бревен и щепок. Галки, махая крыльями, как тряпками, летели куда-то толчками, без цели и желания. И Мартын Мартынович впервые в жизни почувствовал в этот миг ужас перед мертвой силой человеческого безразличия. Он сам ощутил в себе холодное отупение в эти часы покорного ожидания.

Наконец, секретарь прошел в кабинет, а когда вышел, показал на дверь головой и с холодной вежливостью пригласил Мартына Мартыновича:

— Пожалуйста. Можете.

Мартын Мартынович, сохраняя степенность, вошел в большой кабинет, туго заставленный мягкой черной мебелью. За большим столом сидел чисто выбритый, в сером костюме, человек с узким лбом и тяжелыми щеками. Под пенсне краснел маленький клювик. Замнач осторожно снял пенсне, встал и ожидающе заулыбался. Казалось, что лицо его лоснилось. Должно быть, он сытно позавтракал и переживал удовольствие от переваривания пищи. Гостеприимно и дружелюбно он протянул руку Мартыну Мартыновичу и заговорил непринужденно, по-приятельски:

— Милости прошу!.. пожалуйста!.. А я, представьте, в толк не возьму, кто может быть с докукой из старого города... Извините, летчик Подсосов — не родственник вам?

Мартын Мартынович промолчал: он почувствовал, что отвечать на этот вопрос ему не следует.

Не переставая улыбаться, замнач радушно показал на кресло.



— Погодка-то какая, а? Не весна, а элегия... под сурдинку, что называется... хоть бы скворцы свистели, да мы их выгнали... куда там скворцов! Мы скоро и ваш город скворчнем, дай срок... Впрочем, страшен сон, да милостив бог... А сердце сердцу весть подает... Вот я как-раз думал о вашем богоспасаемом городишке: в молодости, студентом, здесь меня на улице казаки нагайками отстегали... так, за здорово живешь...

Он засмеялся и обнажил бугристые десны, с двумя золотыми зубами. Он вскидывал плечами от смеха и переступал с ноги на ногу. Но глаза его, остервенные, не смеялись, а шурились и украдкой ощупывали Мартына Мартыновича.

— Итак, чем могу служить?

Он рыхло упал в кресло.

— Да, да, чудесные мысли... — горячо согласился он, когда Мартын Мартынович изложил ему свой план озеленения города.—Превосходное предложение. План широкого масштаба... Ха, старики-то какие!.. Смелее и жизнерадостнее молодых... Вот построим заводы, спроектируем окончательно соцгород, тогда и размахнемся. А сейчас... — Он с сожалением вздохнул и пожал плечами.— А сейчас... ну, что я вам скажу?.. У нас еще руки не доходят. Мы еще не закончили сооружений первой очереди. Нас хлещут и в хвост, и в гриву. Вот завод комбайнов мы должны сдать в эксплуатацию к первому июня, а из-за всяких прорывов и неполадок едва ли он будет готов к осени. Народ у нас хорошо понимает, что их бытовые потребности — дело последнее в сравнении с государственными задачами. Человек должен ждать, а госстроительство не считается с нашими благими желаниями. Потерпим и мы с вами.

Мартын Мартынович смотрел на замнач, и его раздражало странное подмигивание левого его глаза.

Лицо приветливо улыбалось, тенорок разливался с тепленькой задушевностью, точно этот человек был очень рад встрече с Мартыном Мартыновичем, как со старым другом, которому

хочется сказать все, что накопилось на сердце.

Но своим подмигиванием и улыбочками этот уютно сидящий в кресле человек как будто давал понять Мартыну Мартыновичу, что он насквозь его видит, что его планы озеленения — только игра словами, что с такими пустяками не приходят к руководителям гигантских предприятий, что у него, у Мартына Мартыновича, есть какие-то более серьезные темы для беседы.

— Но ведь социалистическое государство и создано для того, чтобы люди с наименьшими жертвами создавали новую систему жизни.

Замнач пристально взгляделся в Мартына Мартыновича, и глазки его заиграли смехом.

— Это так говорят дикторы, когда читают «последние известия по радио». А мы с вами прожили большую жизнь и умудрены опытом. Действительно не терпит ни сказок, ни песен: это — конкретный план и суровая необходимость. И план, и необходимость отрицают благоденственное и мирное житие. На место отдельной личности становится коллектив... ну, и, разумеется, государство... Вот-с. Я со своими культурными потребностями обязан жить с семьей в двух комнатах, вы, — несомненно, в конуре, а рабочие и служащие — в бараках. В общежитиях дается только комната и в дом набивают людей, а не человек. И эти люди обязаны отдавать себя государству. Теперь эпоха жертв, а не наслаждений.

— Но жертва жертве рознь, — попробовал возразить Мартын Мартынович. — Есть жертвы, которые приносятся с наслаждением, как высокое проявление личности.

Замнач не обратил внимания на его слова, — похоже было, что он совсем их не слышал. Подмигивая, поблескивая золотом зубов, он изливал свои мысли Мартыну Мартыновичу с горячим увлечением, вскидывал длиннопальные руки и опять бросал их на стол.

— Программа личного поведения дана, предписана, и так называемая творческая инициатива определена и

регламентирована. Извольте-с выполнять, перевыполнять, а не суйтесь со своими вдохновенными озарениями. Для нас существует один категорический императив: железный план и график. То, что за пределами этого, — от лукавого... Да — да, нет — нет...

Замнач встал и, не стесняясь, поднял штаны на кругленький живот. Он раз за разом пристально поглядел на Мартына Мартыновича, снял пенсне и пошлепал им по ладони. Этим жестом он явно показывал, что больше ему говорить не о чем.

Мартын Мартынович яростно дергал бородку и задышался. Этот благовестник механической системы смеялся над ним.

— Позвольте-с! Это же теория... бесчеловечного процесса... во имя... во имя какого же идеала?.. А где же мечта и творчество?

Он говорил косноязычно, обрывая, проглатывая слова.

Замнач надавил кнопку звонка и сразу стал холодным и официальным.

— Мечта и творчество — продукт календарного плана. Это — то, что мы называем оптимальными возможностями. Это — практический вопрос, — пункт повестки дня, а не капризный образ фантазии. Мы с вами, дорогой товарищ Подсосов, должны понять, что романтический век ушел вместе с нашим прошлым. Наша седина блестит серебром газета, а не солнцем юности. Век машин, электричества и суровой организованный дисциплины рождает не поэтов, а холодных и трезвых инженеров, экономистов и рационализаторов. Предоставим последним поэтам хоронить своих мертвецов...

В дверях показался секретарь и молча стал в бесстрастной позе ожидания.

— Просите следующего!

Замнач подмигнул и протянул руку Мартыну Мартыновичу.

— Мое почтение... Очень рад, очень рад...

Он быстро выпрямился и, как показалось Мартыну Мартыновичу, взглянул через его плечо ослепшими глазами. Лицо его застыло, как маска.

— Прошу-с!

Навстречу Мартыну Мартыновичу шел с угодливой улыбкой, наклонясь вперед, длиннолицый инженер, подстриженный ершиком.

★

Мартын Мартынович шагал торопливо, высоко подняв голову и размахивая палкой. Лицо его было сурово, брови сдвигались, поднимались и хмурились то изумленно, то гневно. Всю дорогу он бормотал что-то в бороду и гмыкал. Домой он не пошел, а направился по заречным увалам в парк. Лес дымился вдали, а над ним чернели своими китайскими пагодками ели. По опушке щетинилась молодая поросль. Эта поросль сама, без участия Мартына Мартыновича, родилась уже в советские годы. И он радовался и гордился, что земля плодovито, как мать, каждый год покрывается новой зеленью. И как ни стараются окраинные жители рубить и ломать эти деревья, они еще пуше и упрямее ползут на пустири и луговые околицы. Идет упорная борьба между людьми и лесом, а лес, оборванный, изломанный, обшарпанный козами, все-таки неудержимо идет навстречу свалкам и глинистым оврагам. Трава уже ярко щетинилась по обе стороны дороги, и всюду тянулись на восковых стебельках кубышки одуванчиков. Из мохнатых почек вербы уже выползали зеленые листочки. Солнце то жарко вспыхивало, то скрывалось за облаками, и на его белый круг можно было смотреть свободно. По бурьянному полю в зеленых и бурых пятнах быстро скользили тени облаков, и в солнечном сиянии зелень загоралась ярко и переливалась золотом. Седые и грязные ключья прошлогодней травы поднимались с земли навстречу бегущим теням, а пролетающие тени подметали их и уносили с собою.

Пахло прелой землей и зеленью травы, и если бы дул ветерок со стороны леса, Мартын Мартынович услышал бы запах весенних почек и новорожденных листьев.

Он свернул с дороги направо, в молоденькие заросли осины, березы и ивняка. Бархатно-седые сережки ивы рой-

лись на ветру и сияли шелковым пухом. Зеленые бутончики листьев вывалились, как из раковин.

Флейточками перекликались какие-то пичуги, и близко, и далеко странно трещали сухие ветки, и гулкой шорох плавал в глубине леса, как шум дождя. И эти шорохи, флейты и шум разливались волнами — звонко, гулко, глубоко. Где-то кричал и бил клювом дятел — и не один и не два, — много дятлов, а может быть, это лес откликался одному десятками перестуков. Где-то недалеко ворковали горлинки. Мартын Мартынович очень любил этот весенний аромат в парке: и осенним горьковатым тлением пахнет, и хмельным дыханием первой травы...

Мартын Мартынович шел в глубь леса, в толпу белых берез и мшистых дубов, и не мог остановиться: эта стволистая глубина увлекала его в себя. И чем дальше он шел по мокрой коричневой листве, тем грустнее ему становилось. Ксе-где в ямах и густых зарослях молодых лип синел зернистый снег, присыпанный прошлогодними листьями и тоненькими веточками, сплетенными, как кружево. Мартын Мартынович задумчиво останавливался (мешала одышка), оглядываясь по сторонам, и слушал свое сердце. Из кустов выскочил заяц и большими прыжками бросился наутек, вскидывая кургузым задом.

Мартын Мартынович вышел на широкую аллею и присел на гнилой столбик бывшей когда-то скамейки. Она развалилась, гнилушка от досок валялась здесь же, засыпанная листьями и седым бурьяном, а новую никто не догадался сделать. Кому она нужна? Лес был беспризорным и дичал. Люди приходят сюда толпами, и по лесу идет треск и скрип. Им весело, они поют песни, смеются, и в разных местах рычит патефон. Зелень они не уносят домой: она вянет у них в руках, и они бросают охапки наломанных веток и топчут их. Однажды Мартын Мартынович набрел на группу молодых парней и девушек, — должно быть, служащих. Все одеты были прилично, а у девушек были искусно завитые волосы, ярко

краснели ногти и губы. Молодые люди наклоняли длинные ветви и ломали их. Этого безобразия не переносил Мартын Мартынович — у него замирало сердце и перехватывало дыхание.

— Друзья мои, зачем вы калечите деревья? Это же — дикое варварство.

На него обратили внимание только тогда, когда он подошел уже близко. Женщины изумленно оглядывали его. А один парень засунул руки в карманы брюк и нахмурил брови:

— Вам что здесь, собственно, угодно, гражданин?

— Я убедительно прошу вас прекратить обламывать деревья. Смотреть невозможно.

— А вы не смотрите. — Молодой человек подошел к нему и угрожающе вытаращил глаза.

— Вы поймите... Ведь люди тратили силы, чтобы насадить эти деревья... охраняли их с любовью... А вы этого не знаете и знать не желаете...

Мартын Мартынович помнил только один момент: другой парень в голубой майке, могучий, как атлет, с маленькой бритой головой, подошел к нему, улыбаясь, быстро вскинул его себе на плечи, отнес его в заросли кустарника и положил на землю.

Страдая от стыда и обиды, Мартын Мартынович молча поднялся и, сгорбившись, пошел обратно. Ему было невыносимо больно, когда хлестал его сзади визгливый хохот завитых женщин. Такого позора и оскорбления он не испытывал еще никогда в жизни. Он долго переживал эту обиду: несколько дней не выходил из дома, вздыхал и бродил по садику, как больной.

Плыла отовсюду тишина в шопотах, шелесте, перестуках и флейточках — та лесная тишина, таинственная и живая, которая волнует душу невнятными тревогами и воспоминаниями.

...Да, шестьдесят семь лет — это уже ворота кладбища. Но жить хочется, как в юности, — глубже хочется жить, смелее, потому что мечта сейчас — не утопия, не сновиденье, а творческий замысел и реальная цель. Лишь была бы вера в свои силы и бодрость духа. Что ж, пусть жизнь прожита, но

эта его жизнь в неизвестном, захолустном городке была честной и одухотворенной. Он делал дело жизни — и лес разводил на здоровье и на радость людям, и детей учил и воспитывал — направлял их на борьбу за счастье. Многие из них унесли с собою благодарную память о нем, как о друге, кое-кто и сейчас пишет ему горячие письма, а иные заходят мимоездом, чтобы позвать ему руку. Вот Володька только не балует его письмами и давно к нему не показывается. Конечно, он очень загружен работой, женился, своя семья... нет свободного часа. Правда, он однажды пригласил его переселиться к нему, но Мартын Мартынович решительно отказался: он — не беспомощный инвалид, он может работать, он убежден, что еще пригодится народу. Его помощь нужна и сейчас, пусть о ней никто не догадывается: он до конца дней будет ухаживать за деревьями и сажать новые.

Давно это было, а как будто вчера. Вот здесь, по этой аллее (тогда она была еще молоденькой, прозрачной, и парк засаживался только второй год), он с Надей гулял под руку. До сих пор не угасает в памяти очень теплый летний вечер. Солнце только-что зашло за этот тонкоствольный лесок, и небо ослепительно горело оранжевой пылью. Длинные барашки облаков пылали снизу ярчайшими языками пламени. Белокурые волосы Нади, пышные, шелковые, пылали так же ярко, как эти облака. И, милая, родная, с задушевным голосом и доверчивыми глазами, она казалась ему святой, с сияющим нимбом. Тогда она сказала ему:

— Мне почему-то кажется, что я умру раньше тебя и, может быть, молодой. Но умру я с сознанием, что ты будешь жить хорошо. Подумай: два года назад здесь были голые пустыри, а теперь... Сажать деревья ради деревьев — пустое дело. Но у тебя чудесная цель: воспитание человека. Примеру твоему последуют другие города. Вся наша страна зазеленеет, и люди станут лучше, богаче, дружнее...

Эти ее слова были пророчеством, и они тогда потрясли его. Просто сказа-

ла, раздумчиво, с внутренним каким-то озарением, точно ей открылось что-то долгожданное, о чем она думала постоянно. Тогда она была беременна Володькой. Может быть, эта беременность волновала ее такими неожиданными и странными мыслями? Ведь говорят, что беременные молодые женщины всегда выражают неожиданные мудрости: часто толкуют о смерти, как будто мечтают о жизни. Говорят о ней грустно, но улыбаются. Так говорила и Надя: и ее слова были нежны и певучи, точно она о любви своей говорила. Но он испугался и с болью в голосе сказал, крепко сжимая ее руку: — Перестань, Надя! Этого ты не должна и не имеешь права говорить. Нам не дано знать, когда умрем, но пока живем, — будем стремиться к тому, чтобы жизнь была значительной и достойной.

Она кротко ответила, улыбаясь:

— Но, Мартын, я и говорю о жизни. Достоинно жить — значит достойно умереть: хорошо, гордо закончить себя... победоносно...

Он с негодованием и ужасом зажал ей рот, а она лукаво посматривала на него и смеялась.

Первый их ребенок умер, и после этого она жила с неугасимой и кроткой печалью.

А после того, как родила Володьку, умерла, точно всю свою жизнь отдала ему. Но скорбь и какую-то вину перед ней Мартын Мартынович нес в себе все эти годы.

Парк вырос и стал настоящим лесом. Правда, он небольшой, — каких-нибудь пять десятин, — но он густой, в молодых зарослях, и под ногами уже не голая глина, а мягкая трава. И когда поднимается ветер и несет облака пыли по дорогам, лес шумит, как грозовой ливень. Хорошо смотреть, когда березы машут космами своих плакучих ветвей, а осины трепещут листьями и брызжут целыми фонтанами искр. Но сосны — такие величавые, бархатные, спокойные...

По выходным дням и революционным праздникам сюда идут вереницами горожане — рабочие, служащие — и бла-

женствуют до позднего вечера. Лес гремит песнями, смехом, музыкой. Многие лежат на траве, полуголые, и молча смотрят на вершины деревьев и на синие клочки неба.

Горсовет давно собирался оборудовать здесь площадки для игр, разбить цветники, провести водопровод для фонтанов, — одним словом, хотел устроить парк культуры и отдыха. Но до сих пор из этих намерений ничего не вышло. И парк остается беспризорным: деревья ломают хулиганы, по ночам окраинные жители рубят молодняк на дрова и пасут коз в зарослях. Он не мог с этим бороться и переживал острое отчаяние.

Мартын Мартынович сидел долго среди этого лесного безмолвия и чувствовал душой, как шевелятся, шепчут, пробуждаясь и потягиваясь, деревья, кусты и травы. А может быть, это ворошат прошлогодними листьями насекомые, воскресшие от солнца... И верно: на кучке хвороста, на полусгнивших веточках толпятся, тесно прижимаясь друг к другу, божьи коровки, красные, с двумя черными точками на спинке, и их спинки похожи на личики. Они медленно шевелятся, толкаясь, и нежатся на солнышке. И когда Мартын Мартынович увидел этих коровок, внезапно услышал замирающий звон шмеля...

Очень далеко за городом перекликались гудки паровозов и устало пыхтел пар. На строительстве тревожно завывала сирена. Оттуда, пересекая аллею, над вершинами деревьев, испуганно летели галки. Где-то ссорились сороки, вереща, как трещотки.

И среди этой тишины город мерещился, как далекое прошлое. Как странно: с каждым годом этот город становился менее знакомым, как будто удалялся от него. Хорошо и больно чувствовать свое одиночество. Здесь он будто у себя дома: каждое дерево — родное, и каждое из них — как будто вежа в его жизни. Теперь он никому не нужен, забытый человек в отставке, с насмешливым прозвищем «Зеленая радость». Все, что мог, он уже совершил в былые годы. Что ж, и это хорошо: всякий живет, как может, на сколько вложено

в него сил. Впрочем, он тоже будет жить, жить после себя — этот парк и бульвар в городе будут расти каждое лето и шуметь своими листьями. Ведь подлинная слава — не в блеске и не в восторженных криках, а в сознании хорошо выполненного личного назначения. Крики умолкают, людям надоедает кричать одно и то же, а блеск всегда тускнеет и гаснет. И единственные хранители славы — вдохновенные деяния человека. Бесславие — это бесследность существования.

Когда Мартын Мартынович возвращался в город и проходил через березовую рощу — любимый его уголок, прозрачный, воздушный в близине чистых стволов, — он увидел группу рабочих, которые выгружали топоры, пилы и еще какие-то инструменты с грузовика. Рядом парнишка разжигал костер и, стоя на четвереньках, дул на огонь. Дым поднимался прямо вверх. Еще издали Мартын Мартынович почувствовал этот смолистый запах дыма. Он сильно встревожился: никогда он не встречал здесь рабочих. Если же привезли их сюда на грузовике с инструментами, — значит, они должны что-то делать в этой роще. Может быть, горсовет все-таки решил построить обещанные павильоны? Но почему в лесу, а не на аллеях и не на полянах? Мартын Мартынович задыхался от волнения и страха, и сердце билось у него так больно, что он часто останавливался от головокружения.

Едва волоча онемевшие ноги, бледный, больной, он подошел к рабочим. Рабочие равнодушно поглядывали на него и, разговаривая между собою, продолжали выгружать инструменты и парусиновые палатки. Инструменты падали на землю и звякали железом. Рыжий парнишка у костра, осовелый от дыма, уставился на него с нелюдимым любопытством. Пожилой человек, с угрюмым скуластым лицом, с клочковатыми усами, кривоногий, в серой кепке, надвинутой на лоб, сердито обернулся и нехотя зашагал к Мартыну Мартыновичу:

— Вы чем тут, папаша, интересуетесь?

— А вот любопытствую: что вы хотите здесь делать?

Угрюмый человек,— должно быть, десятник,— взглядывался в него исподлобья. Он ткнул кулаком в усы и неохотно ответил:

— То-есть как что?.. Площадку расчищать будем.

— Позвольте-с... для чего же в лесу площадку?

— Извиняюсь, папаша: вы, должно быть, газет не читаете... Строительство будет... Стадион... на десять тысяч человек...

Десятник снисходительно улыбнулся, и из-под усов показались длинные редкие зубы, а на дряблых щеках зашевелились толстые складки.

— Но позвольте... Это — парк, культурное насаждение, а не лес... Эти березы я когда-то сажал вместе с ребяташками...

Десятник посуровел и насупился:

— Ну, и что же?.. Вы сажали, а мы будем рубить... Очень просто. Есть план, есть задание — надо реализовать...

Он надвинул кепку на нос и пошел мимо рабочих к грузовику.

Мартын Мартынович, потрясенный, побрел в глубь рощи.

★

В городе он зашел на телеграф и послал в Москву такую депешу Владимиру:

«Приезжай на помощь. Рубят березовую рощу».

Он побрел по бульвару: надо отдохнуть, притти в себя. К старости он стал слаб на слезу: как взволнуется, так и плачет; бывает, что плачет и от воспоминаний. Вот и сейчас: послал телеграмму и не удержался — заплакал. Вытирая глаза платком, он опустился на скамейку. Прохожие смотрели на него с удивлением и оглядывались: почему этот сухопарый старик, в дореволюционной шляпе, плачет?

Так сидел он долго и плакал. Вдруг около него тревожно крикнул девичий голосок:

— Что с вами, Мартын Мартынович? Что случилось, дорогой?

Он испуганно поднял голову. Перед ним стояли две девушки в белых беретах, в легких пальто. Он узнал в них тех комсомолок, которые недавно подбежали к нему в сквере, а потом проводжали его. Он невольно улыбнулся и отодвинулся на край скамьи. Девушки наклонялись над ним и с изумлением взглядывались в его лицо. Толстушка Агния смотрела на него молча и сердито, а черноволосая Наталья хоть и улыбалась, но была поражена.

— А мы несемся и видим: Мартын Мартынович сидит и плачет...— говорила она встревоженно.— В чем дело? Что случилось? Несчастье, что ли, какое?

Агния грубовато ответила ей:

— Да он совсем больной. Черти! Бросили старика и — никакой заботы...

— Не обо мне забота, девушки... нет...

Он встал и, не переставая улыбаться сквозь слезы, протянул им руки.

— Может быть, я многого не понимаю... Но я сорок лет вместе со школьниками, а подчас и с родителями их, насаждал бульвары, скверы и этот парк на окраине. Это стоило больших трудов и борьбы с косностью, с пережитками и предрассудками обывателей. Я был молод, полон сил и веры в будущее. И вот-с... Извольте-с... Березовая роща сейчас вырубается...

— Как вырубается? — возмущенно крикнули девушки. — Это — ерунда... Кто вам сказал?

— Приехали рабочие с топорами, с пилами... Место, ведь видите ли, облюбовали... будто бы для какого-то стадиона...

Девушки переглядывались и недоверчиво ловили его взгляд.

— Подождите... это не так, Мартын Мартынович... — рассудительно сказала Наталья.— Мы знаем хорошо: стадион будет построен... Мы сами боролись за него... Но уверяю вас, что строиться будет он не в березовой роще... об этом и разговора не было...

— Но почему же... почему бригада рабочих в самом центре березовой рощи?.. Их послали рубить, расчищать место для строительной площадки...

Факт, милые девушки... непреложный факт... Я уже и сыну послал телеграмму...

Агния решительно и зло подхватила под руку Наталью и рванула ее за собой.

— Пойдем, Наталья! Надо бунтовать, чорт бы их побрал...

Наталья горячо схватила его пальцы и пожалала их.

— Мартын Мартынович, вы, пожалуйста, не волнуйтесь... Мы сейчас все разузнаем... Это какое-то недоразумение... Вечером мы известим вас...

Он улыбался и молча смотрел на девушек с умилением и скорбью. С замирающим сердцем прислушивался к себе. Что-то новое и странное совершалось в нем—обрывалось дыхание, немели ноги и руки и пронизывались острыми иголками. Казалось, что пройдет несколько мгновений—и он упадет здесь же на бульваре и больше не встанет. У него закружилась голова, и он, с трудом владея собою, грузно сел на скамью.

Домой он еле добрался: часто оставался на тротуаре, чтобы отдышаться, и не замечал людей, которые быстро шагали ему навстречу и, толкая, обгоняли его. Но как только он отворил калитку, понял, что в комнату к себе войти не может: не сделал чего-то очень важного, неотложного. Он застыл у калитки, страдая от бессилия вспомнить: что же, собственно, он должен был сделать, куда пойти, кого увидеть?.. Мысль об этом была яркой и жгучей, когда он был на телеграфе. Но потом она как-то внезапно погасла. Очень странно, в тот момент, когда мысль эта охватила его (если бы вспомнить, если бы вернуть ее!.. такая простая и гневная мысль...), он ощутил прилив бодрости, решимости, энергии... Но уже в дверях, сталкиваясь с людьми и негодуя на них за грубое пренебрежение друг к другу и к нему, старому человеку, он сразу ослабел, и мысль эта потухла... И тут же нахлынула на душу огромная печаль...

От калитки его оттолкнула полная женщина, с синими отеками под насмешливо-злыми глазками. Она несла две

полных вязаных сумки с продуктами. Мартын Мартынович встречал ее часто на дворе, зычно-крикливую, неуживчивую, и знал, что зовут ее Марьей, но не интересовался ею, питая к ней враждебную антипатию.

— Кой чорт, на дороге-то стоишь... идол старый!.. Дай пошире ходу женщине!..

И оставила калитку открытой. А во дворе, не оборачиваясь к нему, широкозадая, мясистая, кричала во всю глотку:

— Наплодили паразитов... Пенсионеры!.. Ишь, словечко-то какое выдумали! Я всех бы их на принудилку вымела...

Мартын Мартынович со строгим лицом степенно пошел по тротуару обратно в город.

«Ей тесно жить, этой женщине... Она только существует, жадно существует... И радость человеческую уже пропустила через мясорубку. Осталась одна страсть—еда и приобретательство... Мещанство особенно безобразно и подло в наше время...»

Он долго брел по тротуару, держась около стен домов, чтобы не беспокоили его прохожие. Шел он без цели и направления, с одним мучительным желанием найти утраченную мысль. Пожалуй, надо пройти на бульвар, потом к телеграфу—его тянуло именно туда: может быть, она опять воскреснет в мозгу.

«Как я стал забывчив!.. Стар... должно быть, умру скоро...»

Из-за угла, гулко отбивая шаг, вышел на площадь отряд красноармейцев с винтовками на плече. Они высоко выбрасывали ноги и энергично били подошвами по мостовой. Мартын Мартынович остановился и сразу ощутил внезапную легкость в теле. Он с удовольствием смотрел на шагающих красноармейцев, на ритмические размахи их рук, на здоровые лица и чувствовал, как сердце свежеет у него и начинает биться спокойнее. Вдруг красноармейцы грянули какую-то веселую песню в такт своим брякающим шагам, и площадь от этого как будто стала многолюдной и взволнованной.

За сквером желтели четыре колонны горсовета с государственным гербом на карнизе. И как только Мартын Мартынович увидел эти колонны, он сразу вспомнил, что именно сюда, к председателю Букрееву, он и решил пойти с этим своим гневным протестом.

Он поднялся на второй этаж и, держа шляпу и палку в одной руке, со старческой важностью вошел в приемную предгорсовета. Два пожилых, давно небритых человека ждали очереди на прием. Они скучали, и от этого небритые их лица казались сонными и грязными. Секретарь в коричневом френче, краснолицый, с веселыми глазами, разбирал какие-то бумаги, курил папиросу и плаксиво морщился от дыма. На Мартина Мартыновича он не обратил внимания и даже не поднял головы, когда он подошел к столу и требовательно заявил:

— Я должен видеть предгорсовета по срочному делу. Доложите, пожалуйста.

Секретарь притворился глухим и молчал.

— Вы меня слышите?

Кто-то из сидящих остроил:

— А вы его за ухом почешите...

Секретарь не обратил внимания и на эту шутку. Мартын Мартынович ослабел, и у него забилося сердце. Он беспомощно постоял несколько секунд и вздохнул.

— Товарищ Арбузов,— недовольно пробасил кто-то сзади Мартина Мартыновича,— нельзя же так... Старый человек... распорядков не знает... Помочь надо... объяснить толком...

Секретарь поднял голову и взглянул мимо Мартина Мартыновича играющими глазами. За дверью кабинета председателя кто-то залился визгливым хохотом, а потом несколько голосов гулко и глухо заговорили все вместе. Позади тот же голос, который посоветовал Мартыну Мартыновичу почесать секретаря за ухом, с веселой завистью пояснил:

— Букреев ликует... жизнерадостная душа... прямо гармонист по характеру... легко с ним работать...

— Работать-то легко,— заметил кто-то недовольно:— только плясать под его гармонию трудно...

Секретарь вдруг пошлепал себя по щекам ладошками, поднялся и потянулся. Потом сунул в руки Мартина Мартыновича клочок бумажки и с насмешливой фамильярностью приказал:

— Ну-с, гражданин, напишите, кто вы и по какому делу. Немножко посидите, помечтайте, пока дойдет до вас очередь.

Мартын Мартынович ждал с час и очень устал. Ему казалось, что за это время он передумал очень многое, но никак не мог потом вспомнить, о чем думал. Мысли путались, переплетались, роились, потухали и опять вспыхивали, но в голове была только туманная канитель, а в сердце — изнуряющая тоскливая боль. Несколько раз его охватывала дремота: в ушах стоял шмелиный звон, комната кружилась колесом, и головы людей плавали в воздухе, как мыльные пузыри. Но он сидел с суровым достоинством, замкнутый, и всем казалось, что он действительно пришел сюда ради какого-то большого дела. На обычных просителей, обиженных, мелочных, которые приходят сюда с личными претензиями, этот высокий и сухощавый старик не был похож. Секретарь время от времени поглядывал на него вприщурку, озадаченный каким-то вопросом, потом не выдержал и спросил с досадой:

— Вы, уважаемый, не папаша ли будете легчика Подсосова?

Мартын Мартынович, вероятно, не слышал вопроса секретаря и ничего не ответил. Секретарь пожал плечами и почему-то усмехнулся.

Мартын Мартынович вошел в кабинет предгорсовета с таким же достоинством, как и в приемную, хотя от долгого и томительного ожидания чувствовал себя совсем немощным.

Товарищ Букреев, кругленький, малорослый, бритый с затылка до подбородка, с пухлыми щеками и с детским капризным ртом, встретил его стоя.

— Извините, что заставил долго ждать: жгучие, неотложные дела... Оперативность прежде всего... Здравствуйте!



Садитесь, пожалуйста, и выкладывайте...

Он сел и вдруг широко открыл глаза, и Мартын Мартынович понял, что эти серые глаза не видят его, что председатель думает о чем-то своем, что ему осточертело возиться с посетителями.

— Предварительно я хочу вам напомнить, товарищ предгорсовета,— с некоторой торжественностью начал Мартын Мартынович,— что я тот самый человек, который всю жизнь сажал деревья в городе. Учительствовал здесь много лет, и сотни людей прошли через мою школу...

— Да, да, я знаю... — перебил его товарищ Букреев, играя пальцами.— Слышал о вас... хотя о сыне вашем, конечно, больше...

По своему характеру Букреев был, очевидно, юркий, жизнерадостный парень: он беспокойно возился на стуле, и щеки его, и блестящий череп, и широкий нос мелькали перед глазами Мартына Мартыновича, как у непоседливого ученика, которому до смерти не хочется сидеть в классе и слушать скучный урок.

— Так вот-с, видите ли... город утопает в зелени... и каждое дерево связано с человеком, который его сажал. Знаете ли вы, с каким трудом связана была посадка парка? Это была борьба не только с пустырями и глиной, но и с темнотой, с косностью, с уездным бытом. И вот, когда этот парк стал гордостью населения и единственным местом здорового отдыха, вы совершенно бессмысленно распорядились рубить самую чудесную часть леса — березовую рошу. Имею ли я право решительно протестовать против этого возмутительного действия?

Предгорсовета сочувственно кивал головой и с веселой улыбкой играл своими пальцами:

— Не только имеете право, но обязаны... На вашем месте я всесветный скандал бы устроил...

Мартын Мартынович опешил. Президиум вынес постановление о вырубке березовой роши, а предгорсовета призывает бунтовать против своего же постанов-

ления. Сочувствуя гневу Мартына Мартыновича и одобряя его протест, товарищ Букреев или не понимал, о чем идет речь, или потешался над стариком.

— Разрешите задать вам один вопрос, товарищ предгорсовета?

Товарищ Букреев с радостью устремился к Мартыну Мартыновичу и приветственно поднял руку.

— Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Подсосов!.. Сделайте одолжение!..

Мартын Мартынович покашлял, подумал и пристально поглядел на Букреева. Этот взгляд чем-то встревожил предгорсовета, и веселая улыбка исчезла с его лица. Он откинулся на спинку стула и деликатно предупредил:

— Только я вас прошу не распространяться, а, как говорится, закругляйтесь... (Он взглянул на часы.) Заседание у меня минут через пять... Сегодня это — третье заседание... Устал зверски...

Мартын Мартынович потух и печально вздохнул.

— Можно обойтись и без вопроса... Спасибо, что выслушали... Я понимаю...

И он медленно встал. Букреев как будто испугался, что Мартын Мартынович сейчас уйдет, и сам встал.

— Ну, что вы, что вы!.. Я готов слушать вас до конца... Спрашивайте, пожалуйста!..

И Мартын Мартынович видел, что предгорсовета и тяготился им, и опался грубо оборвать беседу.

— Скажите, товарищ Букреев, было ли в вашей жизни такое дело или, скажем, такой поступок, которым бы вы гордились до сих пор и от которого получили бы вышнее удовлетворение?

Товарищ Букреев выпрямился и с крайним изумлением уставился на Мартына Мартыновича. Он высоко поднял рыжеватые брови, а потом недовольно насупись.

— То-есть конкретно?..

— Я задаю конкретный вопрос... очень человеческий... Скажем, борьба, которая бы вытекала из вашего поведения, из души, так сказать... и цель этой борьбы определяла бы всю вашу жизнь...

— Допустим, что это было, — улыбаясь, неуверенно подтвердил Букреев. — Что же вы хотите сказать?

— Хорошо-с. И вот эта борьба дала результаты: вы победили, достигли цели... Но вдруг, в один печальный момент, некие люди, без всякого основания, уничтожают плоды вашей борьбы... уничтожают самым головотяпским образом...

Товарищ Букреев похолодел, и в глазах у него блеснула вражда. Он прищурился и с острой неприязнью несколько раз ощупывал и лицо, и фигуру Мартына Мартыновича. Почесывая ногтем мизинца висок, он внушительно заявил:

— Дожили вы до преклонных лет и за два десятилетия советской власти не постигли самых простых вещей: не поняли, что интересы трудящихся являются решающим фактором нашей политики. Вы протестуете, когда дело касается вашей личности...

— Не моей, нет!.. — крикнул Мартын Мартынович, поднимая руку. — Прошу оставить в покое мою личность...

Но Букреев продолжал с насмешливым негодованием:

— Слышать такие протесты от отца героя, которым гордится наш народ, просто неприлично. Роща, роща!.. Роща сама по себе — чепуха, стоеросовая бесполезность, если она не играет роли в осуществлении государственных нужд... Ради социалистической реконструкции города не только какую-то там рощу, но, если потребуется, принесем в жертву и не в пример большие ценности...

— Но если нет необходимости жертвовать даже рощей? Если это неосмотрительно, непродуманно?..

Букреев заложил руки за спину, вскинул голову и засмеялся.

— Думаю, что вы не в состоянии решать эти вопросы. Я понимаю, у каждого свой чирей чешется, но у нас с вами разные взгляды на вещи. Хотя мы вас уважаем и ценим, но часть рощи все-таки вырубим. Где же надлежит быть стадиону, как не в роще, согласитесь?!

Мартын Мартынович отяжелел и

сгорбился. Он медленно пошел к двери, но у порога остановился и строго сказал:

— Вы меня оскорбили, товарищ предгорсовета. Но должен вам заметить, что дармоедом я не был никогда, а по советской земле хожу с сознанием заслуженной чести. Да-с, уж если на то пошло, то вы оскорбили не только меня, но и летчика Подсосова.

— Это каким же образом?.. — задорно крикнул Букреев, но Мартын Мартынович махнул рукой и вышел из комнаты.

В конце коридора кто-то положил руку на его плечо.

— Какой вы обидчивый человек, товарищ Подсосов! — засмеялся Букреев. — Ну что вы хотите доказать? Вы ничего не доказали. Горсовет хочет сделать трудящимся города большой культурный подарок. А вы против этого... Ведь так же?..

— Я — против уничтожения культурного достояния...

Букреев потер ладонью бритую голову и опять засмеялся.

— Так чем же я оскорбил летчика Подсосова?

— Владимир Подсосов сам сажал эту рощу...

— Ну, так он с удовольствием же будет аплодировать нашему решению, — обрадовался Букреев. — Уж будьте уверены, что он не одобрит вашего странного протеста...

Мартын Мартынович величественно дотронулся пальцами до полей шляпы и пошел к выходу.

★

Когда Мартын Мартынович вспоминал свою прошлую жизнь, он не находил ни одного пустого дня. Даже воскресенья и праздники были так же хлопотливы и шумны, как и дни школьных занятий. Приходили ученики с лопатами и гурьбою, во главе с ним, шли в школьный сад или на бульвар, или в городской сквер. Он не поучал детей, а рассказывал им интересные истории о том, как растения стремятся к верной дружбе с человеком. Считается,

что самый преданный друг человека — собака, но если изучить сложный и сказочный мир деревьев и цветов, то самыми прекрасными друзьями, кормильцами и врачевателями являются «неподвижные братья» — растения. Они доверчиво отдаются во власть человека и быстро приручаются. Родина человека — лес, и, когда человек сошел с дерева и стал обрабатывать землю, лес пошел за ним. И в культуре своей человек уже сам стал воспитывать и облагораживать дерево: появились замечательные породы яблок, груш, слив... Незаметно Мартын Мартынович привык ребят любить растения. Он видел, что дети становились умнее, благороднее, и среди них крепче завязывались дружеские связи. Ребята уже с юных лет проникались мыслью, что они готовятся для большой общественной работы, что в знании и в деятельности — весь смысл человеческого счастья.

А в самой школе тоже была неустанная работа: в мастерских готовились приборы для физики и математики, наглядные пособия, составлялись гербарии, переплетались книги, ставились спектакли, и много лет смешанный хор славился, как лучший в уезде. Двое певцов в Большом театре вышли из их хора. А известный теперь ученый садовод — один из тех юнцов, которые когда-то копались вместе с ним в саду и в парке. Рассказывали, что один из его учеников, впоследствии храбрый командир красной кавалерии, вступая в какую-нибудь деревню или город, в первую голову осматривал сады, а когда был смертельно ранен и лежал в избе, потребовал, чтобы его вынесли в садик. Но садик нашли где-то далеко, не меньше, чем за полверсты, и его отнесли туда на носилках. И для Мартына Мартыновича особенно было дорого и до слез трогательно, когда ему передали, что этот командир сказал перед смертью: «Был у меня учитель, и он пробудил во мне любовь к зеленым друзьям. Сейчас я особенно чувствую, как это чудесно».

В этот вечер, сидя в свой комнатке, Мартын Мартынович вспоминал прошлое, и ему было грустно: вот жил ко-

гда-то, работал, готовил людей к труду, а труд преображал в радостную борьбу. Он жил хорошо, нелицемерно, потому что мог работать и дышать только в ощущении широкой свободы. А свободу он знал только в деятельности, в борьбе. Это сознание воспитывал он и в детях. Ребенок, взволнованный трудом, уже становился гражданином.

Почему же сейчас он, Мартын Мартынович, принужден влачить свое существование на «покое»? Что значит быть пенсионером? Это значит быть «человеком в отставке». Ведь он несет в себе богатый опыт, знание людей, у него есть силы для работы и для борьбы, а его «отставили»: стар, ненужен, не может вместить в себя новой действительности... Уволили его деликатно: выразили ему благодарность за «самоотверженную работу» и выхлопотали ему пенсию. Чиновники и некоторые молодые учителя возненавидели его и свирепо травили за противоположные модным в то время экспериментам в школе — разным «дальтонпланам», «комплексным системам», «проектным методам» и так далее. Он считал их скороспелыми, не проверенными опытом, вредными для детей и чуждыми советской системе образования. И его отставили как человека консервативного, тормозящего дело реконструкции советской трудовой школы. Он остался только вместе со своими деревьями и прослыл чудачком, «Зеленой радостью». Но до сих пор он не мог согласиться с теми людьми, которые дали ему отставку: до последнего часа он считал себя не только годным к работе и нужным для школы, но и мастером, который способен передать свой опыт молодым учителям и поднять их до уровня художников своего дела. Его не приглашали ни на одно совещание при районо, ни на одно учительское собрание. А когда он решил однажды пойти на районную конференцию, его не допустили без мандата. Он оскорбился и не стал хлопотать о пропуске.

За эти годы он мечтал написать книгу о своей многолетней учительской деятельности: это была бы простая, но

поучительная история о том, как он изучал душу ребенка, как искал пути и средства, чтобы направить его в жизнь, развивая в нем навыки самостоятельности и укрепляя упорство, настойчивость в достижении цели. В этой книге он хотел показать, что только труд и борьба облагораживают человека, а постоянное совершенствование в работе и пытливость делают человека подлинным творцом. Долгие годы педагогической работы и живого общения с детьми разных возрастов и для него самого были богатой школой: он сам учился, воспитывался, рос и богател духовно. И он решил, что, если он напишет эту книгу, он выполнит последний долг перед обществом. Нельзя оставаться в долгу у жизни: тяжело будет умирать. А нужно умереть с улыбкой, чтобы преждевременно не закрыть глаза от стыда. Книгу эту он писал по ночам, в тишине, наедине с собою, как исповедь. Он покупал ученические тетради и писал медленно, старательно, без помарок, четким учительским почерком. Об этой своей литературной работе он сообщил на ушко только Владимиру и смущенно просил сохранить и опубликовать после него рукопись. Владимир, как и ожидал Мартын Мартынович, очень серьезно отнесся к его признанию:

— Ты, папаша,—умница: такую книгу ты давно обязан был написать. Страшно интересно. Она у тебя выйдет. Не беспокойся — будь уверен, что я выполню все твои указания.

И в каждом письме (а писал он редко) спрашивал, как подвигается у него работа. Это сочувствие сына очень бодрило и поощряло Мартина Мартыновича.

Пытался он работать и в этот вечер, но тетрадь расплывалась перед глазами, в сердце была невыносимая тоска. Он задыхался, ходил по комнате и со скорбью смотрел на портрет Нади над столом. Потом выходил на верандочку. Тьма города была пустой и тяжелой, а небо — мутное, беззвездное. Во флигеле, напротив, окно скучно туманилось оранжевым отблеском от невидимого абжура. Мартын Мартынович возвра-

щался в комнату и ложился на кровать. Но едва только закрывал глаза, голову наполняли бредовые видения, уродливые, страшные, бесформенные — какие-то клочки, обрывки бронзовых теней, которые налетали на него из мрака, накаленного далеким заревом. Он опять вставал, опять выходил на верандочку и опять долго ходил по комнате. И ему до слез хотелось, чтобы кто-нибудь вошел к нему — хотя бы любой человек с улицы — и нарушил бы этот его невыносимый покой одиночества... «Почему бы вот Клавдии Николаевне не зайти?.. Взяла бы да и поругала меня за то, что я был к ней невнимателен в школе...»

В эту минуту он услышал стук в дверь и знакомый девичий голос:

— Мартын Мартынович, можно к вам?

Перед ним стояли знакомые девушки — Наталья и Агния.

— Милости прошу... очень рад...

Девушки огляделись и сконфузились.

— Вы извините, — торопливо предупредила Наталья: — Мы прибежали к вам только для того, чтобы обрадовать вас...

— Все хорошо! — перебила ее Агния. Она горела румянцем, смеялась и ликующе притопывала около Мартина Мартыновича. — Ух, и горячо было... как чертям в бане...

Наталья тоже смеялась, но укоризненно качала ей головой.

— А вы садитесь, садитесь, дорогие мои!.. — ласково бормотал он: — Очень вы меня уважили...

Но девушки не сели: должно быть, они так переволновались, что до сих пор не могли успокоиться. Если врываешься к человеку с радостью и этой радостью хочется хорошо его взволновать, — можно ли в эти минуты сидеть спокойно? Хотя Наталья и следила за собой и старалась казаться уравновешенной, но и она не смогла сладить со своим порывом поликовать вместе с Агнией.

— А у вас очень приятно... — сказала она, оглядывая комнату. — Зелень... словно оранжерея...

Потом подошла к лимонному дереву,

обрызганному белыми цветами, и понюхала их.

— Какая прелесть!.. Неужели, Мартын Мартынович, вырастут лимоны?

— К новому году — обязательно...

Агния тоже наклонилась над восковым бутончиком.

— Понимаете, пахнут!.. И лимоном, и пирожным...

Мартын Мартынович ласково улыбался. Какие они обе разные!.. И похожи, как сестры... И ему чудилось, что в комнате стало как будто светло и нарядно, даже стены как будто отодвинулись дальше...

— Знаете что, Мартын Мартынович?.. — вспыхнула Наталья. — Разрешите нам заходить сюда... чтобы тоже ухаживать за этими лимонами... Или — так... без всяких... просто следить, как они наливаются...

— Очень хорошо!.. Мне будет только радостно...

Агния уже стояла перед портретом Нади и пристально вглядывалась в него. Рассматривала она его как-то странно: шагнет вперед и постоит, опять шагнет и опять постоит.

— Это кто же у вас, Мартын Мартынович?

Лицо на фотографии было обычное русское — круглое, с большими опечаленными глазами, с чуть вздернутым носом и крупным ртом, но в этом лице таилась такая доброта, что оно казалось прекрасным.

— Это — жена моя... — грустно ответил Мартын Мартынович. — Умерла молодой... Родила Володю, и умерла...

Наталья тоже подошла к портрету и долго не отрывалась от него. Обе девушки помолчали, вздохнули и как будто с сожалением отошли обратно.

Мартын Мартынович с удовольствием наблюдал их, и ему было приятно слышать их голоса, видеть их молоденькие лица. Наталья, с румяной смуглинкой, должно быть, знала, что она — миловидна, и немного рисовалась. Агния же, крупнотелая, налитая, похожа была на деревенскую девушку, которая недавно приехала в город: вела она себя откровенно и размашисто.

— Очень, очень вы меня растрога-

ли... — повторял Мартын Мартынович, потирая руки. — И вести такие хорошие... Теперь я спокоен...

— О наших похождениях, пожалуй, и рассказывать сейчас не стоит... — улыбаясь исподлобья, точно испытывая старика, сказала Наталья: — Как-то не хочется... Да это и не важно: дело сделано, все — в порядке...

— А мне — охота рассказать... — простодушно призналась Агния. — Люблю похвалиться, когда — удача...

Наталья шепнула ей с досадой:

— Перестань! Не надо тревожить старика...

Мартын Мартынович сел, давая понять, что он готов слушать их, что им тоже следует сесть, если они желают побеседовать с ним. Наталья села на табуретку, а Агния взяла стул, наклонилась к себе спинкой и оперлась коленкой на сиденье.

— Ну, что ж говорить, Мартын Мартынович?.. — сдержанно улыбнулась Наталья: — Поволновались, погорячились много, а событий-то все-таки мало. Ну, сначала забили тревогу в комитете комсомола, потом помчались вместе с секретарем в райком партии...

— Да ты — что?.. — рассердилась Агния. — По-твоему выходит, что ничего и не было... Ну, Наталка!.. Ведь это чорт знает что!.. И дрались, и бунтовали, и людей на ноги поднимали... До сих пор же продолжалась эта рукопашная...

— Ну, положим, не так уж было бурно и свирепо... У тебя — страсть преувеличивать...

— А у тебя — страсть преуменьшать... Ведь мы — сейчас только из райкома... не остыли еще...

— А когда ты остываешь, Агнюша? — усмехнулась Наталья. — С тобой и зимой жарко.

— Какая, подумаешь, хладнокровная!.. — обиделась Агния: — Будь добра, не кокетничай... Хотя перед дедушкой-то не притворяйся...

Наталья покраснела и отмахнулась от нее. Чтобы скрыть свое смущение, она с серьезным видом сообщила:

— Как и нужно было ожидать, Мартын Мартынович, секретарь горкома

очень близко к сердцу принял всю эту историю. Он даже Букреева вызвал. Правда, он тонко провел свою линию: сначала говорил о стройке, о всяких городских делах, а потом, как будто между прочим, спросил, зачем он березовую рощу хочет вырубить. Букреев, конечно, сразу же расхвастался: «Мы и с Москвой поспорим: стадион там — в парке, и у нас будет в парке». Секретарь даже встал от удивления: зачем же, мол, в парке, да еще в самом любимом месте горожан — в березовой роще? Букреев стал расписывать и мечтать, как прогремит он со своим стадионом в роще по всей стране. Тут секретарь его и охладил: порубку надо немедленно прекратить — это сумасбродство, стадион строить в другом месте, а лес превратить в парк культуры и отдыха. Букреев забегал, раскричался, запротестовал: «Не позволю вмешиваться в мои функции!.. Я сам отвечаю за свои действия, а по указке не работаю...» И особенно разъярился, когда неudelикатно вмешалась Агнюшка...

— А что?.. — подхватила Агния. — Я от души сказала ему: «Вы сглупили, товарищ Букреев, и вас надо здорово раздраконить...»

Наталья встала, поправила берет на голове, пригладила пальцами волосы и решительно заключила:

— Одним словом, история с хорошим концом. Секретарь шлет вам привет и просит передать, что березовая роща будет неприкосновенна.

Она выразительно взглянула на Агнию, кивнула головой на дверь и протянула руку Мартыну Мартыновичу.

— Вот мы и сдержали свое слово... Теперь вам беспокоиться нечего... А мы повоевали в свое удовольствие...

Мартын Мартынович вспомнил о чем-то и в ужасе ударил себя ладонью по лбу:

— Да что же это я?.. а? Какой бесптолковый!.. Забыл, совсем забыл...

Он засуетился, бросился в дальний угол, в темный куток.

— Уж я сделаю вам отдарочек...

Вернулся он с кучей желтых, крупных яблок в обеих руках. Лицо его сияло от удовольствия.

— Ну-с... Вот-с, ведь видите ли... Зимняя антоновка... свеженькая, ароматная... собственной съемки... из моего сада... Держите, держите!..

Мартын Мартынович высыпал яблоки на стол, и они, мутно блистая на огне, со стуком рассыпались в разные стороны. Он опять хотел пойти в свой угол, но девушки запротестовали:

— Не смей, Мартын Мартынович!.. Хватит!.. Вы хотите, чтобы мы к вам больше не ходили, да?..

Мартын Мартынович остановился и протянул им руки:

— Хочу, хочу... Знаете ли вы, девушки мои, сколько вы мне радости и молодости принесли в это мое логово?.. Разве вы не видите, как душа моя празднует?..

Девушки переглянулись и заторопились:

— Пошли, пошли!.. Спите хорошо, Мартын Мартынович!..

— А я — с вами, знаете...

Он подошел к вешалке, но Агния быстро сняла его пальто и заблестала зубами от смеха:

— Пожалуйста ваши трудовые ручки, дедушка...

— Ой, ой, внучка! Я к этому не привык...

— Без разговоров, дедушка...

— Вы куда же это, Мартын Мартынович? — удивилась Наталья, подавая ему шляпу. — Неужели вздумалось вам провонять нас?

— А почему бы и не тряхнуть стариной? — пошутил Мартын Мартынович. — Впрочем, я хочу на телеграф пройти. Взбудоражил я сгоряча Владимира своей телеграммой. Надо отбой дать... Отбой, отбой!.. Он меня первый не похвалит...

Агния стала перед ним в угрожающей позе, с озорным лицом:

— А я вам не позволю, дедушка. Никакого отбоя!..

Наталья смотрела на нее и смеялась. Мартын Мартынович изобразил ужас на лице.

— О? Дело принимает крутой оборот... Моя защитница превратилась в грозного неприятеля... Как же быть? —

обратился он за помощью к Наталье. Наталья смеялась.

— Да-с, дедушка. Не позволю-с. Владимир Мартынович должен приехать по вашему вызову, и он придет.

Она вдруг схватила его за плечи и поцеловала в бороду. Потом откинула голову, взяла его руки и встряхнула их.

— Ну, не давайте ему отбоя, Мартын Мартынович! Ну, дорогой, хороший!.. Ведь ему ничего не стоит приехать сюда... А для нас — это событие... Понимаете, как это важно?..

Наталья нахмурила брови. Она хотела прикрикнуть на Агнию, но не выдержала и отвернулась, сдерживая смех.

Мартын Мартынович как будто колебался: не угашая улыбки, он смотрел на Агнию, думал о чем-то и дрожащей рукой тербил бородку. Агния не отрывала от него блестящих глаз и нетерпеливо подпрыгивала на носках. Когда Мартын Мартынович перевел глаза на Наталью, которая как будто безучастно рассматривала растения на окне, он опомнился, шагнул в угол и взял свою палку.

— Нет, голубчик, не могу... Права не имею... Я хочу, дорогая девушка, только исправить ошибку... А уж если он сам захочет посетить нас, мы только будем счастливы...

Агния надулась, махнула рукой и сердито буркнула:

— Ну, и сказке конец...

Наталья быстро повернулась к ним и пошлепала в ладошки.

— Хорошо, Мартын Мартынович! Правильно!

На улице было очень тихо — по-ночному глухо и пусто. Только где-то далеко позванивало пианино да покрикивали гудки машин. На вокзале шипели паровозы и толкались вагоны.

Девушки взяли под руки Мартына Мартыновича. Некоторое время все шли по тротуару молча. Мартыну Мартыновичу было хорошо: думал ли он, что приведется пойти когда-нибудь рука в руку с молодостью? А вот идет и счастлив от их милой и сердечной теплоты...

— Да-с, — печально вздохнула Агния. — Да-с... Вот и сказке конец...

— Когда ты будешь трезвой, Агния? — строго сказала Наталья. — Надо же размышлять над своими поступками...

— Ах, отстань ты, Натка, с своими поучениями!.. Размышлять, размышлять... Что же, тебе никогда и помечтать не хочется?..

Мартын Мартынович пожал ей руку.

— Да, да, внучка... Надо, надо мечтать...

★

Утром Мартын Мартынович получил телеграмму от жены сына: «Владимир в дальнем полете». Мартын Мартынович бережно сложил телеграмму и спрятал ее в ящик стола — присоединил к пачке писем Владимира. Эта пачка, перевязанная шпагатиком, была особенно ему дорога. Время от времени он вынимал ее и перечитывал письма, написанные фиолетовыми чернилами на простой бумаге. Он вспомнил Веру — жену сына, — очень маленькую женщину, белолицую, с черными кудрями до плеч, прыткую хохотушку. Она не понравилась ему: слишком уж наивной казалась, пожалуй, легкомысленной, обидно легковесной для Владимира. Но она была приветлива и ласкова с Мартыном Мартыновичем, а Владимир, очевидно, любил ее, и этого было достаточно.

За окном тянулись кверху ветви сирени с раскрытыми бутончиками первых листьев и кашкой соцветий. Над сиренью чисто синело небо и очень тихо плыли округлые, тугие облака. Кружились и беспокойно летали голуби. Близко в садике посвистывали скворцы, на дворе едва слышно кричали ребятишки, и очень далеко, на строительстве, как ветер, пела сирена. И в эти моменты Мартыну Мартыновичу хорошо было знать, что там, за городом, в недостижимые дали уходит великая страна, что всюду идет огромная жизнь, полная дерзновенных дел и подвигов. И в океане этих дел Владимир совершает смелую, трудную работу, которая требует находчивости, выдержки, силы воли и самоотвержения. Его знает вся страна и гордится им. И Мартын Мар-

тынович вспомнил о своей молодости, о Наде, сгоревшей так рано, и думал о том, что он — старик, что скоро и он уйдет из жизни! Нет, он тоже жил хорошо, в честном, скромном труде, не ради личных целей и выгод, а ради общего блага — работал, боролся по мере сил и способностей своих, любя свое дело и наслаждаясь им. Так, вероятно, любит труд всякий вдохновенный художник. И, думая о сыне, он плакал и улыбался от счастья.

И он представлял себе, как Владимир, высокий, тоже сухощавый, твердо и уверенно стоял перед ним в костюме летчика, заложив руки за спину, и смеялся весело и самоуверенно, хорошо зная себе цену.

Вот в эти счастливые мгновения сердце изнемогало у Мартына Мартыновича, и его вдруг охватывал смертельный ужас: вдруг оно оборвется... Он тихонько, будто украдкой, вставал со стула и осторожно выходил на верандочку, потом спускался в сад и жадно вдыхал свежий воздух. Ему становилось легче, и недавний ужас казался уже постыдной слабостью.

Он оделся, опоясался ремнем, засунул за пояс топор и, взяв железную лопату, пошел в рощу.

Там долго бродил он по опушке, в молодых зарослях березняка и осинника. Несколько раз углублялся в лесную гущину, но возвращался со страхом в сердце: ему казалось, что он слышит тяпанье топоров и хрипенье пил. Березовая роща выходила одной стороной к выгону, и белая толпа стволов с густыми, свисающими космами сверкала на солнце, точно была объята пламенем. Стройные, высокие, пестреющие темными пятнами и полосами, стволы будто шевелились, трепетали и сквозь сизый дымок поблескивали перламутром. Солнце пронизывало их даже в самой чаще, и в этом ливне света стволы давали казались воздушными и кротко-задумчивыми. Мартыну Мартыновичу вспоминались летние закаты, когда березы горели алым сиянием, а в листьях роились вихри искр. И в эти минуты дышала та загадочная тишина с призрачными шорохами и робким пе-

ресвистом птичек, когда хочется остановиться, грустно слушать самого себя.

Мартын Мартынович не выдержал и пошел к тому месту, где вчера рабочие сгружали инструменты. За зарослями вербы и ивняка он увидел острую вершинку парусиновой палатки и синий дымок от костра. Он остановился и замер. Некоторое время он прислушивался, затаив дыхание, но около палатки было тихо: не то люди спали, не то разбрелись по домам. Но ему почудилось, что полянка стала шире и светлее. Дальше он не мог идти: было страшно встретить усатого десятника и рабочих с топорами и увидеть срубленные березы. Он торопливо зашагал назад и не замечал, как хлестали его по плечам и по лицу холодные пряди тонких ветвей и кусты зеленой вербы.

На опушке он выкопал несколько березок и липок, связал их веревкой и, вскинув на плечо, пошел по прошлогодней тропе вниз, к речке.

Далеко за городом заботливо покрывали паровозы, а на горизонте мазили небо бурые дымы, которые поднимались из труб электростанции. По прошлогодним бурьянам и свежей пашне расхаживали грачи и долбили землю. Они поднимали клювы, настораживались, неуклюже взмахивали черными крыльями и отлетали в сторону. Город лежал на холмах и издали казался большим. Сплошной стеной краснели и зеленели крыши, а внизу, по долине, щетинился голыми ветвями бульвар. На широком холме бывшая соборная площадь тоже затушевана была деревьями. Несколько высоких колоколен без крестов и без колоколов, облезлые, чумазные, казались сконфуженными. А когда-то они самодовольно звонили и утром, и вечером, и звон их, бархатный и гулкий, волнами плыл далеко по полям. К югу летел двухмоторный пассажирский самолет, поблескивая алюминием, и пел низким колокольным звоном.

И опять Мартын Мартынович вспомнил о сыне: он — в дальнем полете и вот так же где-нибудь над тайгой или тундрой плывет высоко и смотрит в мутную даль. Может быть, он в эту минуту думает о нем... Смешно, наивно



было посылать ему телеграмму!.. Если бы Владимир получил ее сам, ему было бы стыдно за своего отца: что ему какие-то срубленные деревья в роще, когда он должен пробиваться сквозь густые арктические туманы, среди ледяных пустынь, неожиданно встретиться с ураганом и бороться со смертью?.. Или, может быть, в эту минуту он без посадки пересекает Сибирь, направляясь на Камчатку, к Берингову проливу... Вот Леваневский полетел через полюс и исчез бесследно — погиб в бездонной пучине Ледовитого океана... И Мартын Мартынович почувствовал себя ничтожным среди этих полей со своими маленькими мыслями о древонасаждении, о какой-то культуре быта в своем городишке и на стройке. Чувствуя себя немножко больным, он опустил на траву и, задыхаясь, опять замер от ужаса: с сердцем у него творилось что-то страшное..

Уже за полночь он добрался до первых домов сощгорода. На берегу озера зеленела трава, зеленела она и в воде и таяла в ее глубине. В прошлом году плотина только строилась, и закрыли ее в октябре. Этот берег спускался к речке полого, без оврагов и обрывов, и трава до самой глубокой осени была свежей и бархатной. Летом эти луга цвели ярко и пестро: с весны было больше желтых и белых цветов, в середине лета прибавлялись синие, голубые, оранжевые. Теперь эти луговые склоны холмов были залиты озером, и больше они никогда уже не увидят солнца. И оттого, что широко разлилось озеро (вода сейчас кажется густой, свинцовой после истлевшего льда) и на былых холмах построены беспорядочно и торчком большие кирпичные дома, этого заречного лугового места уж нельзя узнать: все здесь стало плоским, чужим, и было жаль спокойных и тихих увалов, где в солнечный день играли огоньки цветов и высоко пели жаворонки.

Но и это зеленое побережье было во многих местах изрыто, и размытые кучи глины ползли к озеру желтыми потоками. Эти потоки застыли, высохли; сквозь них уже пробивалась трава, оду-

ванчики и листья мать-мачехи. Сор и свалки старых досок, реек, пучков равной арматуры, чурбаков тянулись баррикадами между домами и озером и даже валялись на берегу, смытые сюда, вероятно, весенней водой.

Мартын Мартынович решил сделать первые посадки шагах в двадцати от берега, повыше, — чтобы линия бульвара шла ближе к озеру. Он выбрал из свалки несколько реек, покрытых грязью, вынул топор и сделал колышки. Потом начал вбивать их в землю. Прибежали трое мальчишек, стриженных под машинку, одетых налегке: грязные рубашонки были заправлены в штанишки. Все были босиком, и ноги их уже успели огрубить. Старший из них, лет двенадцати, с лукавыми глазами, засунув руки в карманы, сердито спросил, будто был недоволен появлением Мартына Мартыновича:

— Вы чего это здесь строите, дедушка?

Двое других стали рядом с ним и с захватывающим интересом следили за взмахами топорика.

— А вот, дружок, сажать деревья буду. Помогите-ка мне, родной. Вот тебе топор и два колышка: вбей-ка их один — дальше, другой — ближе.

И серьезно обратился ко всем:

— Вы, граждане, как думаете? Ведь, пожалуй, неплохо будет, если мы с вами насадим здесь бульвар?

Старший сдвинул брови и решительно ответил:

— Какой же может быть разговор!

И, когда взял топор, вдруг хорошо улыбнулся: должно быть, топор ему очень понравился — он внимательно и радостно осматривал его со всех сторон, потрогал пальцем лезвие и погладил по блестящей стали. Оба мальчика тоже протянули руки и с завистью глядели на это редкое сокровище: топорик был маленький, аккуратненький, как игрушка, но настоящий, деловой топор.

— А ну, дай поддержать... Слышь, Володька!.. — жалобно попросил один из них, безбровый, с малюсенькими глазками и острым носиком.

— Отваливай!.. — грозно осадил его старший: — Не с твоим носом...

Младший, лет десяти, смугловатый, даже не пытался предъявлять своих претензий: он, очевидно, признавал авторитет Володьки бесспорным. Мартын Мартынович не торопил их: он знал, как привлекают детей инструменты и с какой радостью ребятишки выполняют всякое дело, которое для них интересно и требует ответственности. Так, бывало, весело и шумно работали школьники, когда сажали деревья. Он с удовольствием смотрел на этих парнишек и знал, что они уже не отстанут от него — будут ждать его завтра, каждый день и выбегать навстречу ему в назначенный час.

— Значит, звать тебя Владимиром? И у меня есть сын — тоже Володя... Слышал, может быть? пилот Владимир Подсосов?

Володька как будто весь ахнул от изумления. Он широко открыл глаза на Мартына Мартыновича и растерянно улынулся. Потом сразу оправился и сказал:

— А кто ж не знает летчика Подсосова? Надо быть дураком, чтобы не знать...

— Это ты верно, Володя... наших героев надо знать... Этот мой Владимир... тоже в ваши годы сажал деревья... Начнем и мы с этого...

— Ну, шагай, Гришка!.. — командовал Володя безбровому мальчугану с малюсенькими глазками. — Забирай вместе с Пашкой колышки.

Они быстро проложили две параллельные линии шириною в пять метров и вбили колышки на три метра друг от друга.

Мартын Мартынович отмеривал веревкой расстояние между колышками, а Гришка втыкал их. Потом Мартын Мартынович отошел назад, к первому колышку, Володя с топориком в руках — к последнему, и когда Мартын Мартынович целился, выравнивая линии, Гришка и Пашка вынимали колышки и втыкали их, где нужно. Володя весь ушел в эту процедуру и командовал больше, чем Мартын Мартынович:

— Левее! Правее!.. Еще! Ладно, живет!..

И когда Мартын Мартынович стал копать ямку, Володя забеспокоился: он с товарищами вдруг оказался без работы. Мартын Мартынович нарочно не тревожил их: ждал, как они поведут себя. Лопату Володя не потребовал у старика: он не имел на нее никакого права. Но Гришка не выдержал и лстыиво попросил Мартына Мартыновича:

— Дедушка, дай покопать... Тебе — трудно, а мне — ничего...

Володька пришел в ярость и заорал на него:

— Ну, ты... огурец!.. Нечего тебе вмешиваться!.. Валяйте оба за лопатами... В момент чтобы были обратно... Ну? — И он поднес кулак к носу Гришки.

Мартын Мартынович укоризненно покачал головой.

— Ой, ой, Владимир!.. Не ожидал от тебя такой жестокости... Ты понимаешь, всякое дело требует большой выдержки и вдумчивости. Ежели мы будем командовать и туркать друг друга, путного ничего не сделаем... Не хорошо.

Володя упрямо насупился.

— А что он лезет? Я не лезу, а он не понимает, дурак...

— А я, брат, не согласен с тобой: по-моему, он предложил помочь мне. И я ему благодарен. Вот придет к нам Подсосов, я тебя познакомлю с ним, и ты увидишь, какой он выдержанный и деликатный.

— Ну, ладно... — угрюмо согласился Володя. — А порядок пускай все-таки знает...

— Итак, договорились. Очень хорошо. А теперь — о деревьях. Запомни, что это — не просто вещи, а живые существа. Они нуждаются в ласке и уходе. Это не шутка — перенести дерево с родного места на новую почву: оно будет болеть, пока не вырастет в новую землю и не укрепится...

Гришка и Пашка уже перебежали дорожку, стараясь перегнать друг друга. Мартын Мартынович снял пальто и положил его на землю. Чувствовал он себя очень утомленным: хотя и отдыхал минут десять, когда пришел сюда

с деревцами, но сердцебиение и перебор не прекращались. Дрожали руки и ноги, и смутный ужас не покидал его ни на секунду. Володя уже завладел его лопаткой и торопливо, с горячим нетерпением нажимал на нее босой ногой и вонзал в землю.

— Ты не так рьяно копай, Володенька, — запаришься.

— А я люблю делать быстро... Другие возьмется, как свинята рылом, а я сразу... чтобы горело...

— Это хорошо, когда работа горит... Но тут важен прием и расчет, чтобы не растратить попусту сил... Труд должен быть продуктивным и доставлять удовольствие. Учишься?

— Ага! В четвертом классе. У меня только две удочки, все — хоры.

— Удочки — долой, Владимир. Ты — человек сильный и должен знать себе цену. Дело чести, брат, — побороть эти удочки. Эти удочки только конфузят тебя. Способный человек обязан быть всегда впереди. Как ты думаешь, ошибаюсь я или нет?

— Да я сам эти удочки терпеть не могу. Только придешь домой — сейчас же мамка запрягает по хозяйству: то воды принеси, то козу паси, то дров накопи, то с ребенком сиди... до чорта работы... Ну, и стараешься дёру дать, как сейчас... Не живешь по-человечески...

— А папаша твой?.. не поддерживает-ет?..

— Что — папаша! Он — электромонтер. Он и дома-то почти-что не бывает... С мамкой у них постоянная склока: она, дура, думает, что он за девочками стреляет...

— Ой, ой, Владимир, как нехорошо ты говоришь о матери!..

— Если бы я один!.. Папка еще хлеще ее обзывает.

Мартын Мартынович, как и много лет назад, терялся в таких случаях. Дети рабочих кожевенных заводов и мещан были измотаны, изуродованы семейным бытом: они хулиганили, дрались, курили с восьми лет и житья не давали девочкам. Отца-пьяницу или мать, забитую и обозленную на весь свет, ругали грязными словами и всегда

ждали выволочки. Были ребята, которые стеснялись ходить вместе со своими родителями, — считая ниже своего достоинства появляться с ними где-нибудь на бульваре или в сквере: увидят школьные друзья, будут издеваться и травить их. Однажды они довели до слез его Володю. Володя всегда выходил в город вместе с отцом, и безнадзорные ребятишки, должно быть, от зависти, прозвали его «мартышкой», и однажды помяли где-то на улице. Он не назвал ребят из боязни, что с ними жестоко расправятся, но дело выяснилось после того, как Володя, выведенный из терпения, сам отколотил двух парнишек: разбил им носы и насажал синяков. Мартын Мартынович стал захаживать в гости к родителям и терпеливо изучать семейную обстановку, в которой жили ребята. И тогда же решил, что коллективный труд и интересная самодеятельность — лучший их воспитатель.

И он вспомнил жалобы Клавдии Николаевны:

— Как же можно осуществить самодеятельность, если школа не имеет ни свободного часа, ни свободной комнаты, и учителя заняты по десять часов в день... А комсомол слабо работает с детьми, да и не знает, как работать...

Прибежали Гришка с Пашкой, но с одной лопаткой. Мартын Мартынович показал им, как нужно копать ямы: верхний слой земли надо откладывать в одну сторону, а нижний — в другую. Они терпеливо проследили всю его работу до конца и после этого стали сами копать свои ямки.

Мартын Мартынович встревожился: никогда он еще не изнурялся так сильно, как сейчас. Он вспотел и задыхался. Сердца не было: казалось, что оно сразу исчезло бесследно, а вместо него был страх пустоты. Он надел пальто и сел поодаль на бревно. Кружилась голова, тошнило, в глазах носились какие-то незнакомые призраки. Около него стоял Пашка и со страхом смотрел на его лицо.

— Ничего, ничего, Паша, — жалко улыбнулся Мартын Мартынович. — Мне немножко дурно... Это пройдет.

Сейчас мы с тобой деревца будем сажать... Сейчас, сейчас...

Кое-как Мартын Мартынович довел дело до конца: все саженцы он посадил в два ряда и привязал каждый из них к колышку.

— Ну, ребятки, это — ваши деревья. Это вы их посадили. Охраняйте их строго. И ни в коем случае не допускайте к ним коз и свиней: они погубят их. Назовем этот начатый нами бульвар вашим именем: Бульвар трех товарищей... Я и завтра приду в это время.

— А мы других ребят приведем... с лопатками...

— Вот это совсем хорошо...

— Мы проводим вас, дедушка, до самого города... Можно?

— Нет, вы уж идите по домам. Надо ведь и матерям помочь... Надо, надо, ребятки...

Но ребята все-таки проводили его за плотину.

По дороге он несколько раз останавливался, прислонялся к заборам и со страхом озирался вокруг. Кто-то подходил к нему, спрашивал о чем-то, но он ничего не понимал и слабо отмахивался. Дома он кое-как снял пальто, но шляпу не мог положить на полочку, и она упала на пол. Через силу снял башмаки, обул валенки и, не раздеваясь, лег на кровать. Сердца попрежнему не было, а вместо него томил ужас пустоты и тьмы. Он сейчас же забылся, и кровать плавно закачалась под ним, как зыбка. Владимир, коренастый, широкоплечий, в шлеме, стоял перед ним, обнажая белые зубы в улыбке, и смотрел доверчивыми глазами, как в детстве. Наплывая, как на экране, он наклонялся над ним с изумлением здорового человека. Потом растаял в тумане, и все исчезло. Колыхалась уже не только кровать, но и вся комната, и звучала глухими стенами, точно где-то под полом ритмически бил по слабо натянутой струне шерстобит. Потом эти волны принесли Надю... Она смотрела на него, как сквозь дымку, с улыбкой страдания — с той мучительной улыбкой, которая мерцала у нее перед смертью. Где-то далеко пел девичий голос в лесу:

— ...в дальнем полете... в дальнем полете...

Зыбка останавливалась, его подбрасывало на постели, и сердце опять билось гулко и больно. А в ушах пел замирающий голос в лесу:

— ...в дальнем полете... в дальнем полете...

— Вы больны?.. и один? Надорвались, упрямец?.. И плачете?..

Жизнь прожита, но не кончена. А закончить ее надо, не сконфузившись. Он немножко устал, а весна — как морской прибор: она накрывает его волнами и уносит в зеленую глубину. Эта весна началась у него сближением с молодежью и детьми. Слезы сладостны в радости: прошлое живет в душе и сияет глазами Нади, а Володя — в дальнем полете... И девушки — Наталья и Агния — так чутко коснулись его души... Несколько деревьев посажены им вместе с ребяташками, как в былые времена... Молодое растет...

— Ну, кажется, у вас дело серьезное... — встревожился около него знакомый голос. — Надо вызвать врача... Умрете, и никто не заметит...

— Что? Кто это торопит меня умирать?.. Клавдия Николаевна?..

Мартын Мартынович в негодовании поднялся, опираясь на локоть, и мокрыми от слез глазами оглядел комнату. В ногах у него стояла та прыткая старушка, которая встретила его в управлении строительства.

— А, это вы? Софья Мартыновна!.. Извините... Я прилег, знаете... отдохнуть немножко... Весна изнуряет стариков...

— Но опасного нет? Не скрывайте! Передо мной прошу не деликатничать.

Она с юркостью девочки схватила стул и подкинула его к кровати. Села она тоже быстро и ловко, но сразу же опять вскочила и просеменила к диванчику. Из старенького портфеля она с лихорадочной торопливостью выдернула газету и, не переставая говорить, опять подбежала мелким шагом к Мартыну Мартыновичу и села на стул.

— Летела к вам, сломя башку... Обрадовать, раздражить, взбунтовать ваши весенние мечты... Что же это вы,

Мартын Мартынович, греховодник!.. Видела, видела... уже успели воткнуть деревца... Кустарничают, молодой человек... Сам, своими силами... И где! — на гигантской стройке... в содгороде!.. Вы с ума сошли... Впрочем, это — чудесно...

Она с торжеством ударила сухонькой ручкой по газете, взмахнула листом с запахом свежей краски и рассмеялась звонко, как молодая. Курносенькая, с черными блестящими глазами, седенькая, румяная от беготни по улицам, она дружески откровенничала, как свой человек:

— Знаю, знаю... не написал, не успел, хлопотал... деревья сажал... а потом надорвался... Нетерпелив, как ребенок... Весна опьянила... А я вот... нате-с!.. накатала статейку... Тогда же, после нашей встречи... В редакции переполох устроила... А сейчас тарарам подниму... О посадке настрою, как о событии... Ваше фото пожалуйста... Без разговоров, Мартын Мартынович, без церемоний!.. Не извольте жеманиться и кокетничать своей скромностью... Вы — знатный человек города... не говоря о том, что вы — уважаемый родитель героя.

— При чем же здесь родитель героя, извините-с?.. — раздраженно пробормотал Мартын Мартынович. Он болезненно поморщился и закрыл глаза. — Я жил, отвечая сам за себя, и, ведь видите ли, по совести вырабатывал программу личного поведения...

Ему было трудно переносить жизнерадостное беспокойство этой старушки: он явно был болен и хотел тишины. Софья Мартыновна и угнетала, и возбуждала его: ее внезапное появление было и тягостно, и приятно. Если бы она сейчас испугалась, что потревожила его, и убежала бы, он был бы доволен, но был бы и обижен: без нее ему стало бы еще хуже. Она явилась в эти дни его жизни очень кстати: будто заполнила какую-то пустоту в душе.

Он сел на кровати и спустил ноги. Голова была тяжелой и чужой, и трудно было держать ее на плечах: что-то бултыхалось в ней и гудело. И тело было тяжелое и вязкое. Страх в сердце

не проходил. Слезы заливали глаза от беспричинной скорби. Серенькое, низкое небо в окне ослепляло и мутило тоской. Он вздохнул со стоном и на миг почувствовал, что в эту секунду он неизбежно должен упасть.

Софья Мартыновна вскочила в негодовании и ужасе:

— Культурный человек, а не заботится о себе. Ложитесь обратно! Без разговоров!.. Нельзя валяться в пиджаке и валенках...

И когда Мартын Мартынович с испугом хотел оттолкнуть ее, она оглушительно, как ему показалось, закричала:

— Нечего стыдиться: вы — не юноша, а я — не невеста. Подчиняйтесь, ежели вас учат уму-разуму...

И она бесцеремонно, но очень бережно и ласково сняла с него пиджак, фланелевую рубашу, валенки, чулки, выдернула из-под него теплое одеяло и неожиданно поцеловала в лоб. Этот поцелуй потряс его, и он опять заплакал. Стыдясь своих слез, он жалобно улыбнулся:

— Вот... дожил: хлюпиком стал, ведь видите ли... Безобразие какое!

— Ну, ну... какой там хлюпик! Прожил большую жизнь, а поплакать, как следует, не довелось. Вы — только хороший человек, поэтому и слеза у вас открытая. Мне тоже хочется иногда поплакать... только характер у меня воробьиный: некогда, непоседа... И потом я — соль: боюсь растаять... Действуйте! Я отвернусь. Снимайте свои панталаны...

Эта искренняя забота о нем молодой старушки, так неожиданно влетевшей в его жизнь, и встревожила, и растрогала его. Он привык к своему одинокому житью, но в своей комнатке, опрятной и кудрявой от зелени, с своими думами и мечтами, с ночной заботой над повестью своей жизни, он не знал одиночества. Мир прошлого сливался с настоящим: за окном пробуждался сад, город каждое лето зеленел липами и кленами и шумел о его молодости; фруктовый сад в школе, березовая роща за городом хранили родной образ Нади. В стране много людей, которые помнят и любят его, и Володя, его

сын, — в дальнем полете : он несет в себе лучшие его мысли и могучую любовь к жизни.

И он не удивился, что эта Софья Мартыновна, неизвестная до сих пор женщина, пришла к нему, как сердечный друг. Доверчиво и с уважением влетели к нему и эти милые девушки — Наталья и Агния...

Софья Мартыновна стояла у окна спиной к нему и нервничала.

— Ну? Готово?

— Прошу вас, Софья Мартыновна, — смущенно пригласил он ее. — Все это — лишнее. Я, ведь видите ли, все равно скоро поднимусь: это — не болезнь, а маленький переутомление... Да и поводивался немножко...

Софья Мартыновна уже сидела на стуле около его кровати и снисходительно слушала его, как ребенка. Ее блестящие глазки с ласковой насмешкой следили за его лицом.

— Не оправдывайтесь... и не ерешитесь, пожалуйста!.. Глупо сахарить сеledьку.. Вы мне скажите лучше — намерены ли вы и завтра кустарничать так же, как сегодня?

«И чего она в душу залезает?.. — раздражаясь, подумал он. — Как будто интеллигентная, а грубиянит...»

Он закрыл глаза и помолчал, чтобы успокоиться, но Софья Мартыновна укоризненно заключила:

— Одержимый вы человек...

— Если люди по тупости и по невежеству своему вырубают рощи, — прохрипел он, поднимая голову и опираясь на локоть, — и если некие наши начальники бездушно рассуждают о планах, игнорируя людей, — я буду сажать деревья сам...

Софья Мартыновна добродушно засмеялась и похлопала ладшкой по его плечу.

— Не злитесь, пожалуйста... Неужели вы не чувствуете, дорогой мой, что я за это именно и люблю вас... за ваше человеческое упрямство...

Он опять опустил голову на подушку и закрыл глаза.

Софья Мартыновна смотрела на него недовольно, строптиво, но в глазах ее играли лукавые искорки.

— Но один в поле не воин, как говорится, Мартын Мартынович... Хотя Карлейль и Лавров утверждали иное, но...

— Оставьте Карлейля и Лаврова... Я делал свое дело и горжусь этим. Всякое растение требует своей почвы... В лесу и ветла — светла...

— Не дразните, пожалуйста... и без намеков... Лежите спокойно...

— Какие неожиданные бывают встречи! — слабо улыбнулся он. — Вот, например, вы, Софья Мартыновна... Знаю, что хорошая душа. Но живете-то как?.. бобылкой?..

Софья Мартыновна изумленно вскинула голову, широко открыла глаза и стала сердито затискивать бумажки в портфель, потом швырнула его на стол и сорвала лиловую шляпенку с седых волос.

— Какая там бобылка! Очнитесь! Семьи нет, да: я забыла, когда убежала от мужа, лесничего, который требовал, чтобы я была для него преданной собакой. Впрочем, свою охотничью собаку он любил больше, чем меня. Он был скорее похож на лешего и оставлял меня одну, а я любила живую человеческую жизнь. Все это банально и неинтересно. Была на империалистической войне и на разных фронтах гражданской с первых боевых дней Красной гвардии. Ну, конечно, большевичка. Все? Больше вопросов нет? — спросила она шуточно.

— Как же это вы... боевая такая... и в какой-то строительской газетке?..

— Голубчик! Разве у нас можно затеряться? Что вы говорите!

Она заботливо поправила одеяло и подушку и ожидающе помолчала, зорко осматривая стол и стены. Потом вспомнила о чем-то, щелкнула пальцами и опять взяла свой портфель. Она выхватила оттуда маленький пузырек и с радостной вспышкой в глазах ткнула его к лицу Мартина Мартыновича.

— Вот, извольте. Как кстати! Вальдоль. Две-три капли на сахар. Быстро успокаивает сердце. Для меня это — целительный бальзам. Ну? Тоска? Гнетет? Где у вас сахар?

И, не дожидаясь ответа, вскочила, бросилась к шкафу, позвякала посудой, и в пальцах ее, как у белки в лапках, замелькал белый кусочек. Она поднесла его Мартыну Мартыновичу на блюдечке.

— Держите!

— Этого я не выношу, — угрюмо буркнул он, но блюдечко покорно взял.

— Держите! — строго крикнула Софья Мартыновна. — Не капризничайте! Ругаться буду.

В пальцах ее задрожала пипетка и исчезла в горлышке пузырька.

— Сосите!

Горьковатая влага разлилась по языку мятной прохладой.

— Всё. Завтра забегу к вам.

★

Утром, как обычно, Мартын Мартынович встал в семь часов и, хотя чувствовал некоторое недомогание, заторопился в рошу, чтобы успеть в этот день посадить в соцгороде еще десятка два деревьев. Вчерашний день был неудачен: он не рассчитал времени — вышел поздно, пришлось спешить, и он чересчур переутомился. Расстояние от парка до соцгорода не так велико: пять километров для молодого сердца и здоровых ног — прогулка для удовольствия. А Мартын Мартынович потратил на это часов шесть: пока добрал, пока бродил по роше, пока выкапывал деревца, пока дотащился до набережной, с отдыхом, с сердечными перебоями... Сейчас он решил побережь себя: итти медленно, не уставая, как совершал свой обход городских насаждений.

На столе лежала газета, которую, очевидно, вчера оставила Софья Мартыновна. Он взял ее и сразу увидел крупный заголовок: «Энтузиаст древо-насаждения». Энтузиаст! В этом слове он вдруг почувствовал фальшь. Оно оскорбило его даже своим начертанием: в нем была явная насмешка. Сейчас, когда он испытывал сердечную неурядицу, а недомоганье обостряло нервную раздражительность, этот крикливый шрифт как будто издевался над ним.

При чем тут древонасаждение и пронзительное слово «энтузиаст»?

Он бросил газету в проволочную корзинку под столом и очень сурово поглядел на стул, где вчера сидела Софья Мартыновна.

Он неторопливо оделся, засунул за пояс топор и веревку, взял свою многолетнюю спутницу-лопатку с короткой отполированной ручкой и вышел, тщательно заперев дверь.

Небо было на редкость синее, с одинокими клубастыми облаками, а воздух — чистый, легкий и ослепительно горел солнцем.

В саду, на дорожке аллеи, играли в классы две девочки, прыгая на одной ноге. Одна девочка одета была в теплое сизое пальтишко и белый пушистый капор, другая — патлатенькая — в какую-то бедненькую разлетайку. Гологолый мальчик бросал камешки в деревья и свистел. Девочка в капоре требовательно покрикивала на него:

— Женька, не смей бросать камни — ушибешь деревья.

— А я — в синиц... и мне не указывай...

— Кому говорю, Женька! Синицы — полезные... А камни ветки поломают... Должен понимать — мужчина!.. — веткам так же больно, как и тебе..

Мальчишка со всех ног бросился бежать по аллее.

Мартын Мартынович подошел к девочке и погладил ее по капору.

— Очень хорошо, дружок. Надо садик оберегать: он — ваш, общий.

Девочка недружелюбно посмотрела ему в глаза и холодно заявила:

— Зачем вы меня гладите? Я — не собачка. Я сама знаю, что делать. А Женька — хулиган: он такой же, как мать, — грубый и некультурный... Это — марьян сын...

А Марья уже высунулась из окна флигеля, толстолицая, с огромной грудью, злая, и кричала на весь двор:

— Женька! Иди домой, гадина!.. Картошку надо чистить... А ты не очень-то распоряжайся, барышня... И вам, гражданам пенсионер, нечего совать нос в ребячью игру... Связался чорт с младенцем!..

Мартын Мартынович поспешил выйти на улицу.

«Страшная женщина.. У нее потребность коверкать жизнь. Какая отвратительная вражда к людям!..»

И он почувствовал, что сердце у него замерло, остановилось, и ему стало трудно дышать. С верхушки обрызганной зеленой осины, вытягивая шею, кричала ему навстречу ворона: ур-ра! А ей вторил старьевщик-татарин с пустым мешком через плечо:

— Бер-ром старья-а!..

И у него это выходило странно и смешно:

— Дер-рём царя!..

Переулочек был тихий, малонаселенный, и по краям дороги вдоль дореволюционных тротуаров всегда росла трава. И дома были старинные — деревянные, с мезонинами, со ставнями и резными наличниками. Еще в первые годы революции этот переулочек был назван, взамен Ивановского, переулочком Меринга, а параллельный ему — Задворный — переулочком Шопена. И жители, которые никогда не слышали этих имен, ахали, хлопали себя по бедрам и негодовали:

— И чего власти-то с ума сошли? Чего выдумали!.. И деды наши жили в Ивановском да в Задворном, и мы в них выросли, а теперь вот получай Мерина... Вывеска-то какая!

Но Шопена выговаривали с подмигиваньем, с ухмылкой. Здесь жили молочницы и рабочие-кожевники. Почему-то в этом районе было много древних старух, похожих на монахинь. Шатровая колокольня без колоколов, с двумя ярусами продухов, поднималась невысоко в толпе крыш; на восьмиконечном кресте сидели галки, и это напоминало известную картину Поленова «Московский дворик». Стояла солнечная тишина, и, казалось, что трехконные фасады домов улыбались и вздыхали радостно: ну, наконец-то, весна! И им отвечали близкие и далекие пелухи. Где-то, должно быть, в центре города, дружно и старательно пели красноармейцы, и эта, заглушенная далью, песня звучала красиво и бодро.

Пахло влажной, теплой землей, навозным перегноем и травой.

Из открытого окна кирпичного дома на противоположной стороне сквозь тюлевую занавеску вдруг вырвались на улицу гнусавые, косноязычные и вихлявые звуки джаза. Визг, завыванье, писк, кваканье и пьяный смех ошарашили Мартына Мартыновича, как пощечины. Он даже как будто оглох от потрясения и инстинктивно сжал кулаки. Хотелось броситься к окну и крикнуть:

— Замолчите, хулиганы!.. Довольно плевать в душу людям!..

С судорогой в лице, задышавшись, он широкими шагами пошел по тротуару, звякая лопаткой по кирпичу.

«Почему так заразительна пошлость? — с возмущением думал он. — Джаз — музыка бездельников. Она — враждебна нашей душе. Но она, как дурман, отравляет нашу кровь и мозг».

Под видом культурного обслуживания радиозузел по целым дням выбрасывал из репродуктора на город этот мучительный «спотыкач». Прекратил он это свое безобразие только после протеста школ и публичной библиотеки. Но время от времени радиозузел подчинялся чьей-то команде, и на город опять обрушивалась саранча.

Душу Мартына Мартыновича угнетала смутная тоска, похожая на тяжелое предчувствие. Эту тоску он ощутил еще во сне и встал с мучительным беспокойством: откуда такая странная тревога? Что случилось? Не произошла ли катастрофа с Владимиром? Такая же гнетущая тоска смяла его один раз в жизни — перед смертью Нади. Точно так же он проснулся от глубокого душевного беспокойства и не мог найти себе места: он был убежден, что должно произойти с ним что-то ужасное. Тогда Надя, изнуренная последними часами беременности, смотрела на него удивленными глазами и говорила тихо, покорно, с страдальческой улыбкой:

— Мартын, не беспокойся: все совершится так, как надо... Ты мучаешься больше, чем я..

А на другой день она умерла.



Теперь это глухое предчувствие беды было так тяжело, что Мартын Мартынович как будто ослеп и оглох.

Страшный вопрос о Владимире не выходил из головы. Он — в дальнем полете... Неужели погиб? Владимир! Володя мой!..

Навстречу ему ковыляла эмка.

Кто бы это? Из городских людей некому здесь кататься на машине: на эмках ездили только ответработники, да и то по центральным улицам.

Когда машина поравнялась с ним, он хмуро покосился на нее и хотел пройти мимо. Но машина остановилась, открылась дверца, и Софья Мартыновна быстро выскочила из кабины. Лиловая шляпка лихо съехала на ухо.

— Куда это вы, Мартын Мартынович? Не терпится? Сорвались с постели, беспокойный вы человек...

Она бросилась наперерез и с гневом протянула к нему свою руку, точно хотела схватить его за шиворот.

— Пойдите, пойдите, упрямец!..

«Ужасно навязчивая женщина!.. — возмутился Мартын Мартынович. — Она, кажется, решила взять меня под опеку...»

Он неприязненно встретил ее нахмуренным взглядом.

— Да вы с ума сошли, Мартын Мартынович!.. Умный больной обязан лежать... Кто вам позволил встать с постели и шляться с этой паршивой лопатой по городу? Долой, долой!.. Садитесь в машину! Я доктора вам ве- зу...

— У вас, Софья Мартыновна, очевидно, страсть ссориться с людьми... — усмехнулся он, звякая лопатой и сверля ею кирпич. — Вы, должно быть, следуете правилу всех сердечных людей: самоотверженная забота требует насилия. Со мной у вас этого не выйдет. Спасибо за участие, но доктора мне не нужно. Я — здоров.

Она вскипела и закричала на всю улицу:

— Вы кого хотите обмануть? Меня? Вы не знаете, с кем имеете дело. Еще не было такого хитроумного Одиссея, который бы объехал меня на вороных... Ведь я вас насквозь вижу: на вас

лица нет. Пожалуйста садитесь, иначе я действительно употреблю насилие...

На другой стороне улицы остановились прохожие — бородатый мужик, похожий на колхозника, и беременная женщина с ведром воды. Они с веселым любопытством глядели на сердитых стариков. Бледный, бритый человек, с заспанным лицом и пузатым портфелем, толкнул Мартына Мартыновича, недружелюбно пробурчал что-то и прошагал мимо. Шофер смотрел из открытого окошечка кабины и скалил зубы.

Мартын Мартынович очень спокойно предупредил:

— Не кричите, я — не глухой.

— Вы — глухой, потому что невменяемый, а невменяемый потому, что — одержимый... Вы — совсем больной, а упрямо отвергаете это...

«Неудовлетворенный инстинкт жены и матери...» — догадался Мартын Мартынович, и эта мысль смягчила его. Он взял ее за руку и потянул к себе.

— Успокойтесь. Спасибо за участие.

Потом дотронулся до шляпы и пошел дальше.

— Нет, это возмутительный человек!.. — в отчаянии вздохнула Софья Мартыновна и с минуту не отрывала глаз от его высокой, немножко сгорбленной фигуры. Она хотела побежать за ним, но споткнулась на шагу и крикнула:

— Мартын Мартынович, садитесь: я подвезу вас к вашему нелепому парку...

Он отрицательно махнул рукой и не обернулся.

Но Софья Мартыновна подкатила к самому тротуару и открыла дверцу.

— Садитесь без всяких разговоров! Ваша скромность будоражит улицу.

Мартын Мартынович неожиданно остановился и молча направился к машине:

— Хорошо. Согласен.

В углу кабины сидел молодой, белолицый и большеносый человек в роговых очках, в пальто с поднятым воротником и в задранный на затылок кепке. Он не обратил внимания на Мартына Мартыновича и не пошевелился, когда Софья Мартыновна энергично втисну-

лась между ними. Седенькие ее волосы выбивались из-под лиловой шляпки и лезли на щеки и глаза. Она добилась своего и была довольна: этого упрямого человека все-таки она затащила в машину.

— Кустарь - одиночка... — ворчала она: — Не можете понять, что в наши времена это — смешно и жалко. Что вы сделаете с своим топориком и лопатой?.. Чтобы засадить огромные пространства, надо организовать многолюдный труд...

— Пока вы организуете этот труд, пройдет не один год. А человек, ведь видите ли, хочет жить по-человечески. Надо уважать человека. Уважение к человеку не откладывается в долгий ящик.

— Это не конкретно... — заспорила Софья Мартыновна. Она, очевидно, очень любила поспорить.—А самое конкретное сейчас — строительство оборонных предприятий и направление всех сил на защиту страны. Вы должны слышать, как рвутся бомбы и в Китае, и в Европе... Эти ужасы к нам приближаются... А вы хотите занять людей посадкой березок...

Он с пристальным недоумением повернул к ней лицо и несколько секунд смотрел ей в глаза, как будто хотел удостовериться, действительно ли она глупа, или обмолвилась сгоряча.

— Неужели вы не понимаете, Мартын Мартынович, что надо в первую голову думать о мобилизационной готовности?..

Он отвернулся и сердито проворчал:

— У меня Владимир—летчик и всегда готов к бою... А я, ну-те-с... каждый день воспитывал любовь к родине... Не словами, нет-с... И деревья, посаженные человеком, способны зажечь душу самоотверженной нежностью к своей земле... Жаль, что вы этого не постигли... большевичка!..

Он поднял плечи, съежился, и обвисшие поля его шляпы легли на воротник пальто. Он больше не желал разговаривать.

Мимо мелькали деревья бульвара и непрерывным зеленым потоком струилась чахлая акация вдоль низенького

заборчика. Над деревьями толпой кружились галки, садились на верхушки и дрались. Их веселый гвалт был хорошо слышен даже сквозь шум машины. По аллеям бульвара и по тротуарам группами и по одному шли школьники. Было тепло, парно, и ребятишки бежали налегке, а некоторые даже в рубашках, большинство без картузов. Ну, конечно, мальчишки озоруют: дерутся, играя, мнут друг другу бока, борются до изнеможения (они не могут без этого). Двое схватились за шеи друг друга и, красные от напряжения, топтались на тротуаре. Они толкнули проходящих девочек. Одна из них с возмущением ударила кулаком и того, и другого. Они оторвались друг от друга и ошарашенно поглядели на девчат, которые звонко смеялись.

Проехали безлюдную площадь. Колонны исполкома горели на солнце, будто желтомраморные, и казались выше и стройнее, чем днем. В центре, в круглом сквере, несколько женщин копали землю на рабатках и разрыхляли граблями клумбы.

«Хорошо, очень хорошо... — похвалил их Мартын Мартынович.—Весенние работы с землей, как инстинкт перелетных птиц, которые вьют гнезда. Самое чудесное беспокойство. Вот и у меня: привычка это или инстинкт жизни?.. Почему я не думаю о смерти, которая уже на шаг от меня? Не потому ли люди боятся смерти, что боятся жизни, то-есть того, что связано с жизнью, — страданий, мук, болезней и, главное, совести?..»

Софья Мартыновна говорила словоохотливо и горячо, но он вежливо молчал, не слушая ее.

— Вы, несомненно, больны: на вопросы не отвечаете и невозмутимо молчите, как бог.

— Извините. Меня тревожит весна.

— Юноша какой, подумайте!

Доктор сидел в углу и скучно посматривал в окно. Он был недоволен и дулся.

— Не злитесь, доктор!—насмешливо приказала она.

Мартын Мартынович сердито пробурчал:

— Вы обманули его. Больной угрожающе вышел навстречу ему во всех доспехах жизни. Врачевать старость — нелепо.

Она с возмущением завозилась между ним и врачом, точно хотела вскочить и сесть кому-то из них на колени.

— Скажите, пожалуйста! Он еще издевается, торжествует, бесстыдно философствует. Но не верьте ему, доктор: он и в последний свой час будет кричать ура...

— Вот именно! — усмехнулся Мартын Мартынович.

Доктор неожиданно засмеялся, снял очки, и глаза его вдруг оказались очень красивыми, по-женски грустными.

— Вижу. Мое участие совершенно излишне. Такие больные мне нравятся.

И сразу опять стал хмурым и замкнутым. Он надел очки, вынул платок и высморкался. Нос его от этого как будто разбух и стал устрашающе огромным. Но заговорил он смешливо, с беззлобной издевочкой:

— Самые лживые люди, это — пациенты. Ни один больной не скажет скромной правды о себе. Даже самые искренние и правдивые люди подчиняются этому психозу лжи. Бахвалются своими несуществующими болезнями, играют, как плохие актеры, клеветают на себя... И чем больше наврут, тем больше довольны. Но как они боятся и обижаются, когда врач не находит у них желанных болезней! Они готовы возненавидеть его на всю жизнь. Врач принужден жить среди врагов, которые множатся каждый день.

— Вы рассказываете злые анекдоты... — сердито изобличила его Софья Мартыновна. — Вы — людофоб.

— Нет. Терапевт.

— Это что же — лучше или хуже?

— Опасная профессия.

— Не ту песню поете, милый доктор, — рассердилась Софья Мартыновна. — Не ваши микстуры нужны людям, а вы сами... Понимаете?.. Вы сумеете прежде всю душу человека врачевать. Неправда, больной вам не врет, а ищет у вас только поддержки. Вот почему, доктор, вы сами себя не лечите, а идете к кол-

леге... Не бесполезно, если обратитесь за помощью и ко мне... Да! Да!..

Мартын Мартынович теребил бородку и усмехался:

— Софья Мартыновна — врач по призванию, а пошла не по своей дороге.

— Я и вас вылечу... лучше всякого терапевта...

— А меня-то все-таки вытащили... — засмеялся доктор.

— Конечно! Для большей внушительности... и ради торжества вашего авторитета.

Лицо у Мартына Мартыновича осунулось и стало трупно-бледным.

— Я выйду, товарищи. Ехать больше не могу.

Врач внимательно посмотрел на него и дотронулся до плеча шофера. Машина остановилась.

Доктор нырнул в открытую дверь и через секунду уже высаживал Мартына Мартыновича.

— Вам уставать нельзя, больших переходов не делайте. Я обязан не оставлять вас без надзора, но лучший ваш врач — воздух и разумная свобода. Вы сами знаете, как вести себя.

Мартын Мартынович, не простившись, тихо, точно ошупью, побрел по дороге к лесу. Он не слышал, как Софья Мартыновна кричала испуганно:

— Его надо домой, доктор. Он обязательно упадет.

Тошило, гудело в голове, и замирало сердце. Глухой и слепой, шел он, как будто в пустоте, и ему чудилось, что он несется с крутой горы и никак не может остановиться. На самом же деле, он шагал, как дряхлый старик, шаркая башмаками по накатанной колее, едва поднимая лопатку и опираясь на нее всем телом. Он задыхался и хватал воздух открытым ртом.

Он не слышал, как подъехала сзади машина, не слышал и голоса Софьи Мартыновны. Остановился он только тогда, когда чья-то рука вцепилась в ручку лопаты.

— Мартын Мартынович, голубчик, я вас не могу оставить в таком состоянии: поедемте, дорогой. Вы сами же хорошо

понимаете, что вам плохо. Ведь не уйдут же от вас ваши деревья.

Мартыну Мартыновичу была невыносима эта странная назойливость. Ему нужно было остаться одному в тишине и весенней глуши леса, молча почувствовать небо, тихо плывущие облака, ощутить всегда зовущий запах молодой листвы, травы и перегноя, птиц послушать и ни о чем не думать. Он знал, что там, наедине с собою и с весной, он будет здоров и бодр. Он поглядел на Софью Мартыновну с судорогой в лице. Должно быть, глаза его были страшны, потому что Софья Мартыновна сразу отпрянула от него.

Дорога из города вела прямо в березовую рощу. Собственно, это была не дорога, а широкая межа между городскими огородами, заросшая бурьяном. От нее на всем протяжении отходили параллельными линиями и с той, и с другой стороны узенькие тропы. В разных местах стояли распряженные телеги. Наклоняя головы и помахивая ими, лошади тащили плужки, а за плужками, торопясь и спотыкаясь, семенили люди. Утро было теплое, прозрачное: отчетливо видны были даже лица пахарей. Справа щетинилась молодая поросль на опушке рощи. Грачи перелетали один за другим по борозде вслед за плугом и долбили рыхлую землю. Солнце грело горячо, и воздух был такой ослепительный, что больно было смотреть и на небо, и на поля. Летали со звоном золотые мухи. Трава на дороге была густой и нежно-плюшевой, и чудилось, что по ней пролетают огоньки пламени. Всюду горели одуванчики, звенели и смеялись навстречу Мартыну Мартыновичу. Это заливались высоко в синеве невидимые жаворонки.

Мартын Мартынович остановился отдохнуть и посмотрел назад. Вон он — недалеко, в голубом туманце, — старый, родной город, с облезлыми колоколками, без колоколов, с двумя пожарными вышками. Он похож больше на деревню, чем на город. Только на холме, над густым засевом деревянных домов, стоят трехэтажные желтые здания с колоннами на фасаде — постройки восемнадцатого века, — да по склонам

вдали друг от друга — казарменные здания с многочисленными окнами.

Он, Мартын Мартынович, врос в этот город, пустил глубокие корни. Этот же город взял у него и счастье его молодости — родную Надю, — и Надя завещала ему всю любовь его отдать детям и зеленой жизни. Детство и юность горожан проходили среди шелудивых домишек, на навозных улицах, где бродили свиньи и куры, или на пустынных околицах. Небольшой лес был далеко — верст за двенадцать. Лес в окрестностях давно вырубил, и о нем не осталось никаких воспоминаний. Только отдельные зеленые острова сохранились в бывших помещичьих усадьбах, да и то продавались на вырубку и постепенно истреблялись. И вот за всю свою жизнь Мартын Мартынович один с своими учениками каждую осень и весну нанимал на свои скудные деньги подводы, ездил в лес и привозил саженцы. Враждебно встретило это новшество мешанское население. Жили спокойно, безмятежно, привычно многие годы: никто не нарушал их захолустного житья-бытья. И когда Мартын Мартынович захоплатал вместе со школьниками, его встретила зловещая вражда. Деревца, посаженные на широкой центральной улице, кем-то ломались или вырывались, а по ночам пьяные хулиганы бросали камни в школьную его квартиру. И только ребяташки спасли эти первые насаждения — это был их труд, и они впервые в своей жизни почувствовали, как дороги их душе эти деревца: в их зеленом шуме, в жизнерадостном их росте они узнали свой человеческий рост.

В годы гражданской войны много деревьев было вырублено и на улицах, и в сквере, и в роще. Это было вполне понятно: топливный голод, недалекий боевой фронт, бескормье, разрушение обывательских гнезд, жестокая борьба с внутренними врагами, — все это было страшной неизбежностью, как восстановление новой жизни, как мучительный и величавый пафос новой правды, утверждающей себя в страданиях и самоотверженной борьбе.

Навсегда осталась в памяти зима девятнадцатого года. Его школа была превращена в военный лазарет. С фронта привезли раненых красноармейцев, полураздетых, с обмороженными ногами и руками. У многих была гангрена. Но Мартын Мартынович был потрясен невиданным энтузиазмом этих юношей: ведь Деникина отбросили и погнали к югу...

Люди были обречены: им ампутировали ноги, руки, гангрена косила их каждый день. В школе стоял трупный запах, было очень холодно, и вместе с Володькой мерз в своей квартире и он, Мартын Мартынович. Врачи и санитары носили халаты поверх овчинных шуб: у всех у них были застывшие, суровые, почти грозные лица. Забор около школы уже сожгли, но фруктового сада не трогали. Мартын Мартынович охранял его сам. Не трогали и пирамидальных тополей вокруг участка. Эти тополи он выписал когда-то из Украины и дорожил ими так же, как яблонями.

Проходил он как-то по коридору и услышал надорванный крик:

— Белякам теперь — каюк, братишки! Не видать им нашей Москвы!.. Народ свое берет... Эх, и жизнь будет, товарищи!..

Мартын Мартынович остановился в дверях и увидел обросшего русой бородой человека, с лицом мертвеца. В глазах его горело счастье.

— Не выдюжу, товарищи! Мочи моей нету, братцы... — безнадежно стонал где-то рядом слабенький, почти мальчишечий голосок.

— Потерпи, братишка!.. Немного терпеть... жизнь-то какую построим!.. свободную, родную!.. для себя, братишка... Трудиться будем да радоваться!

Эти ликующие крики, такие необычные в этой комнате смерти, так оглушили Мартына Мартыновича, что он пошатнулся, припал спиной к косяку двери и заплакал: должно быть, ослабел за годы кровопролитий и бедствий. И тот же веселый голос, переполненный восторгом, крикнул:

— Чего ты рыдаешь, папаша? Смейся, ура кричать надо, а не унывать...

Мартын Мартынович выбежал на двор и, весь в слезах, позвал сторожа, взял топор и пилу. В этот день они срубили и спилили половину тополей и штук десять яблонь. Школу сторож стал топить каждый день. Но веселого голоса Мартын Мартынович уже не слышал: красноармеец умер дня два спустя.

Почему же теперь люди так расточительно относятся к живому своему богатству и к многолетним трудам его жизни? Вот это — непонятно.

Он не заметил, как вошел в лес, как продирался сквозь заросли. Остановился только в тот момент, когда тонкая ветка жгуче ударила его по лицу. Он сел на трухлый пенек, с почерневшей щетинистой древесиной и положил у ног лопату. Пахло грибами, болотом и прошлогодними листьями. С одной стороны, сквозь стволы и поросль, сиял солнечный воздух; огненные пятна на коричневом перегное и на зеленых листьях травы горели, как огонь, а кружево ветвей ослепительно сверкало искрами. Они роились, взлетали и падали, как живые. С другой стороны стволистая глубина была сумеречной и задумчиво-суровой. Оттуда — чудилось Мартыну Мартыновичу — смотрели на него мшистые лица и серо-зеленые дремучие глаза. Листья деревьев распустились, окрылились и размножились за эти сутки. Где-то далеко трещали ветки и шла какая-то воркующая возня. Далеко и близко перекликались флейточки. С визгливым хохотом пролетела большая птица. Какая глубокая живая тишина! Так и кажется, что шевелятся ислетившие листья и обломки веток и по ним пробегает волнистая рябь. Паук торопливо носится, как по воздуху, между тонкими ветвями ольхи (как она попала сюда?) и плетет свои сети очень ловко, очень уверенно, со страстью отдаваясь своей чудесной работе. Куда ползет сизая жужелица, прихрамывая на все ноги и нащупывая путь длинными усами? Эти дебри еще не изведаны, а она знает, куда влечет ее властная сила инстинкта. Вот и он, Мартын Мартынович, всю жизнь неустанно, со страстью совершал свое де-

ло — растил и воспитывал людей, сажал и ухаживал за деревьями, сам учился жить — работать, бороться и мыслить. Бессмертие человека — в делах его, совершенное — совершается в новых рождениях. Вот он, лес, разросся, раздвинулся, стал сумеречно-многоствольным, и в нем — свои большие свершения. И здесь он, Мартын Мартынович, связан с каждым деревом, с каждым листочком и со всем миром этой лесной стихии. Здесь не только лес, но и его жизнь с молодых лет, здесь — тень его Нади, детские годы Владимира и всех питомцев — людей, которые боролись в революциях и строят новый трудовой мир.

Он встал и пошел к березовой роще. Только сейчас понял, что думал о ней непрестанно. Она манила его, не давала ему покоя, а он боялся, что не выдержит, если увидит белые трупы деревьев.

В том месте, где третьего дня возились у грузовика рабочие, сейчас было пусто. От костра осталось черное пятно и прибитая к земле трава. Полянка стала шире и светлее. Вдоль опушки, наваливаясь друг на друга лохматыми вершинами, лежали срубленные березы, и их стволы блистали серебром на солнце. Пахло смолистым ароматом свежей древесины. За копнами еще голых крон торчали пни: срезы были красные и мокрые от сока, точно обливались кровью.

Мартын Мартынович остановился, припав спиной к дереву, и тупо смотрел на поваленные березы. Вчера душа его бунтовала от гнева, а потом нахлынула скорбь. Пришли вечером девушки и принесли с собой радость. Они были такие весенние и простенькие! Знали ли они — что такое раздумье и печаль? А в старости есть вопросы, которые им неведомы. Мерцают эти девушки далеким прошлым, а в душе — только суровая покорность. И откуда-то, из далеких лет, слышится голос Нади:

Острою секирой ранена береза...

Она пела эту песенку, когда гуляла в роще.

Он не помнил, что с ним было в это

время, — отдыхал ли он бездумно, или лежал без памяти, или бродил по лесу. Это был странный безвременный покой, похожий на сон или обморок. Вывел его из этого бесчувствия внезапный дождик. Воздух был попрежнему солнечный, по коричневым и зеленым холмам ползли пепельные тени, и ози-ми блистали на солнце золотом, а в тени темнели густой зеленью. И было странно, что крупный дождь сверкал ослепительными вихрями и дрожал радугой над густой порослью. Он шумел, как ветер в лесу, и иголками вонзался в шею, в руки и бил, как горох, в спину и поля шляпы. Листочки на деревьях трепетали, как крылышки. Хорошо запахло землей и горьковатым ароматом древесного сока. Дождь прошел так же внезапно, как и начался, и солнце после этого стало как будто жарче. Влажный аромат плыл волнами — то густо, до головокружения, то исчезал и сменялся запахом дождя.

Мартын Мартынович выкапывал дерева, должно быть, давно: он сам удивился, что рядом на траве лежал ворох тонких березок и липок, с очищенными от земли корнями, а под ними вытягивалась вдвое сложенная мокрая веревка. Он ходил от дерева к дереву, выбирал подходящее и начинал торопливо окапывать его, врезая лопату на весь штык. Хотя он и задыхался и обливался потом, но работы не прерывал до тех пор, пока не вынимал дерево вместе с комом земли. Стряхнув ее, он осматривал мочку корней, — осматривал почему-то пристально застывшим взглядом, потом долго стоял, напряженно думая и прислушиваясь к себе. Пальто у него было мокрое, и с полей шляпы капала желтая вода.

Он связал сноп деревец и поднял за веревку мохнатую папаху корней с крошками земли. Вместо того, чтобы тащить его волоком, взвалил на плечо. Опираясь на лопатку, он пошел через заросли мелколесья. Казалось, что этот тугий и влажный сноп толкал его при каждом шаге, и густая метла тонких веток будто подхлестывала его сзади...

Острою секирой ранена береза...

Он почему-то не останавливался, не отдыхал, а торопился, не разбирая дороги, — шел напрямик, через пашни и незапаханные прошлогодние поля с остатками гнилой картофельной ботвы и торчащих серых кочанов. Вдали пересекала речку бетонная плотина, с красным железным мостом, а под ним, посередине, снежным водопадом бушевала вода. Налево, за холмом, в долине атели крыши и кирпичные стены домов, а за ними громоздились до самого горизонта длинные корпуса зданий в лесах, с бетонолитными вышками и высокими мачтами кранов. На той стороне зеленели прибрежные луга, а за лугами, очень далеко, мчался крошечный автомобиль, похожий на жука, и позади него рыжим дымом клубилась пыль. Небо было мягкоголубое и теплое, и облака, сырые и тяжелые, медленно плыли поодаль друг от друга из-за города в сторону строительства. Поля были по-весеннему тихие и грустные, и воздух переливался жаворонками. Очень высоко, у самых облаков, парили два коршуна, и было похоже, что это кружились два крошечных самолета.

В каком дальнем полете Владимир? Он никогда не говорил о цели своих полетов, не хвалился своими подвигами. Когда Мартын Мартынович был у него в Москве, он рассказывал отцу о своих приключениях, посмеиваясь, пожимая плечами, точно трунил над собой. Много у него было страшных опасностей, и Мартын Мартынович слушал его рассказы угрюмо. Но никак не мог забыть одного события: Владимир летел вдоль берега Ледовитого океана в сплошном тумане. Самолет обледенел. И вот перед ним мгновенно выросла темная тень — отвесная стена утеса. Через несколько секунд он мог бы разбиться вдребезги. Но он круто взвизгивает в высоту, дает газ и вертикально летит в бездонную мглу, будто в густом молоке.

— Признаюсь, папаша, немножко струсил... — встряхнув головой и смущенно улыбаясь, сказал Владимир, расхаживая по комнате. — Впрочем, у меня выработался какой-то птичий инстинкт... — засмеялся он удивленно. —

В последнюю секунду всегда подчиняешься странному критическому споконьютию, и руки уверенно действуют без всякой ошибки, с математической точностью.

— Я — земной человек, Володя, — заметил Мартын Мартынович. — И я с ужасом думаю, что ты каждый день можешь рухнуть... и превратиться в мешок с костями...

Володя, по обыкновению, блеснул хорошими зубами в улыбке, и эта заразительная улыбка всегда сияла целомудренным здоровьем и наивной непосредственностью.

— Если бы вдруг мне такое опасение закралось в душу, папаша, я немедленно оставил бы самолет навсегда.

Мартын Мартынович встал от волнения, дрожащими руками взял со стола бинокль и подошел к большому окну. Вплоть до горизонта Москва громоздилась океаном крыш.

В Володе он чувствовал что-то неуловимо милое — от Нади — и в то же время незнакомое, подавляющее, непонятное и чужое. Ему казалось, что в сыне есть что-то трагическое. Когда же в день отъезда домой он робко намекнул ему об этом, Владимир весело засмеялся.

— Это неверно, папаша. Я любопытен до неиспытанного. Счастье можно переживать, но исчерпать его нельзя. Мне вот нестерпимо хочется опоясать земной шар по разным направлениям. Тогда бы я мог сказать с удовлетворением: я знаю свою планету. Но даже и не это важно. Нам надо быть неотразимыми для врага. Мои питомцы показали себя на Востоке молодцами.

Не туда ли направил свой дальний полет Владимир?

... Пологий и широкий склон, в лыжинах и длинных взгорках, сползающих к речке, весь покрыт был прошлогодними пашнями, сизыми, с сединой, а длинными полосами свежей пахоты, а выше, к горизонту, и дальше, к союгороду, — солнечным бархатом весенней травы. Речки не было видно: она пряталась в густых зарослях ольхи и лозняка. Копны их ветвей уже дымились прозрачной зеленью, и чудилось, что

эти зеленые рои листьев волнуются и поют, как пчелы. Вверх по склону плывет в призрачном блеске жаркое марево. Как странно! Слезы сами собою заливают глаза: небольшое волнение или растроганность — и он плачет, как женщина...

Внезапно он увидел Владимира. Он бежал к нему налегке, без гимнастерки, без картуза, и радостно махал руками. Хорошо было видно, как он смеется, как раздувается у него оранжевая рубашка (в детстве он очень любил рубашки яркого цвета). Издали он казался маленьким, почти мальчиком. За ним бежали еще двое таких же малышей, а дальше торопилась группа мужчин и женщин. Они тоже махали руками, словно приветствовали Мартына Мартыновича.

Он остановился с замирающим сердцем и сразу же понял, что это — галлюцинация. Удивительно! Почему он поверил этому видению?.. Значит, он действительно болен. Нужно было отлежаться сегодня, отдохнуть, а не упрямиться, не обманывать себя. Дрожали ноги, не хватало воздуха, и мутный ужас сжимал сердце до безнадежности. Он боялся, что каждую секунду может потерять сознание.

Да, это — Володя, но Володя вчерашний, — тот парнишка, который так старательно помогал ему сажать деревца на набережной. Он бежит к нему навстречу и радуется, что увидел дедушку.

— Володенька!.. — крикнул Мартын

Мартынович, но голос его прохрипел едва слышно, как стон.

И вдруг на него нахлынула густая тишина, как туман: не слышно было ни дыхания, ни ударов сердца, ни звона крови в ушах. А небо неправдоподобно превратилось в необъятный водоворот, и на него трудно было смотреть: кружилась голова, тошнило... Склон увала стекал к нему вязкими волнами, а ноги потеряли опору и стали погружаться в зеленое месиво, как в трясину. В скорбном отчаянии он протянул руки вперед, точно хотел найти какую-то опору. Хрустящий сноп соскользнул с плеча и упал на землю. И в этот миг голос Агнии вскрикнул с сердитым сожалением:

— Вот и сказке конец!..

Потом все исчезло — растаяло в зеленой мгле, и сам он погрузился в душную пустоту. Будто сквозь сон почувствовал он, как его подхватили под руки, как кто-то вытер платком его лицо. Ему стало легче и свободнее. Пришел он в себя от говора и хлопотни целой толпы. Когда прошла дурнота и он осмотрелся немного, увидел рядом с собой Софью Мартыновну и несколько юношей, которые смотрели на него с удивленными и озабоченными лицами.

— Ну, упрямец, опамятовался?.. — с радостной дрожью в голосе крикнула Софья Мартыновна, заглядывая в его лицо. — Вот и отлично!.. Ведь я же знала, что это ваше путешествие добром не кончится...

С холма спускалась эмка.



# Спой мне, спой, Прокошина\*

М. ИСАКОВСКИЙ

★

Памяти матери.

Спой мне, спой, Прокошина,  
Что луга не скошены,  
Что луга не скошены,  
Стёжки не исхожены.  
Пусть опять вспомнется  
Все, что к сердцу тянется,  
Пусть опять почудится  
Все, что не забудется:

Сторона далекая,  
Хата в два окна,  
В поле рожь высокая,  
Теплая весна.  
Ельники, березники  
И друзья-ровесники.

Под отцовской крышею  
Здесь я жил и рос,  
Здесь ребячье, первое  
Слово произнес..  
И отсюда в юности  
Начал долгий путь,  
Чтоб судьбу счастливую  
Встретить где-нибудь;  
Чтоб свое законное  
Место отыскать.  
И меня за рбстани  
Проводила мать.  
Обняла, заплакала:  
— Ну, сынок, иди!..  
И осталась, бедная,  
Где-то позади.  
И осталась, горькая,  
На закате дня —  
Думать и надеяться,  
Ожидать меня.

И мне часто чудится,  
Что сидит она

И глазами блеклыми  
Смотрит из окна.  
Смотрит — не поднимется ль  
По дорожке пыль,  
Смотрит — не покажется ль  
Где автомобиль.  
Может быть, покажется,  
Может, еду я...

И опять мне хочется  
В дальние края;  
В дальние, смоленские,  
К матери родной —  
Будто не лежит она  
В поле под сосной;  
Будто выйдет, старая,  
Встретит у ворот.  
И со мною подвечер  
На поля пойдет.  
Станет мне рассказывать  
Про вчерашний сон,  
Про дожди весенние,  
Про колхозный лен.  
Станет мне показывать  
Все места подряд,  
Где мальчишкой бегал я  
Много лет назад;  
Где луга зеленые  
Вместе с ней косил  
И куда ей завтраки  
Я в жнитво носил..  
Все опять припомнится,  
Встанет предо мной, —  
Будто не лежит она  
В поле под сосной;  
Будто теплым вечером  
Смотрит из окна,  
А кругом — широкая,  
Дружная весна...

Спой же, спой, Прокошина,  
Что трава не скошена...

---

\* Александра Прокошина — запеваала в хоре имени Пятницкого.

# На горе Маковце\*

Историческая повесть

АННА КАРАВАЕВА

★

«Все бо помнят, егда Московское государство разорено бысть, и грады, и веси, и церкви огню и мечу преданы быша, и всяка душа от мала до велика истреблена быша, и Московское государство и грады обладаемы быша от поляков и от литвы и от немец, прочие же грады от русских воров разоряемы быше, и Московскому государству не бысть ни откуда помощи... и во время разорения Московскому государству обитель его немалая подпора и поможение бысть... и пристанище князем и бояром и всякого чину людем...»  
«...ина же и своима очима видехом...»

Из записей келаря Симона Азарьина.  
«Библиографические изыскания». Москва. 1846.

Ольга быстрым шагом шла к келарю Симону Азарьину. Монах-лекарь старец Фома приказал ей принести от келаря книгу-лечебник, чтобы узнать способ приготовления некоей мази. Прошло несколько дней после ранения Данилы. Раны его начали затягиваться, но он настойчиво требовал «вызволить» его скорее — он слышал, как перестреливались крепостные и польские пушки, и хотел вернуться на стены.

Только взбежала Ольга на крыльцо келарской кельи, как Осип грубо дернул ее за душегрею:

— Вот она, жена моя богоданная!.. Ужо буде, буде, женушка, от мужа хорониться... Сказывай, где шастала?

Ольга смотрела на него странным взглядом, словно только-что пришла в себя, — за эти дни она совершенно забыла о нем, он просто не существовал для нее.

— Где была, лукавая? — И Осип злобно стиснул ее пальцы.

Ольга вырвала руку и, словно внове узнавая, оглядела грязные кудри Осипа с запутавшимися в них соринками и соломинками, на его недавно щегольской, а теперь вымазанный землей и дегтем кафтан.

Женщина вспомнила что-то, и злым румянцем вспыхнуло ее лицо.

— А где ты был?.. Как утресь стрелять начали, небось, под телегу полез!..

— Да не ори ты, баба!

— А вечер кто в погреб пополз? Нет ты ли? Пусть-ко, мол, люди, да и брат родной своею кровушкой нас всех заслоняют.

— Цыц, подлая!.. — И Осип немойтой ладонью хотел было ударить Ольгу по губам, но женщина с силой отбросила его руку.

— Пусти, постылой!

Мелькнула желтой душегреей и скрылась за дверью келарской кельи.

Осип вспомнил, что за эту теплую душегрею дорого заплатил в Москве на Китайгородском торгу, — ничего не жалел для этой чернобровой!

А Ольга уже рассказывала Симону Азарьину, с каким поручением она пришла к нему от лекаря.

— Найдем, — сказал келарь, — найдем тебе сию книжицу для врачевания заслонников наших.

Бегло взглянув на вишневые пятна румянца на щеках Ольги и ее горящие глаза, келарь испытующе спросил:

— Сама-то во здравии ли еси?

— Здорова, — застыдилась вдруг Ольга.

\* См. «Новый мир» кн. 2, 1941 г.

По монашеской привычке всех исповедывать, келарь, перебирая книги в «большой шкапе», продолжал свои распросы:

— Пошто ж дышишь так тяжко?... О ком доука твоя?

— О Даниле Селёвине, — потупись, ответила Ольга.

— То служба наш монастырской?.. Аль свойственник он тебе?

Не осмелясь солгать иноку, Ольга рассказала, как сложилась сейчас ее жизнь.

— Грешно перед богом глаголешь, — сказал келарь, и его темносерые глаза строго сузились. — Что господь соединил, человек да не разлучит. А ты, жена, отгони беса, ино загубишь душу!..

Будто не замечая, как побелело лицо женщины, келарь осторожно сдунул пыль с золотого обреза найденной книги и подал ее Ольге:

— На, вот тебе и врачевальная книжица для старца-лекаря. Поди с миром.

Проводив Ольгу, келарь невольно вздохнул: много ли надо, чтобы «самим богом-вседержителем» припугнуть женщину, которая должна жить с постылым мужем?

«Лицом зело лепа и украсна» — стыдливо подумал Симон Азарьин, и сочувствие к страданиям молодой женщины еще сильнее охватило его. Но совесть его была спокойна: и святые отцы церкви навечно определили женщине «покорствовати и рабой мужа быти».

Симон Азарьин очинил перо и раскрыл толстую тетрадь в красном сафьяновом переплете. Бледноватые, твердые губы келаря развела мягкая улыбка — большие, распахнутые во всю ширь, листы призывно белели перед ним. Мягким движением он обмакнул перо в чернильницу и нарядной, в завитках и титлах, скорописью вывел вверху страницы: «Опись книгам, что из большой шкапы. Оглавление книг и кто их сложил».

Склонив набок большую лобастую голову, Симон оглядел каждую букву и остался доволен. Потом, взяв одну из книг, стопками разложенных на просторном столе, Симон внимательно

прочел ее заглавный лист, отложил в сторону и написал в тетради:

«Афанасия Великого житие. Харатейная<sup>1</sup> греческая, в полдесть...»

«...Аристотелева книга печатная, в десть, греческая, по обрезу золочена».

«Дионисия Ареопагита, книга письменная, в полдесть».

«Ипократа философа, книга письменная, греческая, в полдесть, ведомо, сложена при царе Александре Македонском».

«Плутарх, две книги печатные, греко-латинские, в десть...»

В келью несколько раз заходили служки с разными поручениями от архимандрита и старцев. Келарь все нетерпеливее выслушивал и отдавал распоряжения, а сам с великой досадой думал: угораздило же Авраамия Палицына застрять в Москве! Все дела, с которыми в монастыре привыкли обращаться к Авраамью, свалились теперь на голову Симона Азарьина.

Единственное поручение Авраамия, которое приятно выполнять Симону, — это приведение в порядок монастырского книгохранилища, насчитывающего более тысячи книг. Авраамий, хоть и называет себя книжником-любомудром, однако сам рыться в книгах не любит, — видно, терпения не хватает. Всякую работу почернее Авраамий предпочитает сбить другим, только бы почаще «перед мирскими» красоваться — вот, мол, какой он, Авраамий, философ, ритор и «книжник любомудрой», который «зело грамотен и письмен и многоязычен»: изучил греческий, латинский и польский, знаком и с немецким.

Симон Азарьин тоже читает и пишет на тех же языках, а с немцами, поляками даже разговаривать научился, когда жил вместе с братом, работавшим толмачом в Посольском приказе, в Москве. Могло стать, что и Симона Азарьина, как и брата, стали бы приглашать во дворец к правителю Борису Федоровичу толмачить на приемах иноземных послов,

<sup>1</sup> Харатейная рукопись — написанная на пергаменте.

да помешало горе: жена Азарьина, четверо детей и мать его, так любовно пестовавшая внуков, умерли все почти в один день от чумы летом 1592 года. Двадцатидвухлетний вдовец обезумел. Несколько раз его спасали от петли и вытаскивали из Москвы-реки. Наконец, не находя ни в чем улады, он постригся, приняв имя Симона.

С течением времени обнаружилось, что Симон Азарьин — один из самых «книжных» людей в Троице-Сергиевом монастыре. Недаром Авраамий именно ему поручил составить опись монастырских книг.

«Поручаю разумение твое господеву», — отъезжая в Москву, сказал Авраамий и троекратно облобызал Симона, как любезного брата. — Ох, хитер, хитер старший келарь!.. Уж что и говорить, умеет Авраамий придавать себе вид блаженного и преподобного мужа, просто хоть икону с него пиши! А впрочем, пусть его возвышается больше, если ему того хочется, — Симону Азарьину в конце-концов это безразлично. Только не мешал бы он Симону читать любимые книги и вести «запись лет преходящих», чтобы внести свою скромную долю в русский летописный свод...

В дверь постучали. Симон досадливо завосился в кресле, но вспомнил, что так тихо и настойчиво стучал всегда его ученик и помощник по работе над книжной описью, скорописец Алексей Тихонов. Келарь быстро подошел к двери и отодвинул засов.

— Входи, Алешенька. Да ты дрожишь, парень!

— За людей дюже боюсь, отче. Своими очами видел я, как ядром младенцу головку оторвало...

Алексей передернулся, снял свой черный колпак и дрожащей рукой провел по высокому покатоному лбу.

— Доколе будет длиться горе сие? — спросил он, печально крестясь и тревожно вслушиваясь. В сыром осеннем воздухе глухо и лениво гремели мушкетные выстрелы.

— А мы с тобой, Алексей, человек божий, вот как учнем робить... — и келарь хитро усмехнулся, — авось, гос-

подь отгонит от нас сию нечисть. Мы же с тобой, люди книжны, пребудем в келиях наших за трудами мирными. Вот, гляди, сколь я днесь книжицу описал...

Алексей Тихонов перевернул страницу и тихо улыбнулся невеселыми черными глазами.

— Мыслью, отче, уж коли ты мужей святых и ученых описал, то надобно и мою опись сюда ж присовокупить...

— Ино и делай так, сыне, — довольным голосом сказал келарь.

Алексей начал писать:

«Максим-философ, родом александрианин, епископ Константинопольской, боря Арианы<sup>1</sup>, на няже<sup>2</sup> и книгу написа о вере, юже<sup>3</sup> даде князю Медиоланскому. Сей Максим, философ и мученик, написа книг 45 и толкование на Аристотелевы категории...»

Алексей приостановился и глянул на келаря тихо сияющими глазами:

— Имать бы мудрость и знания сего мужа, отче!

— Уподобиться тому для тебя мочно, сыне! — уверенно ответил келарь. — Памятствуешь ты о книжном обильно, и дух твой мысленным рвением горит...

Пока Алексей писал, Симон Азарьин думал: какой счастливый «талан» у этого крестьянского сироты, выросшего в монастыре! И книжен, и письмен, — не только русские, но и греко-латинские и польские книги читает и о каждой умеет рассказать так, будто сам слагал ее.

Длинен и каменист путь, который, в страданиях и муках, прошли многие мудрецы, люди «пресветлого разума». Симон Азарьин был убежден, что все неустройства и ужасы происходят оттого, что еще «вельми скуден» мир такими людьми, которые много веков назад писали книги, преисполненные мудрости. Эти люди не стяжательствовали, не грабили, не убивали ближнего своего и превыше всего блюли честь свою, гордость и правоту.

<sup>1</sup> Т.-е. боролся с арианской ересью.

<sup>2</sup> О них.

<sup>3</sup> Которую.

Симон Азарын уже давненько перестал верить, что только в стенах монастырских можно обрести все эти качества мудрого человека. За полтора десятка лет, проведенных им в «достопадной царской обители», Симон Азарын навидался таких постыдных дел, что даже целое собрание архимандритов со всей Руси не могло бы убедить его, будто монастыри являются самым надежным приютом святости и благочиния.

Бывает святость и в миру, причем там-то она как-раз надежнее, чем в стенах обительских: без притворства и «всяческой пышной лепоты», а только силою своего хотенья и чистотою «духовной храмины своя» достигали мирские мудрецы «высот знания и рассуждения о жизни».

А жизнь до крайности сложна, запутанна до того, что порой просто непонятна, как книга с вырванными страницами. Как претерпеть бы человеку все тяготы ее, если не существовало бы наследия духовного, оставленного людьми пресветлого разума?

— Хронограф об еллинских мудрецах... — бормотал Алексей Тихонов, выписывая очередную строку: «Книга харатейная, письменная, в полдесть». — А я что нашел, отче... — И на бледных щеках Алексея зажегся слабый, как свет лампы, румянец. — Гляди-тко: «Книга Андрея Виннуса рудознатная».

— Ишь ты, какие чудеса господь-бог в человеке содеял!.. «Книга рудознатная»!.. То знаменует, что разум человеческий в недра земные проникает, а тамо богатства себе потребные находит... Боже ты мой, сколь же велик разум человеческий! Паче всего, сыне, прилежно образуй нетленной духвзыскующий.

Алексей улыбнулся про себя: эти любимые свои мысли келарь уже не раз высказывал ему, но юноше нравилось слушать их. Он привык думать так же, как и его учитель, а, кроме того, эти разговоры всегда напоминали ему, как много значило для Алексея, крестьянского сироты, сочувствие и внимание Симона Азарина. В мона-

стырь двенадцатилетний Алексей вступил со страхом и тоской. Болезненный и неловкий, он был лишним ртом в полугодной дядиной семье. Сестра Ольга, хоть и младшая, но более крепкая, чем он, была оставлена дома. Алешка тосковал о сестре и боялся хмурых иноков в черных рясах. Симон Азарын не только областал крестьянского сироту, но и сумел разглядеть в нем способности к чтению и письму, любовь к размышлению, мягкий и робкий нрав.

Немного времени прошло, как Алексей сделался не только учеником Симона Азарина, но и его поверенным. Все свободное время Симон отдавал книгам и летописанию и нередко читал Алексею написанное. И сейчас, по обыкновению, Алексей попросил:

— Любо бы мне послушати даде летопись твою, отче.

— Будь по-твоemu, — сказал Симон, и его твердые губы раздвинула тихая ласковая усмешка.

— Откуда я тебе чёл прошлой раз, Алешенька? А, нашел, нашел...

И Симон Азарын начал читать новые главы своей летописи. Алексей слушал, положив на колени твердые руки с длинными нервными пальцами скорпионца.

Временами Симон взглядывал на юношу, и тот отвечал ему внимательной, понимающей улыбкой. Это были блаженные минуты полноты и радости жизни.

— Полезны труды твои, отче! — сказал по окончании чтения Алексей. — Когда же станут их печатать?

Келарь порывисто встал и заходил по комнате, сумрачно посверкивая глазами.

— Про то надобно не меня вопрошати, а самого Авраамия Палицына!.. Он мне поведал, будто печатники на государевом дворе все мной написанное, в небрежение положили и напечатать не восхотели... Но то все — измышление самого Авраамия!.. В одночасье пришел он в келью мою и пытал меня, как запись веду... и все высмеял... Пошто, бае, обитель нашу порочишь?.. Я же сие писание

творил простою душою: что-де два ста лет до наших времен обитель преславна была чистотой жития человеческого, а не златом и серебром, яко ноне. Высмеял меня Авраамий: «Аль своими очми зрил ты все сие, Симон?» Я ответствовал ему: «Сие зрил я в мечтаньях моих, оком духовным...» А он все усмехается: «Когда же внове человеки счастье свое обретут?» Я ответствовал ему: «Не има мудрости Василья Великого, Платона али Аристотеля, и по сему сего провидеть не могу». А он угрозно возговорил: «Тщисься ты, Симон, мудрее всех быти!»

Симон презрительно усмехнулся и еще быстрее заходил по келье.

— Ино для любочестия своего тщуся?.. Для людей, для потомков наших. Помирать стану, тебе передам, а ты — кому другому, а тот — ишло кому, верному человеку... Дойдет! — закончил Симон, и его бледные губы еще упряме сжались.

Тут грохнул выстрел, и эхо чудовищным лаем раскатилось во все стороны. Под окном кельи кто-то зарыдал, страшно и безнадежно, кто-то взвыл с нечеловеческой силой — и стоустый неумолкаемый вопль забился о стены кельи.

Стклянка чернил, стоявшая на подоконнике, подпрыгнула и упала на пол, разбившись вдребезги.

Симон Азарьин и Алексей выбежали на улицу. Они подняли раненого и понесли его в больничную келью. Едва успели сдать его на попечение старца-лекаря, как в дверях появились носилки с другими ранеными. До позднего вечера келарь Азарьин и Алексей носили, перевязывали, утешали, провожали умирающих «в мир иной», забыв о своем любомудром, блаженном мире.

Глубокой ночью Симон Азарьин записал в свой летописный свод:

«В честном бою ныне преставилися: Сила Марин-Коширянин, ранен на Конюшенном пруде и от тае раны умер, в иноцех схимник Силуян.

Афанасий Ребриков ранен и от тае раны умер, в иноцех схимник Антоний.

Иван Ходырев-Олексинец, Василий Zubov, Степан Лошаков, Петр Ошутков... на месте убиты были, защищая стены града сего».

★

«... Войско плавало в изобилии: нельзя было надивиться, откуда бралось такое множество съестных припасов, всякого рода скота, масла, сыру, муки, меду, солоду, вина; даже собаки не успевали пожирать голов, ног и внутренностей животных... Польские солдаты готовили для себя кушанья из наилучших припасов, а пива так много забрали от крестьян и монахов, что его некуда было девать: пили только мед».

Мартин Бер. «Летопись Московская», гл. VII, «Сказания современников о Дмитрии Самозванце».

Лазутчики доносили воеводам, что во вражеском стане все говорят о решительном бое, который обрушится на стены крепости, «аки смерч огненной». Однако серьезной подготовки к бою, по их словам, в польском лагере не замечалось. Зато там ежедневно шли пиры. Польско-тушинские начальники ходили в гости из одного разукрашенного шатра в другой, а музыканты и трубачи играли с утра до ночи. На больших кострах жарились бараны и быки, в больших котлах варились щи и каша; бесчисленные кухари и повара варили меда и браги, которые пахли так сладко, что от одного только запаха, по рассказам лазутчиков, «в головах издедалось кружение».

Как ни старался воевода Долгорукой-Роща держать все военные сообщения «в тайности от ушей досужих», каждая весть тут же становилась общим достоянием. Воевода проклинал «велию тесноту людскую», которая не давала ему возможности уединиться в кругу особо доверенных советников и подчиненных. Вести о богатой и сытой жизни у поляков порождали уныние как среди монастырских властей, так и среди народа. Стали поговаривать, что монастырские кладовые скоро оскудеют без привоза из деревень, что уже сейчас кашу раздают еле помасленную, щи почти пустые, а потом будут кормить еще хуже.

Князь Григорий ненавидел врагов еще и потому, что пылал к ним зави-

стью военного человека: эго богато да вольготно живут, — расположились во-круг стен монастырских со всевозможными для себя наступательными выгодами.

— А мы здесь во стенах пленены, заперты, яко шубы в сундуке, — не выдержав, пожаловался однажды князь Григорий Борисович пушкарю Федору Шилу. — Да и людишки всюду толкуются, что, прости господи, бесы пред светлой заутреней... без них и дышать не можно...

— Тому не дивись, воевода, — сказал Федор Шил. — У тяглого народа и дома, и малой его достаток в лихолетье изгибли. Стены сии для них всех домом стали. Се надея наша. Коли отобьемся, — живы будем...

Воевода про себя признал, что пушкарь рассудил правильно.

Он уже знал теперь, что Федор Шил — здешний, клементьевский тяглец, который, вдосталь поскитавшись по заморским странам, не добыл себе лучшей доли. И все же, наперекор себе, своим мнениям и привычкам, князь Григорий Борисович втайне уважал Федора Шилова.

Исподлобья воевода следил за тем, как Федор чистил пушку «хвостушу». Сильным и точным движением пушкарь засовывал шуст—железный развилок — в пушечный ствол и так же ловко вытаскивал обратно.

Внизу, во дворе, вдруг зашумели. Шум все приближался. Федор Шил. пошел посмотреть, что случилось.

Едва он спустился с верхнего боя во двор, как увидел перед собой буйный клубок сплетающихся и отбивающихся тел. Кого-то хватали, кто-то вырывался. Среди орущих и обозленных лиц Федор вдруг увидел русую бородку и, в мелком бисере пота, оспинки Никона Шилова.

— Эй, Никон! — крикнул он, ничего не понимая.

— Подь сюды! Держи шептунов! — возбужденно отозвался Никон.

Федор вмешался в толпу, и руки его сразу натолкнулись на чье-то отчаянно вырывающееся плечо. Он сдавил его

и встретился с раскаленными злобой черными глазами Осипа Селевина.

— Пусти... чорт, сатана! — хрипел Осип, дергаясь изо всей силы. Но веревка уже обхлестнула его плечи.

— К воеводе его! К воеводе! — кричали в толпе.

Осип все еще старался выскользнуть из железных рук, но, почувствовав, что уже не уйти никак, сразу увял и поплелся, как пьяный.

— стыдоба тебе, рябая харя! — бесильно зашипел он на Никона Шилова. — На свадебном пиру моим вином упивался, а ныне меня, яко вора, воеводе предаешь!..

Когда пришли к воеводе, Никон вышел вперед и начал, задыхаясь от гнева, рассказывать:

— Я его, Селевина Оську, во зле уличил!.. Ходил он средь людей и нашептывал: с голоду-де мы вскорости подохнем, уж краше бы нам ворота града нашего отворити да врагам нашим смириться...

И тут Никон, не выдержав, сунул кулаком между оськиных лопаток.

Оська оскалился и прохрипел:

— Эй, воевода, развяжи меня!

— Нет, ты постой-кось, молодец! — И заплывшие глазки князя Григория грозно засверкали. Он сдернул с головы богато расшитую мурмолку и, дав волю гневу, хлестнул ею по черномазому оскаленному лицу. — Кто тебя учил, пес поганой, такие речи говорить?

Но Осип вместо ответа вдруг закричал во все горло:

— Отче Макарий! Отче Макарий!

Старец Макарий остановился и удивленно взмахнул короткими руками, увидев своего любимца связанным. Оська истошным голосом стал вопить, что он невинен, что его оболгали. Он клялся «мощами нетленными отца нашего Сергия» и, успев дотянуться губами до мясистой руки старца, раболепно облобызал ее. Старец приказал:

— Сымите пути с него!

— Господь с тобой, отче! — разбушевался воевода. — То смутьянник, прелестник... надобно его в башню запереть!..

— То наш верной радетель! — отрезал старец и сам очень ловко развязал узел на оськиной спине. Потом он милостиво приказал Оське: — Налагаю на тя епитимию на месяц: по сорока поклонов ежедень. Поди к отцу Тимофею да, благословясь, зачни покаяние свое. — И старец важно подтолкнул Осипа в спину.

Монастырскому «радетелю» того только и надо было. К отцу Тимофею он шел веселехонек. С этим иноком у него были свои дела: Оська для отца духовного добывал то лукавую посадскую женку, то вина заморского, а Тимофей подбивал старцев на выгодные для Оськи поручения.

Тимофей, в миру приказный дьяк Кузьма, был сначала сослан в монастырь за «казнокрадство и блудодейство», а потом пострижен в иноки. Этот красивый дородный монах носил черную атласную рясу, его длинные коричневые глаза всегда плутовато жмурились, а тугие пухлые губы краснели, как малина, из-под курчавых каштановых усов.

Отец Тимофей деловито благословил Оську и назначил ему икону и час, «егда надобно поклоны бити».

К вечеру стрельба прекратилась, и слышно было, как в польско-тушинском лагере играет музыка. Оська ловил ухом веселые, словно приплясывающие, звуки, и ему хотелось дрыгнуть ногой, щелкнуть пальцами, стукнуть чаркой о чарку, полной ароматной мальвазии. Когда, отбив свои сорок поклонов, Оська вышел под вечерние звезды, его чуткий нос услышал запах пира. Это был запах сладковатой пригари, когда под языками огня запекается мясо. Оська вспомнил, что с 23 сентября, как вошел сюда, не ел мясного. Рот его наполнился голодной слюной, сердце защемило от зависти. Жизнь, звенящая легкой деньгой, брызжащая жирными соками, кипела за стеной, а он, удачливый «гость», ловкий умелец торжищ, стоял здесь, в темноте, как нищий.

Еще недавно трепетала в руках его купленная, насильно приведенная в дом его красота, — но и над ней у него уже не было теперь власти. Потеряв торжи-

ще, дом, сундуки, полные добра, Осип Селевин словно весь иссяк, стал, как выпотрошенный, сила его осталась за стенами. Ему вдруг стало холодно и одиноко, захотелось прижать к себе тугое плечо Ольги, целовать ее горячие губы...

Полный нетерпения и надежды, Осип пробрался к своей телеге, пошарил под самодельным навесом, накрытым шемаханским ковром, и нащупал холодные подушки. «Ушла!..» — подумал он, скрипнув зубами; вполз под навес и укрылся зипуном.

★

12 октября утром Данила Селевин вышел из больничной кельи. Раны его почти зажили.

Данила долго искал Ольгу и, наконец, нашел ее в Успенском соборе. Она стояла на коленях, низко надвинув платок на глаза и прислонившись плечом к тяжелому медному подсвечнику, за капанному воском.

— Ольга Никитишна! — радостно шепнул Данила.

Она вскинула на него большие, испуганные глаза.

— Ольга Никитишна!..

Данила почти вынес ее из собора.

Он взял Ольгу за руки и держал их крепко, стараясь разгадать выражение ее опущенного лица.

— Что не глядишь? Прогневил тебя чем?

Ее пальцы дрожали в его руках.

— Аль не люб я тебе, Ольгунюшка?

— Люб... люб... — горячим шопотом ответила она — и вдруг глянула на него раненым, полным слез взглядом. — Люб... да бог не судил... греха, грехато что берем на душу...

Выпустив ее руки, Данила посмотрел ей вслед, не осмеливаясь догнать ее.

— Чаяли, хворому воскресу не будет, — ан, молодец встал, до облак достал! — раздался вдруг голос Федора Шилова. И пушкарь весело обнял Данилу.

— Дай-кось и я заслонника дорогого обойму! — И Василий Брехов обнял Данилу длинными сильными руками. —



Ну, молодец, ко времени от болей отошел: врази ныне опять ворошатся, чают нас побити.

К вечеру загремела «трещера», и вслед за ней начали палить все шестьдесят вражеских пушек.

Утром, после того как приступ ляхов был отбит, воеводы приказали очистить стены «от всякой погани», оставшейся на стенах верхнего боя после рукопашной схватки с ляхами.

Измученных пушкарей и стрельцов сменили добровольные заслонники — осадные сидельцы; они начали сбрасывать со стен вниз «всякую погань» — копья, мушкеты, сабли, кинжалы, латы, шлемы, плащи, конфедератки, расшитые пояса, железные и кожаные перчатки, кошельки с золотом, серебром и медью...

Внизу, на дворе, выросла целая гора трофеев, в которой поблескивали железо и сталь вражеских доспехов, пестрели куски бархата, шелка и сукна, искрились рассыпанные деньги. Несколькo жадных рук потянулось к деньгам. Чья-то длинная, обросшая густым черным волосом, словно волчья, лапа загребла целую горсть золота и только хотела скрыться, как другая, короткопалая, осыпанная рыжими веснушками, схватила ее и крепко сжала.

— Погоди-тко!.. Золотце, да не для молодца! — прозвенел чей-то дурашливый голос.

— Пус... сти... дьявол! — И взлохмаченный Диомид поднялся во весь рост, слясь отбросить от себя маленького человечка в засаленном тулупчике.

— Ты?.. Скоморошья харя!.. — расшвырял Диомид, чувствуя, что и на другой его руке повис кто-то. — Да вы оба тут, скоморохи?

— А куды ж нам деться? — И скоморохи Митрошка и Афонька представили перед взбешенным Диомидом.

Ловким толчком Митрошка вышиб из диомидовой горсти золото, и оно брызнуло во все стороны звонким дождем.

— Алырники,<sup>1</sup> морочили прокля-

тые! — возопил Диомид, хватая обоих за шиворот. — Не ведаете, что век вам могу укоротить, шпыни постылые?

— Ведаем, милостивец, ведаем — всяк монах от бога пристав! — с уможительным поклоном пропели скоморохи.

Кругом засмеялись, а Диомид, грозя кулаками, скрылся в толпе.

Нашлись и еще любители пожитья на даровшину, но их так же быстро уличили. Не обошлось и без свалки. Те, у кого стали отнимать награбленное, вцепились в своих обличителей. Пронзительно, как клушки под ножом, кричали женщины; визжали ребята; ухали и солено бранились мужики.

— Дайте вы народишку поживитися!.. да-айте-е!..

— Злыдни завидливые, аль вам чужого добра жалко?

— Пропадет добро — ни богу, ни людям, ни нам, мужикам!

— Вали, робя, наваливайся!

И вдруг могучий бас Ивана Суеты загремел над взбудораженной толпой:

— Стой, наро-од!.. Аль мы воры-ярыги с кружала, аль мы разбойники-убивцы?.. Аль мы расстригины слуги, коли оглодки да отребье врагов наших лютых станем подбирать?

Толпа притихла. Вдруг вперед пробрался Никон Шилов, его глуховатый голос срывался от гнева:

— Возьми всякой лучину да подпалай вражью рухлядь, злодееву, погану!..

Он быстро высек искру из кремня, раздул трут и, как пасхальную свечу, поднес к нему виток соломы.

— Кидай! Пали огнем! — повелительно крикнул он, и никто не посмел ослушаться.

Военная добыча задымилась, вспыхнула. Желтые дневные искры летели во все стороны, как ядовитая мошкара. Ветер вздувал пламя все выше к небу, а люди в исступленном веселье бросали в него новые и новые находки. Объемные пламенем, скрипели и гнулись вражеские доспехи. Серебро и позолота кипучей пеной сползали с них, и черно-багровое железо обнажалось, как кости скелета.

<sup>1</sup> От украинского: лирички.

★

Высокий дым костра, конечно, был виден полякам, и, как передавали лазутчики, враги правильно истолковали его значение: в монастыре праздновали победу.

Утром следующего дня дозорные на стенах увидели, как из вражеского лагеря выехало несколько всадников. Размахивая копьями с привязанными к ним белыми платками, конные заскакали вокруг стен. Скоро среди дозорных пошли шепотки, а потом и громкие смешливые речи:

— Глянь-кось, воры-то под нашими воротами трепака бьют!

— Скачут, что волки округ заселят.

— Эко, шишиморят<sup>1</sup>, будто на торгу!

— Вышла кошурка из бабурки<sup>2</sup> медведя обманом взяти!..

— А медведушко-то сам с усам!

— Э, не с той ноги, кума, плясать пошла!

И еще несколько дней подряд польско-тушинские всадники подъезжали к стенам крепости и уговаривали заслонников, сотников и воевод сдаться, обещали за это «богатства многи» и «честь великую» и «покой нерушимой дому сему».

Об этих «улещаньях» вскоре стало известно в осажденной крепости всем, вплоть до самых зеленых подростков. Потому на стенах с утра до вечера толкался народ. Среди любопытных нашлись и малодушные, которые, смедея понемногу, уже вслух стали поговаривать насчет того, что хороша-де война за горами, а не за плечами, что воеводам следовало бы прислушаться к советам и «улещаньям» польско-тушинских посланцев, потому что надо-де «пожалеть народ»: уже почти зима на дворе, а в монастыре недостает ни крова для всех, ни пищи.

Посадские торговые люди и менялы, которые без торжища чувствовали себя рыбами на песке, поддерживали эти жалобы, как умели: иные под шумок, иные явно, даже истошным голосом.

<sup>1</sup> Плутуют.

<sup>2</sup> Боковушка шестка.

Осип Селевин, целыми днями толкаясь среди своих посадских дружков по торжищу, тосковал все яростнее и злее. Он задыхался в унылой тесноте этих стен. Он был хитрее многих своих посадских дружков и действовал сообразно с обстоятельствами, — где шептал, а где грозил и похохатывал, не забывая, однако, оглядеться, — нет ли поблизости «ненавистного брата Данилки» и «присных данилкиных». Но, как ни остерегался Осип, собственный неумный язык-супостат выдал его.

— Вона какой ты заслух пущаешь — заслонникам нашим разум мутишь, — сказал голос, от которого Оську бросило в пот. — Ловок звонарь, одначе, звони, да не зазванивайся!..

У Осипа от злобы перехватило дыханье, но ноги, будто сами собой, стали пятиться к проёму, откуда спускалась вниз широкая лестница.

Данила с досадливым изумлением следил за петляющим оськиным шагом — неужели было время, когда он смотрел на этого блудливого человека снизу вверх, покорствовал ему и боялся его?

★

19 октября утро встало ясное с теплым ветерком. Стрелецкий голова Василий Брехов, потягиваясь длинным косявым телом, вышел из душевой стрелецкой избы и жадно вздохнул всей грудью.

— Эх, хороший денек ноне выдался!.. — сказал он, зачерпывая ковшом воду из большой бадьи, которая стояла около крыльца. — Ну-ка, Данилушко, пойней на меня.

Расшитым петухами рушником Василий Брехов накрепко вытер скуластое лицо, разгладил редкую воскового цвета бородку и бережно сложил рушник в карман кафтана.

— Не приведи бог потерять, — вдруг мягко улыбнулся Василий, — баба к ответу потянет... она у меня обиходная, рукодельница, всяку копейку бережет.

Пока хлебали тюрю с хреном, Василий рассказывал Даниле о своей жене Афимьюшке, о «малых детушках»,

оставшихся в стрелецкой слободе в Москве.

— Живут ноне сами собой, и весточки им не подашь.

Поели. Засунули ложки за голенища. Василий широко перекрестился и, оглядывая кипящий народом крепостной двор, проговорил с довольной улыбкой:

— Солнушко на небе — и людишкам жить послаще! Вона ребята все, что грибы, повысыпали!.. Ладил я их, своих, к Троице перевезти, да не поспел — от ратных дел не больно уйдешь.

Василий надел шапку, посмотрел на белую кипень мелких облачков на небе и подумал вслух:

— Може, ноне стрелять не будут, дыхнем малость...

— У воров ноне тихо, — сказал Данила. В это ласковое утро ему хотелось думать, что недолго осталось терпеть напасть. — Уж не возвратятся ли они вновь нас прельщать? — шутиливо спросил он Василья.

Тот только гордо нахлобучил высокую шапку и направился к мосткам, — сегодня его «черед стены заслонять» пришелся утром.

Не успел Василий с людьми словом перемолвиться, как Никон Шилов со стены крикнул дурным голосом:

— Ляхи!.. В огороде!

Все бросились к боевым местам.

— Кыш вы, иродово племя! — бешено крикнул Никон и грозно затряс кулаками. — То для честных людей землю обиходили, а не для вас, окаянные!.. — Он вдруг исчез и через минуту вернулся, неся на плечах толстые мотки веревки.

— Больно заскоктивы, ляхи проклятые! Нет, ужо я вам, мучители, дорогу засеку! — бормотал он, свирепо кося глаза и торопливо обвязываясь веревкой вокруг пояса.

— Спустите меня, други, наземь да дайте мне саблю повострее, попугаю я воров поганых!

— Стой-кось! — усмехнулся Василий Брехов, окинув быстрым взглядом небольшую фигурку Никона. — Аль мы тебя одиноком отпустим?

И Василий, обернувшись к стрельцам, кратко приказал:

— Десятеро нас наземь!

Десятеро, обвязавшись веревками, спустились со стены в монастырский огород по ту сторону ограды.

Князь Григорий Борисович даже разгневался, что из-за хрена да редьки возгорелась сеча. Но, видя, что «огородные воры» зовут себе на помощь латников, конных и стрелков и стычка уже переходит в сражение, воевода решился на вылазку.

На троицких стенах за боем следили не только воеводы, но и сам архимандрит с соборными старцами. Все видели, как бились русские стрельцы, как разили они польско-тушинских рыцарей, как малыми кучками — в три и четыре человека — отражали наскоки врагов, которых было во много раз больше.

Уже начало смеркаться, когда стрелецкий голова Василий Брехов велел трубнуть отступление.

Не дойдя до монастырских ворот, Василий Брехов вдруг вскинул руки и упал навзничь, как высокая свеча. Смертельно раненного, его еле успели перенести во двор, постричь и обрядить к погребению. В один вечер пришлось снаряжать в последний путь несколько десятков умирающих. Женщины, как уж не раз бывало, обмыли тела, надели на них смертное.

Обрядив Василья Брехова в последний путь, Ольга зажгла в головах у него большую восковую свечу, обвитую серебряной битью, поклонилась земно и, подняв глаза, в ногах гроба увидела Данилу.

Он стоял, опустив голову на грудь, и неотрывно смотрел в лицо Василия. Лежал стрелецкий голова, плотно смежив очи. Лики ангелов и святых в богатых окладах, позолоченных при царе Борисе Годунове, глядели на Василия Брехова истоиво-строга, будто еще что-то требуя от него. А он лежал, важно и твердо сложив на груди большие, сильные руки стрельца. На нем смерть не остановится: сколько еще прощальных поклонов доведется Даниле отдать тем, кого сразит она? А может статься,

как-раз его черед близок, как-раз ему и суждено будет вслед за Василием лежать вот так же лицом к святым и праотцам, которые смотрят вниз с го-дуновского иконостаса. Данила невольно вздрогнул, и тут он встретился глазами с горячим и тревожным взглядом Ольги. Он понял, что она думала о том же—сердце сердцу весть подает. Ольга, потупившись, вышла, и Данила пошел за ней.

Ольга остановилась у могилы семейства Годуновых и, прислонившись головой к одной из чугунных именных досок, тихонько заплакала. Данила шагнул к ней, обнял и бережно прижал к себе.

Ольга молчала на его груди, даже дыханья не было слышно.

— Судьба разлучает, судьба ж и прилучает, Ольгунюшка...

— А грех-от, грех-от куда девать, Данилушко? — прошептала Ольга. — Аль не боишься?

Он усмехнулся в темноте.

— Допрежь боялся, а ноне страх пропал... Кто тут грешнее выходит: мы, что грудью своей обитель заслоняем, али божьи наши иноки, что в теплых кельях сидят?.. Пока-что их немного на стенах видно, все за наши души молятся, а мы за их моления тела наши отдаем...

Ольга сказала тихонько, отогревшимся голосом:

— Смелой ты стал ноне...

— Станешь смелым, коли доля пришла боецкая.

Ольга глубоко вздохнула опять, словно, наконец, собралась что-то сказать, но тут, как из-под земли, вырос кто-то и пошел прямо на нее. Луна осветила белозубую ухмылку Осипа Селевина.

— Уйди! — вскрикнула Ольга и бросилась прочь. Данила рванулся было за ней, но она уже скрылась в осенней теме, — и тут он вдруг задохнулся от ненависти к Осипу:

— Пошто без доуки бродишь?

— Что ты мне, начальник, служка длинногровкой?

— Уж боле я не служка, а сотник...

Осип невольно охнул: как этот тихоня обхитрил его!

— А вот не погляжу, что ты сотник, да и...

— Ну-козь... кажи, кажи...

— Стану я обо всякого руки марать... Пошутить с тобой нельзя...

— Шути, кувшин, шути, поколе ухо оторвется!

Они стояли друг против друга, кровные братья и непримиримые враги. Мгла скрывала их лица, но мысли друг друга им были видимы, как подводные камни в пронзенной солнцем реке.

— Братие, братие! — ласково пропел вкрадчивый голос соборного попа Тимофея, и его плотная фигура выступила из темноты. — Пошто тако непотребно беседовати?.. Кто тут есть?

— То я, отче, — весело и покорно отозвался Осип. — Шел, вишь, во собор Успенской епитимью сполнять, покаинны поклоны бити, да вот брат мой грозится — пошто-де на стены не выхожу, в заслоне-де стоять не желаю...

— Иди во собор, молися о душе своей, — таким же елейным голоском сказал Тимофей.

— Стрелецкой кафтан напялил и возгордился, сосуд скудельной! — донесся вслед Даниле неприкрыто злой его смех.

«Вот так и есть: возгордился! — упрямо подумал Данила. — В заслонниках-то наши зипуны стоят, а ряс-то пока не видно!»

★

В ночной тишине Симон Азарьин с учеником своим Алексеем Тихоновым при свете оплывающей свечи записывали в летописный свод:

«Ныне убиенные суть:

Василий Брехов — голова стрелецкой, Авксентей Дранков, Петр Миклашев, Степан Томилин...»

★

В ночь на 25 октября был дождь, град и ветер такой силы, что железо гремело на крышах, а двери многих келий распахивались сами собой.

«Развернулись хляби небесные, — записывал Симон Азарьин в своем летописном своде. — Льются с небес воды, столь обильны, что се аз, иннок смиренной, трепещу, кабы не издался великий потоп да кабы не подмыл стены наши на сей горе Маковце...»

— Вон, отче, тот звездовник, что ты даве искал, — прервал Алексей размышления Симона.

Алексей держал в руках звездовник, огромную, как столешница, книгу в переплете из воловьей кожи, переведенную на русский язык еще Максимом Греком.

— Толико премудрости одолети! — И Симон нежно погладил широкою страницю, испещренную изображениями небесных светил.

— Я, отче, нашел: вот она, роспись, и исчисление всех светил небесных...

— Вот и ладно, чтя, Алексей...

Но тут ударили в сполошный колокол, и Симон с Алексеем выбежали на холод и ветер.

Звездовник Максима Грека остался раскрытым на столе. Непритворенная дверь кельи хлопала и билась по ветру.

Ветер трепал листы звездовника, но добротная бумага была прочна, как парус. Созвездия и планеты, начертанные искусной рукой Максима Грека и воспроизведенные станком Ивана Федорова и Мстиславца, словно светились на широких листах звездовника.

Сполошный колокол на Духовской церкви гудел и звал к бою.

Поляки пошли на приступ, думая напасть на стены врасплох. Но пламя над старым бревенчатым острогом, который кто-то в неразберихе поджег, выдало их. Сотнями летели они вниз с лестниц, которые приставили к стенам крепости. С ревом осенней бури сливался гром пальбы, лязг сабель и копий, грохот множества падающих лестниц.

К утру кончилась кровопролитная битва, а холодный осенний дождь смыл с зубцов и стен кровавые следы боя.

Вечером Симон Азарьин записывал:

«В битве зело кроволитной велию

храбрость показали многи стрельцы и пушкари, и пищальники, и тяглые люди, своею волею на стены сии восходившие. Имена сии суть: Федор Шилов, Данила Селевин, Петр Слота, Никон Шилов, Иван Суета, просвирник мужик Игнашка. Тот Игнашка купно со всеми из пищалей и пушечек постреливал, а також всех боецких людей силы подкреплял. Да простит ему бог-господь и святые его угодники — тот Игнашка своевольно кормил всех просфорами!.. Но теплые хлебцы плоть и сердца боистые согревали... Правды скрыть не могу: отменную помощь на стенах оказали двое людей гулящих, сказаемо — скоморохи, а имена их: Афонька да Митрошка. Не умея стреляти, сии гулящие людишки у зубцов стенных врукопашную с врагами билися и сами, бывши ранены, никак своего ратного места не оставляли и нерушимую крепость духа и силы своя показали. Еще упомяну о службе троицком Корсакове. Сей человек допрежь жития в обители рудознатцем был и в деле военном також познания имеет. Сей Корсаков умыслил в кузнице нашей ядра для стреляния из мелких камней сбивати да их же свинцом да железом оковати, то доброе указание тут же на пользу пошло: те ядра во вражеском стане великие шкоды учинили...»

★

«Как и в других монастырях строгие нравы ослабели от постригшихся бояр... У Троицы в Сергиеве благочестие исклякло...»

*Из письма Ивана Грозного, около 1578 года, «Историческое описание Троице-Сергиевского монастыря». 1841.*

Минул день 26 октября 1608 года. Во вражеском стане было тихо.

Лазутчики донесли воеводам, что в польско-тушинском лагере пока даже и не помышляют о бое: многие неприятельские туры разбиты русскими пушками, и потребуются несколько дней, чтобы возвести вновь эти укрепления.

— Знамо, ляхам, как драным волкам, опосля наших им уронов прихо-

дится бока свои зализовать да в ногах отлеживаться, — насмешливо сказал воевода Долгорукой, и эта шутка облетела все переполненные людьми дворы и закоулки крепости.

Маленький воевода Голохвостов, обходя стены, говорил:

— Помалкивают ноне, ляхи проклятые! Угостили мы их обедом огненным; опосля такого обеда и лях мудёр...

И эта шутка стала известна всем. На стенах и во дворе люди заметно повеселели. Шел дождь со снегом, ветер пронизывал до костей. Но всюду былолюдно и шумно. Впервые после многих дней все досыта наелись гречневой кашницы.

Игнашка, заделавшись кухарем, вооружился длинным черпаком и помешивал им в котле. Скоморохи Афонька и Митрошка, не усидев в духоте больничной избы, притащились к кострам, где толкался и гадел народ.

— И-их, тесненко ж тут пред огоньком-то, робя-я!

— Тесно, да советно!

— Ныне, бают, ляхи стрелять боются.

— Пусть-ко сунутся!

— Уж как щука ни востра, а не взять ерша с хвоста!

— Куды шелому с чупруном<sup>1</sup> супротив наших зипунов!..

Насытась, все еще больше расшутились. Скоморохи позубоскалили на радостях, потом Афонька затянул песню, а Митрошка подтянул грудным баском:

Зима вьюжливая, заметелистая, закуделистая!

Из тех новых из ворот

Идет с боярыней холоп.

Как боярыня холопа стала спрашивать:

— Ты, раздушенька-холоп,

Где ты был-побывал,

Где ты ночку ночевал?

— Сударыня-боярыня, у тебя в терему,  
С твоей дочерью.

— Ты, раздушенька-холоп, пошто  
сказываешь?

— Сударыня-боярыня, пошто спрашиваешь?

— Ты, раздушенька-холоп,

Поди вон из хором!

— Сударыня-боярыня, без посылу  
вон пойду,

Три-то беды я соделаю:

Я на первую беду — вороточки растворю.

На вторую-то беду — пару коней уведу,

А на третью-то беду — твою дочку увезу...

Никто не замечал, как из окошечка маленькой новой кельи следит за веселящимся людом какой-то мрачный монах. То был недавно постриженный, бывший боярин Михаил Пинегин, а ныне «смирненной мних Софроний». Скучая в иноческом своем одиночестве, он проклинал черных людшек, которые осмелились шуметь под окнами его кельи.

Постриженный боярин принялся за прерванное чтение книги Иоанна Лествичника. На картинке была изображена «лествица блаженства» с тридцатью ступенями. Наверху стоял розовощекий господь-саваоф. Как хозяин гостей, принимал он восходящих к нему с правой стороны иноков и святых. А по левой стороне лестницы скатывались в геенну адову все те, кто, погрязнув в земных грехах, пытался пробраться к золотым вратам рая. Бывший боярин неизменно видел себя в длинной шеренге черных ряса, которые поднимались прямехонько в рай. Лишь одного он никак не мог решить, — где ему следовало находиться: в конце шеренги, в середине или совсем близехонько к толстому седовласому богу. В том, что его ждут в раю, Софроний не сомневался. Не зря ведь он, боярин, лишившись наследника рода, постригся в монахи; постриглась и жена его. Разлученная с ним, она нашла приют в женском монастыре в Хотькове. Все имущество, земли и холопей отписали как вклад Троице-Сергиевой обители. Право, уж трудно дать большую цену за спасение души своей!

Он опять вперил взгляд в книгу. Но так как на дворе все еще шумели, гнев обуял его с новой силой. Софроний накинул на дородные плечи крытый черным бархатом армяк и крупным шагом направился к архимандриту Иоасафу.

Старик полулежал в постели, закутанный до пояса в парчевое, подбитое лисьим мехом одеяло. Утомленно шевеля тонкими и желтыми, как свечки, пальцами, он слушал доклад старца:

<sup>1</sup> Шлем с перьями.

Макария. Втиснувшись между подлкотниками низкого «веденейского» стульца без спинки, Макарий листал толстую книгу — столовый обиходник обители — и ворчливо гудел:

— Ино чту дале, как питали мы братию до сего скорбного времени. Писано в обиходнике о прошлой год: «Месяц Октоврий, первого дня, Покров пресвятой богородицы. Рыба да пироги да по пять мер меду, да икра, да пиво сычено». А ноне пирогов-то и вовсе не лекли, а токмо хлебушко пшенишной, а меду дали по три меры, а пива не довелось сварити. Блюдники<sup>1</sup> сказывают: братия ропщет, отче архимандрите, ропщет братия-то!..

— О, господи... — проронил архимандрит, подтягивая одеяло повыше и ежась хилым телом: с утра откуда-то дуло, он никак не мог согреться, у него ныли спина и ноги. — Сказано в писании, отче Макарие: накормим голодных, напоим жаждущих, — заслужим небесное царство...

— А дале пошло еще хуже, отче архимандрите, — невозмутимо продолжал старец Макарий, не обратив ни малейшего внимания на слова о небесном царстве. — Октоврий, восемнадцатого — день святого апостола и евангелиста Луки. Яства на сей день: капуста да пиво обычное... И что ж, отче?.. Замест пирогов с капустой дали мы братии паки же хлебушко с наипростой кислой капусткой, а пива и вовсе не дали. Блюдники сказывали мне: братия наша по столам ажно кулаками стучала.

— О, господи... — простонал архимандрит, — сказано же: не хлебом единым...

Архимандрита уже слегка тошнило от запаха дегтя, которым старец, неутомимый ходок по всем углам и закоулкам обители, мазал свои толстые яловые сапоги. Но этот запах приходилось терпеть, как и самого старца Макария, упрямейшего и злоехиднейшего из всех известных ему старцев. «Ох, прилипчив же он, яко смола горючая!» — горестно думал архимандрит, но терпел, зная,

что от старца Макария можно избавиться только тогда, когда он сам пожелает уйти.

— А<sup>1</sup> ныне память мученика Дмитрия Солунского. По уставу положены яства: рыба свежая на сковородах да мед. А иде она, рыба-то? До прудов ноне никак не доехати, да и маслице-то все в кашицу для тяглецов льем да льем, конца тем тратам не видно. Обьедают нас пришлые людишки... ох, обьедают зело!..

— А<sup>1</sup> ведомо, мужицкое брюхо и долото перемелет, ему токмо подавай, — вставил словечко Софроний. — Мы, братие, которые вкладами именья своего обитель обогатили, из-за тех черных людишек страждем, яствами обедняли, а те людишки нам за то и спасибо не скажут... да ишо перед нашими же очами шум учиняют... Людишки вовсе изнаглели... И в старину то ж бывало, отцы... Вздыманы бывали черны люди, иной раз и главы секли господам своим! — все горячее говорил боярин-иннок. У него были старые счеты с этими черными людьми: его бывшая жена, ныне инокия Антонида, происходит от одной из ветвей древнего новгородского рода Мирошкиничей, и некоторые из ее пращуров — Мирошкиничей — лет триста назад были убиты в своих новгородских хоромах во время мятежа «черного люда».

Старец Макарий слушал очень внимательно, его круглые светлые глазки жмурились и мутнели, будто наливаясь пьяной брагой. Когда боярин-иннок закончил свою речь, слово взял Макарий. Он был во всем согласен с иноком Софронием и считал, что «приспело время народишко обуздать».

Архимандрит напомнил ему:

— Мы не едины, начальники ноне — воеводы — первее нас, отче Макарие!

— Ништо! — зло и весело сказал старец. — Мы людишкам таковы страшны чудеса покажем, что душа у них вострепещет!..

Старец быстро заходил по горнице. Его грубые яловые сапоги попирали чудодейные цветы, травы и арабески персидского ковра, подаренного архимандриту царем Борисом Федоровичем.

<sup>1</sup> Прислужники при трапезной.

— Благослови, отче архимандрите, на святое дело рождения чудес великих! — и старец склонился жирной широкой спиной перед ложем Иоасафа.

Архимандрит простер над ним восковые руки и благословил. Старец добавил:

— Еще прикажи соборному попу Тимофею по моему розмыслу умом пораскинуть да с твоим благословением дело начать.

Архимандрит опять простер руки.

Тут же был вызван красавец-поп Тимофей, которого Иоасаф посадил на край постели, чтобы поговорить «ухо в ухо» — предстояло сугубо тайное совещание. Инок Софроний поднялся с места и счел приличным уйти. После его ухода старец Макарий велел принести особо любимый архимандритом ставленный<sup>1</sup> вишневый мед, а для себя малиновый. Поп Тимофей попросил простецкого питейного меда, броженного, с слинкой, с хмелем и пряностями.

Совещание продолжалось до позднего вечера. Старец Макарий, забыв о своих жалобах на то, что монастырь-де «зело объедают», распорядился принести из малого соборного погребца коечего повечерять во славу божию. После вишневого меда и архимандрит разогрелся. Он сошел с ложа и подсел к столу, уставленному блюдами, мисами, сулями.

— Эко, икорка-то пречудная... — не удержался поп Тимофей. — Никак такой же царя Василья ублажали, егда он был у нас на моленье?

— Икорка та сама, в ледок засечена... — ответил Макарий. — Зернь от зерни отлична, что жемчуг рассыпной...

— Царская икорка! — повторил Тимофей.

— Хо... хо... — И Макарий фыркнул в кулак. — При разумении и мы у Троицы царей не хуже!

★

Утром, ранехонько, средь мокрого мрака, загудел большой колокол на

Успенском соборе. Люди, как встрепанные, вскочили с постелей и, толкаясь, побежали в собор. Там вдоль стен, на клиросах, уже было черным-черно от монашеских ряс. Монахи хриплыми голосами тянули надрывно-унылые, будто зауспокойные, псалмы, хотя никого сегодня не хоронили. Качались черные клубуки, взметывались широкие рукава, словно густой, черный туман тяжелыми волнами ходил под высокими сводами собора. Паникадила темнели над толпой, как большие клубки паутины, а слабые огоньки лампад и малых подсвечников стлались, юлили в воздухе рыже-черными хвостиками, мельтешили в глазах, неверные, опасные, и каждый миг грозили потухнуть.

В соборе становилось все теснее и душнее. Никто ничего не понимал. Две женщины, окруженные ребятишками, не выдержав, громко вскрикнули. Ребятишки жалобно заплакали. В толпе вздыхали, охали. Послышались сдавленные рыдания. Наконец, зажгли паникадила, запахнулись позолоченные врата, и на амвон вышел соборный поп Тимофей.

Глаза попа Тимофея горели, как у одержимого. Размахисто крестя притихшую толпу, он призывал всех преклониться перед чудесами, которые начались уже несколько дней назад. Восемнадцатого октября инок Софроний, в миру боярин Пинегин, объявил: во сне ему явился сам Сергей и «предупредил», что враги нападут на монастырский огород, что воеводы тут же сделают вылазку и что стрелецкий голова Василий Брехов будет убит. На другой день все, решительно все, сбылось. А тут случилось другое чудо: пономарь Иринарх тоже увидел во сне святого покровителя Сергея, который сообщил ему, что в ночь на 25 ноября неприятель ползет на стены и будет отбит. И опять все в точности сбылось. Наконец, не позднее, как вчера вечером, произошло третье чудо. На сей раз святой явился самому Тимофею, наполнив его келью ароматами райских садов: святой был «зело гневен» и приказывал всем молиться днем и ночью, каяться во грехах, чтобы предупредить страш-

<sup>1</sup> Любимый старорусский напиток — мед, настоенный на ягодах.



ные беды, нависшие над осажденным градом.

— Покайтесь, покайтесь, грешники нечестивые! — гремел поп Тимофей.

Чей-то ребенок поперхнулся от страха и заплакал. Всклинула старуха. В толпе уже рыдали, стонали.

Поп Тимофей начал служить молебн. В соборе стало так жарко, что свечи гасли, паникадила дымились. Безумие разгоралось.

... Утром двадцать восьмого октября воевода Долгорукой мрачно слушал донесения лазутчиков. Когда они ушли, воевода вышел на стену и припал лбом к отсыревшим кирпичам крайнего зубца, — казалось, ноги еле держали князя. Минуты не прошло, как все на стене узнали, какую страшную весть принесли лазутчики: враги роют подкоп, враги хотят взорвать крепость!

На военном совете, впервые за все время осады, воеводы Долгорукой и Голохвостов говорили согласно и порешили единодушно: «денно и ночью вызнавать, где тот погибельной подкоп начало имеет, дабы, выгнав то проклятое место, навечно его изничтожить».

Как огонь по нитке, летела весть о подкопе. Она опалала людей, отравляла их мысли. Покаянные моления навели черный страх смерти, и безумие объяло всех. Оно проникло и на стены: на верхний, средний и подошвенный бой. Стрельцы, пушкари и пищальники, одиночке и кучками, не сказавшись начальникам, уходили бить поклоны в соборах и церквах. Многие из окрестных дворян и бояр, а также многие богатенькие торговые люди из посада, заражаясь друг от друга страхом «смерти неминуемой», торопили «наискорейше» постричь их в монахи.

Беднота посадская, горькие тяглицы, глядя на богачей, расстающихся с земными благами, тоже загорались желанием приготовиться к смерти, «ангельской чин прияти». Но, по уставу обители, вступающие в этот «чин» должны были принести с собой щедрые вклады: деньгами, землей, драгоценностями. Тяглицы и посадская беднота бросились умолять архимандрита постричь их без вклада. Архимандрит выходил

несколько раз, а потому устал и заперся у себя в молельной.

Целый день звонили большие и малые колокола на соборах и церквах, и глухой медный гул сотрясал небо над обезумевшими людьми, обреченными на смерть.

К вечеру воевода не выдержал и, преодолев боярскую гордость, отправился к архимандриту.

Иоасаф лежал в постели, закутанный в лисье одеяло, — у него ноги ныли к погоде. Старец Макарий сидел около постели, благодушный и торжествующий.

Стараясь не встречаться взглядом с белесыми, бражными от ухмылки глазами Макария, воевода заговорил холодно и важно:

— Я есмь начальник, наибольший воевода, царем посланной.. На стенах сих должен я государство московское защищать и славу его охранять, и ратных людей под рукою моею должен я тому ж учить. Но как польза будет от слов моих, коли многи ратны люди со стен на моления уходят?..

— Ино пусть ходят во славу господню! — весело пискнул Макарий.

Воевода позеленел от злости и, еле сдерживаясь, сказал:

— Дивлюся речам твоим, отче! А когда польские пушки внове начнут по стенам нашим стрелять, кто ж тогда будет нас защищать?

— Силы небесные, силы небесные, — вот кто! — Макарий торжествующе перекрестился на большой киот, блистающий золотом и серебром окладов, и ехидно ответил Долгорукому:

— Не худо и тебе, воевода-батюшко, попомнить: сил небесных и нас, молитвенников смиренных, победить не мочно... Да и уж больно ты черным людишкам волю дал, шибко они, людишки, взбодрились, — словно и бояться им некого. Верь ты боле силам небесным, нежели суете земной, батюшко-воевода!

Воевода глянул на короткопалые жирные ручки Макария, которые безмятежно перебирали четки, — и выругал себя ослом и остолопом: Макарий, под шум и гул «чудес», отомстил-таки

ему за недостаток почтения к монастырскому начальству!.. И, надо сказать, очень хитро и зло отомстил, проклятый святоша!

Поднимаясь на башню, оскорбленный воевода кипел яростью. Как они ему надоели, эти продувные лисы в рясах! Эти разжиревшие князья церкви, эти отцы духовные, его, большого воеводу, хотели бы видеть своим слугой! Нет, такого сраму над собой он творить не позволит. Он человек военный и обязан прежде всего заботиться о своем деле и опоры себе искать в своих ратных людях.

Поднявшись на верхний бой, Григорий Борисович встретил пушкаря Федора Шилова, в глазах которого был виден безмолвный вопрос. С такой же сдержанной тревогой смотрел на воеводу Данила Селевин. На лестнице стоял великан Иван Суета...

Когда враги будут побиты, каждый сверчок уберется под свой шесток, а теперь... теперь надо быть последним дураком, чтобы держаться за отцов преподобных с их благолепным размазней-архимандритом Иоасафом! Нет, — чем стать им потатчиком, лучше быть начальником над стрельцами, пушкарями и тяглецами.

Вот почему воевода благосклонно ответил на обращенные к нему вопросы: — Станем ноне вместе размышлять. Кто лучше удумает, то и примем...

— Я, чаю, князь-воевода, — сразу начал Федор Шилов, — допрежь всего надобно наших заслонников на стены воротить!

— Дело говоришь! — весело похвалил воевода. Он взглянул на двух великанов — Данилу Селевина и Ивана Суету. — Ну, молодцы! — еще веселее сказал он, лихо сдвигая мурмолку на лысеющей голове. — Идите к церквам и соборам да същите там заслонников наших!.. Так ли?

— Так, воевода! — твердо сказал Данила Селевин, а Иван Суета с такой подзадоривающей силой двинул могучими плечами, что воевода даже крикнул: «Ох, ты, дьявол!»

Воевода взглянул на зипунишко Ивана Суеты и ласково подмигнул:

— Ну-кошь, оденем и тебя, детинушка, в государев кафтан, чтоб никто не смел против слова твоего итти. Подитко, сотник Данила Селевин, да моим именем прикажи на сего детинушку кафтан надеть.

Будто раздумывая вслух, воевода продолжал, играя волнистыми прядями своей бороды:

— Гляжу, ратному делу ты стал невычен, Суета, страхом не прельщаешься. Назову я и тебя сотником: Даниле в подмогу...

Все трое низко поклонились.

«Ну, эти маху не дадут!» — довольный собой, подумал воевода.

★

Увидев в толпе молящихся военный кафтан мясного цвета, Иван Суета легонько хватал его обладателя за шиворот.

— Куда волокешь, сатана? — взъярился один из таких богомолков, когда Суета выводил его на паперть Успенского собора.

— А ну, оглянись, красноперой оукнек, оглянись! — добродушно сказал Суета и выпустил ворот. Обладатель военного кафтана оглянулся и сконфуженно пробормотал:

— Тыфу ты! Иванушко!

— Корсаков? Матвеюшко, пошто ж ты со стены сбежал?

— Да ведь страх берет!.. Неровен час, вздымут нас ляхи на воздуси, и пропали наши душеньки...

— Вздымут, вздымут... доглядывать надобно, на то мы и ратны люди стали! Корсаков стыдливо почесал бровь.

— Да уж ладно, ладно... Айда, что ль, помогу людишек от ладана тащить... Говоришь, доглядывать надобно? — Он вдруг вскинулся, и в его ленивых глазах вспыхнула искорка. — Слышь-ко, вспомнил я, как у Строгановых в Урал-горе мы руды добывали... пророем в земле ходы-слухи и учнем слушать — ладно ль встречь нам копают.

Тут подошли Федор Шилов и Данила Селевин. Федор рассказал, что ему удалось вместе с Даниилой Селевиным

вернуть на стены десятка четыре «красноперых окуньков». Данила, подтягивая нитку у полуоторванного рукава своего кафтана и смущенно посмеиваясь, добавил, что, не будь он сам силен, его здорово исколотили бы: некоторые ратные люди гневались, что им мешают «спасать душу», и лезли в драку.

Иван Суета заставил Матвея повторить рассказ о подземных «слухах».

— Чаю, сгодятся те слухи и ныне, — сказал Корсаков, и умная усмешка осветила его грубое, остроскулое, с коротким, словно обрубленным носом, лицо. — Те слухи надобно глубоко рыть. Тогда проведаем, где лопаты стучат, где ляхи под нас подкоп ладят...

Федор шагнул вперед и обнял Матвея.

В тот же день бывший рудознатец Корсаков получил от воеводы Долгорукого разрешение копать под землей «слухи» в направлении с юга на запад.

Маленький Голохвостов назвал это дело «блажью» и «беззаконием», — виданное ли дело, чтобы люди, как кроты, вгрызались в землю? Надо ловить «языков» и выпытывать у них, где роют подкоп. Кроме того, надо послать в Москву гонцов и просить царя Василья о помощи людьми...

Князь Григорий задумался. Как ни ссорились они с Голохвостовым, маленький воевода наполовину был прав: и «языков» надо хватать, и надо просить у царя помощь людьми. Но кого послать в Москву?

Перебрав в памяти множество людей, воевода, наконец, нашел: он пошлет Никона Шилова и Петра Слоту!..

Он тут же велел разыскать обоих, привести к себе. Шилову и Слоте было объявлено, что они отправятся в Москву нынче же в ночь.

★

Корсаков со своим отрядом все глубже вгрызался в землю. Прорыли низкий лаз сажен на двадцать. Корсаков вползал туда несколько раз в день и вслушивался до звона в голове, не копают ли где вражеские лопаты, и не слышал ни звука.

Воевода Голохвостов зло посмеивался над «землеройками» и даже распустил слух, что никакого подкопа не существует — князь Григорий его со страху выдумал.

Воеводы теперь ссорились еще чаще. Долгорукой-Роцца ни на минуту не сомневался в существовании подкопа и убедил в этом всех других военачальников. Кроме стратегических соображений, заставивших поляков рыть подкоп, князь Григорий принимал в расчет честолюбие их полководцев; «честь воинства волчицы жаднее». Сапега и Лисовский, как полководцы, крайне озлоблены, что не могут взять крепость, которую защищает жалкая горсть защитников. Сапеге и Лисовскому «срамно» уйти без победы, и, конечно, главная их надежда теперь на подкоп. Поэтому воевода несколько раз в день справлялся, — не слышать ли под землей подозрительного стука, а однажды даже сам попробовал вползти в подземный лаз; дородного боярина вытащили из-под земли полузадохшимся.

★

La guerre est ma patrie,  
Mon harnois — ma maison  
Et en toute saison  
Combattre c'est ma vie!<sup>1</sup>

Старинная французская  
солдатская песня.

Польско-тушинский лагерь спал. Только временами глухо доносилась перекличка часовых, да во сне смутно ржали кони.

Молодой ротмистр пан Брушевский засиделся над письмом к своей невесте в Краков. Ротмистр был так увлечен своим писанием, что даже храп десятка офицерских глоток не мешал легкому течению его мыслей. В низкой рубленой избе, убранной коврами, которые пропитались запахами крепких табаков и пота, было жарко, как в предбаннике. В бронзовом шандале, изображающем полуподнявшуюся змею с разинутой пастью, оплывала свеча. Свечное сало капало на стол.

<sup>1</sup> Война — мое отечество,  
Рыцарские доспехи — мой дом,  
Всегда сражаться —  
В том жизнь моя.

«...Вы просите, дорогая Марильця, написать о наших военных подвигах. Право же это будет скучно для вас — военная жизнь очень трудна и сурова.

Вы спрашиваете, когда кончится война? Увы, дорогая, я ничего не знаю. Вы же знаете, любимая Марильця, что я не политик и мечтаю только скорей очутиться в нашем милом Млочнёве, около вас, моя Марильця! Но увы!.. Пока все это мечты. Ах, дорогая Марильця! Я не политик, но скажу вам на ушко: вся эта военная суতোлка не стоит ломаного гроша!.. Я понимаю одно: уже много дней мы стоим под стенами Троице-Сергиева монастыря, одного из богатейших в Московии, и, вообразите, не можем взять его!.. Ах, несравненная Марильця, опять скажу вам на ушко: только потому и можно терять время вокруг этой горы Маковец, что, говорят, подвалы монастыря ломятся от золота. В сундуках ризницы, говорят, лежат пуды жемчуга и драгоценных камней, до потолка наставлены сундуки с золотой парчой, шелками и бархатами, расшитыми жемчугом и самоцветными камнями. А в потаенных шкафах спрятаны окованные серебром ларцы, в которых хранятся алмазы величиной с яйцо, изумруды, яркие, как весенняя травка под вашими ножками, сапфиры, в которые достойно смотреть только вашим очам, несравненная Марильця, и чудные лалы, сочные и красные, почти как ваши уста!.. Когда нам удастся подкупить какого-нибудь русского дворянина или даже хлопа, мы с торжеством и громом войдем в эту монастырскую крепость, и тогда monsieur Perier получит от вас множество заказов и раньше всего — на дивное ожерелье. Я вздрагиваю, представляя себе вашу шейку, окруженную бриллиантовыми гроздьями чистой воды!.. Я привезу вам золотую и серебряную парчу — ведь русская церковная одежда необычайно роскошна!.. У вас будут кубки и чарки из золота и индийского перламутра, а персидские и шемаханские ковры, уверяю вас, будут ничем не хуже тех, что я посылал вам из Москвы... О, если бы я мог распоряжаться временем!.. Но, увы,

божественная, все мы — наемники войны и смерти.

Наши знаменитые паны Сапега и Лисовский с каждым днем все больше приходят в ярость и говорят: «Надо, наконец, взорвать это гнездо!» Наши военачальники приказали рыть подкоп, который в назначенный ими день решит судьбу Троице-Сергиева монастыря.

Уже глубокая ночь, мои товарищи спят крепким сном, а я только и хочу мечтать о вас, дорогая, несравненная Марильця. Я вас так люблю и так тоскую о вас, что готов иногда молиться: «*Libera nos ab Amore!*»<sup>1</sup>..

Пан Брушевский сложил письмо, спрятал его у своего сердца, набросил на плечи бархатный плащ, подбитый мехом, и вышел подышать ночным воздухом.

На валу около пушек пан ротмистр обнаружил пятерых часовых, которые спали, как младенцы. Все были пьяны и храпели так сладко, будто нежились в постелях где-нибудь в Слониме или Дрогобыче. Ротмистр Брушевский дал каждому доброго пинка и, ругаясь про себя, пошел дальше.

Внезапно он почувствовал, что неведомая сила сбила его с ног и повлекла куда-то вниз. Он хотел было крикнуть и тут же задохнулся от кляпа во рту... Кто-то шопотом выругался по-русски. Что-то сильно ударило пана в затылок, и все пропало в холодной тьме.

★

Письмо к Марильце было при обыске у пана Брушевского отобрано. После первого испуга он подумал с презрительной усмешкой: «Не беда, эти варвары не поймут ни слова!»

Но через час в башню вошел худой большеглазый человек в пушкарском кафтане, и пан Брушевский узнал, что письмо Марильце прочитано и переведено до последнего слова. Он с ужасом вспомнил, что между любовными излияниями обмолвился Марильце и о вещах, которые, в сущности, очень мало могли ее интересовать...

<sup>1</sup> Освободи нас от любви!

После первых же вопросов пушкарь, довольно чисто говоривший по-польски, перешел непосредственно к делу: где находится подкоп, о котором ротмистр писал в письме?..

Пан Брушевский, трепеща, ответил, что о месте подкопа ровно ничего не знает.

★

Федор Шилов вернулся с докладом к воеводе.

— Не сказывает лях, иде подкоп. Какой твой приказ будет, воевода?

— Пытать! — сказал Долгорукой. — Время не терпит. Сам буду того поганца вопрошать!

Но и на пытке пан ротмистр твердил одно: о месте подкопа он ничего не знает.

Воевода Долгорукой пришел в Пятиницкую башню, потный и злой.

— Упорен проклятой лях! «Не ведаю да не ведаю!..» Уж и в землю-то вгрызлись... Кажись, денно и ночью роет...

— Яко кроты слепые! — ехидно вставил маленький Голохвостов. И заговорил о том, что рудознатца Корсакова «за нерадивое копанье» следовало бы отменно наказать, например, «легонько покачать его на дыбе» — пусть впрямь больше старается.

— Дозволь, воевода, слово скажу... — В дверях башни показался Федор Шилов. Он низко поклонился обоим воеводам и сказал: — Видно, крепок вражий орешек, — не угрызешь его в одночасье. Ишшо копать надобно в иные концы: на север да на восток, встречь солнцу красному.

— Красно, брат, баешь, — ядовито вернул маленький Голохвостов.

— А касаемо того Корсакова, — невозмутимо продолжал Федор, — просьбишка у меня: это дело мне препоручить, моей голове ответ держать.

Голохвостов встал, оттолкнул резной стулец и, не кивнув никому, отправился к выходу. Воевода Долгорукой проводил его злобной догадкой: «К чернецам ябедничать пошел, старой злыдень!»

Насколько легче было говорить с этим пушкарем, который ничего не хо-

тел для себя и, как уже хорошо изучил его воевода, был верен слову!

— Эко, гляжу я, пушкарь, горазд ты товарищев защищать. Инда главы своей не жалеешь! — хитро посмеиваясь, сказал воевода и тут же подумал: «И оком не моргнет, подлец!»

— Так тому и быть, копайте уж с севера на восток, — сказал опять князь Григорий, — однако, сего ляха еще за язык потянем!..

— То надобно, воевода. Коли о подкопном месте он не ведает, так другое ему ведомо: как ишшо умышляют воры округ нас таибничать<sup>1</sup>.

— Хм... А откуда у тебя дума сия о незнайстве ляха?

— Словесен я и письмен в языке польском, — уверенно усмехнулся Федор Шилов. — Чел его грамотку к польской девке — жаден, как волк, а разумом зело беден...

— О дворянах негоже тако поминать! — гневно буркнул воевода, но пушкарь, словно не слыша, продолжал:

— А уж хлипок-то, хлипок: на коленах предо мной ползал: пане да пане, я злата тебе дам, токмо оборони меня от воевод... Истинно в народе говорят: спесивой высоко мостится, да низко ложится. Остался пан без хором да без челяди, так и гордыню потерял. Как пес, всем сапоги лижет!..

«Сам ты пес!» — подумал князь Григорий, но опять в глубине души не мог скрыть, что пушкарь прав: в пытошной под Каличьей башней воевода своими глазами видел, как пан-ротмистр пресмыкался перед грязнополым монахом Диомидом, который орудовал около дыбы. Что говорить, отвратно вел себя шляхтич — видно, небогаты честью дворяне Ржечи Посполитой!

Но, как всегда, испытывая потребность спорить с пушкарем, воевода усмехнулся в бороду:

— Хм... Сумнительно мне, откель у людишек сила возьмется. Даве рыли без толку, и ноне рыть-копать. Народ отощал, уморился...

— Точно... Уморились мы, князь-воевода, однако, не вовсе извелись, —

<sup>1</sup> Вредить.

усмехнулся пушкарь. — Есть у меня, чем народ возъярить! — и Федор вынул из-за пазухи письмо пана Брушевского.

★

Это письмо Федор прочел по-русски сначала землекопам, которые грелись у костра, а потом молодым монастырским служкам, которые варили жидкую кашицу в больших котлах.

Понемногу вокруг чтеца собралась целая толпа. Те, кому письмо уже было прочтено, не отходили, а снова и снова слушали «воровские» слова.

— Братие, заслонники, слышали, что дается — умышляют наши головы порубать!

Федор рассказал о безуспешном допросе «языка» и о том, что теперь надо копать «слухи» с севера на восток. Игнашка-просвирник вздохнул, горько и зло усмехнулся:

— Эх, мужик горе в реке топил, а все не избыл...

— Засечем дорогу ляхам! — рокотал могучий бас Ивана Суеты. — Засечем дорогу ляхам, выслышим, выглядим, иде они подкоп ведут...

— Бери лопаты, бери лопаты! — кричал какой-то бойкий служка. — Вона, несут!..

Данило Селевин начал раздавать лопаты.

Вдруг послышались чьи-то завыванья и крики, будто на похоронах:

— Погибель, погибель наша-а!

Федор вскочил на могильный камень, замахал островерхой пушкарской шапкой:

— Кыш вы, худоумцы!..

Но его перебил кликушечий визг — дебелая баба, накрывшись овчиной, топталась и стонала:

— Ой-ой, горе на-ам!..

Данила Селевин подобрался к ней и обхватил ее широкие плечи:

— Слышь ты, баба!.. Уж коль неможется, поди в больнишну избу, а народ не смущай!..

Кликуша вдруг сильно и ловко толкнула его в грудь. Овчинный тулупчик упал в грязь — встрепанная Варвара-

«Новый мир», № 3.

золотошвея глянула на всех ошалело-злыми глазами и исчезла в толпе.

Данила рванулся было за ней — и тут увидел черную бородку и смолевые брови брата Оськи.

— А-а! — понимающе крикнул Данила и схватил Осипа за шиворот. — Тут ваших дружков дело! Вона ты куда чкнулся, плакальщик?

— Пус... ти! — прохрипел Оська. Его дружки — посадские торгаши, прасолы, беспутные кабацкие гулебщики — зашвистели по-разбойному:

— Ге-ей! Стрельцы безоружных бьют!.. А-а-о-о...

— Принимайте-ка вопленника! — крикнул Данила, бросив Оську под ноги людям, подходившим с лопатами на плечах. И только тут он понял, что давно жаждал унижить этого человека, который обокрал его жизнь.

Осип вскочил на ноги, яростно бранился. Но Федор Шилов сунул ему в руку лопату и сурово сказал:

— На-кось, покопай. Не все жрать лакомые куски, — поробь-ко с нами, пострадай!..

Оську Селевина с лопатой встретили ехидным смехом и прибаутками — многие троицкие служки уже давно точили зубы на этого монастырского любимчика за его спесь и удачливость, за то, что Оська безнаказанно помыкал ими.

— И-их, робята, какой боярин с нами вровень идет!

— Не брезгует, подай ему господь да сорок мучеников!

— Раздайся, народ, лихого работника пропусти!..

Инок Софроний должен был посторониться перед шумной гурьбой троицких служек, что с лопатами и корзинами шли к северной Каличьей башне. Один молодой парень походя толкнул инок. Тот было взревел по-боярски: «Куды прешь, холоп?» — и кленовым своим посошком ударил служку по спине. Но тут же инок Софроний почувствовал, что кленовый посошок мягко, словно ветром, выхватили из рук.

— Худо иночествуешь, боярин, худо ангельской чин блюдешь! — грозно сказал большеглазый пушкарь и, как

соломинку, сломал о колено иноческий посох с серебряным набалдашником.

У боярина дух захватило от бешенства, ноги пристыли к земле.

А Федор Шилов несколько минут смотрел на куски дерева в руках — и казалось ему: то расправился он с прошлой своей немилосердной и вероломной судьбой.

— Сойди-ко с кути, боярин, — сказал Федор, бросил обломки наземь и повел своих людей дальше.

Проходя мимо Каличьей башни, землекопы приостановились, чтобы послать проклятие «языку» из вражеского стана.

Пан-ротмистр Брушевский с ужасом прятался за выступом окна. Он опять видел лица, искаженные ненавистью, слышал крики, похожие на рычание, — будь он внизу, они своими лопатами изрубили бы его!

В небольшое отверстие, величиной с кулак, которое он еще вчера провертел в слюдяном оконце своим кольцом-печаткой, пан Брушевский глядел вслед землекопам. И — вдруг... пан Брушевский даже поперхнулся от неожиданности: кто-то чернявый, без шапки, притотстал на секунду и кивнул в сторону Каличьей башни. Неужели в этой осажденной крепости у него есть друзья?

Он припал к решетке, глотая холодный сырой ветер.

Землекопы уже начали копать. Чернявый без шапки был хорошо виден ему.

Великан с рыже-золотыми волосами, в стрелецком кафтане, подошел к чернявому и повелительно толкнул его в спину. Чернявый, начав копать, опять оглянулся и кивнул в сторону башни, как бы показывая пану Брушевскому: смотри, как со мной обращаются...

Пан Брушевский задрожал от радости: а вдруг он нашел человека, который примет польское золото и распахнет крепостные ворота? А если так...

Пан Брушевский мгновенно вообразил, как он, рядом с ясновельможными полководцами Салегой и Лисовским, подбоченясь на зеленом бархатном, затканном золотом седле, въезжает в крепостные ворота. Пан-ротмистр жадно

приник к решетке и упорно смотрел в спину чернявому: «Оглянись же, ну, оглянись же, дурак, простофиля!»

Когда чернявый, наконец, оглянулся, пан Брушевский быстро высунул руку и помахал ею, как флагом. Чернявый украдкой тоже помахал рукой.

Пан Брушевский хотел было махнуть чернявому еще раз; но дверь, лязгнув, открылась. Ротмистр понял, что это опять пришли за ним, завыл по-заячьи, упал на пол, трепещущими руками обнял чьи-то беспощадные ноги в грубых сапогах, густо пропахших дегтем. Перед ним стоял лохматый Диомид, бывший иннок-кабацкой, а ныне тюремщик в Каличьей башне.

★

Осип Селевин, отложив лопату, пошел к братским котлам, веселый, хитрый, себе на уме.

В голову ему лезли привычные, торговые, лихоудачливые слова: «Торгуем медом, воском, а тож и вязьем, полозяем да оглобелъем-лесовщиною, а коль надобно — и молодецкой рукой. Горазда рука денежку ловити, горазда и воротца растворити!»

Навстречу попалась Варвара-золотошвея, веселая, румяная. Одета, как боярыня, в новый опашень, крытый червчатым<sup>1</sup> сукном.

— Эх, ты, ягода, ягода, не видал тебя два года! — лихо поздоровался с ней Осип, а сам сунул руку под опашень, в лисье густое тепло.

Сегодня после разговора знаками с пленным поляком, золотошвея показала ему особенно ладной и сгожей — с такой бабой не пропадешь! Бог с ней, с Ольгой, хоть она и жена. Живи бы он в посаде, в своем доме, — уж он, как муж, нашел бы на нее управу. А здесь она все в больничной избе пропадает, на мужа и не взглянет. Ладно, пусть живет, как хочет: он не по ней, да и она не по нем.

У порога больничной избы Ольгу остановил старец Макарий:

<sup>1</sup> Красным.

— Поди-тко, молодуха, в келию к иноке Ольге, — зело тоскует душа ее.

— А кто ж она, инока та?

— Кто? Дура ты богова!.. То в миру царевна Ксения свет-Федоровна, дщерь царя Бориса.

— Да на что ж я ей? — вдруг оробела Ольга.

— Твоя забота?.. Поди и ладь все, что прикажет. Если, говорит, человека жива не пошлете ко мне, смертию помру. Поди, поди!

В приоткрытую в сенцы дверь Ольга услышала грудной, чуть с хрипотцой голос иноки Ольги, в миру Ксении Годуновой. Ксения пела:

А что едет к Москве Расстрига  
Да хочет теремы ломати,  
Меня хочет, царевну, поимати,  
А на Устюжну, на Железну отослати.

Напев был тягучий, погребальный. Поющая замолкла и вздохнула. Ольга вошла в келью.

Царевна-инока обернулась и спросила глухо, кривя пухлые темные губы:

— Се тебя послали?

И, не дожидаясь ответа, повелительно указала Ольге на широкую лавку, обитую тисненой кожей.

— Садись... Слыхала?.. То на свой глас пою, сама песню сию сложила.

Инока вдруг тяжело опустилась на лавку рядом с Ольгой и приблизила к ней воспаленный взгляд. Ее чуть выпуклые черные глаза блестели тускло, как деготь. Желтоватые отекшие щеки дрожали.

— Поганая я... Расстрига проклятой меня чести лишил...

Ольга совсем оробела, увидев, что инока уже заплакала. От слез взгляд царевны стал мягче и лицо моложе и добрее.

Она начала вспоминать об отце, царе Борисе Федоровиче. Как он любил ее и брата Федора, и какой любовью они платили ему! Мать Марья Григорьевна, крутая, языкатая, в минуту злости просто бешеная, никогда не занимала в их жизни такого места, как отец. Он ревниво следил, чтобы Ксения и Федор преуспевали в науках и «всяком чудном

домышлении». Каждый день он заходил в комнату, где стоял большой медный глобус, привезенный из Голландии голландским же «гостем», купцом Исааком Масса. В этой комнате дети обычно занимались. Вместе с братом Федором Ксения увлекалась землеописанием, латинскими и греческими книгами. Последние годы отец часто болел ногами, — обычной болезнью русских бояр времен царя Ивана Васильевича, — ведь перед грозными царскими очами боярам приходилось выстаивать чуть ли не целыми днями.

В последние годы жизни вынужденный больше сидеть, чем двигаться, отец стал дороден, черные волосы и борода поглубели от седины.

Часто он входил без предупреждения в просторную «занятную» горницу, неслышно ступая в своих мягких бархатных сапогах и опираясь на палку. Улыбаясь своим круглым, изжелта-белым (от малокровия) лицом, он присаживался к столу и расспрашивал, чем сегодня занимались дети. Он очень любил слушать, когда Ксения читала наизусть стихи Квинта Горация Флакка. Учитель иноземных языков немец Шафмеер неизменно восторгался, как «русская девица латынь покоряет».

Чаше всего Ксения читала стихи о весне:

Diffugere nives, redeunt iam gramina  
campis,  
Arboribusque comae,  
Mutat terra vices et decrescentia  
ripas  
Flumina praetereunt...<sup>1</sup>

Отец смотрел на нее с гордой улыбкой — во всем Московском государстве только эти розовые девичьи уста могли так свободно изрекать на языке древнего мира:

— ...Flumina praetereunt..

В часы последних занятий, за которыми, незадолго до кончины, Борис Го-

<sup>1</sup> Снег последний сошел, зеленеют луга муравую,

Кудрями кроется лес;  
В новом наряде земля,  
И стало не тесно уже рекам  
Воды струить в берегах.

Пер. А. П. Семенова—Тян-Шанского



дунов следил с большой радостью, по чертежам царевича Федора Борисовича была составлена карта России. Иностранные послы и военные, особенно телохранитель царя Бориса, ловкий и веселый капитан иноземных войск Яков Маржерет советовали напечатать эту карту за границей: пусть Европа увидит, как обширно государство русское. Отец согласился на это. Как было удивительно Ксении и Федору надписывать над голубыми жилками рек: «Mosca fluvius», «Clesma fluvius», «Jausa fluvius». Как забавно было надписывать над разноцветными кубиками городов: «Moscovia», «Saratoff», «Kazan».

Датский королевич Яган<sup>1</sup>, ее жених, премного дивился, услышав, как Ксения читает по-латыни и по-гречески. Ах, невозможно забыть Ягана, милого королевича!.. И в иночье келье, до последнего вздоха будет ей помниться бледное лицо королевича, тонкие, всегда словно изумленные брови, тихие, светлокارية глаза...

По стародавнему русскому обычаю, царице и Ксении неприлично было открыто присутствовать в Грановитой палате на торжественных приемах в честь Ягана. Для них была устроена особая «смотрильная палатка». Сквозь позолоченную решетку этого тайника Ксения без помехи наблюдала за своим нареченным и любовалась им. Он был высокого роста, худощавый, держался прямо и скромно. Ксении потом передавали, что насмешник-француз капитан Маржерет утверждал, будто королевич Яган всем хорош, только-де большеносый. Враки, враки! Нос у Ягана был тоже царственный, настоящий, как говорили греки, — полный нос!..

Ксении все нравилось в королевиче: его взгляды, походка, его белые\*руки, его атласный камзол с широким кружевным воротником. Она думала о королевиче весь день и радостно просыпалась ночью, вспоминая о нем во сне. Будущая жизнь ее, — датской королевы! — представлялась Ксении сплошным счастьем — ведь она и родилась на свет для счастья и власти!

Однажды Яган послал ей подарок — малую скляницу в золотой оправе. Ксения капнула из скляницы себе на ладонь — и сладким, как любовный сон, ароматом повеяло на нее. Казалось, и вся жизнь, идущая навстречу ей, благоухает, как сад цветущий...

А как богато и щедро одаривали королевича! Капитан Маржерет часто рассказывал, как восторгался королевич роскошью и щедростью подарков, посланных ему царем Борисом.

— Возок-то его, что батюшка подарил... лепота да пышность какая! — полушопотом говорила Ксения Ольге, и глаза ее жадно горели. — Шесть лошадей серых в него впрягали, шлеи на них червчатые, у возку железо посеребрено, крыт он был сафьяном лазоревым, а в нем все обито камкой пестрою... а подушки в нем!.. Ох, я сама рукой их трогала... Подушки атласные, лазоревы да червчатые, а по сторонам тот возок был писан золотом и рózными красками... А сабелька его была оправлена золотом, с камнем-бирюзой по рукояти...

При сговоре королевича Ягана с Ксенией царь и царевич Федор, сняв с себя драгоценные цепи, на которых «алмазы и яхонты сажены», возложили их с великой честью на жениха. Он обнялся с царем и Федором, а перед Ксенией упал на колени, прижался губами к ее руке... Вот здесь, здесь до сих пор горит его поцелуй!

После сговора все царское семейство поехало к Троице для благословенной молитвы за «счастливое начатие» — родители уже видели Ксению будущей королевой Дании. Ксения, по обету, вышила индигию — одежду на жертвенник. Недавно в ризнице она увидела свое обетное подношение. Пунцовый рытый испанский бархат так же, как шесть лет назад, пылал аlostью, фигуры из шелка и богатая жемчужная осыпь сияли так же нежно и серебристо.

— Можно ли так, девица? Они-то цветут, а мне — вянуть? — И царевна, топнув, опять заплакала, ломая руки.

Годуновым пришлось спешно вернуться в Москву: ненаглядный жених,

<sup>1</sup> Иоганн.

датский королевич, заболел горячкой. Он не мог, не мог схватить простуду... его извели недруги!.. Королевич умер, его пышно похоронили в Немецкой слободе на Кукуе, а позже тело увезли в Данию.

— Недруги его извели, батюшкины враги вековечные.. Я також, також их извела бы, языки их клещами повывагивала бы!.. Господи, господи, во грехах пребываю, каюсь, каюсь, власяницу надеваю, а сердцу уему нет.. Изобидели, сгубили меня враги злые!..

Монахиня крестилась и кланялась на иконы, на свечи, но глаза ее опять были сухи.

О, проклятые дворцовые лизоблюды, мздоимцы, честолюбцы, притворщики! Все эти Шуйские, Воротынские, Нагие, Хворостинины, Масальские... Как они пресмыкались перед царем Борисом, перед его «пресветлым разумом» и перед детьми его... Князь Катырев-Ростовский называл Ксению и Федора не иначе, как «чудные отрочата». А один из московских златоустов, боярин Кубасов, однажды на пиру в честь королевича — даже прослезился от хвалебных слов, которые расточал «пречудной царевне» свет-Ксении Борисовне! И уж чем-чем только не прославлена была она: «млечною белостию облянна», «светлостию зельною блисташе», «во всех женах благочиннейша», «благоречием цветуща»... О, проклятые льстецы, ядовитые жала, смазанные медом, кривда позлащенная!.. Как быстро переметнулись они потом к Самозванцу и стали его боярами, советниками, его послушной челядью!.. А телохранитель царя Бориса веселый капитан Маржерет сразу же продался богомерзкому расстриге и стал его телохранителем. Он кланялся до земли и с почетом вводил в покой Самозванца таких подлецов, как Михалко Молчанов и Андрюшка Шеферединов, которые убили мать-царицу Марию Григорьевну и братца Федора.

А Ксения, будущая королева Дании, осталась жива; ее пощадили, но—как?.. Василий Масальский спас ее от убийц, чтобы выдать Самозванцу. И вот она, «пречудная царевна», «во всех же-

нах благочиннейша», стала наложницей самого поганого, самого черного и продажного из существ!..

Ничем не вытравить воспоминаний о днях, прожитых ею в дворцовом содоме, когда она «позором опивалася и стыдом умывалася». Не вытравить из памяти ненавистного лика... Вот он входит к ней, как властитель к своей рабе... У него дюжие широкие плечи, быстрая разбойничья ухватка. Около толстого носа и на лбу, словно брызги грязи, две черно-синих бородавки. Смуглое лицо цвета глины ухмыляется большим губастым ротом... Идолище, идолище поганое... О, если бы она могла убить его! Но, по его приказу, все кушанья и хлеб приносились ей в нарезанном виде; царевне даже иглы не давали в руки!.. Когда она ему надоела, тот же Михалко Молчанов вывез ее из города ночью, в закрытом возке, чтобы Москва не услышала ее криков. Ее увезли в Горицко-Воскресенский монастырь под Новгородом. Не вытравить, не вытравить из памяти и тот миг, когда ледяное железо ножиц змеей скользнуло по шее и коса упала на каменный пол. Ее постригли, Ксения стала Ольгой.

Словно в сумасшедшем бреде, она увидела, как пожилая высохшая черница подобрала с пола тяжелую мертвую косу и бросила в корзину. Волосы, ее милые, густые, теплые волосы!.. Давно ли боярин Кубасов, поздравляя ее со стовором с датским королевичем, восторгался: «власы имеа черны, велики, аки трубы по плечам лежаху...» Королевич не раз пророчил ей, как будет прекрасна черная струистая река этих распущенных волос, разубранных жемчугом, когда Ксения в парадном платье королевской невесты вступит на Датскую землю.

Умер королевич, в могильном тумане скрылась Датская земля, тяжелую холеную косу черница бросила в печь! Все прошло, все сгорело. Уж она не чаяла вырваться из монастырского заточения, да вспомнил об «иноке Ольге» царь Василий Шуйский. Совесть ли заговорила у этого лжеца и лукавца, или большая корысть была для него в этом, но

послал он ей грамотку, чтобы спешно ехала в Москву.

Гробы Бориса, Марьи и Федора Годуновых были выкопаны из могил на Варсонофьевском кладбище для бедных и с царской пышностью перевезены на кладбище Троице-Сергиева монастыря. За гробами в закрытом возке ехала инока Ольга — последняя захиревшая ветвь злосчастливого рода. Громко рыдала царевна, проклинала расстригу и свою загубленную жизнь. Морозное солнце угрюмо светило среди вспененных облаков. Народ московский, утопая в сугробах, стоял по обочинам дороги и кланялся гробам и закрытому возку.

Погребальный звон колоколов, заунывное пение монахов заглушали вопли и проклятия царевны. Тогда она распахнула суконные занавески и показала людям свое бледное, полное яростной скорби лицо. И многие упали на колени и заплакали...

— ...Вона, когда пожалели они меня, люди те московские!.. А где ж они ране были? А пошто они ране того не видали, что враги лютые меня, царевну, мучили да позорили? То по вашим грехам, работны людишки, господь лихолетье на нас насрал! Прогневали вы господа неверием вашим!..

Дыхание со свистом вылетало из темнокровных губ монахини. Румянец испятнал ее отечные щеки. Тяжелые, словно каменные, руки вдруг упали на плечи Ольги.

— Молода ты, черноброва, телом легка... Гляди же — стражду я, красу потеряла, молодость извела... Чья ты дочь — гостя торгового али боярина?

— Тяглецка дочь... — робко ответила Ольга.

— Тяглецка дочь? — повторила Ксения Годунова и вдруг с силой встряхнула Ольгу за плечи. — А! Ты, холопья дочь, — красива да молода, а я, царская дочь, цвета лишилась, до времени увяла?.. Ох, худо вы застаивали наш царской род, изменщики проклятые...

Задыхаясь, она схватилась за грудь, ее черные глаза потускнели, как у мертвой. Смутным голосом, как в бреду, она забормотала опять о том же, — что

быть бы ей датской королевой с короной на голове, а не убогой инокой-черницей в безобразном клобуке.

Ксения Годунова выпрямилась в судороге безудержного гнева и вдруг сбросила клобук. Густые, упругие волосы, отросшие до плеч, на миг поднялись вверх черным пламенем.

— Вы, вы, изменщики, работны людишки, — вы меня на позорище предали!.. Вы, изменщики, меня под клобук подвели, в неволю бросили!

Ее обильные, черные, как уголь, волосы метались по плечам, лицо темнело, словно задымленное, она вся кипела — смола-смолой.

— Что вам цари-государя, что вам слава царства нашего, тяглецы малоумные? Вам бы только своевольничать, хлеб жевать да на печке спать!

— Мы-то спим? — вдруг, как обожженная, вскинулась Ольга. Обида, жаром разлившись в груди, родила в ней смелость. — Неправду говоришь, царевна! Нашей силой весь град ноне держится... и ты сама, царевна Годунова!

— Припозднились вы с бдением своим! Велика ль мне ноне польза от того, что вы на стенах стоите да из пушечек постреливаете? Будьте вы все прокляты, беззаконные!.. Я на весь свет вас прокляну!..

И она ринулась к дверям. Но Ольга вдруг стала на пороге и крепко уперлась ладонями в дубовые косяки. Ольге ясно представилось, как неподалеку отсюда защитники неутомимо копают новые «слухи» с севера на восток, в поисках вражеского подкопа. И этим труженикам-защитникам готовится проклятие, чтобы руки их опустились, чтобы дух их помрачнел!..

— Не дам! — крикнула Ольга. — Не дам я тебе лютовать!

— Пусти! Отойти! — бешено крикнула Ксения.

— Не пушу!.. Не смей, слышь?

— Пус-ти... девка... чер... навка... — Задыхаясь и стеноя, Ксения рвала и царапала напрягшиеся руки Ольги.

«Батюшки, ай не сдую боле?» — вдруг сверкнула у Ольги испуганная мысль. Но в эту минуту руки Ксении

Годуновой, обессилев, перестали терзать ее.

Инока-царевна лежала у ног Ольги, недвижимая, почти бездыханная.

Выбежав из кельи, Ольга полной грудью вдохнула сырой и холодный воздух.

В высоком человеке, который, устало опустив плечи, шагал навстречу, Ольга скорее сердцем, чем глазами, узнала Данилу Селевина.

— Данилушко! — окликнула она его, радуясь и дрожа.

— Свет ты мой! — И он, почувствовав что-то необычайное в этом зове, широко шагнул к Ольге и робко обнял ее вздрагивающие плечи. — Тебя кто избодил?

Ольга рассказала ему, что произошло в келье. Данила слушал ее, чуть дыша.

— Вона, как за всех нас заступилась! — сказал он, наконец, и уже смелее обнял гордо распрямившиеся плечи женщины.

— Уморился ты!.. — застенчиво прервала его Ольга, чувствуя на себе его налитую силой руку. — День-то денской стылую землю копавши...

Данила поделился с ней досадой и беспокойством: сегодня прорыли «слух» на четыре сажени в глубину и на восемь сажень в длину, — и опять все напрасно: ни звука не отдает немая, таящая беду земля... Все ладони истерли в кровь — и без толку! Угроза гибели от взрыва и огня еще висит над головами защитников. Выйди царевна-инока да начни проклинать народ, — выпали бы лопаты из рук измученных людей.

— Спасибо тебе... лишнюю беду от заслонников отвела!.. Да и сама-то ты заслонница осадная!

Ольга вспыхнула и только сейчас ясно поняла, какие думы роились в ее душе, когда она, томясь и робея, глядела на черный гнев злосчастной Ксении Годуновой.

— Ой, Данилушко, сколь я греха страшилась до сей поры, на чернецов да черниц глядячи... И на царевну-иноку также глядела, — мол, блаженна ты, безгрешна... А она клянет нас, смерть

страшную на всех нас накликает... Грешная у нее душа, и под схимой грех в ней кипит... А мы, черной народ, честную душу перед богом блюдем, греха боимся, себя не жалеем...

Ольга шептала все жарче. А сама, будто обоих мчали вихревые кони, крепче жались к Даниле легким телом.

Ольге казалось, что воля, которой у ней в жизни никогда не было, нахлынула, как внешнее половодье. Она пила эту волю большими глотками, и горячее удушье сжимало грудь.

— Да ты вся огнем пышешь... Айда-кось в тепло, не застудилась бы ты!.. — шептал Данила, вводя Ольгу в душный полумрак стрелецкой избы.

Троицкие стрельцы спали вповалку и по лавкам, и на полу, обнявшись с женами. Перед божницей теплилась висючая лампада. Огонек чадил и качался, готовый потухнуть от нестерпимой духоты.

Но ни Данила, ни Ольга ничего этого не заметили.

Ветер воли, казалось, все еще гулял вокруг ольгиной головы, в ушах пел голос Данилы, а глаза любовались его золотыми волосами.

Вдруг Ольга увидела, что волосы Данилы засияли у ней на коленях. Она поняла, что он пал ей в ноги, — и еладко ужаснулась этому:

— Ой, что ты, что ты... Вставай-ко, вставай, свет ты мой!..

Данила поднялся, и оба сжали друг друга в объятии.

За окном беспокойно стонала ветром и переключками часовых осадная ночь, сорок первая по счету...

...Как ни рано поднялась поутру Ольга, стрелецкие жены и подружки выследили ее и принялись стыдить:

— Срамота!.. Добро бы девка была, а то при живом муже да к его ж брату ушла. Где у тебя стыд-то, баба бесовестная?..

Пока они галдели, Ольга собралась с духом. Лицо у ней еще пылало, и слезы обиды стояли в глазах. Но вчерашние мысли, гневные и соvestливые, опять вернулись к ней — и она заговорила все более крепнущим голосом:

— Силом меня замуж выдали, а я сама была без воли, без разума. Оська Селевин — насильник, а не муж мне!

— Да ведь не венчана ты с Данилкой-то, стыдоба твоей голове! А грех-то, грех...

Ольга вздрогнула:

— Господи-батюшко, приму я и муки адовы, коли так! — И такое отчаяние сверкнуло в глазах Ольги, что обличительницы на время отступили от нее.

О том, как докучали ей злые женские языки, Ольга ни разу не обмолвилась Даниле.

Случайно Данила услышал, как стрелецкие жены попрекали Ольгу. Вскипев, он разогнал обидчиц, а потом рассказал их мужьям про бабье злоречие. Стрельцы прикрикнули на жен и заказали им «рот затворить покрепше и на данилову бабу не кидаться». Но женщины нет-нет да и задевали Ольгу. Были среди них особенно вздорные бабы, которые завидовали молодости Ольги и красоте ее похудевшего чернобрового лица. Завидовали и тому, что, не в пример их мужьям, Данила Ольгу пальцем не трогал и был с ней всегда ласков, «словно жених», — язвили стрелецкие жены.

Ольга молчала. Она уже смирилась с тем, что за «грех» свой ей приходится терпеть поношения и обиды.

— Пошто глазыньки прячешь? Аль опять избидел кто? — допытывался Данила.

— Ты возле меня, так и тоски нету, — уклончиво отвечала Ольга.

— Слышь, любушка, я сам до всего дознаюсь. Вот те крест, потолкую я с теми стрельцами, что за своими женками худо доглядывают. А коли добром мужики меня не послушают, доведется грех на душу взять — бока им помну маленько, пусть помнят крепше.

Когда и с кем толковал Данила, Ольга не видела, но стрелецкие жены заметно укротились, а вскоре и совсем перестали нападать на Ольгу. Да и не до того уж было.

★

После того, как 1 ноября 1608 года поляки напали на монастырских водо-

возов, изрубили сто девяносто человек и взяли пленных, осажденные поняли, что к окрестным прудам дорогу теперь «засекли». Теперь не привезешь чистой, прозрачной водицы, которой пополняли питьевой запас.

Теперь приходилось довольствоваться внутренним прудом, воды которого и в мирные дни еле хватало для монастырских нужд.

— Ноне водицу-то, что нищим грошик, подают, — язвил Осип Селевин, принимая из рук троицкого кухаря кружку воды — паек на целые сутки. — Эй, плесни-ко ишшо, отче блаженной! — попробовал он улестить хмурого горбатого кухаря.

Но тот в ответ показал кулак.

«Будьте вы все прокляты!» — злобно подумал Осип и нерасчетливо выпил разом полкружки — он совсем не собирался долго заживаться в этом унылом месте, которое не сегодня-завтра взорвет или просто возьмут. С паном Брушевским он уже успел снести впереглядку.

Ротмистр показал Осипу перстень с индийским изумрудом и знаками дал понять, что не только это кольцо, но и все блага мира ожидают Осипа Селевина, если он выпустит его. Диомида они решили убить. Пан ротмистр очень наглядно показывал, как это можно устроить: Осип подпоит монаха романеей, выкрадет у него ключ и выпустит пленника. Потом оба вместе оглушат Диомида, бросят в башню, а ключ за окно и — ищи ветра в поле.

7 ноября, подвечер, Осип, с бочонком романей, добытым по знакомству у старца Макария, отправился в тюремную сторожку к Диомиду.

День был унылый. С утра началась стрельба. «Трещера» без передышки была по «утлой» западной стороне. Не один десяток бойцов ранило и убил осколками кирпичей — вышибаемые вражескими ядрами кирпичи со страшной силой летели во все стороны. Для заделки пробоин воеводы призвали стариков и женщин. Столетнего деда Филофея отрядили бирючом, сзывать народ на стены: кого — пробоины заделывать, кого — горячую смолу лить на

лестницы, по которым желтожупанной саранчой лезли враги.

Филофей ходил, не без лихости сдвинув на ухо черную баранью шапку с алым суконным верхом. Суковатой палкой с кривулиной на конце дед постукивал по стенам изб и келий, сзывая всех людей, «мирских и обительских», помогать заслонникам. Увидев Осипа с бочонком под полой, дед Филофей даже поперхнулся от возмущения и помянул его пальцем:

— Батюшка мой! Ноне день грозен, а ты, Оська, с бесовской усладой под кафтаном? Поди-ка на стены, ленивой орысина!..

— Пойду, дедушка, пойду! Ужо дай вино к архимандриту отнести!.. — прокричал Осип — и бочком, оберегая драгоценную романею, побежал к Каличьей башне.

Однако все вышло не так, как пророчила многолетняя оськина удача. Черномазый Диомид оказался куда хитрее, чем думал о нем Осип. Страж Каличьей башни почуял что-то неладное и искусно притворился пьяным. Когда же Осип, вытащив ключ из его вонючей рясы, хотел было оглушить Диомида, монах, как шуплого котенка, отбросил его в угол. Оська вскочил, бросился было к двери, но долговязый Диомид догнал его, повалил на пол, подмял под себя и заорал: «Слово и дело!»

Данила Селевин в ту минуту был около Каличьей башни — вместе с другими силачами он волок из кузницы подновленную пушечку, под названием «Лисичка».

Услышав вопли, Данила взбежал по лестнице и увидел Диомида, который сидел верхом на Осипе.

Оська, плюясь кровью (Диомид вышиб ему два зуба), решительно все отрицал: «по старой дружбе» он просто хотел угостить Диомида.

— А надобно было мне горе залить! — дерзко сказал он Даниле и вдруг, ухмыльнувшись своим кровотокающим ртом, добавил шопотом: — Мало тебе, сотник? С женой моей спишь и последнее винишко у меня отымаешь?

Кровь бросилась в лицо Даниле. Он отшатнулся и крикнул Диомиду:

— А ты, страже, что угостками соблазняешься? Ужо вот я вас обоих!..

Оська упал на колени и потянулся обнять даниловы сапоги. Данила поднял его за шиворот.

— Изыди вон!.. Чтоб и духом твоим не пахло!

Оська тут же исчез, а Данила, выгнав и Диомида, поставил к дверям дюжего стрельца и поднялся опять на стены.

Оська побежал к Варваре.

Поп Тимофей укрывал Варвару в смежном с его келейкой малом пристрое для хранения «мягкой рухляди», свечных запасов и лампадного масла. У попа Тимофея эта кладовушка уже давно была предназначена для любовных утех. В теплую горенку, где помещалась Варвара, вела потайная дверца, хитро скрытая от любопытных глаз. Но Осипу Селевину этот ход был известен.

Сидя под большой лампадой, нарядная, сытая Варвара вышивала бархатную камиллавку для Тимофея. Увидев растерзанного Оську, она засуетилась, промыла каким-то настоем ему десны, перевязала руку, прокушенную зубами Диомида, поднесла ягодного меда, но спрятать его отказалась:

— Ну и уходи на том, сердешной! Тимофей от Успенья вернется, — ревновитой он, хуже сатаны!

— Так-то дружка предаешь? — начал было корить ее Оська. — Подлюгаты, черничья женка, продажница!

— Сам продажник! — отрезала Варвара. — Весь испродался, не стогно с тобой дружить!..

Оська вышел в сенцы и проворно вскарабкался на чердак. Там, в углу, нащупал какое-то тряпье, закутался в него и залег, как зверь в норе.

Небо лопалось от перекрестной пальбы. Надрывно ухали колокола у Троицы и Успенья — повсюду шло «великое nocturne бдение», моление о победе и об избавлении осажденных «от мора, глада и жажды». Сполошный колокол на Духовской церкви выл, неистовствуя и призывая всех на стены, в огонь и дым битвы.

Утро михайлова дня, 8 ноября, встало над головами защитников угрозой

близкой смерти. Уже несколько дней ходили слухи, что враги именно в Михайлов день взорвут монастырь. Многие еще ночью исповедались и причастились. Множество молодых и пожилых женщин пошло на стены. Ловкими руками они лили вниз горячую смолу и кипяток, когда враги лезли по лестницам.

Когда обнаружилось, что женщины работали быстрее, чем попевала на огне смола, Ольга придумала: ведь можно выгребать золу!

Ольга набрала два ведра буро-голубой золы, в которой горели вишневые огоньки мелких угольков.

Тяжелбе ядро проклятой «трещеры» ударило в стену. Каменный дождь посыпался на головы защитников. Когда люди открыли глаза, в пробоине показались рога польской осадной лестницы. Раздались торжествующие крики ляхов: «Виват, виват!..»

Ольга, увидев над краем пробоины конфедератку, зачерпнула полную горсть золы и бросила в чьи-то хищные глаза. Поляк взвизгнул, закрыл лицо руками, а Ольга столкнула его вниз. Но чья-то новая голова, бритая, с казацкой чуприной, выросла в пробоине.

Ольга схватила ведро и краем его изо всей силы ударила казака по переносице. Голова откачнулась и скрылась, а Ольга вытряхнула второе ведро с золой вниз, прямехонько на лестницу, на десятки голов, лезущих вверх.

— Ладно, девка, помогнула! — зычно крикнул кто-то ей вслед, когда она, подхватив ведра, отправилась за смолой, которая уже вскипала на костре.

Спустившись во двор, Ольга вдруг почувствовала глущую боль в ладонях — кожа на них, до самых кончиков пальцев, была обожжена и вздулась пузырями.

— Ахти! — сердито спохватилась Ольга. — Мне бы, дуре, ковшом надобно золу черпать!

Руки уже не могли служить ей. Пришлось бежать к старцу-лекаря, в больничную избу.

Пробегая мимо кельи царевны-иноки, Ольга увидела неподвижную фигуру Ксении Годуновой. Кутаясь в черную

монашью шубу, царевна-инока стояла на пороге и, насупившись, озирала серый ноябрьский день, огонь и дым, кипенье народа на стенах и редкие белые пятна пороши, выпавшей за ночь и почти исчезнувшей: изрыли ее вражеские ядра, забросали копотью костры, залила кровь человеческая.

— Ой, девка, не сладко довелось вам всем тамо? — крикнула Ксения сухим, звенящим голосом.

— Выживем! — бросила Ольга и, дую на ладони, побежала дальше.

В больничной избе Настасья Шилова непривычными пальцами перевязала Ольге ладони и горько завздыхала:

— Уж и бабы ноне воюют, и до баб увечье доходит... Господи-спасе, долго ль ишшо мытариться-то будем?.. Жив ли Никон, старинушко мой?.. Жду, не дожусь, не дойдет ли весточка от него, — ан все нету!.. Господи-спасе, долго ль ишшо нам терпеть?..

За стеной ухнуло ядро, — и все, кто был на ногах, выбежали во двор.

Около Троицкого собора толпились и охали люди: ядро пробило окованные железом двери. Древние старухи плакали и причитали, глядя на такое поругание. Из собора вынесли мертвого старца Корнилия, которому влетевшее в собор ядро оторвало ногу.

★

Ночью, когда стрельба утихла, Симон Азарьин записывал:

«Прежестокое время наше! Ноне паки многих славных лишились...»

К скорбному списку убитых келарь прибавил новый ряд имен, потом сунул перо за ухо и со вздохом подумал:

«Ох, Авраамий, Авраамий! Что-то мешкотно идет подмога! Кабы ведать, что умышляет лукавая глава твоя, келарь, сиделец московской?»

Кто-то зашел в сенцы и зашарил рукой, ища скобу.

Симон открыл дверь и впустил в келью воеводу Долгорукого.

— Здорово, отец келарь!

— Здрав будь, княже. Садись в красной угол, гостем будешь...

— Спасибо на добром слове, — невесело сказал князь Григорий, встряхнув бобровую шапку. — Вон и снежок опять полетел. Зима на землю ложится, морозы грядут неминуемые... Еще горше нам будет, отец келарь. Уж ноне служки, дабы могилу выкопаты, рубль просят и боле, да и то отказывают: руки-де в кровь все изодрали...

Воевода помолчал, потом, опустив плечи и сразу обмякнув, продолжал:

— Слышь, отец келарь, я ноне приказал всех убиенных в одну яму закапывать.

— Ох, не по чину то, княже! Сего еще не бывало у нас в обители...

— Сам ведаю, отец келарь. Да ведь война все боле жесточает... И гробов не стало, и делать их некому, да и не из чего... Ох, отец келарь, иной час, каюшь тебе, голова кругом идет. Обстала нас беда, и нету ей конца. А боле всего нам надобны люди да хлебушко... Люди, подмога... А где ж они?.. Послали мы наших мужиков в Москву — Шилова да Слота... Наказано было им твердо: быть на Троицком подворье у келаря Авраамия. Что они там добыли, те Никон да Слота? А сам келарь Авраамий Палицын, о подмоге нам, горьким, перед царем старается ли? Вызволяет ли нашу доuku? Ништо не ведаем!..

Воевода подавленно замолчал. Симон Азарьин только сейчас заметил, как сильно сдал дородный боярин, — аксамитовый<sup>1</sup> зеленый кафтан вялыми складками лежал на плечах и груди.

— Спосылать бы еще кого... — растерянно соображал вслух воевода, — да ведь некого: всякой человек в счет идет... Ох, отче, скажи ты правду: может, что худое описал тебе Авраамий, а ты в тайне держишь?

— Ни единой весточки нету у меня от Авраамия.

Серые глаза келаря смотрели прямо и строго. Воевода безнадежно вздохнул, взял шапку и пошел к дверям.

Над крепостью уже крутила ноябрьская метель.

★

«Тогда бо ми не бывшу во обители чудотворца во осаде бывшей от польских и литовских людей и русских изменников, но в царствующем граде Москве, по повелению самого державного. И пребывающу ми в дому чудотворца на Троицком подвории».

Авраамий Палицын. «Сказание».

Прискакав в Москву, Никон Шилов и Петр Слота сразу направились на Троицкое подворье.

В просторном церковном дворе с высокими, как терема, сараями, конюшнями, хлевами, сладко и сыто пахло свежими калачами и каким-то добротным варевом. Никон и Петр переглянулись: крепко и вольготно живут в Москве на Троицком подворье!

Гонцов «осажденного града» провели в баню. Вдосталь попарившись, Никон и Петр пошли в трапезную. Казалось, еще никогда не едали они так вкусно и сытно. Все ярче расцветала в них надежда, что помощь, за которой они пришли в Москву, будет оказана, — самая скорая и самая щедрая. Они уже представляли себе, как двинутся из Москвы конные и пешие полки, как нагрянут они на проклятое «воровское войско» и размечут его так, что от него и праха не останется.

Полные надежды, Никон Шилов и Петр Слота ждали келаря Авраамия Палицына, который с минуты на минуту должен был вернуться из Кремля, куда уехал по царскому зову. И это обрадовало посланцев: с помощью Авраамия легче будет передать царю челобитную грамоту осажденной крепости.

Наконец, Авраамий прибыл. Мордастый румяный служка провел гонцов в покои келаря.

— Экое богатство, светы мои! — прошептал Слота, тыча Никона локтем.

Сводчатые потолки и стены были расписаны неведомыми цветами и зверями. Десятки подвесных лампад нарядно и весело горели перед богатыми иконами в золотых и серебряных окладах.

В покоях пахло кипарисом, ладаном, дорогим елеем и сухой сладостью трав. От широкой изразцовой печи шло при-

<sup>1</sup> Бархатный.



ятное тепло. Никон Шилов шепотком напомнил Слоте, что у них в Троицкой крепости уже начали жечь вместо дров клетки и сараи. Оба покачали головами. В эту минуту и появился Авраамий Палицын.

Келарь быстро оглядел посланцев небольшими пронизывающими глазками и опустил в глубокое кресло.

— С чем пожаловали, братие? — спросил он, оправляя золотой нагрудный крест.

Никон и Слота передали грамоту и рассказали о цели своей поездки.

— Зарез приходит, отче Авраамие! — закончил рассказ Никон Шилов. — Без подмоги нету сил крепость держать!.. За войском прискакали мы в Москву.

— За войском... — повторил Авраамий, и глаза его вдруг скрылись под нависшими темножелтыми, как гречневый мед, веками. — Трудно сие... — вздохнул он. — Зело трудно, братие!

Никон Шилов и Петр Слота переглянулись и побледнели. Авраамий молчал, разглаживая черную, посеребренную сединой бороду.

У Никона вдруг больно зазвенело в ушах, будто издали донесся зык сплошного колокола Троицкой крепости. Не в силах больше вытерпеть это молчание, он толкнул локтем Слоту — и, шумно увлекая его за собой, повалился в ноги Авраамию. Оба умоляли вперейбой:

— Не губи нас, горемычных, отче Авраамие! Страждет русской народ... в пражестоких битвах страждет... малолудье нас терзает, бесхлэбье тож... войны наши уж чуть держатся... Яви божешкую милость, выпроси у царя подмоги войском... вечно за тебя будем бога молить!

— Ну, ладно, — сказал, наконец, Авраамий, опять опуская веки. — Я челобитчик за вас перед царем буду. Подите пока, ждите до времени. Позову вас...

★

Прошло два дня, а келарь все не звал гонцов в свои покои.

Никон и Слота языки себе обчесали, спрашивая всех на подворье, что делает Авраамий, ездил ли он в Кремль к царю и когда собирается поехать.

Румяный служка отвечал неохотно, зато часто предлагал им, «что бог послал, поснедати». Но даже обильная еда на подворье не могла утишить тревоги посланцев: им никак не возможно ждать, а келарь тянет и тянет.

Наконец, на третий день, вечером, келарь вызвал гонцов к себе и сказал, что говорил с царем об их деле.

— Но... темен лицом государь наш... не внял он моленным моим, братие...

— Станем сами его просить! — страстно крикнул Слота и, забыв, что он в келарских покоях, тряхнул Никона за плечи, как бывало в Клементьеве, когда вместе выходили засеять свои суглинки. — Эй, Никонушко, айда к царю Василью — о подмоге молить!

— Вымолим! — загорелся Никон и заговорил о том, как они со Слотой расскажут царю все, что видели собственными глазами. Царь ужаснется, пожалеет народ — и повелит выслать отборное войско, от одного вида которого враги в страхе побегут, как зайцы от половодья.

Передохнув, Никон низко поклонился Авраамию.

— Просьма-прошу, отче Авраамие, подсоби нам к царю пройти... а?

Но Авраамий молчал; его белая волосатая рука неторопливо играла нагрудным крестом. Нависшие веки скрывали взгляд. Казалось, он что-то обдумывал, взвешивал, выбирал. Гонцы ничего не могли понять и спокойно переглядывались.

— Отче Авраамие, свет-надежа наша! — уже с мольбой обратился к келарю Никон. — Мешкать нам никак не можно — народ страждет, отче! Не мешкай, отче, богом тебя молим!

— Ступайте! — наконец, вымолвил Авраамий и поднялся с кресла, высокий и статный, с длинной, сидящей бородой и строгим, важным лицом; такому бы только архимандритом быть да служить в Успенском соборе обедни в особые торжественные дни.

Так подумал Никон, и надежда сно-

ва проснулась в его измученном ожиданием сердце.

Но келарь сказал, как и в прошлый раз:

— Идите с миром, позову вас...

Румяный служка опять настойчиво повел гонцов в трапезную.

— Дела-то не видно, зато нас, будто гусей, хотят закормить! — сердито проворчал Слота, садясь за длинный стол, который, невзирая на все свое обилие, уже опостылел обоим гонцам.

Напротив гонцов за столом оказался пожилой поп в щегольской шелковой рясе, остроносый, с веселой кустистой бородачкой, с бойкими глазами, голосистый и разбитной, словно пирожник с Красной площади. Он назвался Иваном Зубовым, «пастырем из-под Москвы», прибывшим в столицу по своему делу.

То подшучивая, то соболезнуя, Зубов выведал все у троицких гонцов, а потом начал уверять их, что в Москву они заявили совсем зря, — ничего-де у них не выйдет. Пусть лучше едут скорей обратно в свою осажденную крепость и передадут воеводам и всем защитникам, что «преужасное кроволитье» можно прекратить в любой день. Ивану Зубову доподлинно известно, что «знаменитые паны» Лисовский и Сапега уже хотят мира и заключат его тотчас же, как только военные и церковные власти «святого Троицына града» протянут им руку примирения.

Шилов и Слота ошалело смотрели на бойкого попа: ни о чем подобном и речи не было, когда их посылали в Москву.

Ивана Зубова вдруг позвали к келарю, чему гонцы чрезвычайно изумились: «пастыря из-под Москвы», приехавшего по личному делу, келарь не заставляет ждать, а им, облеченным доверием сотен людей, приходится все вымаливать у келаря, — почему же это так? Что же это такое?

Никон погрузился в безрадостные размышления, а вспыльчивый Слота встрял в беседу нескольких пожилых монахов и попросил разъяснить: что за путаницу несет бойкий поп Зубов?..

Может быть, здесь, в Москве, известны такие дела, о которых гонцы еще не знают?

Монахи ответили, что они «люди божьи» и мирскими делами не занимаются. Только один маленький монашек с болезненным лицом сказал, что Иван Зубов уже не впервые здесь, на подворье. Слышно, он много якшался с поляками, а теперь, как он сам однажды спьяну сболтнул, послан ходоком от Сапеги в Москву. Тогда же, спьяну, поп Зубов хвастался, что ляхи «пожаловали» его в архиереи, что живет он в стане Сапеги «в почете и легкости» и даже имеет пригожую домовницу, которая заботится о его столе и добром здравии. Зачем Зубов нынче приехал к келарю в Москву, — про то монашку ничего не было известно.

Слота еле устоял на ногах — вот так открытие, вот так судьба!.. Посланцы осажденного града, оказалось, сидели за одним столом с ходоком Сапеги, которого здесь тоже принимали, как гостя!

— Мыслимо ли такое дело? — И Никон в ужасе взмахнул короткими руками. — Слышь, Петра, — взволнованно зашептал он, вспомнив величавую повадку келаря Палицына, — а, может, келарю и невдомек, что попишко сей — подлой злыдень, сапегин прельститель? А, Петра?

Слота решительно потрянул сивой головой.

— А коли так, надобно о том келаря упредить!

— Без зову к нему придем! — оживился Никон при мысли, что представится возможность опять поговорить с келарем об их кровном деле.

Но румяный келейник и близко не подпустил гонцов к покоям — келарь был занят важными делами.

★

Авраамий Палицын сидел за своим дубовым столом и неторопливо писал ответ на послание польского гетмана Сапеги, переданное Иваном Зубовым.

Нынешнее послание Сапеги было особенно многозначительным и многообещающим.

Сапега просил Авраамия «царским словом» приехать в стан под Троицким монастырем, «чтобы землю умирить и кровь боле не лить». Приезд Авраамия Палицына сразу положил бы конец страшным битвам и всем происходящим от них несчастьям. Все польские полководцы бесконечно ценят «пресветлой ум и письменность» Авраамия Палицына и готовы отблагодарить его, как и чем он только пожелает. Польским полководцам известно, что Авраамия Палицына на Москве не ценят. Он — келарь, а ему давно пора бы стать архимандритом того же прославленного Троице-Сергиева монастыря. Польское панство охотно преподнесло бы ему звание архимандрита, и все преклонились бы перед ним. Далее в послании своем гетман Сапега уже прямо называл Авраамия архимандритом, «князем русской церкви», «дивным светоносцем» и тому подобное.

Авраамий Палицын откинулся на спинку кресла и задумался.

Он и сам давно знает, что мог бы стать архимандритом Троице-Сергиева монастыря или же занять еще более высокий пост. Царь Иван Васильевич — не к ночи будь он помянут — насаал на Аверкия Ивановича Палицына многие кары. Для сохранения жизни пришлось постричься в монахи — Аверкий Иванович, дворянский сын, стал Авраамием. Не помешай ему царь Иван Грозный, далеко бы пошел Аверкий Иванович, возвысился бы до ближнего боярина при дворце, владел бы огромными угодьями и животами и был бы одним из тех, на ком стоит государство русское... Впрочем, и в монашестве он мог бы возвыситься, если бы царь Василий Шуйский был подогадливее, вернее, — если бы не боялся царь возвышения людей, которые превосходят его умом и знаниями. Оттого и оставил он архимандритом Иоасафа, который в сравнении с Авраамием — просто беспомощный скудоумец!..

Ох, царь Василий, лукавый царь Василий! Сколько обещаний он надавал в своей «крестоцеловальной записи», вступая на престол, — и ничего не выполнил. Положение его непрочное, его под-

держивают только родственники да «нецый бояре», которые вместе с купчишками, сапожниками и пирожниками «выкликнули» его царем на Красной площади. Царь любит прихвастнуть, что его-де застаивают «величайшие» бояре: князья Воротынские, Трубецкие, Голицыны. Но эти бояре имеют больше власти и политического значения, чем сам царь. Им ничего не стоит предать царя, когда это будет выгодно их интересам.

Народ боится царя. Казни, совершенные по его приказу над болотниковцами, наполнили ужасом Москву, Новгород и другие крупные города.

А сам он, царь Василий, сидит, как сыч, в своем дворце, всех боится, на всех злоумышляет, никому не доверяет. Уж на что храбр и умен молодой полководец Михайло Скопин-Шуйский, — так и на этого человека царь стал косяться и завидовать. Скопин-Шуйский, храбрый воин, очень был бы нужен в Москве, а царь усла егo в Новгород с унизительным поручением — просить у шведского короля помощи; кстати сказать, не так давно эту помощь отвергнул тот же царь Василий Шуйский... Ох, лукавый, злоехидный царь, слабый правитель, который не щадит даже самую крепкую ветвь своего рода... Не усидеть долго такому царю на престоле, не усидеть!

Авраамий взял перо и опять склонился над письмом.

В доверительном тоне он писал Сапеге, что в Москве «всем щадно, всяким людям», что «седенья на Москве будет немного», то-есть царю Василью считанные дни осталось сидеть на престоле. И хотя на все «божья воля и соизволение господне», — все же он, Авраамий, «нищий царской богомолец» и смиренный монах, «преподобного отца нашего Сергия постриженник», полагает, что лучше обождать с поездкой в стан Сапеги и посмотреть, как развернутся события дальше...

А что будет дальше? Увы, никто этого не знает. Лихоlette взбаламутило всю землю русскую. Все поднялись от мала до велика. Смута в делах, смута в душах человеческих, все смешалось и

перепуталось, все бурлит, несется куда-то, как раздурившаяся полая вода. Кто выплывет, кто победит? Как келарю Палицыну уберечься от безвременной гибели среди грома и крови битв, среди разрушительной ломки жизни? Надо самому двигаться осторожно, рассчитывая каждый шаг. Надо держаться сильных, но прилепляться только к тому, у кого явный перевес над другими; определенно никому ничего не обещать, но и не отказываться наотрез, как это он и сделал сейчас в ответном письме Сапеге: никто не знает, сколько времени еще будут рыскать поляки по русской земле.

Ох, трудное время, смутное, лихое! Одно ясно Авраамию: не для того существует его умная голова прирожденного властителя, философа, ритора и любомудра, чтобы безвременно погибнуть. Авраамий Палицын может сохранить свою голову, если сумеет ходить по земле, «аки барс», проползая, «аки змея», и даже ворковать, «аки голубь сизокрылой».

Вошел румяный келейник и сказал, что Иван Зубов спрашивает, не готово ли письмо.

— Тамо еще двое тяглецов троицких дожидают тебя, отче, — напомнил келейник. — Уж который раз приходят... Пустить?

Ах, да, да... вот еще — народ, тяглецы, холопы, посадские. Их со счетов никак не скинешь. Прогонят поляков от стен монастыря — и доведется считать каждого тяглеца. Да и полезно келарю Палицыну создать для себя славу доброго пастыря, хранящего малое стадо свое...

— Отпущу Ивана Зубова, опосля зови мужиков, — приказал келарь.

Вошел Иван Зубов. Келарь вручил ему письмо, облобызался и отпустил с миром.

За дверью келарских покоев Ивана Зубова встретили два голоса, полных презрения:

— Погань, переметчик проклятой, польской блюдолиз, пес продажной!

Как ни боек был поп Иван, а и его пробрало: завертелся бесом и выскочил, как ошпаренный.

Увидев Шилова и Слоту, Авраамий размашисто и щедро благословил их и сказал:

— Ну, братие, завтра поутру к царю пойдем!

Гонцы радостно пали ему в ноги.

На рассвете оба помылись в бане — и часу в десятом, когда московские колокола уже отзванивали обедню, отправились с Авраамием в Кремль.

★

Царь Василий Иванович Шуйский сидел в одном из малых покоев дворца.

Поднявшись с колен, Никон Шилов сначала изумился незнакомой диковинке — в медной оправе стеклина, в которой он увидел затуманенное свое отражение. Слота загляделся на часы, которые висели тут же на стене в дубовом резном коробе: вдруг распахнулась дверца, оттуда выскочила деревянная птица, горласто прокуковала десять раз и скрылась за дверцей.

— Хи... хи... хи!.. — весело расхохотался царь. Кафтан из голубой обьяри, казалось, струился вокруг его небольшого, шуплого тела. Тряся реденькой выцветшей бородашкой и щуря подслеповатые желтые глазки, царь спросил с тем же мелким смешком:

— Ну, кого ты приволок ко мне, отче Авраамие?

Келарь передал царю грамоту и рассказал, зачем приехали троицкие гонцы. Царь выслушал его, зевая, а потом сердито сморщил и без того морщинистое лицо и отшвырнул ногой бархатную скамеечку.

— Подмогу, баешь, просют? Ишь, хитрые!.. А мне на Москве войско свое зорить, на все стороны раздавать?

Шилов и Слота, холодея, переглянулись: неужели пропало дело?

Подтолкнули друг друга в бок — и опять дружно повалились в ноги:

— Не оставь, надежа-государь!

Царь заходил по комнате, то трепля бородашку, то накручивая ее на сухой палец. Голубой кафтан его сверкал — льдина-льдиной.

Никон крикнул во всю грудь свою:

— Батюшко-царь, пожалей нас, сидельцев осажденных!.. Дюже страждет народ наш!

И он, торопясь, начал свой рассказ о том, как с каждым днем все тает число защитников крепости, как страдают люди от голода и болезней.

Временами царь обращался к Шилону и Слоте с каким-нибудь незначительным вопросом, но сам думал о своем.

Вот уже третий год, как он, наконец, получил власть, долгожданное царство. Он мечтал о нем под окриками царя Ивана Васильевича. Глотая голодную слюну, он, Василий Шуйский, смотрел на возвышение Годунова, завидуя ему, ежечасно и неумоимо ненавидя. О Шуйском, потомке Рюрика, никто не говорил так, как о Годунове, этом выходе из татар: например, посол Елизаветы Английской Горсей называл Бориса «великим князем», «лордом-протектором» и другими лестными именами.

Когда же Годунов стал царем, зависть к его государственному разуму — разуму выскочки, перегнавшего Рюковича, — сжигала Василия Шуйского. Но чем злее мучили его зависть, ненависть и властолюбие, тем искуснее он носил личину смирения и покорности. Она так приросла к лицу его, что даже бдительное око Бориса не могло прознить ее.

Василию Ивановичу, конечно, ясно было, как на ладони, что Акедимитрий совсем не сын Грозного, но грязный проходимец попался ему на пути ко времени, и он поклонился ему. Личина и здесь помогла. Правда, он чуть было не сорвался: его, Рюковича, голова уже лежала на плахе; но в самый последний миг Самозванец помыловал его. Василий Иванович опять надел личину смирения. Он даже был дружкой на свадьбе Самозванца, испытывая при этом лютое желание отравить, зарезать, переломать кости своему благодетелю. Он только тогда сбросил личину, когда Самозванец был убит, как смрадный пес.

И вот, наконец, она у него в руках — царская власть, ради которой Василий Шуйский всю жизнь пресмыкался, лгал, хитрил, изворачивался, ползал, как змея, предавая без конца. Он на цар-

стве. Нет места выше! Тут бы красоваться, блистать, повелевать, упиваться всеобщим поклонением. Но трон его будто стоит на песке, подмываемом со всех сторон. О, если бы выловить всех недовольных, связать, обезвредить их, а то и просто уничтожить, как уничтожил он болотниковцев, — и оставить бы одних покорных и смиренных!..

Царь очнулся от своих дум и увидел устремленные на него лица троицких гонцов.

Он смотрел на них, пораженный светом, который сиял в безбоязненных глазах на все решившихся людей. Эти двое в грубых рубахах и зипунишках ничего не хотели для себя, они не знали и представить себе не могли, какие пропасти разверзнутся в некоторых душах человеческих. Эти двое не боялись ни смерти, ни унижений, ни лишения, потому что не отделяли себя и своих помыслов от пославшего их народа. В упорстве их взгляда царь вдруг увидел пронзительный чистый свет — и испугался этой чистоты: такое выражение случалось ему видеть у схваченных болотниковцев. Не доверяя никому, он не боялся подлости — ему оставалось только выбирать оружие, какое больше подходило. Но эти упорные взгляды неподкупной чистоты больше всего пугали царя Василия — над ними не было у него власти!

— Подмога? Войско? — вдруг визгливо закричал он и отпихнул сапогом стоящих на коленях гонцов. — А что на Москве будет?.. Мне самому войско нужно!

Но тут подошел Авраамий и стал убеждать царя послать «хоть малую толику» войска. Это была привычная уху Шуйского речь царедворца, содержащая в себе и намек на кое-какие выгоды, и кивки на Европу, которая, наверно, думает всякое о царе Василии..

— Ладно, — сказал, наконец, царь, — пошлю с вами... полсотни воинских людишек!

★

Никон Шилон и Петр Слота вышли на Красную площадь. Полсотни воинских людишек!.. Полсотни людишек!..

— Ну, спасибо царю Василью! — судорожно вздохнул Слота.

В эту минуту на площади кто-то крикнул:

— Выплыли! Выплыли!

Площадь охнула, и все побежали к Москве-реке.

Никона Шилова и Петра Слоту толпа вынесла вниз, к самой воде. Из сизо-бурых осенних волн мертвенно высвечивали вздутые голые тела. Двух мертвецов выбросило на берег. Поблизости двое еще лежали в воде.

— Горемычные!.. — зарыдала какая-то старуха.

За ней глухо, как на похоронах, загудели голоса:

— Болотникова-то войско из-под воды выходит!

— Ох, и топят же их царь Василий бесперечь всяку ночь!

— А в Нове-городе, а в Туле реки-то сплошь утопленными забиты.. Страсть!..

— Захоронить бы их, голубчиков! — слезно вздохнула стоящая рядом с Никоном пожилая женщина в заплатанном дубленом полушубке. — Захороним их, а?.. добры люди!

Кто-то зло и печально ответил ей:

— Ни рук, ни лопат не достанет, мать, — гляди, поутру новых опять на берег выкинет..

Здоровенный детина с длинным шестом в руках вдруг подошел к утопленникам и одного за другим отпихнул от берега.

— Господи, упокой их души! — сказал он, крестясь и низко кланяясь, потом вошел в воду и стал осторожно и ловко работать шестом. Скоро все четыре трупа закачались на волнах.

Пожилая женщина всхлипнула:

— Страдальные вы наши!

Она низко кланялась плывущим в безвестную даль.

Никон и Петр тоже крестились и кланялись мертвецам, все дальше уплывающим по течению реки.

Когда все понемногу разошлись, Слота сказал Никону:

— Зря поймали мы надежу..

— Едина у нас надежа, — ответил тот, — сами всем народом берем на плеча возьмем, кроме нас, — некому!

★

Полсотни стрельцов, прячась в перелесках, а потом ползком во рву, глубокой ночью пробрались в крепость.

— Сие вся подмога? — изумился князь Григорий, увидев полсотни стрельцов, измученных, голодных, в замызганных кафтанах.

— Боле нам царь не дал, — глухо ответил Никон.

Скоро из больничной избы прибежала Настасья.

— Батюшки, уж и тощой же ты стал, Никонушко... все косточки торчат.. На-кось, вот сухарей для тебя припасла, пожуй с водицей, батюшко мой!

— Да ты, поди, сама недоедала, Настенушка?

— И-и, милой, уж так-то ела, так ела, что глядеть на хлеб неохота.

Молодая жена Петра Слоты ничего не припасла для мужа, а соседи шепнули ему, что его Уляшка гуливала с молодыми чернецами. Жена во всем созналась, и Слота избил ее до синяков.

Ему было тяжело и горько; даже пожалел он, что теперь негде выпиться и забыть свою тоску. Но тосковать было некогда. Утром зазвонил сполошный колокол. Поляки опять полезли на приступ. Когда поляков отбили и стрельба поутихла, Никон пошел искать друзей. Увидев Данилу, Никон поразился: так похудел и пожелтел Данила.

— Что с тобой подеялось, Данилушко? Разнедужился, что ли?

Данила поднял на Никона запавшие глаза:

— Оська к полякам убежал!

Неделю назад, наутро после кровопролитной битвы, часовые увидели в углу стены конец веревки — кто-то, значит, спустился во вражеский лагерь. Стали доискиваться — и обнаружили, что ночью убежали пятеро: Осип Селевин, дружок его Пронька Теплов и еще трое посадских.

Даниле никто худого слова не сказал, но он сразу впал в тоску.

Лежа за большой корявой печью в в стрелецкой избе и чувствуя теплое дыханье Ольги, Данила шептал пересыхающими губами:

— Ведь он, подлой, в руках у меня был! Я ж его уследил! Мне бы тут его и схватить да — под замок, под замок!.. А я, дурачина, устыдился, что он про тебя помянул... что ты мне женой стала...

Ольга пыталась утешить его:

— Усни ты, Христа ради, малость хоть усни.

— Уже он, проклятой, ляхам все поведал, — сразу теперь отыщут, где стены наши утлы, где пушки изнасились... Позор нашему роду! И выходит, я проклятой оськиной шkode потворщиком стал...

★

Пленный раненый казак Дедилов требовал к себе попа, умоляя не медлить: он хочет открыть тайну, которая мучит его душу. Случайно поблизости находился келарь Симон Азарьин. Его привели к умирающему. Дедилов умолял простить его, «злосчастливого, виновного человека», покаялся в измене и открыл: подкоп поляки уже прорыли. Место подкопа — между мельницей и круглой башней нижней монастырской стены.

Симон Азарьин закрыл глаза Дедилову и побежал к воеводе с радостной вестью: наконец-то найдено место проклятого подкопа!

В ту же ночь указанное Дедиловым место под наружными стенами оградил крепким частоколом и укрепили турами. Особый отряд заслонников должен был непрерывно следить за этими турами. Медлить, однако, было никак нельзя. Поляки, обозленные тем, что их хитрость раскрыта, уже с рассвета начали рыскать вокруг огороженного места. Их отгоняли огнем, но они возвращались опять.

— То не дело! — сказал Долгорукой и решил как можно скорее разрушить подкоп.

— Спосылай меня, воевода! — сказал Данила Селевин, и его сумрачное

лицо слабо осветилось просительной улыбкой.

Воевода отмахнулся.

— Не дури-ко, сотник! Для такого случая легкий телом человек надобен.

Вдруг воевода увидел Шилова и Слоту, которые вмазывали кирпичи в стену.

— Эй, вы, гоццы московские, подите-ко сюды! — обрадовался воевода.

Он милостиво похлопал Слоту по заплатанной спине.

— Слышь-ко, Слота, уж больно ты росточком сгодился!

— Чего, воевода? — не понял Слота.

— Легонькой ты, словно парнишка. Налегцах и со стен спустишься.

— А зачем мне со стен спускаться, воевода?

— Надобно тот смертоносной подкоп разрыть, дабы следу его не осталось. Вызволяй народ, гонец московской!

— Доведется вызволять, — улыбнулся Слота, даже смущенный тем, как крепко на него надеются.

— Эко! — заметно обидясь (как это о нем-то забыли!), сказал Никон. — Мне, Петра, от тебя негоже отставать.

— Что ж!.. Двое и ступайте, — решил воевода и тут же приказал Корсакову рассказать, как нужно запаливать зелье в устье подкопа.

Шилов и Слота внимательно выслушали указания и стали ждать сумерек.

Засовывая сухари в карман Никону, Настасья вдруг всхлипнула и припала головой к его плечу. Никон неодобрительно заворчал:

— Полно, мать, полно... То в Москву ходили, а ноне под самыми стенами будем. Изладим дело, свистнем, — и нас в обрат наверх подымут. Постыдись голосить-то! Словно неразумная...

А Слота наказывал своей моложавой и ненадежной жене:

— Ты у меня, баба, сиди смирно, а то, — вот те крест, — ворочусь... будет тебе на орехи, Уляшка!

— Ой ли? — похохатывала Уляшка, скаля мелкие кошачьи зубки. — Неужто побьешь?

— Коли что прослышу, — побью, как бог свят.

★

«...и взорва подкоп, Слота же и Никон ту в подкопе сгореша...»

А. Палицын. «Сказание об осаде». 1822 г.

В сумерках Никон и Петр благополучно спустились со стены, захватив с собой бочонок пороха. Поляки их не заметили.

К ночи стрельба прекратилась. Кругом все затихло. Накануне была оттепель, снег стаял, с утра землю обдуло теплым ветром, и она почти обсохла. Земля была мягкая, влажноватая, еще чуть пахнувшая увядшими травами, — Шилов и Слота сами не слышали своих шагов. Они долго бродили, обшаривая каждую пядь земли, но ничего не могли найти.

Под стенами стало уже совсем темно, только на вражеской стороне лохмато пылали костры. Ветер принес запахи свежего печеного хлеба и мяса, которое варилось в котлах и жарилось на вертелах. У Слоты внутри все заныло: захотелось похлебать щец, хотя бы вчерашних, пососать мозговую косточку... Он вспомнил, что в крепости только раз в двое суток дают крупяное варево, почти без соли, а сегодня и этого ничего варева не было.

В крепости людям и нечего, и некогда поест, а проклятые ляхи объедаются с утра до ночи — да еще вот разыскивай их бесовский подкоп.

Казалось, еще никогда не горел он такой ненавистью к врагам, как в этот вечер.

Никона тоже мучил голод. Уже хотел было Никон присесть, развязать узелок, пожевать сухарей, но вдруг вспомнил: сумасбродная, ленивая Уляшка не дала ни крошки хлеба Слоте, а тот, мучимый ревностью, забыл попросить ее об этом. Нет, без Слоты есть нельзя. С молодых лет друзья привыкли делиться хлебом на пашне, на охоте, в лесу, на рыбной ловле. И Никон, как ни терзал его голод, решил с едой повременить.

Вывездило, а устье проклятого подкопа все еще не было обнаружено. Вдруг, протапывая землю вокруг кустарника, Никон провалился в неглубокую яму. Начав копать, он провалился

еще глубже — и вскоре уперся ногами в стенку довольно широкого лаза, укрепленного бревнами.

Никон чуть не вскрикнул от радости — устье подкопа было найдено!

Никон тихонько свистнул Слоте. Юркий Слота прополз вовнутрь — и тут же скрылся в глубине. Никон остался сторожить у входа. Через полчаса Слота приполз обратно. Он достиг самого конца подкопа, который поляки еще далеко не довели до стены, — этому помешали бои. Помня советы рудознатца Корсакова и наибольшего пушкаря Федора Шилова, Слота считал, что взорвать подкоп следует подальше от его устья, чтобы вражеская работа была вчистую уничтожена. Никон согласился с этим.

— Пожует, Петра, робить станем бойчее, — сказал Никон и первый сухарь дал Слоте. Оба продрогли и сели на бочонок с порохом, тесно прижавшись друг к другу. Сразу обоим стало теплее. Ржаные настасыны сухари казались сейчас вкуснее разносолов московского Троицкого подворья.

— Ну, айда, Петра.

Друзья вкатили бочку пороха в устье и поползли на коленях, подталкивая ее в глубь подкопа.

— Поди, хватит уж? — спросил Слота прерывистым голосом, пот лил с него градом.

— Ладно... отседова и запалим... — ответил Никон, тоже весь парной от натуги. — Видно, стареньки мы с тобой стали, Петра!..

Никон нащупал отверстие на левой стороне бочки с порохом, вынул из кармана шнур и начал пальцем проталкивать его в отверстие. В крошечной тьме Никон, как следует, не нащупал, достаточной ли длины конец остался для запала.

— Ну, Петра, — сказал он глухим от волнения голосом. — Запалим, благословясь!

Слота высек искру, а Никон, приложив трут к концу шнура, раздул огонек.

— Пошло! — радостно шепнули оба друга и торопливо поползли к устью подкопа.



Вдруг земля вздыбилась под ними, страшно ударила в спину и поднялась высоко, высоко, к огромному пожару золотых звезд...

★

В тот самый миг, когда на стенах крепости услышали грохот взрыва, что-то теплое брызнуло на щеку Федора Шилова, что-то небольшое мягко шлепнулось сверху о ствол гафуницы и упало на кирпичный пол верхнего боя.

Федор, удивленный, вытер щеку и поднес ладонь к фонарю. Ладонь была в крови. Федор снял фонарь и начал шарить возле пушки. Вдруг он увидел страшную, оторванную ниже локтя руку, истекающую кровью. Как замороженный, Федор смотрел на короткие пальцы, выпачканные землей.

— Царство небесное! — прошептал Федор.

— Иди-кось, воевода зовет! — крикнул ему Иван Суета.

Федор молча помнил его. Суета подошел, глянул и перекрестился трепетной рукой.

— Упокой, господи... Знамо, оба сгибли...

— Оба сгибли.

Федор завернул мертвую руку в холстинку и пошел к воеводе.

Князь Григорий, едва увидев Федора, нетерпеливо спросил его:

— Ну, пушкарь, розмыслова голова, как по-твоему: извели наши тот проклятый подкоп?

— Извели, — глухо ответил Федор и добавил, осененный внезапной мыслью: — Вот, о том мне брат вестку подали...

Федор развернул холстину. Воевода испуганно закрыл лицо, потом снял шапку и размашисто перекрестился.

Утром, по приказу воеводы и архимандрита, в обоих соборах и церквах велено было служить панихиды «о живот положивших за братьев своих, верных заслонниках града нашего» — Никоне Шилове и Петре Слоте.

Взбалмошная Уляшка, всхлипывая, рассказывала всем:

— Коли, бает, что прослышу про тебя, то уж побью, как бог свят!.. И,

глянь-кось, не побил он меня, голубчик мой, сивая головушка! Не довелось!..

Настасья Шилова, будто высохшая за ночь, опираясь на руки Ольги и Даниила, спрашивала с беззвучным упорством:

— Да где ж ты, Никонушко, свет ты мой, что ж не видно мне головушки твоей?

Она жалобно настаивала, чтобы перестали, наконец, прятать от нее тело ее мужа. Ее подталкивали, чтобы молилась и кланялась, но она все искала Никона и ласково бормотала, чтобы шел скорей с ней в избу, а то на улице ветер.

Из бойниц среднего боя, со стороны мельницы, в прозрачном воздухе была хорошо видна взбитая буграми, словно вывернутая наизнанку, земля. Вражеский подкоп был вчистую уничтожен.

Еще до полдня ударила «трещера».

Утлая западная стена зашаталась, из пробоин с грохотом посыпались кирпичи.

Федору на миг показалось, что он видит у пробоин приземистую фигуру брата и маленького подвижного Слота. Но это были мужики-лечеклады из села Молокова.

Сердце Федора заныло от тоски и боли. Он быстро смахнул слезу и прильнул к щели. Сквозь рассеивающийся дым он вдруг ясно увидел на горке проклятую «трещеру»; ее пасть дымилась, как у дракона.

— Вот мы на тебя! — сказал Федор, и горькое торжество вдруг охватило его: Шилов и Слота уничтожили вражеский подкоп, а они, троицкие пушкари, уничтожат «трещеру».

Федор побежал к воеводе и рассказывал ему свой план: в «трещеру» надо бить со всех сторон; бить дружно и неотступно до тех пор, пока и пасть, и казна ее не разлетятся!

Он знал, что пушкари среднего боя стреляют в ту же сторону, а пушкари подошвенного боя бьют понизу, чтобы помешать врагам исправлять повреждения в турах, наносимые русскими ядрами.

Через два часа прибежал стрелец со среднего боя и знаками пояснил, что

уже четырежды ядра «трещеры» зарывались в землю, не долетев до стены. Все поняли: такой стрельбы враги не ожидали. Впрочем, они пытались поправить дело на северной стороне, против Конюшенной башни, и против Сушильной башни — на восточной стороне. Но Данила Селевин со своей сотней — на северной стене — и сотник Иван Суета — на восточной стене — отразили атаку ляхов.

Данила стрелял, рубил, лихорадочно и зорко примечая мельканье чужих злобных лиц, но Оськи среди них не было.

Улучив минутку, Данила подбежал к кадке, зачерпнул кружку воды — и увидел такого же потного и дымного Ивана Суету. Данила вытер усы и прокричал прямо в ухо Ивану Суете:

— Увидишь Оську-изменника, — бей его до смерти!.. До смерти!

Иван Суета согласно кивнул и опять убежал к зубцам.

Через четыре часа после начала боя «трещера» перестала стрелять. Двое «языков», которых захватили к вечеру, показали, что русские пушки разбили «великую пани-Трещеру» и что все укрепления вокруг нее тоже разрушены. «Языки», кроме того, рассказали, что польские военачальники растерялись перед «зельным» умением и «силою стрельяния русского», а также — перед «меткостью русских топоров и сабель, кои бьют нещадно». При этих словах воеводы переглянулись и, кажется, впервые без злости.

Князь Григорий вершил бой на западной стене, а Голохвостов «правил» боем на северной и восточной стенах.

Гордо вздернув восталистый клочок бороденки и распахнув тяжелую шубу, подбитую лисой-огневкой, маленький сухопарый Голохвостов временами даже хитренько подскакивал и покачивался на носках — при таком выигрыше ему хотелось быть высоким, важным, плечистым.

Князь Григорий, однако, считал героем дня себя: проклятую «трещеру» разбили оттуда, где он вел бой. Не теряя времени, он тут же вызвал Алексея Тихонова и продиктовал ему грамоту

царю Василью Ивановичу, в которой поздравлял царя «со счастливым и zelo благоприятным избавлением града сего от поганого зверя железа, огонь и смерть изрыгающа».

«Ишь ты! — кусая губы, думал Голохвостов. — И всюду-то умеют они поспешать! Того гляди, от царя почестей добьются!»

Князь Григорий, выйдя из башни на стену и жмурясь от солнца, действительно, уже прикидывал в мечтах: что теперь пожалует ему царь за «трещеру»? Но, спустившись на крепостной двор, князь сразу помрачнел: отовсюду несли убитых. Казалось, мертвецам счету не было: пробитые вражескими ядрами груди, рассеченные головы, плечи, оторванные руки и ноги..

На белые, в веселых зеленых и красных полосках, катанки воеводы — их делали свои вотчинные шерстобиты и катали — вдруг упало несколько капель крови из пробитой груди стрельца, которого пронесли мимо. Буро-красные пятна сразу расплозились по веселому поярку. Князь Григорий прибавил шагу и, придя к себе в горницу, нетерпеливо переобулся.

— И-их ты-ы, сколько кровищи есть в человеке... — бормотал он, брезгливо мая руками.

Ему видно было, как во дворе разбивают ломом мерзлую землю, чтобы выкопать братскую могилу. Такого множества убитых еще никогда не бывало; «приготовить» их к отпеванию в соборах и церквах — теперь было явно невозможно. Мертвецы лежали рядами, лицом к небу, на свежавшем голубом снегу, который цвел шедрым алым цветом их крови. Вокруг толпились женщины, старики, ребятишки. Гнусавое пенье монахов сливалось с воплями женщин.

Дедушка Филофей толкался в толпе. На него никто не сердился, будто это ходило само неизносимое время. Он бродил, вглядываясь в мертвые лица, и грозно бормотал что-то.

Увидев Данилу Селевина и Ивана Суету, он обнял их огромными, обросшими мшистым волосом руками и отвел в сторону.

— Слышь-ко, парнишки... — загудел он хриплым басом. — Народу-то ноне полегло... Стра-асть!.. И еще сколь надобно будет народу, парнишки!.. Слышь, я сам здесь башню своими руками по камушку клал, все подполья мне ведомы. А ноне Диомидко спяну сказывал: в подземелье под Каличьей колодники по сю пору томятся...

— Колодники? — вскрикнули Иван и Данила. — Да неужто ж там живы человеки?

— Живы, да только насмерть глядят! — подтвердил злой и смешливый голос Игнашки-просвирника. Его щуплое костяное личико посинело от ветра; ноги в старых, заплатаанных валенках выбивали дробь; он мерз, но беспокойное любопытство гнало его из просвирной избы.

— Пробрался я в закоулок, — рассказывал просвирник, — и углядел в щельное оконце: сидят люди томны, ноги в колодках, а которы чепями к стене прикованы...

— Пойдем! — решительно прервал Иван Суета. — Пойдем народ выручать!.. Аль мы с тобой, Данилушко, кабацкому Диомидке руки не скрутим?..

— Скрутим, — ответил Данила и, усмехаясь, поиграл могучими жилистыми кулаками.

— И я от вас не отстану! — присоединился Игнашка.

Заслонники-скоморохи, Митрошка и Афонька, шли навстречу с лопатами на плечах — копать братскую могилу. Узнав, куда идут люди, скоморохи повернули туда же.

— Мертвому воскресу не будет, — сказал Митрошка.

— Коль помер — богов, а коли жив — наш, — решил Афонька. — Мертвому помины, живому именины. Айда, ребята, народушко выручати!

Встретились стрельцы из сильно потрепанных сотен Данилы Селевина и Ивана Суеты.

— Эй, сотники! Куды народ ведете?

— За народом же! — ответил Иван Суета. — За помощничками идем...

По дороге и еще кое-кто пристал к шествию. Данила оглянулся, тихонько усмехнувшись в золотые усы. Мыслимо

ли было подобное дело два месяца назад?.. О колодниках под Каличьей башней, конечно, многие знали. Несчастных жалели. Но до сих пор никто — и он сам, Данила Селевин, — не посмел бы нарушить монастырский запрет: «грешникам» и послушникам «самим богом положено» каяться и томиться, пока не пройдут назначенные им сроки... А ныне никому в голову не пришла мысль насчет «греха» и запрета — погордел, расправил спину народ.

«Был пуганой, стал вздыманой народ» — повторил про себя Данила любимую мысль Федора Шилова.

Игнашка ударил кулаком в железную ржавую дверь. В решетчатом оконце показалась волосатая опухшая рожа Диомиды — и скрылась.

— Наляжем плечиками, — спокойно пробасил Иван Суета.

— А ну! — поддержал Данила Селевин, и оба налегли на тюремную дверь.

Десятки кулаков вышибли двери в подземелье. Через несколько минут всех колодников вывели и вынесли на свет. Их оказалось сорок два человека. Обросшие волосищами, покрытые промозглыми лохмотьями, живые скелеты с землисто-серыми лицами, они почти лежали на руках, плечах и спинах своих освободителей. Полубезумными взглядами, как сквозь сон, озирали они все вокруг: просторное небо, подъятое густым и чистым пламенем угасающего дня, высокие опорошенные снежком шатры крепостных башен, а пуще всего — людей, множество человеческих лиц, от которых, как от большого костра, шли тепло и свет.

Люди воскресали из мертвых, оживая у всех на глазах, среди благоговеяного молчания.

— Ослушники безумные! — вдруг хрипло гаркнул одышливый голос: то соборный старец Макарий, без шапки, в распахнутой шубе, катился на толпу, потряхивая высоко поднятым в руках крестом.

Тимофей, поп-кудряш, совсем без шубы, злобно оскалившись, махал крестом, как палицей.

— Что вы содеяли? Грешников подлых спасаете?

Он хотел было врезаться в живое кольцо, но оно сомкнулось еще теснее вокруг спасенных.

— Безумные! Грешникам, богопротивцам волю дали?

— Они перед народом не грешны! — сказал Данила Селевин, и десятки голосов один за другим вспыхнули, взорвались, как порох от искры:

— Людей живьем в могилу кладете?..

— Мы себе помощничков вызволили!..

Вдруг чей-то высокий голос крикнул:

— В баню их надобно, сердешных, в баню!

— В баню колодников! — подхватили дружные голоса, и большая толпа понесла колодников к бане.

Старец Макарий еле устоял на ногах — земля под ним зашаталась, заплясала. Произошло невиданное: грязных колодников повели в единственно уцелевшую архимандритову баню. Обовшившие мужики, пропахшие тюремным подземельем, будут париться в «пречистой мыльне» архимандрита Иоасафа!.. Старец Макарий в свое время самолично строил и ухорашивал архимандритову мыльню, в которой «с великой услдой телесной» мылся царь Борис Федорович. Почтил мыльню и царь Василий Иванович Шуйский в последний свой приезд. И вот, выходит, старец Макарий, как последний шут и дурак, старался для вшивых колодников из Каличьей башни!

Не помня себя, Макарий затопал, выкрикивая все бранные слова, какие знал.

Но самое ужасное заключалось в том, что впервые за всю свою долгую жизнь он вдруг почувствовал себя безвластным и бессильным.

— Братию, братию!.. Всех постриженников собрать... позвать... — как в бреду, повторял он.

— Эва, — холодно прервал его поп Тимофей. — Много ль нас, постриженников-то?.. Нам с людьми сладить не мочно... Ишь, на стены взошли, у заслонов стали — у них и сила ноне... разумеи, отче!

— В архимандритову мыльню пошли... осквернят, проклятые, всю лепо-

ту нарушат!.. — плакался окончательно сраженный Макарий.

Поп Тимофей посоветовал послать к этой «поганой орде» тихого блаженного старца Нифонта.

— Пожди, отче, пожди. Дай ляхов отогнать — уж тогда мы их в бараний рог скрутим... а пока у них сила... — говорил поп Тимофей, спешно уводя Макария подальше от «прискорбного» зрелища.

Пока разыскивали блаженного старца Нифонта, пока обрядили его старые кости, пока он, наконец, как мышь из норы, вышел на свет, — события шли своим чередом. В архимандритовой бане уже мыли, скребли спасенных колодников. Слышны были благодарное криканье и даже смешки воскресающих к жизни людей.

В просторных сенях и у дверей мыльни стояли женщины и старики, с чистыми рубахами в руках. Многие подарили спасенным, «на разживу», последние рубахи, которые берегли «на смерть».

В сизой сумеречной полумгле старец Нифонт мог заметить, как оживленны и довольны люди всем происходящим и как гордятся тем, что сделали.

— Братие-е! — не чуя никакой крепости в себе, тоненько пропел старец Нифонт. — Братие-е... воззрите на главу мою, иже денно и нощно памятует о прегрешениях ваших!..

Нифонт снял колпачок, кротко поклонился всем, и белый ковыль его волос смешно завился на морозном ветерке.

— Грешно, не по закону творите, братие! — опять было запел он.

Вдруг молодая белолицая женщина, с черными, как крылья дрозда, бровями, быстро схватила его колпак и надела ему на голову.

— Дедуныко ласковой! — смешливо и звонко сказала она. — Ты шапку не сымай, стару головушку не застуди... Да и кто тебя на мороз-от погнал?..

— А вот мы его в баньке попарим! — рассмеялся кто-то, и не успел старец Нифонт и ахнуть, как чьи-то сильные руки сгребли его в охапку и понесли в баню. Золотистая борода сверкнула ему в глаза, и он узнал Данилу Селевина.

— Данилушко! — непритворно заплакал старец. — Пусти-и... Аз, к кончине готовясь, плоть умерщвляю... пятой год не парился-а...

— Побалуйся, побалуйся паркóм-то, старче! — весело засмеялся Данила, толкнул дверь в предбанник и радушно передал барахтающееся нифонтово тело в чьи-то мокрые горячие руки.

— Ну-ко, помыльте бедного старца сего!

И исчез, а Нифонт очутился в полной власти банщиков. Он плакал и поминал всех святых, но бороться было невозможно.

В большой мыльне и в парильне не только люди, багровокожие, как новорожденные младенцы, но и стены, и полы исходили сладким щедрым паром. Он шипел, ухал, свистел, окутывая все прозрачными облаками. Всюду лилась, журчала, плескалась вода, блаженно покряхтывали люди; братски-заботливо они терли друг дружке спины. И старец Нифонт, сам того не замечая, крикнул раз-другой и, забывшись, вытянул ноги, чтобы и по ним похлестали мягким жгучим венником.

— Ишь, разманился! — добродушно фыркнул банщик.

Нифонт обомлел: батюшки, да ведь его мыл страшный, отвергнутый богом грешник — скоморох Афонька!

Рядом, на той же широкой дубовой лавке, мыл кого-то, костлявого, изможденного, второй скоморох — Митрошка, мыл и приговаривал нежно, как мать: — Изморила тебя темница, голубок! С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, голубчик, боль да худоба!

Погиб Нифонт, погибла богоугодная кончина! Грешную плоть свою распотешил, у скомороха вымылся, сидел рядышком с колодниками, отпетыми ослушниками и злодеями!..

Войдя в свою грязную холодную каморку, Нифонт лег на жесткое ложе и заплакал, сам не зная о чем.

Дверь хлопнула. Вошел сердитый Макарий.

— Где пропадал, старче? Я уже посылал за тобой, — може, побили тебя возле баньки-то?

Нифонт молчал. Макарий подошел

ближе — и вдруг злобно потянул носом:

— Да и ты сам мылся, старый дурак! Вот сволоку тебя к архимандриту... обманщик, разбойникам потатчик!..

— Поди-ко ты... дай полежать в спокое... — И Нифонт отвернулся к стене.

Макарий побежал к бане. Там было уже темно. Из полуотворенной двери струилось тепло. Макарий, люто бранясь, захлопнул дверь и повесил замок. Замок был огромный, черный, как свирепый пес.

В ту же ночь, когда обмытые, обогретые сорок два человека заснули счастливым сном, Настасья Шилова протислась с жизнью. Глубокой ночью она вдруг приподнялась на убогой своей постели и произнесла слабым, но внятным голосом:

— Иду к тебе, Никонушко... Никон, слышь? Изошло терпенье мое...

Нашарив руку Ольги, Настасья сжала ее ледяными пальцами.

— Изошло терпенье мое... — прошептала Настасья, потянувшись всем телом, чуть слышно вздохнула — и умерла...

...За сутки Ольга потеряла трех с детских лет близких людей — Никона, Слоту и Настасью.

Данила застонал во сне. Ольга оставила Настасью и легким шагом подошла к нему. Прилегла с краю, обняла Данилу легкой и крепкой рукой. Он, успокаиваясь, во сне сжал ее пальцы и затих.

★

Утром из польско-тушинского лагеря перебежали в крепость пятьсот казаков во главе с атаманом Епифанцем. Казаков пускали по нескольку человек через малые ворота и отводили в Успенский собор. Там они присягали «сидети в осаде без измены», а потом их размещали, как пришлось.

В тот дежь в крепости было варево, да и многие казаки, кто подogaдливее, прихватили с собой хлеба и сала.

Засучив рукава зеленых, синих, красных жупанов, казаки резали сало над

котлами. Скоро запахи мяса и жира разнеслись по всему крепостному двору. Люди повеселели, словно повеяло надеждой на скорую победу.

Тут же, у котлов, за горячим варевом, казаки братались с заслонниками; шутки и рассказы шли нескончаемой пестрой чередой.

Казаки рассказывали, что в лагере Сапеги и Лисовского русским людям было «дюже худо». Русских людей первыми гнали в бой, ставили их на самые опасные места. Убитых хоронили, «что псов безвестных», «без напутствия в смертной путь», а на могилах даже «малого крестика» не оставляли. Польские жолнеры, для особого посмеяния и унижения русских людей, на могилах жгли костры, жарили баранов, пьянствовали и последними словами хулили русских людей, называя их «нищей ордой», «проклятыми схизматиками»<sup>1</sup>, «голодными псами»...

Между ляхами и русскими все чаще стали вспыхивать ссоры, поножовщина. Ляхи-военачальники после каждой такой потасовки бросали непокорных русских в пытошную избу, били плетью, морили голодом.

Казаки, поддавшиеся обману и посулам ляхов, государевы стрельцы десятиками, сотнями бежали из польского лагеря. Последнее время, опасаясь «урона в людях», Сапега приказал ловить беглецов и жестоко наказывать плетью. Но бегство от этого не уменьшилось. А когда меткой стрельбой троичких пушек была разбита «грозная трещера» и стало известно, что осажденные разрушили польский подкоп, — воспрянули духом обманутые русские люди, а уж про вольное казацкое сердце и говорить нечего!

Уже немало дней кучками собирались казаки, размышляя вместе и примериваясь, как лучше и вернее разрешить свою запутанную, заблудившуюся судьбу. И, наконец, решили: чем бежать, куда глаза глядят, рискуя жизнью и казацкой вольной честью, лучше пойти к своим, русским людям, которые храбро бьются в осаде и не сдаются, стоят

крепко... Как порешили казаки, так и сделали.

— Пятьсот казаков да тех сидельцев из-под Каличей башни сорок два... вот те без малого шестьсот новых заслонников! — с довольным видом подсчитывал князь Григорий. — Подвалило нам людишек ради худобы нашей, а... пушкарь?

— Сие шибко ладно, князь-воевода, — отвечал Федор Шилов, — а они, к тому ж, zelo добры вести принесли...

— Ну-ко, ну-ко?

— Будто Михайло Скопин-Шуйской из-под Новгорода идет нам на подмогу...

— Ой ли? — радостно встрепенулся воевода. — Скопин Михайло Васильевич, батюшко наш, начальниче пресветлой!.. Ну и талан у него, у Скопина Михайлы! Горазд полки водить, а уж в битве — орел!

— То-то, казаки сказывают, шибко страшатся его ляхи...

— Ведома им сила его да талан, вот и почали труса праздновать!.. Трусь, не трусь, а от Скопина не уйдешь! Слышь, уж двое суток ляхи молчат...

— Ишшо скажутся, воевода: змея помирает, а все яду хватает... Глянь-кось, воевода, прочистили мы пушечки, словно невест к свадьбе обрядили! — И Федор любовно похлопал ладонью по стволам пищалей.

— Вот все мелки пушечки изготовил. Вот пищали полуторные, вальконеи<sup>1</sup>. Глянь-ко, князь-воевода, сколь малы ядра потребны для сих пушечек... вона какие, словно яблочки, а весу в них и вовсе пустяк: вона ядро на полфунта, на четверть фунта, на три четверти... а самое тяжелое, гляди, всего фунтик весит!..

Федор подбросил на ладони маленькое ядро и ласково огладил его закопченными пальцами.

— Сие малое ядрецо, да и пушечка сама — благодать! Для такой пушечки, чтоб в бой ее взять, о конях не заботься — сами в лямку впряжемся, да и потянем на себе... И на стрельбу сии пушечки куда как легки да быстры...

<sup>1</sup> Еретиками.

<sup>1</sup> Фальконеты.

Мыслю я, князь-воевода, время ноне пришло: нам первым на врагов ударить... Народу у нас прибавилось, пушечки готовы, распахнем ворота, да и ударим на ляхов да тушинцев поганых!

Воевода растерялся и всплеснул руками:

— Что удумал. Да они ж нас сомнут, набегут, изрубят!..

— А мы с пушечками выйдем... алья тебе понапрасну все это сказывал, воевода?

— Нет, нет!.. И не смей, не смей меня более о том просить!.. Вот и Алексей Иванович согласия не даст!.. — Воевода за все время осады впервые обрадовался при виде поднимающейся по лестнице сухопарой фигурки Голохвостова.

— Алексей Иваныч, мы же с тобой мужи разумные, — возбужденно заговорил Долгорукой, — мы сего безумства не довозим!

Князь Григорий тут же рассказал о замыслах Федора Шилова и возмущенно повторил:

— Не дозволим!.. Я себе до поры смерти не хочу и за ворота выходить не буду!.. Нам Скопина-Шуйского, сказывают, на подмогу шлют... и дождемся его в стенах наших!..

— Знаю, дождемся, — поддержал Голохвостов. — И я не ополоумел, на рожон не пойду. — Он повернулся к Федору Шилу и презрительно ткнул его в лоб костлявым пальцем. — Выкинь-ко дурь из башки...

— Кабы то в моей лишь голове было, — спокойно усмехнулся Федор и вдруг так прямо и стойко глянул в сердитые глаза воеводы, что Голохвостов сразу замолк и только переглянулся с Долгоруким. — То не я один умыслил, а и многие товарищи мои... Промеж нас уж все уговорено... Хоть тут же, не мешкая, за ворота выйти...

По знаку Федора из-за выстуга бойницы вышли сотники Данила Селевин и Иван Суета, а за ними, как на подбор, не один десяток заслонников, рослых да плечистых молодцов. Было среди них несколько «голов стрелецких», были пушкарники, пицальники и «головы пушкарские». Среди знакомых лиц вое-

воды заметили и вчерашних пришельцев — казаков. То здесь, то там взмывал по ветру черный или русский казачий оселедец<sup>1</sup> или полымем горел алый верх казацкой шапки.

Воеводам сразу все стало понятно. Не только вместе кашу ели да казачьим салом угощались эти три боецких главари!.. Это были доподлинные главари, которые, кажется, ни минутки не теряли даром — ведь все эти молодцы подобрались один к одному как вершители задуманного ими боя. Уже не важно для них: согласятся или нет воеводы, — у этих людей свои воеводы есть. Вот они: Федор Шиллов, пушкар, огненных дел мастер, и богатыри-сотники Иван и Данила. Вот стоят они, людские воеводы. Обтрепанные кафтанишки на их гордых плечах выглядят неизменно, словно кованые кольчуги. А попробуй смутить этот твердый, ясный, как родниковая вода, и прямой взгляд, — легче железо плетью перешибить! Попробуй рассеять их силу — нечем. Здесь, в осажденном городе, сила — у них, защитников его; а теперь видно, что и разум — у них.

Стараясь всеми силами сохранять благодушно-снисходительное выражение лица, — что, мол, с вами поделаешь, буйные головушки, — воевода Долгорукой особым боярским чутьем почуял, что и Голохвостов все понял и сдался.

Князь Григорий с милостивой усмешкой спросил Данилу и Ивана:

— Неужто вам, сотники, жития не жалко? Нас мало, а врагов множество!

Данила Селевиц в ответ на такой пустой вопрос недоуменно повел плечом и сказал:

— Други наши, Никон Шиллов да Петр Слота, двое за стены выйти не убоялись... Двое!.. А нас — войско!..

А Иван Суета добавил:

— Кровь их нам пути кажет... мы за ними следом, а за нами дети наши.

Воевода важно махнул рукой и skoмандовал:

— Спускайте со стен пушечки малые, тащите их по низу, да собирайте народ тихо, чтоб в колокол не били!

<sup>1</sup> Длинный чуб на темени бритой головы.

Когда все пушечки были спущены на крепостной двор, воевода Голохвостов, злобно морщась, высвистнул художубым ртом:

— Попускаешь людишкам, Григорий Борисович! Мужикам-тяглецам, холопскому роду, много воли дал. А у холопа замест души рогатина — упрется и стоит на своем, — не уколет, так толкнет. Чуешь ли это, князь Григорий?

— Чую, Алексей Иванович, — ответил Долгорукый уже с нескрываемым раздражением, — легко языком болтать, мудреней главу да честь сохранить. Без мужика-тяглеца не шагнешь, мужик о земле тужильщик, тужит, живота не жалеет — сам о том ведаешь, воевода...

— Чай, у нас тут стрельцы есть...

— Ей-ей, Алексей Иванович, не бойчись — стрельцов у нас горстка осталась, да и они, сам ведаешь, також не боярской крови. А тяглецами и прочим черным людом сии стены держатся; того, воевода, из песни не выкинешь.

Князь Григорий сдвинул островерхую бобровую шапку, приоткрыв седеющий лысоватый висок, затем вынул из посеребренных ножен кривую персидскую саблю, поднял ее над головой и быстро спустился во двор.

— С нами бог! — крикнул он, крестообразно сверкнув саблей, и приблизился к построившимся боецким рядам.

— Ну... воинство храбродушное!.. — раздался негромкий голос Федора Шилова. Его большие, воспаленные от бессонницы глаза с суровым отцовским выражением уверенности и любви оглядывали настороженные лица. — Похрабруем, дети мои! — И он махнул рукой в сторону железных ворот. Пушкарские ряды двинулись вперед, глухо загрохотали малые пушицы, которые тянули «в лямку». Вскинулись на плечи самопалы. Лязгнули сабли. Протяжно закрипели ворота, и белое, под ноябрьским снежком, бранное поле широко глянуло в глаза.

И, словно раненная этой грозной близной, простонала Ольга Селевина. Вскрикнули еще десятки женщин, выпустившие из рук драгоценные жизни своих близких. Но железные ворота

уже захлопнулись, и воротные стражи замерли возле тяжелых засовов, готовые по первому знаку открыть их.

Воеводы поднялись на стены.

На подмогу стрельцам, пушкарям и прочим ратным людям сегодня поставили на стены не только молодых и пожилых чернецов, но и стариков. Поднялись на стены и женщины и начали готовить кипяток и смоляной вар. Все опасались, что поляки полезут на стены, дабы помешать большому бою на бранном поле.

Ольга начала обматывать руки тряпками: кожа на ее ладонях и пальцах зажила после ожога, но все еще не терпела горячего.

— Шла бы ты, Ольгуха, в больничную избу, — пожалел сестру Алексей Тихонов, сыпавший порох на полку самопала. Скорописец научился стрелять из самопала и заряжать пушки; в боях, хотя и легко, но уже дважды был ранен. — Ей-ей, поди ты... гляди, опять кожу опалишь!..

— Да что ты, Алексей! — вскинулась Ольга.

В эту минуту на лестнице послышались крики и шум. То женщины-заслоницы, поймав во дворе Варвару-золотошвею, втащили ее на стену верхнего боя...

— Полно-ко тебе, дебелая, гостьюшкой красоватися!

— Ну-ка, потрудись с народом, чернецова женка!

Большая золотошвея, растерзанная, простоволосая, запахивала свой крытый червчатый суконцем опашень, а сама заливалась свирепыми слезами:

— Все пуговицы сорвали, поганки!..

— Будет! — строго сказала Ольга Селевина. — Туту тебе верхний бой, а не монашеска постеля. Становись и гляди. Углядишь кого, тут же хватай ковш и лей смолу прямо в очи!

Приказала и отошла. Варвара плюнула ей вслед: ну и власть взяла, деревенщина, нищая тяглецкая дочь! Посмели силком втащить ее на эти стены, посмели сунуть ей в руки закопченный ковш, чтобы плескать смолой!.. Да пусть сами лют, если хотят! — кипя и лютуя, думала Варвара.



Вдруг, как сквозь туман, увидела она в проеме зубца чье-то лицо с черными и острыми, как шилья, усами. Варвара ойкнула, уронила ковш — и вспомнила, что ей приказали, но было уже поздно. Что-то сверкнуло перед ней, голова ее вмиг наполнилась страшным гулом — и все исчезло из глаз. Золотошвей упала с расщепленным лбом, не удержав своего почетного места, на которое когда-либо ставила ее судьба. И не довелось Варваре-золотошвей увидеть, как за кровь ее отплатила Ольга Селевина. Она ударила топором по вражьей голове, и поляк откатнулся от стены. Так по всему верхнему бою отбили польскую атаку: стреляли из самопалов, рубили топорами, лили кипяток и смолу.

— Не ходи на Русь, не ходи на Русь! — повторяла Ольга один из любимых кличей заслонников, и сердце ее обливалось кровью:

«Данилушко! Живой ли ты?»

★

Данила был жив. Вместе со свежей своей сотней он продвигался все выше и ближе к польским турам на Красной Горке.

Когда троицкие бойцы вышли из ворот, поляки, увидев несколько сот пешеходов, решили пустить на них конницу, чтобы потоптать, изрубить это дерзкое голодное войско. Но пока ловким нарядным всадникам подвели сытых коней, пока серебряные рыцарские шпоры звякнули в стремях, — троицкие воины были уже расставлены по своим местам; недаром они знали тут каждый кустик, каждую ямку и бугорок.

Конница польская вынеслась во всей своей красе, всадники уже занесли сабли, но тут неожиданным пушечным огнем полоснуло по коням и всадникам. Конница сбилась, заметалась, потеряла голову.

— Пальнем покрепше! — приказывал Федор Шилов пушкарям и пищальникам, удачно укрывшимся за бугром. — Еще разок пальнем... Глянь-кось: ляхи сами себя топчут!

И вправду, конница уже обезумела. Кони топтали раненых и убитых, всадники, спасаясь от смерти, рубили всех, кто загромождал им дорогу. Через минуту-две на этом месте осталось кровавое месиво конских и человеческих тел.

Пока польские военачальники растерянно наблюдали разгром своей конницы, Данила Селевин и Иван Суета окружили Красную Горку. Пушечки Федора Шилова стреляли наперерез, отражая попытки врагов продвинуть помощь своим турам.

— Хошь, не хошь, Алексей Иванович, — говорил между тем князь Григорий Голохвостову, наблюдая со стены за бранным полем, — а хитер, башковит пушкарь Федька Шилов! Вона, глянь: у ляхов все туры насупротив в огне... и-их, горят, что стога!

В дыму пожара, как под прикрытием, пыталась было опять выступить конница, чтобы сбить огненный заслон Федора Шилова. Но пушечки — «Индрог», «Змей-летучий», «Гамаюн» и «Ушатая» — рассеяли и второй отряд конницы.

Наконец, загрохотали выстрелы наверху Красной Горки, и от грома торжествующих голосов, казалось, задрожали вокруг небо и земля — Красная Горка была взята.

— Наши голос подают, — сказал Федор Шилов, улыбнулся — и вдруг странно уронил голову на грудь. Тут все заметили, что его левая рука прижата к боку.

— Федор Ондрич, аль задело тебя?

— Самая малость, — ответил он, силась приподняться. Левая рука его была залита кровью. Он взглянул вверх, на пылающие польские туры, и произнес раздельно и твердо:

— Наш заслон свое дело сотворил. Айда, робя, в обрат пойдем.

Пушкари подняли его на плечи и понесли к воротам.

С Красной Горки волокли пушки, самопалы, копыя, польские знамена.

— Сколь пушек мы у ляхов взяли? — слабым голосом спросил Федор Шилов.

— Сказывают, восемь пушек, все прочее не в счет, — отвечали ему.

— Ладно поробили, — прошептал он и закрыл глаза.

Когда троицкое войско вошло в ворота, воеводы приказали бить во все колокола, как на пасху.

Федор Шилов лежал в больничной избе и слушал колокола. Чудилось ему: все небо и земля вокруг гудят и поют. Чудилось, что его руки раскачивают тяжелые звонкие языки колоколов. Ему чудилось, что удивительная сила поднимает его, кровь кипучими волнами ходит в его теле, а он все растет, растет, и чем выше и огромнее он становится, тем ему все легче и свободнее. Ему уже ничего не стоило, протянув руку через перила колокольни, с буйной веселостью раскачивать медный язык.

— Федор Ондрич... батюшко ты наш!.. — донесся голос Ольги.

Он с усилием открыл глаза и увидел около своей постели Ольгу и Данилу Селевиных, Ивана Суету и Симона Азарьина. И они прямо на глазах его тоже росли, росли вверх, их дыхание шумело вокруг него, как молодой зеленый лес. Ему чудилось, что он идет лесом, обнимая верхушки деревьев, трогая их листву, горячую от солнца. А за лесом Федор увидел длинную, длинную дорогу среди неоглядных просторов полей. По дороге шли брат Никон и Петр Слота. Глаза их сияли ему навстречу, облака, пронизанные солнцем, лежали у них на плечах.

— Иди-ко, иди, заждались тебя, — сказал Никон. И Федор почувствовал, что и его плечи сейчас подымутся до облаков и он увидит весь мир, — и в великой жажде простора он вытянулся, раскинулся, как только мог...

Уже стемнело, когда Ольга, Данила, Иван Суета и келарь Азарьин вышли из больничной избы.

— Четвертого из ближников моих земле отдаю, — печально сказал Данила.

Ольга вздрогнула и прижалась к нему: он с ней. Вот он, вот его теплое тело, его твердая, шершавая от ветра рука...

Иван Суета и Данила рассказывали Симону Азарьину, что у троицких защитников сто семьдесят четыре убитых и шестьдесят шесть раненых, а у поляков полторы тысячи убитых.

— Да, немало их туров в пламени горят... вона, по сю пору гарью наносит, — сказал Иван Суета. — Не доведется им вскорости подняться...

Иван Суета вдруг осекся, словно испугавшись силы своего голоса. Навстречу несли покойников. Двери Успенского собора были распахнуты. От стены до порога, на каменном полу, под дымными огнями свечей, тесно, в нерушимой дружбе, лежали мертвые заслонники.

Неподалеку от собора слышался глухой и тяжелый стук — то опять копали братскую могилу, разбивая ломом мерзлую землю, и она стонала от этих ударов, как замученный богатырь.

— Се жизнь наша! — скорбно сказал келарь. — Когда же конец настанет злосчастьям нашим?

Никто не ответил ему.

Только Данила, посмотрев на звездное небо, спросил:

— Как мыслишь, отче келарь, поманут ли о нас?

— Кто, сыне?

— Годов через двести али ишшо поболе... Вспоманут ли, как мы на горе Маковце сии стены дитили, ни крови, ни житья своего не жалеючи... А?

— Далеко загадал, сотник...

— Вспоманут! — уверенно сказал Иван Суета.

— Не мудрецы мы, того нам провидеть не можно, — обронил Симон Азарьин и поглядел на небо. — И не звездволахвы мы, дабы по светилам небесным пути человекoв заране разгадать...

Вернувшись в свою, уже несколько дней нетопленную, с промерзшими углами, келью, Симон Азарьин хотел было лечь спать. Но тишина после битвы всегда казалась ему самой надежной и прочной и манила его сесть за любимое писание.

Алексей Тихонов спал на лежанке, укрывшись с головой. Услышав шаги Симона, он высунул голову из-под тупа.

— Ты, отче?.. Писать станешь?

— Спи, спи.

Но Алексей всегда просыпался резво, как птица. Он уже сидел у стола, бодрый, ясноглазый, полный готовности к работе.

— Завернись покрепче в тулуп, Олешенька, — посоветовал Симон. — Ну и холод... Доведется нам с тобой в черед писати, а то, гляди, руки не сдюжат.

Так и сделали. Вместе вспоминали события последних дней, вместе находили нужные, высокие слова в летописный свод, который должен был пережить их самих.

«Да помнят потомки наши, — записывал Алексей Тихонов, — о прегрозных и трудных днях сидения нашего в Троице-Сергиевом граде, врагами злобными осажденном. Не имея помощи ни откуля, мы порешили — не жалючи жития нашего, застаивать град сей. Малые посадские людишки и тяглецы в сей кровопролитной войне последних зипунов лишились. И сии раззоренные люди показали себя мужами храбрейшими, достойными прославления. Клементьевские тяглецы Никон Шилов и Петра Слота разыскали смертоносной тот подкоп, которой проклятые ляхи да воры-изменники под нас подводили, дабы нас изничтожить».

Никон Шилов и Петр Слота разрушили тот подкоп — и сами погибли славною смертью, коя есть победа, ибо житие сохранила граду сему. Ей, потомки наши, глядя на величественны стены и башни Троице-Сергиевой крепости сей, помяните добрым словом Шилова и Слоту, кои житием своим храбрецким за целост сих стен заплатали. Ей, потомки наши, помяните добрым словом и тех по доброй воле своей заслонников, а також стрельцов, казаков и пушкарей, кои в нонешний день взяли Красную Горку.

От всех утерь было бы томнс сердцу нашему, есть ли бы не ведали мы твердо, что за дело правое стоим...»

Пальцы Алексея совсем ооченели. Перо перешло в руки Симона Азарьина.

★

Разгром Красной Горки и многих туров, большие потери людьми неправимо подорвали, как и предполагал Федор Шилов, силы вражеского лагеря. Неприятелю надо было прежде всего строить новые укрепления.

Военачальникам польским пришлось надумывать какие-нибудь «малые шкоды», чтобы не терять времени даром. И они придумали.

Десятки всадников во всем ратном наряде — мушкетеры в шляпах с перьями, сверкающие медью и сталью латники на больших, как монументы, конях, копейщики в железных шлемах и панцырях, офицеры разных чинов в желтых, зеленых и алых кунтушах, в богатых шапках — все это разодетое сборище начало гарцовать вокруг стен; на копьях развевались белые платки.

Не было такой бойницы, откуда не неслись бы брань и угрозы в сторону «вражых вертунов», а на стенах среднего боя взбешенные заслонники уже держали на прицеле пищали и самопалы. Но воеводы строго-настрого запретили стрелять, так как неприятельские лыцари развезжали под белым флагом.

Сумрачный Долгорукой, проходя мимо Ивана Суеты, запретил ему даже пускаться в перебранку с лыцарями. Воевода был хмур и озабочен: около пушек не было Федора Шилова. Воевода только сейчас понял, какого сильного, умного и опытного в военном деле человека он потерял. Во всей крепости не было мастера огненного боя, подобного Федору Шилкову. Князь Григорий чувствовал, что ему надо привыкнуть обходиться без Федора Шилова, — а потому, чего-то суеверно страшась, хотел всячески избежать боя. На стены он разослал глашатаев, которые передали всем заслонникам строжайший приказ воеводы: всякий, кто осмелится выстрелить, даже в воздух, будет немедленно повешен.

— Вот... Гляди и терпи! — гневно шептал Иван Суета Даниле Селевину.

— Глянь-ко! — вдруг беспокойно зашептал Данила.—Ляхи нас... потчевать хотят!

Иван Суета глянул в щель — и обомлел: некоторые лыцари, стоя на седлах, подняли копыя со вздетыми на них большими кусками жареного мяса!

— *Chce się jeść! Chce się jeść!*<sup>1</sup>—орали и хохотали внизу — и вдруг баранья ляжка, облитая белой глянцевиной коркой застывшего жира, закачалась в проеме зубца.

Люди, как замороженные, смотрели на кусок мяса, вздетый на острие копыя. От мяса шел такой сытный запах, что челюсти заходили сами собой. И вдруг чья-то рука жадно схватила баранью ляжку и сдернула с копыя.

— Стой! — в один голос крикнули Иван и Данила и бросились к широкоплечему стрельцу, который уже, забыв обо всем на свете, рвал мясо молодыми крепкими зубами.

— Кидай, стервец! — вне себя крикнул Иван Суета, выхватил мясо, шмякнул об пол и начал бешено топтать его.

Молодой стрелец весь трясся от рыданий.

— Да-ай! — ревел он, не помня себя.— Дай, есть хотим... помирае-ем...

Заслонники смотрели на него мрачными сочувствующими глазами.

— Не искушайтесь, братие, молю: то погибель наша! — крикнул Данила и почувствовал, что и сам преодолел страшное искушение голода.

Иван Суета поддел концом сабли истоптанное мясо и бросил его со стены.

Всем, кого Иван и Данила знали как твердых и надежных воинов, они поручили доглядывать за людьми, а вражеские «угостки» приказали немедленно сбрасывать вниз.

— Эх, Федора с нами нету! — горьким шопотом загудел Иван Суета.— Уж он удумал бы, чем бы горю помочь.

Оба прекрасно понимали, что вражеские уловки готовят беду: стоит изголовавшимся заслонникам насладиться

жирной воровской едой, — и боецкий дух будет подорван.

Как отогнать врагов от крепостных стен? Надо бы испортить им коней, но как, как?

Иван Суета ударил себя по лбу — нашел!..

— Робил ты в кузне, Данило? Ковать железо умеешь?

— Чего я, служба, не робил? И ковать, и гнуть умею.

— Идем, воеводе скажемся — да в кузню.

Через два часа Ольга зашла в кузню.

— Где вы, кузнецы? Я вам хлебушка добыла.

Они стояли у пылающего горна.

Их лица, их голые спины и плечи в рыже-красных отблесках пламени блестели от пота и казались отлитыми из меди. Белозолотые искры взлетали, кружились вокруг медных тел.

Гулко бил молот. Сверкало, ало в клещах железо. В кузне было жарко не только от огня, но и от яростной спорной работы.

Ольга даже залюбовалась ими.

— Отдохните ж малость, пожуйте хлеба! — весело крикнула она. — Поди уж, много наковали?

— Есть малая толика, Ольгушенька! — так же весело ответил Данила и вынес на широкой ладони какие-то крючочки.

— Ляхи нас угощают мясом, а мы их — троицким чесноком! — смешливо грохотал Иван Суета.

Действительно, железные крючочки от трех и четырех концах напоминали расщепленные дольки чеснока.

— Как ни кинь, сей «чеснок» вопьется в подкопытье — и пропал конь!

Весь вечер и всю ночь пылало пламя в крепостной кузне: кузнецы, сменяясь, наковали целую гору «троицкого чеснока».

До рассвета заслонники пригоршнями бросали «троицкий чеснок» вокруг стен, минуя только места перед малыми воротцами да поворот дороги — на случай вылазки.

Под утро выпал снежок и запорошил поле. Неприятельские всадники,

<sup>1</sup> Есть хочется!

гарцуя, опять подъехали к стенам и опять принялись дразнить осажденных подачками. Но вот один конь взвился на дыбы и, сбросив всадника, как бешеный, помчался куда-то... Вот взвился второй, третий... еще и еще... Всадники повернули обратно и весь день не показывались больше.

На стенах торжествовали.

Ночью лазутчики удачно пробрались в польский лагерь и набросали «тронц-кого чесноку» около коновязей. Через день лазутчики донесли, что у неприятелей десятками падают кони, а коновалы не могут донскаться, отчего происходит падеж. Многие ляхи говорили, что русские напустили на свою землю колдовство.

— Знатные мы с тобой колдуны, Данилушко! — шумел Иван Суета.

Ольга радовалась, глядя на их веселые лица. После победы на Красной Горке Данила поуспокоился и почти не вспоминал об Оське.

Но недолго пришлось радоваться Ольге. К ночи Данила пришел в стрелецкую избу чернее тучи. Один из лазутчиков, в присутствии Данилы, рассказывая воеводе о своей «проведке», упомянул, что, кажется, видел Осипа Селевина. Будто ходит Оська, разодетый ляхом, бороду сбрил и бранно поносит все русское.

Ольга пробовала успокоить Данилу, как только умела: может быть, и совсем не Оську видел лазутчик, а просто ляха, а ведь все они бороды бреют, пястью крестятся и бранят все русское.

Но Данила был уверен, что видели именно Оську, — больше того: наглые «уготски» врагов, казалось Даниле, были придуманы не кем иным, как подлым Оськой, который ведь дотошно знал о всех лишениях народа в осажденной крепости. Уж теперь Оська будет наущать ляхов всячески вредить и насыпать всякие беды на ее защитников.

— Душа у него продажна, а разум зменной... Я-то, дурачина, ране того не уразумел!.. Мне бы его смертью убить, башку его непотребную с плеч снести... Терпеть бесчестье нельзя боле. Либо он от меня смерть примет, либо моей смертью грех мой испулен будет!..

— Не отдам я тебя! — И Ольга обнимала его, холодея от ужаса.

— Хоть бы битва зачалась скорее! Може, я там углядел бы Оську...

— Он трус подлой, — с презрением вспоминала Ольга. — Поди, хоронится там, торгует, деньги в кису прячет. Он сражаться не выйдет. Не сустретиться тебе с ним, Данилушко.

Ей показалось, что Данила забылся сном... Она шопотом позвала его. Он не ответил. Она решила бодрствовать, лежала с открытыми глазами, кусая губы, чтобы не заснуть...

Когда Ольга открыла глаза, в комнате было уже совсем светло. Данилы рядом с ней не было — она не устерегла его!

Как была — в сарафанишке — Ольга понеслась на стены, прямо к воеводе: где ее Данила?

— В уме ль ты, молодица! — осудил ее Долгорукой. — Пошто простоволосая носишься, людей пугаешь?

Данила и еще несколько заслонников отпросились у воеводы съездить в дальние монастырские села, откуда можно привезти сушеной рыбы, масла, круп, хлеба и еще, чего бог подаст. Уехали заслонники затемно, незамеченными достигли леса; дня через четыре-пять, авось, проберутся перелесками.

— Не сказался, не сказался мне! — вдруг зарыдала Ольга. — На подвиг пошел! Битвы не мог дожидаться! То его тоска угнала... а я не уберегла!

Прошло четыре дня, а Данилы все не было. Ольга ночью не смыкала глаз, а днем жила, как во сне. Когда ветер рассеивал пороховой дым, Ольга неотрывно смотрела на черные пики лесов — и виделась ей лесная роща, неясные стежки дороги, еле бредущие лошаденки, увязающие в глубоком снегу измученные люди, а среди них Данила, Данила! И леса ей казались тоже стенами, в которых пленены люди, да и вся жизнь — сплошным пленом.

— Ой, девка, — однажды заметил ей Иван Суета. — Очей гляденьем не насытишь, а руки безочно рбят худо.

— Все лажу, как надобно, — вспыхнула Ольга.

— Нет, Ольга Никитишна, — заспорил Суета. — Душа да дело у тебя разобь живут...

— Погоди ты!.. — беспомощно начала Ольга, — и, сорвавшись, умолкла.

Иван Суета посмотрел на бескровное испитое лицо — и отмахнулся: лучше ее пока не трогать.

На исходе восьмого дня, когда над крепостью и над бранным полем выла и бесилась метель, Ольга поднялась на колокольню Успенского собора и немелой рукой ударила в малый колокол. Ветер хлестал ей в лицо колючим снегом, бил ее в грудь, угрожая сбросить вниз, а она стояла в вихревой тьме, не выпуская из рук скользкой веревки. Протяжные звуки, вырвавшись из-под медной шапки, быстрее птицы неслись в леса, снега, в бешеную муть ночи.

★

«...Данило Селевин... рече перед всеми людьми: «хощу за измену брата своего живот на смерть переменити!»

*Авраамий Палицын. «Сказание об осаде», 1822 г.*

И еще до наступления ночи стражи у малых ворот слышали условный стук и открыли ворота. Во двор въехали четыре воза, четыре движущихся сугроба. То был долгожданный хлеб, — рожь и пшеница нового помола из дальних монастырских сел. Возчики, полуобмороженные, не попадая зубом на зуб, донесли, что в лесу идут еще шестнадцать подвод, которым Данила Селевин как верховод обоза приказал выходить в поле постепенно, чтобы не заметили неприятельские дозоры. Уже обогреваясь в избе, возчики рассказывали, что шли на звон колокола, который, наверно, раскачивал ветер.

А гулкий протяжный зов металла все несся в глухую выюжную ночь.

Уже дважды открывались воротца, и еще восемь возов въехало в крепостной двор. И эти возчики благодарили ветер, раскачивающий колокола. Но тут Иван Суета, вдруг уловив в колокольном звоне зов отчаяния, беспокойно сказал:

— Стой, ребята, то не ветер, а человек звонит в успеньевы колокола.

Он поднялся на колокольню и вынес оттуда едва живую Ольгу. Ее черные брови стали мохнаты и седы, пряди волос, выбившиеся из-под платка, заиндевели; а ресницы слиплись белыми иглами. Едва ли она, шевеля веревку окоченевшими пальцами, уже видела что-нибудь.

— Молодица-огневица! — ворчал Иван Суета, укутывая Ольгу тулупом. — Сила малая, а прыть соколиная.

Ольга лежала неподвижно, не чувствуя своего тела. Только в голове у ней гулко пел призывный, протяжный звон, рожденный ее руками и сердцем. Но чем сильнее окутывало ее тепло, тем глуше звенела медь, — и, наконец, замолкла совсем.

Потом, как сквозь туман, до нее стали доходить иные звуки: хлопанье дверей, перестуки, какие-то быстрые шумы, наконец, — слова. Они все приближались, как будто становясь все более видимыми, и, наконец, словно камни, несущиеся с горы, загрохотали в сознании.

— Он-то на последях был... Все уже в ворота вошли, а его ляхи и заприметь!.. Атаман Чика с дружиной своей поганой на конях, а он на них пешой кинулся...

— Данило! Данило! — вскрикнула, как безумная, Ольга.

Еле смогли обуть ее и набросить шубейку на плечи, — и Ольга, как из плена, вырвалась в пургу, в колючий ветер снежной бури, — что ей было все это? Она прошла бы и сквозь огонь.

Навстречу ей медленно, страшно двигались люди. Опять поняв все раньше, чем увидели ее глаза, Ольга рванулась вперед — и приняла к себе на грудь раненого Данилу.

Когда его привезли в больничную избу и положили на широкий сеник, покрытый чистой холстиной, у Ольги сердце упало — на этой же постели умер Федор Шилов. Но едва голова Данилы коснулась подушки, как Ольга увидела, что снег на лбу у Данилы стал таять. «Оживет!» — с горячей на-

деждой подумала Ольга. Осторожно обмыла она его забрызганное кровью лицо и — встретила лихорадочно ищущий ее взгляд Данилы.

Ольга упала к нему на грудь.

— Куда ты на горе-горькое от меня ушел, Данилушко?

Его рука горела огнем. Он прижал к себе Ольгу, и она, вся замирая, почувствовала, что на это объятие ушла его последняя сила.

— Сыну, сыну нашему передай отцову честь... Я его ради бился...

Вдруг он беспокойно задрожал, его блуждающий взгляд начал тускнеть.

— Иванушко... Где ты?

— Вот я, Данилушко, вот я, — ответил Суета, смаргивая слезу.

— Слышь, Суета... жену мою, сына моего...

— Ладно, — неузнаваемым голосом сказал Суета, — уберем сына и жену: за народом — что за стеною, Данилушко!...

Раненый шевельнул бровями, сияясь что-то сказать, но глаза его сомкнулись. Начался бред.

Зимний день, чистый и яркий, уже заголубел в слюдяном оконце.

А Даниле Селевину виделась предрассветная мгла, в его ушах звенел призывный стон колокола сквозь вой и свист бешеной пурги.

Даниле виделась крепостные стены и малые воротца, готовые распахнуться по условному стуку. Но не успели троицкие заслонники постучать в ворота, — черные тени выскочили наперерез. Врагов десятеро, все на конях, а троицких защитников восьмеро, все пеши — измученные клячи в обозе не в счет. Разгорелся неравный бой.

— Ребята, рубите коней их, рубите коней! — шепчет Данила пересохшими от жара губами, но чудится ему, что все еще кричит он громовым голосом, что все еще длится битва в предрассветной мгле.

Глаза его плотно закрыты, а ему чудится, что все еще зорко глядит он, — нет ли среди врагов проклятого изменника Оськи?... Но не Оську, а продажного атамана Чику сразил Данила своей острой саблей.

— Пеший конного сечет! — торжественно шепчет одними губами Данила, — и видится ему: вот рухнул сытый конь Чики, и лихая атаманова голова в польской шапке пала с плеч. Один за другим падают разбойничьи дружки, храпят зарубленные кони. Сам Данила зарубил трех всадников, замахнулся на четвертого — и тут страшный удар рассек плечо сотника Селевина.

Огнем пылает плечо, и будто все еще кипит в груди неумная сила... но уже не видит Данила Селевин, как из рассеченного плеча льется, льется его горячая кровь, и никто не может ее остановить...

В полдень Данила Селевин умер, не приходя в сознание.

Его похоронили в братской могиле, на утре нового дня.

Ольга стояла на краю могилы, видя перед собой только своего единственного, его сомкнутые уста и очи, большие бледные руки, все его тело в красном стрелецком кафтане, огромное, застывшее за ночь на ледяном полу собора.

Ольге казалось, что сердце из ее груди вынули, что и сама она стынет, как мертвая. Она видела только Данилу; только он ей был нужен. Вдруг ей показалось, что он призывно шевельнул бровью.

— Данилушко... свет мой! — вскрикнула Ольга и кинулась вниз, но сильные руки властно удержали ее на земле.

Иван Суета, склонясь к ней, шепнул:

— Тебе должно первой на него землю бросить! На, вот она, земляца!

Ольга почувствовала, что ее рука сжимает горсть студеной земли.

— Кидай! — приказал Иван Суета, и она кинула землю прямо на грудь Даниле.

— Глянь, сколь их похрабрвало да на покой ушло... Кинь-ко на товарищей Данилы земляцы, — чай, то всякой душевнике усладно будет!..

И Ольга увидела товарищей Данилы и всех других, кто храбрвали на стенах и отдали свою жизнь за то же дело, что и Данила. Каждому она бро-

сала на бездыханную грудь горстку земли.

— Что же со мной станется-то, дядя Иван? — спросила Ольга Суету, глядя на свежий могильный холм.

— Жить будешь, — твердо ответил Суета.

★

Шел 1609 год. Такой лютой и страшной зимы люди уже давно не помнили. Начался этот год морозами, столь свирепыми, что птицы замерзали на лету, трещали дома, а нетопленные соборы, церкви и даже часовни промерзли, заиндевели до самых куполов. На стенах заслонники десятками обмораживались и долго ходили потом с черными, словно обугленными лицами, пугая ребятишек. А уж ребят поумирало за эту лютую зиму — не счесть.

Осажденных томил голод, а еще больше — холод. В январе сожгли не только последние сараи и клетушки, но и даже сенцы. Сожжены были все могильные кресты, порублены вчистую и сожжены в печах раскидистые березы, липы и клены.

Со всякими трудностями и опасностями делали вылазки в лес за дровами, а также — за припасами в дальние монастырские села.

В феврале началась цынга. Одними из первых умерли от цынги девяностолетний дедушка Филофей, тихий старичок Нифонт, а за ними пошли десятками. Умерли от цынги и седые дядья Ольги, и их суровые жены.

В тесноте люди заражались болезнями еще быстрее — «от духу друг друга умираху» — скорбно записывал в своем летописном своде «самовидец» осады Симон Азарьин.

А битвы продолжались, достигая временами такого ожесточения, что, казалось, — жесточе уже не бывает. Но приходил новый день, а с ним и новая битва — и после этого обнаруживалось, что новая «недавно бывшую огненную силою намного превосходила». Одному люди забывали изумляться: самим себе, тому, как они мужали и закалялись в этом дымном воздухе борьбы.

Крестьяне, черный народ со всеми его нехитрыми умениями — плотники, печеклады, горшени, ложкари, посадские швецы, гвоздари, кузнецы, столяры и шорники, мелкий торговый люд и разного рода «перекати-поле» и «гулящие» бродяги — все они обратились в воинов и не только «рядовичей», а в прямых мастеров воинского дела. Разве только самые немощные старцы и тяжело раненные находились под крышей, а все остальные осажденные с утра до вечера были на стенах или поблизости.

На стенах решалась судьба крепости и каждого ее заслонника. На стенах людей разила смерть, но на стенах же была и самая кипучая жизнь. Люди уже привыкли заботиться прежде всего «о стенах», «о правой битве» — основа жизни была здесь. Пищу раньше всех несли заслонникам, дрова складывали к кострам, чтобы всегда готов был огонь для смоляных котлов, чтобы в кузне горн пылал, когда это было нужно.

Человек разрывал на полосы последнюю рубаху перевязать раненого, отдавал последний кусок хлеба ослабевшему бойцу.

Уже не только женщины, но и ребята-подростки дневали и ночевали на стенах.

Симон Азарьин, теперь уже не только «самовидец», но и «творитель военных дел», записал однажды:

«Все наши осадные люди во едином, яко братья, схожи — в храбрости... А чем сия храбрость питаема есть? На избавление от бед надеемся — Михайлу Скопина-Шуйского со смелю его дружиною, яко солнце пресветлое, ожидаем, да еще ненавистью и гневом неугасимым пылаем к лиходеям из чужой земли, к ворам-изменникам. Насильникам и злодеям-ляхам, кроволитию и огню народ наш предавшим, шлем мы проклятие наше навечно — ино пусть падет оно на них из рода в род за все зло, ими содеянное...»

Ненависть к врагам раскалялась все сильнее. Подростки изошрялись в метании стрел из самодельных луков. Лазутчики, лихие головы, переодеваясь в польское платье, пробирались всюду,



поджигали во вражеском лагере шатры, жолнерские избы, сараи с припасами, взрывали складухи с порохом, разбрасывали «троицкий чеснок» на коновязях, в конских кормушках.

Пленные на допросе показывали, что в польско-тушинском лагере «многим стало щадно<sup>1</sup>, покоя никак нету». Пожары разоряют, а того больше — пугают сборное и без того некрепкое духом польско-тушинское войско. Многие убегают из лагеря, куда глаза глядят. Паны Сапега и Лисовский «вельми расстрясли мощну свою», подкупая солдат деньгами и посулами «вольно грабити и наживати», когда монастырь будет, наконец, взят. Однако Сапега и Лисовский с каждой неделей все меньше надеются на победу и очень боятся неожиданного нападения войск Михайлы Скопина-Шуйского.

Скопина-Шуйского троицкие заслонники ждали со дня на день. Был слух, что Скопин-Шуйский уже в Москве и вот-вот выступит. Потом дошел другой слух: что Скопин еще под Новгородом. Потом вдруг прослышали, что Скопин-де убит шведами, но этот последний слух вскоре был опровергнут — на допросе пленные ляхи достоверно сообщили, что Скопин жив-здоров, только все еще торгуется со шведским командованием о цене их «помощи» русскому государству.

Так проходили дни за днями. Сначала Ольга вела им счет от морозного полдня, когда похоронили Данилу. Она говорила себе: «два... три... десять... тридцать дней минуло». А потом счет смешался, и Ольга перестала делить время на свое и чужое — ей было некогда думать об этом, вспоминать, терзаться.

Она была «жизнехранительница и заботница», как полушутя называл ее брат Алексей. Когда ей стало уже трудно взбегать на стены, ей поручили заботиться о раненых, больных, сирых. Она жила всеобщей жизнью, земной и крылатой, — и потому боль и томление воспоминаний приходили к ней обычно уже в часы бессонницы и одиночества.

В апреле, уже посуху, вернулся троицкий гонец, посланный три месяца назад к Скопину-Шуйскому. Знаменитый полководец посылал «заслонникам верным» свою ласку и обет — прибыть с войском на выручку Троице-Сергиевой крепости летом: раньше не успеть. Уж пусть продержатся еще, недолго осталось.

Весной все приободрились, многие больные выздоровели от свежего воздуха и тепла.

— Ужо подойдет Михайло Скопин!.. — мечтал Иван Суета. — Ужо грянет на польское да тушинское отрепье!.. Ну, Ольга-свет, видно, доведется Михайле Скопину крестным сыну-Селевину быти.

«Сын-Селевин», не дождавшись прихода Скопина-Шуйского, родился в августе. Крестным пришлось быть Ивану Суете, чем он был очень доволен.

— Ништо, девка, не горюй, — смешливо говорил он Ольге, осторожно прижимая к себе крестника. — Я, хоть царских полков не вожу, одначе воин не из последних! А ты, парень, сын-Селевин, в доброй час пришел на землю нашу — опять весточка есть: вскорости наш Михайло Скопин в Москве будет... и оттуда уж до нас ему — рукой подать!

Следуя каким-то своим приметам, Иван Суета утверждал, что покумиться со вдовой в такой день, как нынешний, — к добру, очень даже к добру: значит, он еще долго проживет на свете.

— Слышь, Марьюшка, — подшучивал Суета над своей тихой и молчаливой женой, — гляди, бабонька, ты со мной оскомину набьешь — неровен час, до ста годов доживу!

Весь день Суета был весел — так сильна была в нем вера в Скопина-Шуйского и в собственное долголетие.

— Вскорости грянет он на ляхов окаянных, грянет! Вызволим град наш, побьем ляхов, поклонимся граду сему — и подадимся мы с бабой на Белоозеро. Землица-то ноне неухоженная осталась, истосковалась без нас, работничков. Да и мы, тяглецы, ноне куды боле в цене — народу-то сколько поубито, пока-

<sup>1</sup> Худо, плохо.

лечено... Мы град защитили, мы и землицу вновь к житию возвернем! Гляди, до ста годов доживем со старухой. Слышь, Ольга Никитишна, айда с нами на Белоозеро, а?

— Нет, — тихо ответила Ольга. — Тут пробуду до конца дней. Стану с сыном Данилы на могилу отцову ходить да сыну об отце сказывать, чтобы в отца возрос, замест его стал...

— Что ж... на то спора нету, — сказал Иван Суета.

После вчерашнего боя, который продолжался до темноты, польские пушки молчали. И, словно обрадовавшись тишине, защебетали ласточки-касатки. Весной они вернулись в старые свои гнезда и, нимало не тревожась тем, что на земле полыхают огонь и дым, вывели, как всегда, за весну и лето два выводка птенцов и теперь учили летать самых молодых.

Иван Суета, вскинув вверх изожженное солнцем, темное, как задымленный троицкий кирпич, лицо, следил за мельканьем в воздухе белогрудых острокрылых птиц.

— Ну, глядите, глядите, люди! Трудятся, страху не ведают!

★

«Некто даточных людей села Молокова, крестьянин Суетою зовом, велик возрастом и силен вельми... рече «се умру днесь, али славу получу от всех!»

«Сказание об осаде», издание 1802 г.

Не довелось Ивану Суете дожить до ста лет. Незадолго до прибытия войск Скопина-Шуйского Иван Суета был зарублен во время вылазки. Участники этой вылазки потом рассказали, как все это произошло.

Русские войны, как всегда, были в меньшинстве. Когда великолепно вооруженные жолнеры Лисовского стали теснить русских и часть троицких защитников дрогнула, Иван Суета бросился вперед, размахивая направо и налево бердышом. Его огромный рост и сокрушающая сила его ударов испугали ляхов. Враги подались назад, ряды их смешались. И вдруг переломилось древ-

ко бердыша у Ивана Суеты! Нагнулся он на миг единый — выхватил у кого-то саблю, но не успел и взмахнуть ею, — высоченный лях рассек плечо Ивану Суете. И упал на землю Иван, как дуб, расщепленный грозой.

★

Был апрель 1610 года. На Клементьевском бугре стучали топоры, визжали пилы, раскатисто переключались люди — то крестьяне вновь вернулись на родные места.

Земля вокруг была изрыта, перекопана, выжжена. Еще по снегу снесены были проклятые польские туры.

В октябре 1609 года Михайло Скопин-Шуйский, вернувшись из Новгорода, послал осажденным обещанную подмогу — девятьсот человек отборного войска под предводительством Жеребцова. К нему скоро присоединился Валуев, который вел войско в пятьсот человек. Оба полководца напали на польский лагерь и сожгли его. Сапега обратился в бегство. Войска Скопина-Шуйского вместе с защитниками крепости, впервые после шестнадцати месяцев осады смело вышедшими в открытое поле, с яростью преследовали врагов.

В январе 1610 года остатки войска Ржечи Посполитой, наконец, отступили от стен многострадальной крепости.

Как ни изрыта, как ни растревожена была земля, а вешние воды и солнце сделали свое: уже кое-где смело пробивалась яркозеленая щетинка травы, как будто и не было здесь смертоносного действия вражеских пушек.

И на Клементьевском бугре тоже местами уже пробивалась травка. Ольга выбрала маленькую полянку, бросила на нее старый тулуп и посадила на него сына Данилу — пусть-ка посмотрит на зелень. Даниле шел девятый месяц. Он сидел, разбросив налитые крепкие ножки, и смешно водил ручонками по воздуху, словно желая весь мир поймать в ладошки. Ему было тепло. Он смотрел на солнце, жмуря синие — селевинские — глаза под черными — ольгиными — бровями. Ветер касался его светлорусых с

золотинкой пушистых волос, и он от-  
важно ловил ветер.

Скоморох Афонька, осиротевший по-  
сле гибели своего брата Митрошки, и  
Алексей Тихонов рубили Ольге избу.  
Потом Алексей ушел, ему было некогда:  
целыми днями он писал в десятки  
городов грамоты, призывающие весь  
русский народ собирать ополчение и  
очистить русскую землю от врагов.

Рубить избу остался один Афонька.  
Его топор тесал и стучал заодно с  
бойкой скоморошей песней:

Ай дуду, дуду, дуду!  
Сидит ворон на дубу,  
Он играет во трубу...  
Труба тесаная,  
Перетесаная...

Маленький Данила Селевин слушал  
и стук топора, и плясовой разлив ско-  
морошей песни.

Афонька поднял голову и нежно  
подмигнул ему:

— Ух, ты... житель!.. Орленочек ты  
мой!

И скорчил такую лихую веселую ро-  
жу, что Данила захлебнулся от во-  
сторга, впитывая в себя и этот упря-  
мый неунывающий русский смех.

«Орленочек ты мой!» — повторила  
про себя Ольга. Да, только сын Дани-  
ла остался у ней, только его и сохра-  
нила она. «Орленочек!» Сказывают,

орлы до ста лет живут. Длинная-длин-  
ная жизнь расстилалась перед этим  
вторым Данилой, и он в упоении ози-  
рал ее начало.

Над стенами Троице-Сергиевой кре-  
пости летали голуби. Могучие стены,  
сложенные клементьевскими и молоков-  
скими мужиками, стояли нерушимо,  
глядя навстречу векам.

Вдруг ребенок с тем же восторжен-  
но-любопытным вскриком обратил  
взгляд на стены: на их зубцах вдруг  
что-то сверкнуло и заструилось, отра-  
жая в себе солнце — то изумрудной,  
как весенняя трава, краской крыли  
проржавевшие от крови железные греб-  
ни крепостных зубцов.

Острокрылые касатки, сверкая белы-  
ми грудками, пролетали совсем низко,  
будто здороваясь с новым жителем се-  
ла Клементьева. Данила Селевин от-  
важно устремился им вслед, но тут  
опьяняющая усталость вдруг сморила его.  
Его светлорусая голова упала на  
грудь матери. Ольга улыбнулась и при-  
жала сына к себе. Стойкое сердце Да-  
нилы Селевина билось под ее рукой,  
его кровь играла на щеках сына, боец-  
кая смелость Данилы росла в этом ма-  
леньком существе...

Солнце еще сияло и грело, но ла-  
сточки, предчувствуя первую весеннюю  
грозу, беспokoйно и низко кружили  
над землей.

# Стихотворения

И. ФРАНКО

(1856 — 1916 гг.)

★

## ДУМА В ТЮРЬМЕ

Ой, рано я, рано я встану,  
На небо далекое гляну,  
А небо — кристалл голубой,  
А сердце — в кручине глухой.

И небо с улыбкой бессменной  
Глядит на тюремные стены,  
Но стены пожухли от слез,  
Что их пропитали насквозь.

О, небо, зачем надо мною  
Улыбкой цветешь неземною,  
В проклятую камеру, в тьму,  
Привет посылаешь к чему?

Тут слезы, а ты торжествуешь,  
Ты вольности ветром волнуешь,  
Но давит стенами тюрьма,  
Могилы — тесна и нема.

И, заживо здесь погребенный,  
Гляжу я, лучом озаренный,  
На яркое солнце в окне, —  
И кровь закипает во мне.

За что меня в цепи сковали?  
За что мою волю отняли?  
И кто и за что осудил?  
За то, что народ свой любил?

Желал я для скованных воли,  
Желал обездоленным доли  
И равного права для всех —  
И это единый мой грех.

## УКРАИНА ГОВОРИТ

Мой сын, ты б меньше суесловил,  
 Слез над собою меньше пролил,  
 И долю меньше попрекал!  
 Ты сам пошел дорогой торной,  
 Терном изодран в кровь, упорный,—  
 Чего же ты иного ждал?

Ты знал, что я нага, убога,  
 И всё ж у моего порога  
 Стоишь, служить желая мне.  
 Ну, у меня с оплатой скупю,  
 А попрекать за это глупо...  
 Просила я тебя иль нет?

Чем ты обижен? Что порою  
 Крик поднимали над тобою:  
 «Не любит Украины он!»  
 Наплюй! Я, сын мой, лучше знаю  
 Всех этих «патриотов» стаю,  
 Их сладких фраз дешевый звон.

Что будешь жить, как прежде, бедно?  
 Ты не украл полушки медной,  
 Хлеб честно заработал свой...  
 Еще запомни: сохранится  
 Здесь лучшая тебя частица,  
 Она не ляжет в гроб с тобой.



Когда б ты знал, как много значит слово,—  
 Одно словцо сердечное сказал —  
 И раны сердца, скорбного, больного,  
 Закрылись вдруг, — когда б ты это знал.  
 Тогда б ты мимо горя и несчастья  
 Не проходил, сомкнув уста; ты б утешал,  
 Ты сеял бы слова, и те слова участья,  
 Как дождь в сухмень, как солнышко в  
 ненастье,—  
 Когда б ты знал.

Когда б ты знал, как тяжело сердце ранит  
 Одно лишь слово, — злей змеиных жал, —  
 Как душу чистую оно поганит,  
 Калечит на всю жизнь,—когда б ты это знал.  
 Как пса взбесившегося, прочь от света,  
 В тайник души ты б злость свою загнал,  
 Ни радости в свой век, ни счастья не  
 изведав,  
 Ты б и укором не задел соседа, —  
 Когда б ты знал.

Когда б ты знал, как много горя кроется  
 Под маской равнодушия и тьмы глухой,  
 Как много лиц, веселых днем, умоется  
 В ночи без сна горючею слезой, —  
 Ты б слух и зренье заострил любовью  
 И, в море скрытых слез войдя, смывал  
 Их горечь жаркой собственной кровью,  
 И понял ужас весь в таком людском  
 безмолвье, —

Когда б ты знал.

Когда б ты знал! То — старое признанье...  
 Всё сердцем надо понимать, мой друг.  
 Что для ума темно, для сердца ясным станет...  
 Тебе иным казался б мир вокруг.  
 Ты б сердцем рос. Средь жизненной тревоги  
 Была б светла, пряма тропа твоя.  
 Как тот, что в бурю шел по гривам волн  
 разлогих,  
 Ты б так же утешал скорбящих и убогих:  
 «Не бойтесь. Это я».



## ПЕСНЯ И ТРУД

Песня, подруга моя ты, больному  
 Сердцу отрада в дни горя и слез, —  
 Дар свой единый, из отчего дому  
 К песне любовь я навеки принес.

Помню: над малым парнишкой порою  
 Мать запоем, и заслушаюсь я;  
 Только и были те песни красою  
 Бедного детства, глухого житья.

«Мама, голубка, — я мать умоляю, —  
 Спой про Ганнусю, Шумильца, Венки!»  
 «Полно, сыночек! Пока распеваю,  
 Ждет, не минует работа руки».

Мама, голубка! До срока в могилу  
 Враз уложил тебя недуг и труд,  
 Песни ж твои с незатихшею силой  
 В сердце моем, пламенея, живут.

И не однажды та песня, бывало,  
 В бурях житейских невзгод и тревог  
 Тихий привет, будто мать, посылала,  
 Силу давала для тяжких дорог.

«Стойким будь, крепким будь! — ты мне  
твердила. —  
Ты ведь не паном родился, сынок!  
Труд, что довел меня до могилы,  
Он тебя в люди выведет в срок».

Верно, родная! Совет твой запомнил!  
Правду его я не раз испытал.  
Труд меня жаждою жизни наполнил,  
Цель указал, чтоб в мечтах не блуждал.

Труд меня ввел в тайники вековые,  
Песен волшебный здесь бьется родник,  
С ним чудеса прояснились земные,  
Вскрылась загадка несчастий людских.

Песня и труд — две великие силы!  
Им до конца обещаю служить;  
Череп разбитый, как лягу в могилу, —  
Ими ж смогу и для правнуков жить!

Перевел с украинского С. Обрадович

---

# Рассказы

ВИЛИС ЛАЦИС

★

**В**илис Лацис — выдающийся латышский писатель.

Родился в 1904 г., в поселке Ринужи, Рижского уезда. Был батраком, дровосеком, грузчиком в порту, рыбаком, моряком, библиотекарем, журналистом и т. д.

В революционном подполье вел активную работу.

Главнейшие из произведений В. Лациса: «Каменистый путь», «Земля и небо», «Гнездо старых моряков», «Сын рыбака». В газете «Советская Латвия» («Падомью Латвия») напечатана первая часть нового романа



«Утраченная родина» («Паудуша Дзимтене»).

Наиболее популярный роман В. Лациса «Сын рыбака» инсценирован для театра и для кино. Пьеса пользовалась огромным успехом. Картина по существу явилась первым латышским национальным художественным фильмом. Роман переведен на русский язык и в ближайшее время выходит из печати.

Сейчас товарищ В. Лацис — председатель Совнаркома Латвийской ССР, депутат Верховного Совета СССР.

★

## ЧЕТЫРЕ ПОЕЗДКИ

**Ч**ерная лодка шла морем. Возвращались из церкви домой в поселок Гриву... Несмотря на то, что парус был поднят, одному из мужчин приходилось грести, — пока длилось богослужение, береговой ветер утих. Гребец флегматично, тяжело поднимал весла, поглядывая по временам через плечо в сторону берега — не пора ли поворачивать. Кроме него, в лодке было еще два человека. Третьего, который лежал на руках матери, завернутый в синее бумажное одеяло, еще нельзя было назвать человеком. Хотя именно ради него и состоялась эта поездка в церковь: сегодня его крестили. В честь крестного отца ему дали имя Симан.

Когда ребенок заплакал, мать растегнула кофточку и дала ему грудь. И хотя один из мужчин — тот, который сидел на веслах, — был ее муж, а другой — Симан Дауде — слишком стар, чтобы его стесняться, она все же слегка покраснела и отвернулась.

Мужчины говорили о рыбной ловле. Крестный Симан жевал табак и поминутно сплевывал в море черную слюну, похожую на дурную кровь.

Дойдя до Гривской пристани, лодка причалила, ее вытащили на берег. Здесь всюду много было черных лодок; и на берегу стояли старики, такие же старые, как и крестный Симан.

Несколько лодок, подтянутых к са-



мым дюнам, было опрокинуто вверх дном, на поломанных киях сидели старики. Они сосали трубки и глядели на море, — толпа призраков, стерегущих пустынный берег. К этой компании принадлежал и Симан Дауде. Но сегодня ему не пристало сидеть на поломанном киле.

— Пойдем теперь домой обедать, — сказал отец маленького Симана Екаб Пурклав. — У меня есть водка.

Мужчины шли впереди, а мать, с ребенком на руках, отстав от них, шла далеко позади. До самого дома они ни разу не оглянулись на Анну, — у них был свой разговор, — и за все это время она не проронила ни слова. Поселок был невелик — всего девять домов, разбросанных на узкой полосе между маленькой речкой и песчаной пустыней. Самый большой дом принадлежал Симану Дауде. Дом был покрыт черепицей, стены обшиты шпунтованными досками. Когда подошли к домику Екаба Пурклава, Симан вручил Анне рубль:

— Это крестнику на костюм.

Анна покраснела, она долго мяла рубль в руке, пока он не стал от пота влажным.

Екаб разыскал водку, и все уселись за стол. Анне пришлось сесть между мужчинами, она пила понемногу, ибо Симан Дауде был холост и за выпивкой любил пошутить с женщинами. Он был состоятельный человек.

Маленького Симана, уснувшего вскорее, уложили в другой комнате. Чтобы его не кусали мухи, Анна завесила окно бумазейным одеялом. Теперь они могли спокойно пообедать.

— Куда ты? — спросил крестный, когда Анна через несколько минут попыталась встать, чтобы пойти и взглянуть на ребенка.

— У вас ведь свои разговоры, — ответила она и смущенно улыбнулась, — что ж мне...

— Так сиди и слушай, — сказал Симан.

И Анна сидела, слушала разговор мужчин и не говорила ни слова. Она была из дальних мест, поэтому никто

из ее родных не мог явиться на крестины. Часть напитков уже была выпита, Симан начал говорить более шумно, чем обычно. Если он говорил что-нибудь не так, Екаб спорил с ним, и Анна не знала, с кем же ей соглашаться. К вечеру в маленьком домике стоял такой шум, что казалось, точно там собрались все болтуны поселка.

Когда Екаб опрокинул и разбил бутылку, маленький Симан проснулся. В комнате было темно. Он заплакал, но взрослые из-за шума и опьянения не слышали его жалобного голоса. Он плакал долго, все громче и громче, стучал маленькими ножками в стенку своей колыбели, но никто к нему не подошел.

Со взморья уже разбрелись седые, древние старики, а черные лодки все так же стояли, попрежнему вырисовываясь в вечернем небе, как черные пятна на желтом лице пустыни.

★

Конфирмованные вышли из церкви тотчас же после причастия. Музыканты на колокольне играли хорал. Родные, поздравляя конфирмованных, толпились на маленьком дворе. Фотограф сфотографировал молодежь общей группой. Затем они отправились в ризницу поблагодарить пастора и поцеловать ему руку и, наконец, разошлись в разные стороны со своими родными и друзьями.

Молодежь Гривы возвращалась домой морем. Их лодки были украшены березками. Симан Пурклав уселся на скамью возле мачты и уперся ногами в перекладины: сегодня на нем были новые сапоги, а старая лодка давала сильную течь — под настилом все время плескалась вода.

Рулем управлял отец Симана. От многолетней работы на море он сильно сторбился, подобно всем старикам Гривы. Он жевал табак и сплевывал слюну в море. В лодке сидело еще трое: батрак Пурклавов, эстонец с острова Сааремаа, и две уже немолодых женщины, тетки Симана по матери. Мать его не поехала в церковь — кому-либо

надо было остаться дома, чтобы приготовить праздничный обед.

Дул свежий норд-ост. Чтобы лодка не слишком отпадала от ветра и на двух галсах пришла бы домой, одному из мужчин пришлось взять весло и грести с подветренной стороны.

— Не надо, — сказал отец, когда Симан попытался взяться за весло. — Пусть гребет Юхан. — И Симан послушно остался на месте. Это был стройный восемнадцатилетний юноша, с красными руками, темнокоричневым лицом, боязливый и неловкий. Каждый раз, когда отец что-нибудь говорил, он вздрагивал и украдкой смотрел на него. Если ему задавали какой-либо вопрос, он в ответ что-то бормотал тихо и торопливо, глядя в сторону, — в море. Сам он никогда ни о чем не спрашивал и не принимал участия в разговоре других.

Конфирмационный костюм Симаана был шит из толстого черного сукна. Солнце жгло немилосердно, жесткий воротничок резал шею. Юноша впервые в жизни был так роскошно одет; он сидел, как застывший, не решаясь пошевелиться, чтобы не измять брюки и не измазаться в смоле, которую солнце вытапливало из швов лодки.

Через час они добрались до Гривской пристани. Другие лодки, также украшенные березками, уже стояли в бухте, покачиваясь на волнах.

— Ты, Юхан, останься и вычерпай воду... — сказал Екаб Пурклав батраку, когда лодка пристала к берегу. — Подвечер надо будет снять сети. Они, верно, уже высохли.

Тетки Симаана шли с отцом впереди — торжественно, с серьезными лицами. В руках они держали молитвенники. Симан шел далеко позади и смотрел в песок. Песок был раскален солнцем, слепил глаза и скрипел под ногами.

Недалеко от дома отец оглянулся и сказал:

— Чего отстаешь? Разве ты хромой?

Симан вздрогнул и стал торопливо догонять остальных.

— Застегни пиджак, — продолжал отец, — смотри — уже пятно на шта-

нах. — Он старался сказать это мягче, как дружескую шутку, но его голос, как и обычно, по привычке, звучал резко и повелительно, и губы складывались в презрительную усмешку. Симан, стиснув зубы, стал счищать прилипший к штанине деготь.

Дома их ждали мать и соседи.

— Теперь ты большой парень, — сказал Симану крестный. К старику приближалась восьмидесятая осень, и во рту не было ни одного зуба. — Да, как подумаешь, что такое человеческая жизнь! Давно ли я его держал на руках, а теперь вот он уже конфирмован и перерос крестного.

Анна Пурклав посмотрела на мужа — на его лице не было улыбки. Тогда и она стала еще более грустной и тихо стала плакать.

На отдельном столе были разложены подарки ко дню конфирмации. Симан должен был их осмотреть и поблагодарить всех. Старый Дауде, крестный, подарил ему молитвенник, тетка — маленький «Новый завет»; остальные надарили всякой всячины — и вязаную фуфайку, и полосатое одеяло собственного тканья, две картинки, изображавшие ангелов со стихом из евангелия, тисненными серебряными буквами. Симану больше всего понравился красивый матросский нож, присланный двоюродным братом — моряком.

Они уселись за стол молчаливо и торжественно. Симан Дауде прочел молитву; затем все выпили по стакану вина за здоровье молодого парня и закусили сдобным хлебом с изюмом. Пока ели суп, никто не говорил, — были слышны лишь звон ложек и причмокиванье. Заговорили только за вторым блюдом — жареной свиной с капустой, так как одновременно подали водку и пиво. Мужчины сразу заговорили о рыбной ловле, стали хвастаться подвигами своей молодости, припоминать старые ссоры и упрекать друг друга. Кулаки тяжело ударяли по столу, рюмки опрокидывались, и жены потихоньку толкали мужей в бок:

— Успокойся, чего ты разошелся...

Симан первый раз в жизни получил право чокнуться с мужчинами. Но те

его не замечали и не слушали. Тогда он понял, что, несмотря на конфирмацию, он все еще мальчишка и ему не место среди мужчин. Ему стало грустно, и он больше не пил ни водки, ни пива и только вместе с женщинами ел брусничный кисель с молоком. Вначале его присутствие все-таки замечали, — это ведь был его день, — но потом он все более стал чувствовать себя одиноким и заброшенным. Зато когда Симан Дауде ругался с отцом, — все слушали. Женщины встали из-за стола и перешептывались по углам; некоторые вышли посмотреть на огород Пурклавов, другие проскользнули на кухню узнать, много ли еще осталось еды. Эстонцу Юхану обед подали в клеть, где он спал.

Симан незаметно встал из-за стола и вышел на двор. Рядом, у соседей, где тоже были конфирмованные, слышалось пение. Из одного дома неслись звуки гармошки и скрипки. Но Симан не слушал далекую музыку, он не слышал и шума ссоры, криков в своем доме. Он смотрел за реку на серый бревенчатый дом, где сегодня не звучала праздничная музыка и не было вянущих березок у дверей. В окне дома он увидел девушку в белой кофточке; она сидела на подоконнике и смотрела на берег реки. Глаза Симана заблестели; он, краснея, улыбнулся и оглянулся на окна своего дома: не видит ли его кто-нибудь. Он вновь стал смотреть на серый бревенчатый дом, затем отломил веточку сирени и помахал ею в воздухе. Девушка также помахала ему рукой. И в тот же миг Симан услышал голос матери:

— Что ты ходишь по двору, сынок! Иди же к гостям.

Он тотчас же вернулся в дом и больше не оглядывался на серый дом за рекой.

Подвечер гости стали расходиться. Остались только Симан Дауде и еще один гость. Они пили и разговаривали; у них платье было перепачкано пивом и остатками еды. Симан сидел и слушал. Старому Дауде вдруг почему-то захотелось поцеловаться с крестником, и он уселся рядом с Симаном.

— Я тебя на руках носил, а теперь ты большой парень... — шамкал старик своим осклизлым от жевательного табака ртом, похожим на огромную гнойную рану. — Поцелуемся, крестник...

Симан почувствовал тошноту, сжало горло.

— Не надо, крестный... — пробормотал он и встал.

Напрасно отец мигал ему глазами и угрожающе стучал пальцами по краю стола, — Симан не мог без отвращения посмотреть на рот крестного.

— Нет, я не хочу... Разве нельзя без этого...

Старик Дауде обиделся и тотчас же ушел домой. Екаб и Анна Пурклавы тщетно старались его умиловить, — он и слушать ничего не хотел.

— За это ты получишь... — прошипел отец Симану на ухо и вновь сел к столу. И когда все уже вино и пиво было выпито и последнего гостя проводили до ворот, Екаб Пурклав спросил у батрака-эстонца:

— Юхан, ты уже сложил сети в лодку?

— Да, хозяин, — ответил батрак.

— Почему же ты не выходишь в море? — продолжал спрашивать угрожающе хозяин. Он был пьян и полон гнева.

— А кто поедет со мной? — спросил батрак.

— Симан, ты еще не переоделся? — заревел Пурклав на весь двор.

— Я думал, что мне сегодня не надо будет ехать... — отозвался сын.

— Придержи жабры, когда говорит старший!.. — закричал на него отец.

Симан взял рабочее платье и переоделся.

Когда он вышел на двор, отец схватил его за грудь и стал трясти:

— Что ты натворил, сопляк! Почему ты не поцеловался со старым Дауде? Как ты смел... рассердить крестного!..

Крича, он тряс и толкал сына, и казалось, что он с трудом по одному вытряхивает слова из своей разбушевавшейся груди. Сегодня было много выпито, и в ссорах с мужчинами раскрылись старые болезненные раны —

оскорбленная душа бунтовала и требовала удовлетворения. У старого Дауде не было наследника.

Симан молчал, он только смотрел на отца широко раскрытыми глазами и старался закинуть голову назад. И тогда та самая рука, которую он сегодня утром целовал, благодаря отца за воспитание, ударила его по лицу. Пурклав держал Симана левой рукой за куртку и бил его правой.

— Екаб, зачем ты... — вмешалась робко мать. — Сегодня ведь его праздник.

— Что? — закричал отец. Затем он, как будто устыдившись за совершенное им, отпустил Симана и отошел в сторону. Он чувствовал неловкость, но, решив, что надо отступить с честью, еще погрозил жене и сыну кулаком: — Смотрите вы у меня...

Анна ничего не сказала. Она только тихо всхлипывала и утирала глаза уголком передника. Симан, захватив весла, пошел к морю. Юхан ушел уже раньше. Старые сосны со сломанными верхушками шумели в вечерних сумерках. Море, освещенное луной, лежало тихо и спокойно, как уснувший зверь. Когда Симан дошел до взморья, там уже не было ни души — на берегу возились только он и Юхан. И еще черные лодки, которые стояли там днем и ночью, зимой и летом, всю жизнь...

★

Через восемь лет Симан Пурклав вновь ехал морем. Это была третья столь торжественная поездка в его жизни — в день его свадьбы. Родители невесты, богатые хозяева, жившие на другом конце прихода, хотели ехать в церковь и обратно на лошадях, но для этого Пурклавам пришлось бы просить у кого-либо лошадь. Этого не хотели ни Екаб, ни Анна. Когда об этом говорили и, наконец, решили ехать морем, Симан не возражал ни слова, точно так же, как ничего он не возражал, когда родители сказали ему, что выбрали для него невесту — Еву Тилтнек. В приданое ей давали двух коров, платяной шкаф и кровать с подушками и сверх того три-

ста рублей деньгами. Ева была старше Симана на шесть лет.

После венчания родители молодой уселись в свою рессорную повозку и под звон бубенцов поехали в Гриву. Остальные возвращались домой морем. Лодки были украшены поздней осенней зеленью; маленькие бумажные флажки весело развевались по ветру, а голоса ехавших были столь же беззаботны, как и ветер, гнавший домой лодочную флотилию. Во второй лодке посредине сидели молодые. Ева взяла Симана под руку и накинула себе на плечи поверх подвенечного платья большой платок. Ее слегка знобило.

Гости стали шутить над Симаном и посмеиваться, что он не умеет согреть свою молодую жену, — хотя бы обнял ее за талию. Тогда он обнял ее за талию, и они оба покраснели. Симан чувствовал себя так неловко, что не решился даже взглянуть на Еву. Когда другие шутили и смеялись, он улыбался и смотрел на дно лодки, но ему совсем не было весело. В продолжение всей поездки он только два раза заговорил с Евой.

— Тебе не станет дурно на волнах? — спросил ее Симан, когда лодка отчалила от берега.

— Не знаю, увидим... — ответила Ева.

По дороге ее, действительно, затошнило, но все кончилось благополучно, так как благодаря хорошему попутному ветру они в течение часа достигли Гривской пристани. Здесь Симан заговорил во второй раз:

— Теперь мы скоро будем дома.

— Как я выберусь из лодки? — спросила Ева.

Симан довел ее до конца лодки, первым выпрыгнул на берег и высадил Еву. Гости парами направились к усадьбе Пурклавов. У ворот их встречали Екаб и Анна, родители невесты и гости, которые из-за преклонного возраста не поехали в церковь. Играли четверо музыкантов. Соседи со своих дворов смотрели на свадьбу, — итти под окна было еще рано. Слышались поздравления; лаяли собаки. Две чайки кружились над рекой. Симан поглядел

на серый дом за рекой, но там никого не было видно — ни в окнах, ни во дворе.

— Теперь пойдем в дом, — сказал старый Пурклав. Ева опять уцепилась за руку Симана, и они вошли в дом.

— Улыбнись, не гляди так сердито... — шепнула мать на ухо Симану. Тогда он стал улыбаться. Кресла молодых были украшены гирляндами зелени. Все смотрели на невесту и жениха, и от этих пытливых и любопытных взоров они смущались точно так же, как когда-то смущались их отцы и матери. Гости пили пиво и кричали: «Горько!» Симан с величайшей охотой дал бы в ухо тому из гостей, который первым произнес это слово, но старый обычай повелевал ему сдержаться и поцеловать свою невесту на радость гостям. Он поцеловал ее торопливо, слегка прикоснувшись губами, но тут внезапно стала кричать уже вся толпа:

— Горько!.. Мало сахару! Горько!.. Горько!..

Толпа была безжалостна, она успокаивалась лишь тогда, когда два совершенно чужих друг другу человека на глазах у всех засвидетельствовали свою близость — подтвердили, что признают состоявшимся соединением для общей жизни и подчиняются воле и выбору родителей. Симан думал о том, как легко ему было бы это сделать, если бы рядом с ним в кресле, увитом зеленью, сидела другая девушка. Целуя Еву, его губы теснее сжимались, и он ощущал неловкость и стыд. Он слегка дрожал, как и Ева, но в его дрожи не было ее просящего опьянения.

Музыканты играли застольный марш. Затем начались танцы. Соседи под окнами смотрели, как танцуют жених с невестой и что едят гости. Самые бесцеремонные лезли в кухню и не уходили, пока им что-нибудь не давали. Большая пивная кружка обходила стол по кругу, превращая молчаливых в болтунов. Родители невесты хвалили Еву, Пурклав — Симана.

— Он мне добрый сын, — сказал Екаб. — Я с малолетства приучал его трудиться и быть серьезным. Пусть теперь он живет самостоятельно, своей

жизнью и ладит с женой так же хорошо, как ладил со своими родителями.

Симан вспомнил день своей конфирмации, и правая щека у него стала горячей, как и тогда, когда кулак отца обрушился на нее тяжелым ударом.

Старуха Тилтнек, перечисляя достоинства Евы, заплакала, и в ее взгляде, обращенном на Симана, невольно проскользнула недоброжелательность.

Снова плясали и снова ели. Наступившая темнота охватила души людей, и в них заговорили первобытные инстинкты. Комнату наполняла целая толпа фавнов. Они говорили двусмысленности, все смелее и грубее, стараясь перешеголять друг друга в непристойных остротах.

Это была как бы насмешка старого над стыдливостью молодости, зубокальство грозной повседневности над чистотой и мечтами только начинающих жизненный путь — первая закалка на том незнакомом пути, который Симану и Еве предстояло сегодня начать. И чем больше они смущались, тем навязчивее их преследовала похоть старых фавнов.

Симану во второй раз захотелось подражаться. Он сидел перед завывающей толпой, как загнанный в угол волк, и его рот судорожно дергался, обнажая зубы. Но гости думали, что он улыбается. Опьяненная Ева сильнее прижималась к нему, опустив голову на его плечо. От этого ему стало еще более нехорошо, но застенчивость и просящий взгляд Евы вызывали невольно сочувствие, и впервые за все время он незаметно для других под столом дружески пожал ей руку. Ева сразу как будто расцвела и улыбнулась, благодарная за эту ласку.

После полуночи их отвели наверх и оставили вдвоем. Опять плакала мать; опять слышались обидные шутки и смех, — хихиканье стариков по поводу их чистоты и невинности, — и на этом их мученья закончились до утра. И пока гости внизу продолжали шуметь и пить, наверху, в маленькой комнате, стояла тишина. Симан не зажигал свечи, стоявшей на столике у кровати. Пока Ева раздевалась, он стоял у окна и смотрел вдаль, в темную осеннюю ночь.

За рекой стоял дом. Симан долго смотрел в ту сторону, но за окном была лишь тьма, тревожно шумело море. Ни в одном из окон серого дома не было видно огня. В комнате тоже было темно, и в самом темном углу сидело чужое Симану существо, дожидаясь его ласк. Теперь он твердо знал, что на всю жизнь остается с глазу на глаз с чужим ему человеком, женщиной, которую он не мог ни ненавидеть, ни любить. Почему все так случилось? Отчего же на свете так бывает — земля и море дождутся утра, а его жизнь должна этой ночью погрузиться в непроглядную тьму, без надежды на новый день...

— Симан, — звал его голос, — что с тобой?..

Он еще раз посмотрел туда, на другой берег реки. Там не было видно ни одного огонька...

★

Они прожили вместе сорок лет и вырастили нескольких сыновей и дочерей.

★

У пристани рыбацкой гавани гроб Симана Пурклава вынесли из моторной лодки и поставили на покрытый черной пеленой катафалк. Погребальный колокол звонил на колокольне. У церкви траурное шествие на минуту остановилось, затем медленно двинулось дальше. Дорога была плохая, песчаная. Приходилось ехать потихоньку. Старая Ева Пурклав пыталась идти пешком за гробом своего мужа, но, пройдя почти полдороги, очень устала, и ее усадили в повозку. На головах дочерей и невесток были черные шляпы, с широкими траурными вуалями; каждая держала на руках душистый венок из еловых веток. Сыновья Екаб и Мартынь шли без шапок; на их коричневых лицах было выражение печальной торжественности.

У ворот кладбища гроб открыли в последний раз, и семья и все видели лицо цвета меди, которое даже смерть не сделала светлее. За тридцать лет, с тех пор, как старика свалил ревматизм,

Пурклав никогда не лежал так прямо и не казался таким высоким. Седая борода была подстрижена, волосы причесаны на пробор с левой стороны, косматые брови бросали тень на запавшие глаза. Если бы Симан сейчас мог слышать, он услышал бы много тех хороших и грустных слов, которых никто никогда не говорил ему при жизни. Если бы глаза его могли открыться, он увидел бы заплаканные лица, опухшие, воспаленные веки, и, возможно, он перестал бы сожалеть о том, что жизнь прожита напрасно. Теперь же он ничего не видел и не слышал, и жалость родных трогала его так же мало, как и теплый весенний ветер, в последний раз развеявший его седые волосы...

Мужчины подняли гроб на плечи. Через пятьдесят шагов их сменили другие, а последний путь до могилы гроб несли друзья молодости покойного, теперь такие же старые и седые, как он. И звонил погребальный колокол, на гроб сыпался песок, и женщины громко плакали.

Когда все кончилось, один из сыновей должен был поблагодарить пришедших на похороны отца. Екаб посмотрел на Мартыня — ни одному из них не хотелось выполнять эту обязанность. Наконец, Екаб собрался с духом и, выйдя вперед из толпы, громко сказал:

— От имени семьи сердечно благодарю за проводы моего... — тут он остановился и потом закончил совсем тихим голосом, так, что сказанное едва было слышно, — за проводы моего дорогого отца к месту последнего успокоения...

После этой короткой речи он вытер с лица пот и посмотрел украдкой на Мартыня. Тот улыбнулся: в этой речи было одно слово, которое они не умели произносить, — оно произносилось впервые и прозвучало фальшиво. Они никогда не говорили: «дорогой отец», — отца они называли стариком.

На лопату могильщика бросили несколько мелких монет. Затем посторонние разошлись, а сыновья остались у могилы.

— В будущем году надо будет сделать изгородь... — заговорил Екаб. Он

был старший сын, и к нему переходила в наследство усадьба.

— Это ты должен сделать, — сказал Мартынь.

— Я взял на себя похороны, — ответил Екаб. — Разве я один должен обо всем заботиться?

— Дешевле ты не мог найти гроба?.. — зло спросил Мартынь. — Я бы постыдился такой покупать.

— Почему же ты не купил лучшего? — ответил вопросом Екаб.

Тогда и сестры пришли на помощь Мартыню. Они упрекали Екаба в том, что на похоронах не было музыки. Отец заслужил, чтобы его хоронили с оркестром.

— Почему же он не записывался ни в одно общество? — протестовал Екаб. — Была бы музыка и знамена.

Наконец матери удалось успокоить ссорившихся, и все молча, торжественно, как будто ничего и не случилось, пошли к морю. Но едва моторная лодка вышла в открытое море, как ссора вспыхнула вновь. Приходилось говорить очень громко, чтобы перекричать шум мотора.

— Ты подмазался к отцу, потому тебе и досталось все! — кричал Мартынь. — Но это не по закону, и я не успокоюсь, пока не получу своей доли.

— Отец сам так захотел. Разве я у него просил? — сказал Екаб.

— Ты вертелся вокруг него угрем, это каждый видел!

— Отстань и не кричи — ты сидишь в моей лодке! — напомнил Екаб.

— В твоей? Ты ее строил?

— Если ты не замолчишь, я высажу тебя на мель! — грозил Екаб.

Мать пыталась помирить сыновей, но ее слабый голос едва был слышен, его заглушали крики и шум мотора. Ссора разгоралась все сильнее. Братья броси-

лись друг на друга — началась драка. Мартынь был сильнее. Бросив Екаба на дно лодки, он уперся коленом в грудь и стал бить его по голове. Оба были в крови. У черного сюртука Екаба отлетел воротник. Наконец, зятьям надоело смотреть на драку, и они вдвоем затолкали Мартыня в нос лодки.

— Это еще не все... — твердил он, задыхаясь и вытирая окровавленное лицо. — Он еще получит.

Заметив людей на берегу у поселка, они остановили мотор за третьей мелью и не подъезжали к берегу до тех пор, пока братья не умылись и не привели себя кое-как в порядок. Но на берегу драка началась снова. Все бездельники поселка сбегались посмотреть драку. Ломались жерди, в ход пошли каменные грузила неводоов. Наконец, явился полицейский и составил протокол. Только тогда братья смирились и вспомнили, что нужно идти домой справлять поминки. Они шли вместе, так как не доверяли друг другу, и каждый боялся, что другой выпьет лишний глоток водки.

Солнце закатилось. Песок на взморье потемнел. Ветер, шумевший над дюнами, серыми рыбацкими будками и черными лодками на берегу, казалось, стал свежее. У опрокинутой большой лодки стояла группа стариков. Они курили и смотрели на море, точно ждали возвращения того, кого сами же сегодня увезли и кто больше не вернется. Им казалось, что они стоят здесь с начала мира, эти седые старики и черные лодки. Когда Симан Пурклав в первый раз увидел море, они тоже были здесь и точно такие, как и сегодня, когда он ушел от них, чтобы больше не возвращаться. И так же, казалось, они будут стоять здесь вечно — эти седые старики и эти черные лодки...

## СОКОЛИК

Соколик не был птицей. Это был маленький мальчик с мягкими и светлыми, как лен, волосами и вечно испачканным ротиком. И такие же маленькие были у него ножки. Но бегал он очень быстро. Словом, он ничем не отличался от многих других мальчиков поселка. Весной ему исполнилось пять лет, и все говорили, что он уже большой.

Мальчика звали Янит. Соколиком его называл отец. Возвращаясь с моря, отец стаскивал тяжелые рыбацкие сапоги и каждый раз брал малыша к себе на колени. Его руки, одежда — все пахло рыбой и водорослями. Такой же запах шел и от сетей, и от черной рыбацкой шаланды, он же царил и в их комнате.

— Ну, Соколик, что ты сегодня делал? — спрашивал отец, покачивая его на колене.

Иной раз он спрашивал: какой он соколик? Соколик смущенно прижимался личиком к широкой груди отца и тихонько, шопотом говорил:

— Папин соколик...

Потом они громко хохотали. Отец гладил своей большой красной рукой голову Соколика и осторожно опускал его на землю. И было странно и непонятно, как эта большая рука с потрескавшейся от соленой воды кожей может так нежно и легко прикасаться к волосам. Иногда в волосах малыша, возившегося на полу, застревали соринки или чешуя от рыбы, и отцовские неуклюжие, толстые пальцы снимали их с такой осторожностью, что Соколик совсем не чувствовал прикосновения.

Они жили дружно. Да и могло ли быть иначе — ведь они остались только вдвоем в маленьком домике за дюнами. Домик стоял на самом краю поселка у берега моря. Когда-то их было трое. Отец это хорошо помнил, а Соколик уже почти забыл. Это была его мать, одна из тех женщин, которые расхаживают по поселку с платком на голове и часто ведут за руку или несут на руках таких же маленьких, как Со-

колик, мальчиков и девочек. У всех мальчиков и девочек в поселке были матери, они терпеливо и ласково утирали им измазанные рты, лица и водили за руку по улице. Только у Соколика никого не было, и он всюду бывал один. Малыш не знал — хорошо это или плохо. Но зато он знал — у него есть папа, большой и сильный друг, который его качает на коленях, а иногда на плечах несет с пляжа домой. И он нисколько не был хуже тех женщин в платках. Кроме того, отец был намного выше их ростом и сильнее всех. Соколик часто видел, как отец один stalkивал в море тяжелую рыбацкую лодку. Другие этого не могли сделать.

Бывали случаи, когда отец уезжал ловить рыбу далеко в море. Он отводил Соколика в поселок к тетушке Анне, и мальчик принужден был у нее ночевать. Там находились и другие мальчики и девочки; тетушка Анна всегда была очень добра и внимательна к Соколику, даже более, чем к другим. Соколик мог целый день свободно играть, бегать по полю, а после этого вместе со всеми ужинать. Однако ему больше нравилось оставаться дома — здесь у него был хороший товарищ — серый кот Минка. С ним, правда, трудно было разговаривать, но зато можно поиграть. Во время игры случалось много смешного. Соколик привязывал к шнуру сучок и бегал с ним по комнате. Минка при этом настораживался и внимательно следил за сучком. Он сидел, притаившись в углу, его зеленые глаза лихорадочно горели, и хвостик нетерпеливо бил по полу. Потом он сжимался в комок и делал громадный прыжок. Глупый Минка думал, что сучок живой! Это был очень славный и веселый кот, он терпеливо и долго играл с Соколиком. Если ему надоедало играть, он, мурлыкая, жался к ногам Соколика и потом так умно заглядывал в глаза, точно хотел сказать своему другу: «Ну, теперь довольно, перестанем!».

Минка и в самом деле был разумен, как человек. По вечерам, когда отцу сле-



довало возвращаться с моря, кот бежал вслед за Соколиком встречать рыбаков. Он терпеливо усаживался именно на том месте, где всегда стояла их лодка, и глядел в море. Когда рыбаки причаливали к берегу, Минка тихонько мяукал, изогнув спину, подняв горб, ходил вокруг ног рыбака, хвост его торчал вверх. Минка прекрасно знал, что отец Соколика никогда не возвращается без улова, а это значит: ему тоже достанется лакомство—какая-либо рыбка. То была хорошая и веселая жизнь.

А еще веселее было летом, в солнечные дни, когда чинили развешанные сети. Соколик тогда мог целый день проводить на берегу моря. Минка сначала обходил и обнюхивал лодки, а затем, расположившись на скамье, дремал около сетей. Соколик же строил домики из песка. Отец, починая сеть, ловко и искусно работал челноком. Иногда он откладывал челнок в сторону и садился на песок рядом с сыном.

— Ну, Соколик мой маленький, Соколик, что ты строишь? — спрашивал он. Соколик рассказывал отцу: вот эта кучка песку — его дом, а другая, побольше, — лавка. Но он еще построит будочку для Минки.

Отец задумчиво всматривался в море. Усадив рядом Соколика, он показывал на даль, где водяное поле смыкалось с небом.

— Знаешь ли ты, что там, за краем моря?

Нет, Соколик этого не знал. Он очень хотел бы узнать. Отец клал руки ему на плечики и слегка прижимал малыша к себе:

— Когда-нибудь попозже, когда у моего Соколика вырастут крылья, он полетит туда и посмотрит. Он вернется и расскажет папе, что там видел, а может... — он умолк и виновато улыбнулся, — может, и не вернется больше...

Так они жили. Возможно, что другие жили лучше и их жизнь была более привольная и веселая, а может быть, и нет, — Соколик этого не знал. Во всяком случае ему и так было хорошо, а также папе, Минке... — словом, всем троем.

Пришла осень. Вода в море стала хо-

лодной. Теперь нельзя было бродить по бухте, засучив штаны. Часто дул сильный ветер, волны взбегали далеко на берег — лодки пришлось втащить на дюны. Соколик больше не бежал по берегу и не искал пестрых ракушек. Франтоватый кот Минка, который обычно боялся замочить свои белые башмачки, теперь совсем не подходил к морю, — он прогуливался далеко от берега, осмеливаясь доходить лишь до высокого вала дюн. В такие ненастные дни отец не ездил в море, и Соколику с Минкой некого было ожидать на берегу.

Но однажды все вышло по-иному. До обеда погода стояла тихая; небо было ясно. Лишь далеко на горизонте собиравались редкие слоистые облака. К отцу пришел товарищ, тоже рыбак, и они говорили о том, что следует закинуть вывешенные и просушенные вчера сети, что вот у других рыбаков прошлой ночью был хороший улов снитков. Они сняли с кольев сети, принесли в лодку якоря. Перед уходом в море отец отвел Соколика домой, намазал большой кусок хлеба топленным салом и положил его в кухонный шкафчик.

— Если захочется кушать, открой шкафчик, там все найдешь, — сказал он. — А теперь поиграй с Минкой, только смотри, не ходи на берег. Я скоро вернусь.

Отец ушел. Соколик смотрел в окно — лодка уходила в море, она становилась все меньше и меньше и, наконец, совсем скрылась из виду. Соколик отыскал шнурок с привязанным сучком и стал дразнить Минку.

— Лови, Минка, лови, после пойдем на берег встречать папу...

Так они пробежали долго. Когда оба утомились, наигравшись вдоволь, Соколик пошел в кухню, влез на стул и стал глядеть в окно — не причаливает ли лодка отца к берегу. Но лодки не было видно. Море стало черным; большие волны с пеной на гребнях бросались на берег. Со свистом и ревом носился песок дюн, а разбитые сосенки со сломанными верхушками кланялись в сторону суши, точно их толкала чья-то неведомая рука. Соколик знал—это не к доб-

ру, если сосны так качаются, это обещает бурю, «крепкую погоду», как говорил отец, — в такое время рыбакам следует оставаться дома. Он знал—рыбаки, которые ушли в такую погоду в море, тоже спешат вернуться. Значит, и отец скоро вернется.

Но отец все еще не возвращался. На дворе уже смеркалось, небо нельзя было отличить от воды. Ветер гудел все сильнее — стала дрожать крыша. Теперь-то отцу, конечно, следовало быть дома, почему же он медлит?

Соколик нахлобучил шапку и в чем был, в блузе, без куртки, вышел на двор. Минка без зова последовал за ним. Минка тоже знал, что отец скоро должен вернуться, и поэтому пора идти на берег за своей порцией рыбы. Они подвигались к берегу очень медленно: ветер дул прямо в лицо и валил с ног. Соколик всматривался в даль. Нет, лодки отца на берегу все еще не было — берег пустынен. Не видно ее и на море. Разбушевавшееся водное поле было так темно, что нельзя отличить горизонта. Отец должен с минуты на минуту вернуться, — что же он так долго делает в море? Если бы он уехал на далекую ловлю, он отвел бы Соколика к тетушке Анне. Но он этого не сделал. Значит, вернется сегодня вечером... Сейчас...

Соколик сел на скамью, стал ждать. Солнце давно уже зашло, меж облаков замерцали бледные звезды — наступила ранняя осенняя ночь. Соколик все еще сидел и глядел в море. Оно во тьме казалось совсем черным, как смола. Он прислушивался, не донесется ли сквозь шум волн всплеск весел или скрип ук-

лючин. Но все было напрасно, ветер завывал слишком громко. Соколику не хотелось возвращаться домой: там теперь темно и некому зажечь лампу. Сам он был слишком мал, чтобы ее достать.

Тихо, словно о чем-то спрашивая, замыкал Минка, он прижимался к ноге Соколика. Мякнул еще раз и, не дождавись ответа, отошел в сторону и медленно направился домой. Минке наскучило ожидать. Ну и пусть уходит — зато он не получит рыбки, а Соколик будет ждать до тех пор, пока не вернется отец. Отец будет очень рад, он возьмет его на руки и отнесет домой. Но почему же он не едет? Может быть, он заехал слишком далеко, на край моря, на другую сторону, посмотреть, что там такое? Если это правда, — он расскажет много интересного. Соколик тоже очень хотел бы посмотреть, что там делается за краем моря. Но он еще мал, ему надо ждать, пока вырастут у него крылышки.

Ветер завывает и свистит; разбушевавшееся море ревет в темноте. За дюнами стоит маленький домик, темный и холодный. Никто не приходит звать Соколика домой: звать некому. Он сидит на скамье, долго сидит, болтая продрогшими ножками и пристально глядит на море. Но и оттуда никто не приходит. Меж туч показывается серебристая луна, ее бледный свет едва освещает огромные волны. Воды моря сегодня, как никогда, особенно черны. А на берегу, на скамье, все сидит маленький мальчик и ждет; его глазки уставились в темное лицо ночи. Он еще ждет, маленький Соколик... папин Соколик...

Перевел с латышского *Николай Мельнупе*

# Генерал народа

РАИСА АЗАРХ

★

Матэ Залка, генерал Лукач...

Два имени, и оба они — одно.

Имя генерала Лукача — защитника испанского народа, рыцаря интернационального братства — венчает замечательный боевой путь венгерского большевика Матэ Залки. Кавалерийский офицер австрийской армии, он тяжело раненным попадает в русский плен в 1916 году — в тот самый момент, когда благородное сердце мятежного юноши начинает чувствовать, кто истинный виновник империалистической бойни.

В лагере военнопленных в Сибири офицер Залка — друг простых солдат. В конце 1917 года он становится во главе отряда интернационалистов; весной 1918 года дерется с чехами, партизанит, прорывается к Красной армии и борется в ее рядах.

Измена и предательство в тылу, восстание Григорьева, наступление Деникина... Залка со своим отрядом прикрывает временный отход украинских трудящихся. И вновь Сибирь. Разгром Колчака; черемховские рабочие с помощью интернационалистов отбивают золотой запас республики; Матэ Залка доставляет его в Москву, и Ленин пожимает ему руку. Потом бои с белополяками, с Врангелем... В самых ожесточенных сражениях Матэ — на аванпостах.

Писатель революции Залка продолжает работу Залки — бойца революции. Революционный путь, проделанный им

самим, становится сюжетом его произведений.

Во время Гвадалахарской операции, в штаб 12-й бригады под Торихой, приехал американский писатель Хемингуэй. Он и не подозревал, что генерал Лукач и венгерский писатель Матэ Залка, автор только-что вышедшего романа «Добердо», написанного на ту же тему, что и его, Хемингуэя, роман «Прощай, оружие», — одно и то же лицо.

Место действия обоих произведений — плоскогорье Добердо на австрийско-итальянском фронте. Хемингуэй показывает итальянскую армию, Залка — австро-венгерскую, и оба они дают правдивые блестящие зарисовки первой империалистической войны, но выводы писателей различны. Сознание бессмыслицы войны приводит героя Хемингуэя втупик, к сознанию бессмыслицы жизни вообще, а герой произведения Залки из сознания бессмыслицы войны извлекает могучее оружие революционного переустройства всей жизни.

В правдивом и сильном, лаконическом стиле Залка дает редкую в литературе картину итальянского фронта первой империалистической войны. Это было его последнее литературное произведение. И он заканчивает его словами напутствия своему герою: «Вперед, лейтенант Матрай! Ты объявил войну войне и теперь идешь, чтобы организовывать легионы друзей и товарищей, которые

повернут дула своих винтовок против тех, кто заставляет их драться».

Когда настал час народных битв на полях Испании, Залка одним из первых пошел организовывать «легионы друзей и товарищей».

Нельзя без волнения читать его письма, которые приходили в те памятные дни в столицу из далекой Испании. С какой гордостью, с какой непоколебимой уверенностью в своих силах писал Матэ своей жене и дочери:

«Как я вам благодарен, что вы улыбались при прощании! Слезы на твоих милых и родных глазах, красный, вспухший нос моей дочурки — это все ничего не значило. Вы улыбались, и это запечатлелось у меня крепко... Молодцы мои храбрые, мои умные! Какие вы хорошие, какие вы ненаглядные! Вот я теперь только чувствую, как я плохо знаю по-русски... В голове вертятся венгерские самые задушевные слова, которыми я вас ласкаю бесконечно».

«Я еду не на новые экзамены. Я должен повторить пройденное уже раз. И у меня нет беспокойства перед неизвестным. Я еду с большой уверенностью в том, что буду полезным, и это делает меня порой гордым, и от этого тепло, крепко, боевое настроение на душе».

Мне посчастливилось в течение ряда месяцев встречаться с Матэ Залкой — генералом Лукачом — в этот ярчайший период его большой и многогранной жизни. И вот — рассказ об этих испанских встречах.

★

Мы встретились с ним в день моего приезда на Мадридский фронт. Он приехал за мной в Алкала-де-Энарес, и беседа началась тут же, в машине. Матэ был весел и разговорчив.

— Как чудесно, что ты приехала именно сегодня! Сразу увидишь всех моих офицеров: сегодня у нас в штабе вместе с испанскими товарищами набор операций под Ляс-Розас. Завтра поедем по батальонам. Значит, Купер тебе уже успел показать Гвадалахарское направление? Башковитый мужик!

Прямо говоря, талантливый полководец! Это по его настоянию мы с боями заняли несколько десятков километров на восток. Он сам шел с нашей бригадой. Что нам, действительно, теперь жаться к Мадриду? Надо расширять плацдарм действий! Многому мы все у Купера учимся. По любому вопросу адресуемся к нему. Народ нас здесь высоко чтит, — звание «интеровца» самое почетное. А вот некоторые испанские генералы нас не очень жалуют! Бывает так, что в моей бригаде распоряжаются через мою голову. Вчера за одну ночь батальон Домбровского, что стоит в резерве у Каса дель-Кампо, получил четыре разноречивых приказа, по которым ему надлежало отправиться в четыре противоположных пункта. Я собрал все эти приказы — и прямо к генералу Куперу. Он хитро мне подмигнул и говорит: «Один приказ другой отменяет, стало быть, имеешь право всех их положить под сукно». И тут же наказал мне строго-настрого беречь людей и проводить железное единоначалие по управлению бригадой...

Мы проезжаем Канилехас; въезжаем в предместья Мадрида, минуем площадь Торос, сворачиваем на Викальваро. За фабричным местечком, в особняке, стоящем неподалеку от остальных строений, разместился штаб. У входа караулы, все вокруг затемнено. Нас ждут, встречают почтительно, приветливо. В большой комнате чистенького дома, — видимо, бывшей столовой, — расставлены длинные столы с принадлежностями для письма. На стене у окна развешаны карты, прикреплены деревянные доски.

Офицеры различных национальностей сидят группами возле своих старших начальников.

Докладывает заместитель Лукача, коронель<sup>1</sup> Фриц. Адьютант Лукача — Алеша Эйслер — быстро переводит его речь на французский язык, а вслед за ним переводчики, имеющиеся в каждом батальоне, полушопотом переводят на испанский, итальянский, польский, болгарский, сербский, и так быстро и сла-

<sup>1</sup> Коронель — полковник.

женно идет перевод, что все имеют возможность, не отрываясь, следить за изложением речи докладчика.

Фриц умело критикует действия отдельных командиров в прошедшей операции и дает оценку боеспособности частей. Лукач прислушивается к словам переводчиков, изредка поправляет их, когда перевод сделан не совсем точно. По вопросам и выступлениям, которые Алеша переводит с французского на немецкий и сербский, можно заключить о затаенном волнении и напряженном интересе собравшихся...

... Это были дни реформирования Пятого полка (Кинто Рахименто) Красной гвардии мадридских рабочих в регулярные бригады республиканской армии. И такой разбор операций был своеобразной военной школой для молодых испанских командиров, военной школой и школой интернационального единения, которую так прекрасно сумел создать в своем штабе генерал Лукач.

К этому времени 12-я интернациональная бригада, созданная в ноябрьские дни на плацу Альбасеты, отразила звериный наскок марокканцев на Мансанаресе, помогла мадридским рабочим задержать мятежников в Карабанчеле и Каса дель-Кампо, дралась в Посуэло-де-Аларкон, в Буадилье-де-Монто, Миробуэно, в Махадаонде, отбросила врага на Гвадалахарском направлении.

В гражданской войне люди растут быстро, — перед нами сидели опытные военачальники, представители разных стран и народов, помогавшие испанскому народу создать армию защиты от мятежников.

Взволнованная всем слышанным, я вполголоса прочла Лукачу измененную строфу из «Варшавянки», которую услышала на границе, в Портбу. Ее пели несколько сербов, впервые вступив на испанскую землю; они услышали по радио любимую песню на незнакомом языке и тут же изменили ее так: «*Наши имена в вашей песне победной станут достоянием миллионов людей*».

Лукач ответил мне, когда все разошлись:

— О величии происходящего лучше стараться не думать. Я стараюсь держать «душу за крылья», ходить по земле... Иначе,— сказал он, улыбаясь,— вознесешься ввысь, потеряешь ощущение обычных житейских дел, мелочей больших и малых, из которых складывается создание такой сложной машины, как боевая часть. Войну чувств надо сочетать с войной техники, а техника у нас пока слабовата. Испания 105 лет не воевала. А соседи... так называемые нейтральные соседи... известно, как они помогают! Франция держит открытые двери для мятежников и закрывает границы для испанского народа. Через эти открытые двери к ней самой могут войти катастрофы...

Штаб работал всю ночь, и Лукач проговорил со мной до восхода солнца. Нас связывала старая дружба, общая, писательская, работа. О сне никто и не думал.

Не торопясь, он стал знакомить с обстановкой, рассказал, что нашел в Мадриде в критические ноябрьские дни:

— Ночью на незащищенный город обрушилась лавина свинца. Его бомбила авиация, громила подземная к самому городу артиллерия мятежников. Вокруг горели здания. Правительство Ларго Кабальеро бежало. Защиту Мадрида организовывала коммунистическая партия.

Дом, в котором меня поместили, был дворец какого-то магната. Я только-что приехал, был с дороги в штатском костюме, с тросточкой в руках. Тут же наспех, на улице сколотил маленький отряд. Люди босы и раздеты. Погода стояла холодная, промозглая. Я предложил товарищам немедленно обмундироваться за счет огромных запасов платья и обуви, имевшихся в многочисленных шкафах дворца. Сам вытаскивал сапоги, платья и заставлял дружинников примерять все это. Никогда не забуду, как один из дружинников, не попадая зубом на зуб от холода, бросился к сапогам, надел их, повязал шею теплым шарфом. Я стоял и подавал ему все нужное. Он поглядел на себя в зерка-

ло, радуясь, как ребенок: этот крестьянин, видимо, впервые в жизни надел сапоги. И вдруг, словно вспомнив что-то, стал быстро все снимать и укладывать в сторону. На все мои уговоры он твердил одно: «Барское, барское». Я содрогнулся, увидев, как был запуган многовековым угнетением благородный и чудесный народ!

Но раздумывать было некогда. Кругом стоял такой кромешный ад, перед которым меркли самые красочные картины виденных мною сражений. Ты не смейся, но я в эту ночь испытал самый настоящий панический ужас. Ужас перед тем, что могу бесцельно здесь погибнуть. Я даже вспомнил о бессмертии души и, представь себе, прочел наизусть Шопенгауэра! В ранней юности им увлекался, — видишь, как глубоко в душе это сидит порой... Правда, мелькнуло и исчезло.

Вывел отряд на улицу, взял на ходу первую попавшуюся грузовую машину, и к утру мы уже были в Албасете, — на месте формирования интернациональных частей. Здесь долго не пришлось задумываться. Сначала отобрал людей, потом разбил их по национальностям, расставил на площади квадратами, выбрал из их среды командиров, вооружил, чем смог, и через 24 часа вернулся в Мадрид с ячеей будущей 12-й бригады. Вместе с 11-й интернациональной бригадой мы помогли мадридскому трудовому люду задержать марокканцев у Мансанареса, отбросили врагов от Университетского городка, а потом и погнались! Теперь, как видишь, от обороны уже переходим и в наступление...

★

Готовилась Харамская операция. Из Викальваро, из Валекаса, из прилегающих к Мадриду селений, где стояла 12-я интернациональная бригада, части Лукача были переброшены на Аранхуэско-Чинчонское направление.

Подходившие к Мадриду испанские бригады свежих формирований должны были составить то тело, которым обрастал крепкий интернациональный костяк.

Предупрежденный предателями и точно информированный о нашем расположении, противник сам перешел в наступление, захватил врасплох франко-бельгийский батальон у моста Сан-Мартин-де-ла-Вега, взял под обстрел Валенсийскую дорогу и пытался захватить Аргандский мост и Арганду, отрезая, таким образом, Валенсию от Мадрида.

Первый удар приняла на себя бригада Лукача. Потери батальонов Марти и Домбровского были очень велики, но наступление противника удалось задержать. Завязались двадцатидневные ожесточенные Харамские бои. В этих боях мятежники потеряли отборные части и потерпели полное поражение.

В Арганду нам удалось попасть только 11 февраля, в объезд через Алкалу, после безуспешной попытки прорваться по Валенсийской дороге.

Площадь маленького городка, расположенного в ложбине, была забита до отказа людьми, автомобилями, застрявшими в «пробке» орудиями. Посреди площади мы увидели генерала Лукача. Он был без фуражки, в своей желтой замшевой курточке. Рядом находились работники его штаба, которым он и давал краткие распоряжения о том, как разгрузить «пробку».

— Слово нарочно, черт всех их сюда снес! Все штабы, все вооружение... — говорил Лукач, сердито направляя поток людей и машин по прилегающим улицам.

Он только мельком поглядел на меня и показал рукой, как ближе проехать в Марата-де-Тахунья, где стоял его госпиталь, ставший фронтным, а сам бросился вытаскивать застрявшую посередине дороги неожиданно откуда-то появившуюся двуколку: «Подумать только, а вдруг авиация?..»

И подлинно, не успели мы выехать на окраину Арганды, как из-за Харамского плоскогорья вылетела эскадрилья противника; шли семь бомбовозов, эскортируемые истребителями. Они, как черные вороны, пролетели очень низко над землей, закрывая крыльями солнце. Клубы огня и дыма стояли над

городом, когда мы вышли из-под первого попавшегося прикрытия — каменной кладки, тянувшейся вдоль дороги.

Но к этому времени Лукач уже успел очистить площадь; все работники штаба 12-й интернациональной бригады, размещившегося под горой в переулке, по которому противник особо целился, были заняты на площади, и потому никто и не пострадал.

Едучи обратно, мы увидели развороченные балки и груды камней. Под открытым небом работал телефонист, ни на минуту не прерывавший связи с частями. Улыбающийся генерал показал нам две нераззорвавшиеся 250-килограммовые бомбы...

★

В разгар Харамских боев мы приехали к нему в полевой штаб, далеко выдвинутый в расположение батальонов, занимавших оборонительную линию к северу от Арганды. Штаб помещался в маленькой сторожке, казавшейся необитаемой. С дороги к нему вел глубокий окоп, хорошо замаскированный и охраняемый.

Лукач сидел у маленького стола, позади сторожки, и что-то писал.

— Дачничаем, — улыбаясь, сказал он, поднимаясь нам навстречу и подставляя открытую голову неяркому февральскому солнцу. — Письмо пишу... Хочу, чтобы из СССР нам прислали побольше таких кинокартин, как «Мы из Кронштадта», «Чапаев». Ведь есть много хороших картин; есть такие, которые там уже сыграли свою роль, а здесь для новой жизни каждая будет нужна и полезна! Надо, чтобы побольше таких картин присылали; надо, чтобы люди глядели и учились, — и Матэ стал перечислять названия картин, многие из которых я слышала впервые.

Ему рапортовал приехавший со мной начальник санитарной части бригады, доктор Гельбрун; он доложил о необходимости срочной помощи бригаде Листера, санитарная часть которой не успела подготовиться.

— Молодец вы, Гельбрун, хозяйственный вы человек! — воскликнул Матэ. — Конечно, дайте Листеру все, что у нас есть, бросьте все наши силы ему в помощь! В санитарном деле, как во всяком военном, главное — уметь маневрировать силами, собирать их в один кулак и бросать в нужный момент на важнейший участок. Политическое и психологическое значение военно-санитарного дела громадно. Я наблюдаю, как поднимается боеспособность наших частей с тех пор, как мы правильно организовали санитарную службу. Боец идет в бой спокойно, зная, что, если он будет ранен, его немедленно вынесут из огня и будет сделано все необходимое для спасения его жизни и здоровья. Только те, кому довелось лежать на поле боя, истекая кровью, без помощи, — только те могут понять, что значит для бойца дружеская, заботливая, умелая рука...

Лукач поднялся, походил немного возле тропинки, ведущей к окопам батальонов, внимательно оглядел горизонт, вернулся к нам и, немного помолчав, продолжал чуть приглушенным голосом:

— Давно хочу с вами поговорить, товарищи, — о почестях павшим! Среди некоторой части «нигилиствующих интеллигентов», — сказал он с нескрываемым презрением к этим «нигилиствующим интеллигентам», — есть такое отношение к погибшим: что, мол, труп, прах, стоит ли о нем думать? Зато народ показывает, как надо чтить павших! В Кольминаре, после воздушного боя, я был этому свидетелем. Жители села по кусочкам собрали тело летчика-серба, разбившегося в бою. Они выстроились в две шеренги, почетным караулом вдоль дороги, и старейшины села понесли дорогие останки в самый лучший дом, в дом, где разместился «Фронт популлер» (народный фронт). И я вспомнил, глядя на эту картину, похороны стратонавтов у нас, на родине, на моей новой советской родине, товарищ Гельбрун. Урну с прахом самого младшего нес к Кремлевской стене товарищ Сталин. Он нес урну, прижимая ее к своей груди с невыразимой

нежностью и печалью. Великий отец расставался с прахом дорогого сына. Говорите об этом людям, учите их! Разъясняйте великий смысл и значение почестей павшим!..

Неподалеку, по обеим сторонам домика, стали ложиться артиллерийские снаряды, поднимая смерчи земли, дыма, огня...

— Ну, как наши ребята? — задумчиво спросил Матэ, проводив Гельбруна, спешившего выполнить приказание, следя за разрывами падающих снарядов.

Узнав о ранении комиссара 8-й роты франко-бельгийского батальона, он очень огорчился. Это был комсомолец, секретарь одной из крупнейших комсомольских организаций Парижа. Раненый встретил нас такими словами: «Подумайте, какой для меня сегодня великий день! Сегодня 23 февраля, в СССР — годовщина Красной армии, сегодня я первый раз ранен, и сегодня мне исполнилось 19 лет».

Когда я рассказала об этом Лукачу, он протянул мне без слов обе руки, и лицо его засияло. Потом он овладел собой:

— Знаешь, не надо, не надо такие слова повторять; трудно сдержаться себя, когда хочется обнять людей и всех прижать к своей груди! Повседневным делом я сдерживаю себя от порывов, тысячами забот заставляю ум трезветь... Анри, милый юноша! Сколько раз я ему говорил: «Не лезьте вы вперед, не нужно это теперь, миновал такой период...»

— Да? — насмешливо спросила я. — А не можете ли вы мне сказать, товарищ генерал, где вы были третьего дня в 15.00 и почему очутились за линией марокканцев, да еще в марокканском буннусе? Командир танка до сих пор в себя притти не может! Ведь он еле успел оторвать руку от орудия, а пулеметчик так и застыл с пальцем на спусковой гашетке пулемета, когда они узнали генерала Лукача. Командир танка мне рассказывал: «На счастье, он отбросил капюшон и этак рукой машет нам: «давай, давай», и я успел крик-

нуть: «Генерал Лукач!» До сих пор в дрожь бросает!..»

Как всегда, когда дело касалось его необычной, сдержанной храбрости, Лукач стал виновато оправдываться.

— Такое положение создалось с польской ротой: вперед махнули, марокканцы не приняли штыкового боя, даже буннусы побросали. А дождь хлещет, как из ведра. Мы буннусы подобрали, капюшоны на них хорошие, укутались, стали переделывать окоп на другую сторону. И в голову не могло притти, что танкисты могут нас за чужих принять! Я тотчас дал знать через связистов...

— Они вышли в расположение противника раньше, а вы сбоку зашли, — так объясняли мне танкисты. — Секунда, и ты первый взлетел бы на воздух. Командир говорит, что ты был на виду, они по тебе прицел держали. Он в смотровое стекло и увидел, как ты капюшон отбросил и рукой машешь. И зачем впереди генералу быть? А вот других журишь...

Стараясь замять этот эпизод, Лукач начал рассказывать, какой он формирует новый батальон — замечательный батальон, славянский.

— Итак, до завтра! Завтра решительная атака на Пингарон. Завтра вывожу всю бригаду; станем во вторую линию на случай, если дрогнут молодые необстрелянные части. Для испанских регулярных частей это первый большой наступательный бой, большое наступательное сражение.

★

Командный пункт у Пингарона разместился в расщелине большой скалы, откуда, как на ладони, были видны и наш передний край, и позиции противника.

С утра стал накрапывать мелкий дождик, потом он перешел в ливень. Батальоны 12-й интернациональной бригады расположились на холмах, умело маскируясь в углублениях, вырытых позади старых олив таким образом, чтобы не повредить ни ствола дерева, ни корней. Все с напряжением ждали приказа выйти в первую линию.



Пролетел неприятельский разведывательный самолет, и вскоре по оливковой роще стала бить артиллерия мятежников. Из взводов и рот все чаще и чаще поступают донесения о том, что появились раненые, что солдаты нетерпеливо ждут боя.

Знатоки мировой литературы сравнивают положение батальона с положением, в котором под Бородиным находился полк Андрея Болконского из «Войны и мира», но это мало утешает. Командир батальона гарибальдийцев Почарди и его комиссар Барантини решаются отправиться к генералу с просьбой разрешить итти в бой. Я иду с ними.

Лукач встречает нас с присущей ему на людях молчаливой любезностью. Не выпуская из рук полевого бинокля, он то-и-дело передает адъютанту Эйслеру приказания частям, которые тот тут же диктует связистам. Как всегда, Лукач держит себя свободно, непринужденно.

Во всех его распоряжениях столько простоты, находчивости, воли, ума, столько повелительной правды, что настаивающие на немедленной атаке прибывшие товарищи сконфузились.

Когда мы собрались уходить, Лукач взглядом задержал меня и доверительно произнес, покачивая головой:

— В батальоне Гарибальди сейчас есть испанская рота, состоящая из астурийцев. Астурия — это самая старая жакерия Испании. Бойцы рвутся в бой. Но мы живем ведь не во времена Гверильи, не во времена малых войн, а в годы регулярных войн и усовершенствованной техники. Одним только мужеством врага не собьешь. Настоящему военачальнику нужно мужество, которое побеждает, а не мужество, которым утешаются...

В эту минуту связисты передали:

— Огонь неприятельских батарей усилился! На одном участке линия прорвана! В прорыв устремились марокканцы.

Лукач спокойно молвил:

— Ничего! Я уже несколько минут вижу, как дрогнули на участке 19-й бригады, сплошь состоящей из анархи-

стов. Но за нею во второй линии расположен батальон Домбровского...

И он приказал:

— Поднять домбровцев! — Обращаясь к присутствующим командирам других частей, Лукач пояснил: — Домбровцы ближе всех, они на самом склоне горы...

Вскинутые бинокли не отрываются от линии; видно, как ожили склоны Пингарона. На командном пункте затаили дыхание. Был внешне спокоен один Лукач. Он осторожно очистил апельсин и, протягивая мне его на кончике ножа, спросил:

— А гарибальдийцы, действительно, так крепко рвутся в бой? Видно, придется на месте наблюдать врачей в первой линии, — пошутил он, передавая приказ о наступлении.

Гарибальдийцы выстроились; командиры отделений обходили ряды. Бойцы стояли немного картинно, с винтовками к ноге, в позе напряженной сосредоточенности. Перед атакой в памяти возникают самые дорогие образы. Казалось, что в зрачках людей, как в зеркале, замелькали сицилийские берега, лагуны Венеции, норвежские шхеры, астурийские рудники, берега Днестра и Дуная...

Отмеченные печатью скромного благородства кожаные блузы солдат застегнуты наглухо. Слышны последние слова команды, быстро передающиеся по цепям: «Не смешиваться с отступающими, строго сохранять дистанцию, принимать бой с противником прямо в штyki».

Батальон вытягивается несколькими цепочками, сливаясь с коричневой, недавно умытой дождем землей. В центре второй роты идут командир батальона и два комиссара: батальонный — Барантини — и комиссар бригады. Их крылатки, выброшенные поверх кожанок, как крылья, развеваются на быстром ходу.

Связисты тянут провода, идя по пятам за пехотой, и перебрасываются с солдатами легкими шуточками. Пингарон все ближе и ближе. Кое-где видны каким-то чудом уцелевшие от бомбардировки темнозеленые острова дрока

да понатыканные у самых окопов оливковые ветви. Пулеметно-ружейный огонь противника становится метче и злее. Появились раненые. Их на ходу подхватывают и отводят по дорожкам туда, где уже разместился сикоро-роха (пункт первой помощи). Командование благодарно кивает врачам.

— Прикажете бойцам лечь? — спрашивает командир роты.

— Нет, фронт должен видеть, что в атаку идет Двенадцатая... Знаменосцы, — вперед!

— Изготовиться к атаке! — летит по цепям приглушенная команда.

На мгновение что-то застало глаза. И вдруг — пронзительные окрики связистов, сразу на нескольких языках:

— Стойте, остановиться! Приказ генерала — батальону отходить!

А на горе уже кипела рукопашная схватка.

Командир батальона Почарди, которому так хотелось блеснуть в бою, пришел в неистовство: «Почему отходить? Опять осторожность, генерал не решается...» И все же приказал отойти.

Но генерал Лукач уже давно решил. Раньше других он был на Пингароне с польским батальоном. Генеральская фуражка, бесстрашие и спокойная уверенность Лукача остановили дрогнувших анархистов. Впереди дрались линкольновцы, а затем к месту прорыва подошли танки и отборные части бригады Листера с любимым командиром во главе.

★

«Герои Гвадалахары» — так заслуженно зовутся в испанском народе бойцы 12-й бригады. Это они тотчас после Харамы, сохраненные для нового боя искусством настоящего полководца, вышли навстречу вражеским дивизиям.

Под Бриуэгой, некогда остановившей мавров, бойцы интернациональных бригад со всей республиканской армией защитили от мятежников испанский народ.

На далеком Теруэльском фронте, в придорожной венте Баракаса, у скупого

огня камелька, собралась вся деревня. Внизу, в долине, отцветали мандарины, жасмин, жимолость, амаранты, а в горах свирепствовала пурга и заметало снегом тропы.

Женщины пришли со своим вязанием, мужчины с самодельными трубками; на всех лежала печать опрятной бедности. С изысканностью, которой испанский народ учится на улице, а не в салонах, мужчина лет шестидесяти заговорил со мной, комбинируя обрывки разных языков, — в молодости он плавал на кораблях и побывал в различных портах мира.

Агитатор, приехавший из Валенсии с подарками для раненых, настранивал радиоприемник. Было 12 марта 1937 года. Бои на Гвадалахаре достигли своего высшего напряжения.

«Домбровцы восемь раз сегодня ходили в штыковой бой, захвачены сотни пленных, среди них два полковника и генералы» — слышен ликующий голос диктора из Мадрида. И вся страна рукоплещет героям.

Объясняю слушателям, кто такие бойцы 12-й интербригады, и переводчик-мореплаватель быстро переводит мое сообщение на испанский язык.

— Интернационал... Видели... И у нас были... Знаем... — шепчет аккуратно причесанная старая женщина, и в ее руках искусно мелькают спицы.

★

Мы вновь встретились на Мадридском фронте. Части 12-й интернациональной бригады переформировывались в дивизию в горах под Саседоном. Славянский батальон доформировался в тылу, и Лукач приехал, чтобы проверить, как идет учеба, а заодно взглянуть на свой эскадрон, о котором пошли какие-то слухи.

— Жаль, что тотчас после Харамы ты уехала под Теруэль, — говорил он. — О Гвадалахаре расскажу в другой раз, — засядем на целый вечер. Ты должна знать все детали, все подробности. Да, жарко было. 12-й пришлось принять многое на свои плечи... Порой казалось: секунда—и все полетит. 11 мар-

та против моей 12-й бригады и помогавшей мне 11-й стояли 34 тысячи интервентов, у нас было 5 тысяч; у них 1 200 пулеметов, у нас — 100; у них 160 орудий, у нас — 16; у них 100 танков, у нас — 26. Но против франкистских дивизий в первые дни стоял батальон гарибальдийцев, польские пролетарии, французские коммунисты, болгарские эмигранты. Командный пункт был все время под пулеметным и ружейным огнем! Знаешь, каким молодцом оказался Петрович? В первый же день он приехал ко мне и все просил: «Лукач, дорогой, держись, ну, продержись хоть до вечера, обязательно подойдет подкрепление», а утром уверял: «Вот-вот, — они уже идут!» И вот его энергией, верой в эти народные отовсюду идущие подкрепления мы и держались. Зато небо нас вдохновляло! Солдаты обнимали воздух, видя, как проносились наши самолеты... Показали себя и танкисты. Ведь это был первый в истории войн прорыв танков, массированный огонь танков в обороне, блестящие молниеносные удары в наступлении, стоявшие интервентам лучших частей. Но об этом после, а сейчас давай глядеть батальон... Да, еще о бригаде Листера надо рассказать! Какие чудесные, выносливые солдаты испанцы! И как точно старое определение испанской инфантерии, которая «заставляла трепетать землю под ногами солдат...»

Мы увидели славянский батальон на учении; он атаковал деревушку между Алкалой-де-Энарес и Гвадалахарой. Приняв рапорт о состоянии части от командира батальона, Лукач тут же сделал несколько замечаний: «Ведь если бойцы пойдут в атаку на церковь так открыто, вряд ли кто-нибудь из них заберется на колокольню». И Лукач сам вышел на поле, показывая, как нужно маскироваться, как нужно бежать, припадать, переползать. Он вернулся, стряхивая с платья приставшие комья земли и травы, глаза его светились золотыми искрами радости и возбуждения.

— А теперь к эскадрону. — Лукач приказал шоферу повернуть машину в близлежащую деревню Мекку.

Мы выходим у самой околицы и ста-

раемся обогнуть улицу, никем не замеченные. Тщетно!

— Ми генеральо! — пискнул подле нас какой-то голосок, и черноглазый малыш уцепился за сапог Лукача. И вмиг стали отворяться двери домов; из них кубарем выкатывалась детвора, за детьми степенно выходили аккуратно причесанные, бедно, но опрятно одетые женщины с маленькими детьми на руках. Они протягивали детей Лукачу.

На мгновение Матэ растерялся, густо покраснел, но тотчас вернулся к машине, где у него были оставлены для ребят недавно присланные в посылке сласти, и стал раздавать их детишкам.

— Мы здесь стояли, — конфузясь, объяснил он мне.

К женщинам он обращался по имени, расспрашивал их о мужьях, — большинство мужчин было в армии, — осведомлялся о здоровье ребятешек.

На виду у помещичьего дома, в конце деревни, где был расположен штаб эскадрона, Лукач остановился, бережно освободился от облепивших его со всех сторон ребятешек, приложив палец к губам, призывая их к молчанию, выпрямился и пошел вперед. Чистый и большой лоб его силился принять суровое выражение.

— Узнали нас, черти, — сказал он, показывая рукой на людей, засуетившихся у больших каменных конюшен.

Командиру эскадрона, выбежавшему навстречу, Лукач приказал:

— Через пять минут быть всем на плацу на конях. Проверим вашу хваленую готовность!

Через пять минут — секунда в секунду — эскадрон построился и с гиканьем вылетел на плац. Лукач улыбнулся, протянул командиру руку и приказал бойцам спешиться, — генерал будет говорить. И тотчас была переведена на многие языки его речь о дисциплине, о беспощадности к лежебокам, к тем, кто не умеет беречь высокого звания бойца интернациональной бригады.

На обратном пути Лукач был радостно оживлен, словно у него отлегло от сердца.

— Сколько клеветы и лжи распространяют о наших людях! Ну, да мы с тобой хорошо знаем, что клевета и ложь — узаконенный метод борьбы политических мешан...

Легкая тучка воспоминаний затуманила его ясные глаза.

— ...и метод борьбы врагов, — добавил он и вдруг весело и звонко рассмеялся. Большим и крепким душевным здоровьем надо обладать, чтобы смеяться так жизнерадостно и весело, как смеялся Лукач!

— Недавно представители II Интернационала к нам в гости приехали. Сунулись в один батальон, там их пенем «Интернационала» встретили, сунулись в другой, там встретили их криками: «Да здравствует Коминтерн!» Представители! Только кого они представляют?

★

В редкий час затишья на Центральном фронте он приехал ко мне в Мадрид с букетом красных маков.

Весной 1937 года поля Испании были вытканы яркими узорами маков разных видов и оттенков, от розоватого до багряно-огненного. Старожилы не помнили таких полей. Мак никто не сеял, не сажал; причудливые ковры цветов тянулись на километры вдоль дорог, уходили за оливковые рощи, забирались в сады и таяли у гор Сиерры.

Лукач был заметно взволнован. Он подошел к столу, за которым я сидела, и сказал:

— Неужто пишешь? — И тотчас сам ответил на свой вопрос: — Нет, нам не до того. Письмо матери!.. — Потом выглянул в окно, выходящее в переулок, прислушался и сказал: — Птички? Какие птички? Посчитай интервалы, — сейчас посвист будет резче и «фью-фьють» длиннее. Они меняют прицел, бьют мелкокалиберными с Карабанчеля.

Женщина, сидевшая с вязанием в руках на тротуаре, напротив моего окна, неспеша поднялась, сложила стульчик, кликнула играющих на мостовой двух девочек и вошла в дом. Свист стал явственней.

— Да, писать теперь некогда! — говорил Лукач. — Я настолько всем сердцем, всем существом своим вошел в войну, что порой самому становится странно: неужели я умею писать? Недавно мой адъютант Алеша спросил у меня, почему я ничего не записываю, — ведь потом все это пригодится, как материал, а детали, оттенки уходят. Я ему ответил: «Сейчас я только генерал Лукач, писателя Залку я оставил дома. Мне нельзя раздваиваться. На моих руках тысячи человеческих жизней. Я не могу позволить себе думать о чем-нибудь другом. Иногда от моего хладнокровия, сосредоточенности может зависеть исход боя, и я не имею права отдавать хотя бы каплю своей энергии для посторонних мыслей и чувств. Я способен отдавать себя всецело только одному делу, — тому делу, которое мне поручено, которым я занят сейчас...»

Помолчав немного, Матэ не совсем уверенно и, вероятно, неожиданно для самого себя, спросил:

— Хочешь, я расскажу тебе новеллу? Впервые за все месяцы толпившиеся в голове образы вылились в литературную форму! Она родилась при виде необозримых, таких неожиданных маковых полей. Да и день сегодня особенный...

Он уселся поглубже на жесткий стул, подложив одну ногу под себя, и, слегка касаясь пальцами рук краешка стола, словно подыскивая такт, заговорил:

— Помнишь Хараму, холодные ночи февраля, морозящие дожди, грязь в окопах, моих бойцов, которые, словно кроты, зарылись между двумя высотами, занятыми мятежниками, и не давали им прорваться к Арганскому мосту? И все это было только репетицией по сравнению с Гвадалахарой, когда целые дни проходили в штыковых боях, а ночи — тут же, на земле, в воде и тающем снегу...

Так вот в дни Харамы был тяжело ранен в голову солдат. Одиннадцать дней он не выходил из линии боя. Ведь ты помнишь, какая смена была!..

Он пришел в себя, стал сознавать и понимать окружающее только спустя два месяца. В его сознании осталась

непогодь, мрак, грохот выстрелов, вспышки огня... Пришел в себя, огляделся — белоснежная кровать, яркое солнце, благоухание цветов, как у нас в Негролехо! Попробовал встать, ноги ходят; подошел к окну, распахнул его и не мог понять: неужто это в самом деле продолжение жизни?

Под самыми окнами расстилалось чудесное поле, усеянное алыми маками. Невдалеке стояла молодая стройная девушка. Увидев солдата, она ласково улыбнулась ему, наклонилась к цветам, ловко и бережно, с природным изяществом испанки, собрала большой букет, подошла к окну и без слов протянула его солдату. Он стоял, очарованный чудесным зрелищем. Горячая волна нежности к солнцу, к цветам, к полю, к лугам, к прекрасной девушке поднялась от его сердца, и он тихо сказал девушке: «Компаньеро, ми компаньеро, почему столько маков на полях? Откуда они? Я никогда таких прекрасных цветов не видывал».

Девушка подняла маки высоко над головой, как знамя, и торжественно произнесла: «Это кровь павших героев!» — тихо закончил Лукач.

Несколько времени в комнате стояла тишина. За окном не слышно было свиста пуль. Спустилась ночь.

Лукач встал со стула.

— Ты сегодня необычайно взволнован, Матэ!

— Ты угадала, мой друг, очень, очень взволнован. — Он словно боролся между желанием что-то рассказать и присущей ему внутренней скромностью...

— Ну ладно,—решил он, наконец.— Мы ведь на так называемом отдыхе; хотя за эти две недели нас перебрасывали на пять разных пунктов: с Фуэнкарала под Алкалу, в Мекку, в Сифуэнтес. Был еще приказ итти на Бадахос, да с дороги вернули, когда уже в Таранконе грузили имущество в вагоны! Ну, так вот, третьего дня получили приказ продемонстрировать всей бригадой под Харамой. Мы и демонстрируем. На рассвете заняли наши февральские харамские позиции. Я только-что оттуда. Ну, стало быть, еду с Харамы по старым тропам, из Арганды на Кам-

по-Реаль. «Пежо» мой трясется, как в лихорадке, — дороги сильно избиты. Гляжу — вдоль дороги, почтительно сторонясь машин, идет старик испанец, лет 65. Палка через плечо, к концу ее узелок привязан, — точь в точь, как ходят на Украине косари.

«Далеко ли, дедушка?» — спрашиваю по-испански. «В Поссуэло-де-Рея» — нерешительно говорит старик. Мы его и усадили, чтобы подвезти, все же километров двенадцать наберется! Оказывается, старик ходил сына проведать под Марату, часть его там стоит. Отец носил сыну домашние гостинцы, а взамен получил сахар и коробку советских консервов, которую и показал нам с величайшей бережностью, как святыню.

Так, в беседе, незаметно и подъехали к его селу. Подвезли старика к дому, домашние — ему навстречу, соседи все высыпали.

Старик от Йошки по дороге узнал, что я генерал Лукач. Сначала чуть из машины не выпрыгнул, а потом освоился и по-отцовски стал приглашать к себе в гости откусать вина собственного изготовления.

Я отговорился недосугом, — ведь я и взаправду спешил по вызову в штаб. Тогда старик сел на землю у самой машины и заявил, что не встанет, покада сын не войдет в отчий дом. Подошел алкальд и стал старика уговаривать, что, мол, мне некогда, что раз обещаю, так завтра заеду.

Но старик твердил:

«Генерал, генерал популлер (генерал народа), таких генералов я во всю свою жизнь не видывал, наш генерал, на сына моего похож...»

«Генерал популлер, генерал популлер, — подхватила толпа, увлекая старика. — Пойми же, сколько у нашего генерала дела! Обещает, — слово свое сдержит. Генерал народа всегда слово сдержит...»

— Заеду, обязательно завтра же заеду, — продолжал Лукач. — «Генерал народа!» Нет, я скорее его буйный сын...

Неожиданно улыбнувшись, он закончил:

— И не очень, не очень покладистый кое с кем...

Тут же он стал вспоминать, как не хотел отдавать телефонную сеть, когда снимал свои части с Фуэнкараля, как, не желая спешивать свою моторизованную бригаду и распылять грузовики, не отдал свой транспорт, несмотря на все приказания.

— И хорошо сделал, — теперь сами же меня благодарят. Тоже... генералы!..

— Знаешь, о чем я часто думаю? — вновь вернулся он к литературе: — Думаю, что писал я не то, что нужно, не о том, что требовалось именно от меня! Изволь, поясню... За эти месяцы я много передумал. Спусти многие годы вновь увидел старую среду, столкнулся по работе с различными людьми из западноевропейской интеллигенции. Я ведь сам болел ее болезнями, ее горестями и лучше других понимаю все ее шатания, недоумения, порой духовную растерянность и тупик. И я, именно я, должен был написать такую книгу, в которой просто и искренно, ничего не скрывая, ничего не утаивая, написать, показать, как я вновь родился в новом классе, как стал частицей великого народа и обрел его мудрость и силу... Прости меня, но, вопреки моему обыкновению, сегодня мне хочется говорить патетически. Слова на ум приходят необычные, и песню хочется услышать такую, как, помнишь, у Георга Гервега:

То песня не о ласке и холе,  
То песня о треске раскатном ружья,  
О розах военного поля.

... Это была необычная беседа, и потому она запомнилась так явственно...

★

— Как мне пригодились мои итальянцы под Гвадалахарой! — говорил в час нашей последней встречи Лукач, словно подводя итоги своей работе на Центральном фронте. — Помнишь, как разъярился Почарди, когда я их снял с атаки у Пингарона. Я бы сам на это и не решился, но, по счастью, на командный пункт приехал Купер и строгонастрого приказал беречь людей, — враг уже выдыхается, его надо добить

стремительным ударом и попридержать силы под конец! Если бы тогда приняли план Купера, который на совещании 29 февраля предлагал перейти в наступление по всему фронту, — были бы мы теперь в Хетафе и очистили бы все подступы к Мадриду!

— Ну да ладно, — проговорил он веселее. — Кажется, действительно решили дать нам отдохнуть, переформироваться, помыться, как следует. Займем прибрежную полосу, будем стоять в Тартахоне; бойцы пополощутся в море, силенок поднакопим и вновь вернемся под Мадрид! Ведь здесь, именно здесь, решается исход боев с мятежниками. На Арагонском фронте нас ждет Фриц. Он там так и остался после Теруэля. И я спокоен — получим надежную, верную военную информацию. К тебе просьба: вот хочу маленькую бумажку передать. Здесь записаны все наши операции за все семь месяцев — хороший документ...

Он протянул небольшой листок бумаги из записной книжки, исписанный его четким, ровным почерком. Каждая строка обозначала место боя и количество проведенных в нем дней. И было таких строк 27.

— Ты обрати внимание: две Гвадалахары, и обе победоносные. Захват территории и в первой, и во второй операциях и огромное количество трофеев. Побереги эту бумажку, это подлинник, подписанный всем моим штабом...

Под подлинником, действительно, стояли все фамилии.

Отдыхать им, однако, не пришлось. Было задумано наступление на Уэску, чтобы отвлечь силы противника с севера. 12 июля на рассвете дивизия Лукача при поддержке танков и авиачастей должна была пойти в атаку на блиндированные укрепления незнакомого города.

Лукач сам ездил в рекогносцировку, — спешил ознакомиться с местностью, с расположением противника. Особенно его занимала дорога, идущая вдоль линии фронта, фактически по

«ничьей» земле. Она была утыкана камышами так, что с вражеской стороны нельзя было разглядеть едущих по ней. Дорога эта была кратчайшим путем на Уэску; по ней и должны были по плану пойти танки, артиллерия, пехотные части. Поэтому дорогу надо было отлично изучить.

Лукач дважды объехал ее всю и накануне боев приехал вновь. В бинокль было отлично видно расположение противника. Чтобы не вызвать подозрений лишними передвижениями, он не сменил обычные арагонские заставы, состоящие из анархистов и поумовцев. 10 июня он приказал заставам никого больше по дороге не пропускать, а когда те стали возражать, то заявил, что он, генерал Лукач, настрого приказывает выполнить приказ, завтра приедет вновь и все сам проверит...

Полуночью 11 июня сюда приехали все командиры его бригад и все руководители новой дивизии.

Лукач приказал оставить почти все автомобили далеко за заставами, предложил своему комиссару пересечь в его машину, остальным командирам разместиться в двух других машинах и, не привлекая ничего внимания, неспеша выехать на дорогу.

★

Раненый в ногу Фриц рассказывает:

— Поумовцы жадно следили за Лукачом. Они не тронулись с места, когда прошли первые две наши машины, и сразу заволоновались, когда вышла на дорогу машина Лукача; мне показалось, что они дали какой-то знак... но я не обратил внимания.

Как только машина Лукача вышла из-за поворота, два шестидюймовых снаряда легли по бокам, а третий, па-

дая на середину дороги, попал в машину.

Лукач удивленно поглядел на два столба дыма, выросшие подле машины... Когда раздался оглушительный удар третьего снаряда, он тронул меня рукой, и я различил чуть слышный призыв, короткое, но дорогое всем слово...

Когда я опомнился, рядом со мною лежал обезображенный труп шофера. Лукач был без сознания, но еще жив. Я подполз к нему, взял его руки, — пульс бился. Тогда, преодолевая адскую боль в ноге, я пополз к заставе. Но там никого не было...

Генерал Лукач жил еще несколько часов, но в сознание так и не приходил. Мертвый, он был торжественно величествен, как никогда при жизни, словно хотел сказать, что сделал все, что мог, что было в его силах...

★

Спустя два месяца в переполненную людьми придорожную венту далекой Тартахоны зашел офицер. На правом рукаве его гимнастерки была черная повязка. Ему тотчас уступили место. Офицер был грустен. Сосед по столу предложил ему выпить с ним стакан вина и через некоторое время деликатно спросил:

— Вы в трауре? У вас убили близкого или умер кто в семье?

— Я из бригады генерала Лукача, — ответил офицер.

И тотчас, словно по сигналу, поднялись все сидевшие в венте, вскинулись вверх кулаки салюта, и люди промолвили:

— Генерал Лукач.

— Генерал популлер.

— Генерал народа.

Великий, благородный и благодарный народ никогда не забудет Лукача.

# Путевые заметки

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

★

## 1. ОЗЕРО СЧАСТЬЯ

Теплый ветер дует со стороны Хатарчи. Карта шумит и рвется из рук инженера. На ней нанесены горы и равнины Средней Азии. Палец движется среди хребтов, нарисованных условной топографской елочкой. Теперь становится видной тонкая жилка реки. Ее характер угадывается по самой прямизне течения. Рожденная на высотах Алайского ледника, нежная и голубая, она напролом, почти без извилин, мчится на запад сквозь густую сепию гор. Вот она делится на два рукава близ Самарканда и снова сливается воедино у Хатарчи, откуда, такой ласковый и упругий, дует сейчас ветерок.

В полный накал сияет январское солнце, и хорошо стоять здесь, на холме, распахнув пальто, после длительного похода по этим изрытым пространствам.

— Берегитесь, он коварен, этот ветерок, — предупреждает инженер, сам в ватной куртке, застегнутой до ворота, и продолжает урок предварительной географии, необходимый для понимания, почему советские люди с такой энергией вмешались здесь в дела природы.

Итак, река не сразу приобретает свое громкое имя. По выходе из ледяного грота она скачет в тесных и скалистых ущельях под названием Матча. Горные саи и речки изобильно вбегают в нее. Но лишь позже, когда в молодой горный поток у нынешнего Захматабада ворвется стремительная Фан-Дарья, он

станет наконец Зеравшаном. Слева в него вступят еще Кштут и Магиан, а затем, по выходе из гор, несколько восточнее Пенджикента, он разольется широкой и многоводной лентой. Он пройдет свои семьсот километров мимо Самарканда, Катта-Кургана и Бухары, чтоб незаметно потеряться и растаять в песках за Кара-Кульским оазисом. Из всех среднеазиатских рек только Аму и Сыр доносят свои волны до моря.

Все зеравшановы притоки находятся в пределах Таджикской республики; больше в него не поступает ни капли. Он уже скопил свои богатства, эти шесть миллиардов годового дебета воды. Дальше он степенно шествует по Узбекистану, седой хозяин здешних садов и хлопковых полей, и только раздает, направо и налево, свои щедрые дары. Множество оросительных оттоков расходуют его воду. Так оправдывается название реки: Зеравшан — раздаватель золота. Правда, золото имеется в его верховьях, но в данном случае это только общепринятый поэтический образ, и то он недостаточно передает жизненную ценность воды в среднеазиатских условиях.

В стране, где по полгрюда не выпадают дожди, земледелие невозможно без сети оросительных каналов. По дороге в нынешний день стоит заглянуть в историю здешнего поливного хозяйства. У древних греков и арабов упоминаются искусственные (и такие безыскусственные на взгляд современной гидро-



техники) приспособления, которыми население отводило воду на поля. То были все те же кяризы, подземные водопроводы, да первобытные, в одну ишачью силу, чигири, унывный скрип которых слышен кое-где и доныне... Площади культурных земель значительно расширяется при Ахемендах и Сасанидах. Свистит камча, плачут матери, дехканский кетмень врубается в рыжую нетронутую землю. Географы и путешественники восьмого и десятого веков удивлялись искусству орошения в Хорезме и на нашем Зеравшане. Они писали о миндальных и ореховых рощах, о богатых виноградниках и пленительных охотах, а Ибн-Хаукали — даже о двух тысячах самаркандских фонтанов, откуда все жаждущие *gratis* получали воду со льдом. Заходили и пили во благоденствии. О, зоркий Ибн-Хаукали! Ты не разглядел того, что век спустя увидел бухарский историк Наршахи.

Созданная упорным трудом оседлого земледельца, оросительная культура поднималась в десятки лет и падала порою почти в одночасье. Переменчивой среднеазиатской судьбы не избежала и Зеравшанская долина, где мы стоим сейчас под ветерком из Хатарчи. Ее, прославленную Согдиану, арабские писатели называли за плодородие земным раем. Издавна она бывала центром всяческой человеческой деятельности. По ней проходила «царская дорога» Бухара—Самарканд, шах-рах. Здесь пересекались караванные пути из Индии — через Балх, из Персии — через Мерв. Если бы в лупу времени, какую употребляют в кино для съемки замедленных процессов, взглянуть на историю края, какая невообразимая толчая народов предстала бы глазу! На протяжении тысячелетия со всех сторон света тянулись сюда купцы, пророки, завоеватели и просто завистливые соседи. Воистину, на расстоянии от Александра Македонского до русского Александра все побывали тут!

Исторические хроники изобилуют кровавыми сраженьями, феодальными междоусобицами и, наконец, удивительными по фабульному рисунку романтическими новеллами, которые еще ждут

своего Стендаля. Там имеются также описанья, как врывались сюда со своими полчищами великие джихангиры, миропотрясатели Востока, и, совершив свое суровое дело, исчезали во времени. Разрушение знаменитой Мургабской и Аму-Дарьинской плотины, затопившей столицу Хорезма, — «четвероворотый» Гургандж, — вот образцы этой беспощадной деятельности. Лучше других сказал об этом безыменный очевидец, что провел в Бухаре весенний денек 1220 года: «Они пришли, разрушили, сожгли, умертвили, ограбили и ушли». Из всех памятников среднеазиатской старины самые неприметные и, может быть, самые трогательные — остатки древних оросительных каналов (у Мерва, у развалин Отрара, у Байрам-Али), эти засолоневшие русла рек, когда-то питавших здешнюю землю и убитых человеческой рукой... Ветер гонит через них клубы перекасти-поля и несет ядовитую пыль прежней славы.

Плачут матери, сидя на голой, безводной земле, и долго еще плакать им, целых семь веков, пока родится Ленин на земле и взойдет над Азией солнце социалистической революции... В ту пору вода вместе с жизнью приносила горе. Она становится хитрым орудием для подавления дехкан. Уже в XI веке Наршахи пишет, что земли оставались необработанными «вследствие жестокости правителей и немилосердного отношения к подданным». Знать владела всей оросительной системой, а «большинство остальных людей были их крепостными или слугами их». В своде постановлений мусульманского права, шариате, одновременно запрещалась торговля водой и утверждалась право частной собственности на воду: «Человек, не владеющий водою, не имеет права орошать землю, пальмы, деревья из чужого колодца, арыка или реки без разрешения владельца последних». Правило это касалось, видимо, всего восточного земледелия, по всему полуколыбцу пустынь, тянущемуся, по определению Маркса, «от Сахары через Аравию, Персию, Индию и Татарию до возвышенностей Азиатского плоскогорья». Так было сказано о воде,

благодатной воде, принадлежащей всем, как воздух. Ее продавали, ее сдавали в аренду, ее открыто крали у народа, ее дарили за отличия с оговоркой, что «ни одно существо не должно касаться этой воды». Награждая приближенного правом наследственного владения водой, какой-нибудь кокандский хан этим самым казнил отсутствием воды тех, чьим существованием он интересовался разве только при сборе хараджа. Хитроумная иерархия была учреждена для управления водопользованием. Великая вода шла вниз от своего верховного владыки, эмира или хана, через множество всяких беков и хакимов, паджабегов и арбовов. Мирабы в золотошвейных халатах, с топорками власти у пояса, зорко следили за «справедливым» распределением воды. Какой же скудный ручеек дотекал до нищих дехканских полей!

То же было и на Зеравшане... Так кого же он одарял, этот могучий жизнеподатель? Только не истинных тружеников земли. Милость реки доходила до них в виде милостыни. Народу зато предоставлялась принудительная обязанность изготавливать инструмент своего же собственного угнетения. Их сгоняли палками на работы, их зарывали по горло в землю за невяки, их сгоняли губли под обвалами, и при этом ухитрялись с них же взимать кон-пул и на прокорм и содержание эмирской оравы. Строительство сопровождалось чудовищными растратами народных сил, так как гидротехника стояла на первобытном уровне. Худояр-хан, между прочим, в меру своих царственных способностей, попытался обогатить ирригационную науку (1863). По рассказу В. Я. Непомнина, у хана в Каратепинской степи вода разломала берега канала. Муллы подали совет законопатить прорыв живым бетоном, телами людей с именами Тохтасын и Тохта, — «Остановить», «Останови». Десятки дехкан, брошенных в бурлящую воду, завалили камнями и землей... Словом, был найден камень у Рават-Ходжи, и надпись на нем гласила: «Земли арыка Даргома обрабатывали с покорной шеей и ранами на спинах нещадно бичуемые плетьюми». Все

это необходимо знать для понимания беззаветного героизма как ферганцев, так и катта-курганцев на одноименных стройках.

Естественно, народ отвечал грозным ропотом на ирригационные начинания в давние времена. Первые исламитские государи вынуждены бывали провозглашать отказ от строительства новых водных сооружений. Население умножалось, воды нехватало на всех. Происходили восстания, кровопролитные распри между родами, владельцами арыков, и даже прямая международная вражда. Кетмени нищих вздымались над головами братьев по крови и судьбе. Правители поддерживали это состояние, руководясь старым опытом — разделенные на части и полуголодные не опасны. Народ веками лелеял мечту о воде и жил надеждой на великое счастье, не зная еще, в каком образе оно придет к ним. Из глубины своей муки он творил песни и легенды, основанные на живых и трагических былых.

Так создалась ненаписанная поэма о бедняке Абдул-Салиме. Разгневанный на несправедность жизни, он поднял в семидесятых годах народ на борьбу. Восстание подавили, сыну Абдул-Салима отрубили руку. (Кстати, то был испытанный способ расправы на Востоке. Еще у Низама-аль-Мульки (XI век), автора «Книги об управлении государством» один «выдающийся» работник в этой области говорит: «У меня два начальника стражи; дело обоих с утра до вечера рубить головы, отсекают руки и ноги, бить палками и сажать в тюрьму...») Абдул-Салим бежал в Учкурганскую степь и восемь лет сряду, в одиночку прорубал кетменем арык из Нарына, чтоб оросить поля дехкан. Он умер один, этот полупрометея, на берегу своего незаконченного творения.

Старая оросительная система, построенная из камня, хвороста и земли, приходила в ветхость. Паводки и саевые потоки рвали плотины, смывали селения и затопляли земли; воды не было. Все это заставляло царское правительство, во избежание неприятностей, принимать меры к укреплению и расширению ирригационной сети. Сперва губер-

натор Кауфман попытался «вникнуть в тайны рек», как определял это искусство строитель плотин, вавилонский царь Хаммураби. Здесь простенькая задачка для советских детей: семьдесят тысяч подневольных строителей, получая по пятаку в день, в течение шести лет прорыли тринадцать километров канала, оставшегося незаконченным. Вопрос: чего здесь больше, анекдота или преступления?.. Народ назвал кауфмановское предприятие донгуз-арыком, свинья-арыком.

Другой губернатор Черняев также изрядно потрудились на этом поприще; тридцать лет спустя встала необходимость в осушении бессмысленно затопленных им ценных земель. Потом к этому делу приложил свою руку сам великий князь Николай Константинович. За шесть лет провели двадцать пять километров канала, но воду в него надо было метлой загонять: добровольно она не шла. Поработав с тем же приблизительно успехом в Голодной степи («канал Николая I»), он принялся за облагодетельствование Хорезма, где успешно разрушил во имя исторических реминисценций Хан-бендскую и Таш-бугтскую плотины. Эти упражнения принесли ему полмиллиона рублей прибыли.

А за ним ринулись сюда ватагой всякие подрядчики, солидные биржевые тузы и просто безыменные стрекулисты, мужественные борцы за свое обогащение, — Рябушинский и другие, продувная бестия князь Андроников, достойный протезе Сухомлинова, проклятого народом русским, оборотистые купцы, делеги военного звания... Всякая подлая человеческая мошкара летела сюда поживиться от страданий поверженного наземь народа. Бедствия росли, воды не прибавлялось. Теперь не одной только влаги жаждала обнищавшая земля, но и свержения власти буржуазии и помещиков в стране, — Ленин уже жил. Уже позади был 1905-й, когда народы испробовали силу и прочность своего единства. Прошла Пражская конференция... Факты двигались навстречу друг другу, чтобы образовать величайшее историческое событие.

В годы гражданской войны гибнет ряд крупных оросительных предприятий, и культурные площади сокращаются наполовину. Плачевная зимняя тишина стоит на заброшенных полях. Но уже семь месяцев спустя после Октября В. И. Ленин подписывает декрет об ирригации советского Туркестана; там намечены меры и по регулированию речного стока Зеравшана. Ряд лет посвящен восстановлению водного хозяйства. Земля и вода принадлежат республике. Сталинские пятилетки творчески преобразуют Среднюю Азию. Великий почин 1919 года, ленинский субботник вырастает в форму всенародного движения. Из скромного опыта Лянгарского строительства (канал в девять километров!) рождается идея Большого Ферганского канала. Вряд ли стоит повторять рабочие координаты этой неслышанной искусственной реки: ее длину, срок выполнения, цену в рублях и количество участников. В наши дни ни одна трудовая норма не остается стабильной. Народам, осознавшим свое могущество, все равно эти цифры очень скоро покажутся недостаточными. Что касается объема земляных работ, их было выполнено 16 миллионов кубометров. — Земляные работы на стройке катта-курганского водохранилища измеряются цифрой в 20 миллионов кубометров. Но эти монументальные, культурной округлости, холмы, что начинаются тотчас за окраиной города, нужно было доставить сюда издали. И патриоты Катта-Кургана утверждают, что кубометр катта-курганского водохранилища стоит полутора кубометров Большого Ферганского канала.

... Карта в руке главного инженера сменяется рабочей синькой. Сложные кривые чертежа внятнм языком рассказывают о смысле и значении нового водохранилища. Это — борьба за высокое плодородие Зеравшанской долины. Река перегружена полевыми площадями. По сравнению со старыми временами — в два с половиной раза большее количество полей, огородов и садов поит теперь Зеравшан. При этом его режим не совпадает со временем наибольшей потребности во влаге: буйные весенние

воды уходят зря и незадолго до поры, когда наступает усиленная вегетация хлопка. Летний недостаток воды сильно снижает урожайность посевов, в особенности — в дальней, бухарской части Зеравшанской долины.

Сведущие люди утверждают, что Бухара, если ей дать достаточно воды, в равных условиях сможет поспорить с Ферганой и ее двадцатью шестью центнерами с гектара. Завтра вся существующая здесь поливная площадь будет напоена дэсыта, и самое количество орошаемых земель увеличится на шестьдесят пять тысяч гектаров. Итак, речь идет о том, как отрегулировать непостоянную щедрость старого Зеравшана.

Внимательно следите за пальцем инженера, — он поведет вас по карте вслед за будущей водой. И не пугайтесь больших масштабов. Вы видите этот глубокий подводный канал, что начинается у самой Дам-Ходжинской плотины? В минуту отдыха строители нацарапали свои имена на его гладких, новехоньких стенах. Скоро, очень скоро поток смоев их и урожаем яблок, хлопка и винограда разнесет по колхозным полям. Уже готово просторное ложе для долгожданной гостыи. Почти неисчислимая масса паводковой и зимней воды уляжется в естественную впадину к югу от Катта-Кургана. Занесите теперь же на свои карты это новорожденное озеро с зеркалом в шестьдесят четыре квадратных километра...

— А сколько уток, бакланов и цапель станут кружить над этой веселой водой! Вот будет работы обитателям будущих домов отдыха и гостям, что наедут на эти зеленые берега со всего Узбекистана!..

Через башенный водоспуск, в три широких жерла, громадная вода рухнет на бетонные водоломы; потом, успокоенная, отправится в обратный путь к Кара-Дарье... Теперь все понятно: по дороге в Бухару расточительный старик Зеравшан зайдет в катта-курганскую сберкассу. Принцип тот же: средства, положенные сюда в пору их избытка, станут расходоваться по мере надобности в засушливую пору узбекского лета. И сухая проектная схема водохранилища

представилась нам самым выразительным плакатом, агитирующим за берегательное дело.

Отсюда, с искусственной горы, вся местность вмятна, как на карте. Во всех направлениях она ископана сейчас каким-то титаном — ваятелем своей судьбы и счастья. Исправляя упущения природы, поднимает и перекладывает рука народа стародавние, много пожившие пласты. (Где-то здесь помещалась древняя Кушания, которая у Истахри значится даже как цветущее «сердце согдийских городов».) Все это каждый день меняется, и завтра уже не взберешься на эту гору, как не вступишь дважды в ручей Гераклита. Напоследок надо походить везде, всего коснуться рукой, чтоб испытать гордое чувство современника. Надо посетить и башню водоспуска, и пройти по длиннейшим тоннелям выводных труб — в последний раз перед тем, как ворвется в них кипящая вода. Надо подняться на не готовую еще плотину, почтенный объем которой исчисляется во много миллионов кубометров — и каких!

Условия строительного материала и самого местоположения кладут особую ответственность на строителей этого сооружения. Мириадами гибких жал вода станет искать себе прохода в подпиральной ее стене. Ни корешка, ни травинки, никакой солевой прослойки, какого-нибудь  $\text{CaSO}_4$ , не должно остаться в земляном теле плотины. Корешок сгниет, соль растворится; свирепый клин напора разворотит крохотную щелку, и вода бросится в прорыв, как тигр, на селения и людей. Кроме того, лёсс имеет однородное строение, и прочное заклинивание крупных частиц мелкими в нем невозможно. Любое переувлажнение его влечет за собой перемещение, зыбь, оползни и, следовательно, целую вереницу последующих бедствий... И хотя всем здесь известно коварство здешней почвы, — люди бывалые собрались у Катта-Кургана! — специальная лаборатория следит за удельным весом и влажностью этой рыжей и липкой земли. С каждой четверти ее берутся контрольные пробы; их будут взвешивать, выпаривать и снова взвешивать,

чтоб получить цифру, точный и строгий иероглиф качества. Вот в чем состоит высокое искусство проникновения в тайны рек!

А сейчас в разгаре среднеазиатская зима, пора дождей и недолговременного снега. Уж никого не обманет тут такой душевный и приятный ветерок с Хатарчи. Видите там, внизу, за железнодорожным полотном, поблескивают лужи, с утра затянутые ледком? Зима. Но консервация стройки недопустима: влага и мороз основательно расчленили бы прочно спаянные пласти. Надо работать, и работать быстрее. И они работают здесь в две смены, опрокидывая американские нормы укладки. Хоровод «сталлинцев», — шестнадцать тракторов в одном месте, — ходит по свежевзбороненной земле, влача за собою тяжелые шиповые катки. Вы слышите это размеренное стрекотанье железных кузнечиков, каждый в шестьдесят пять сил?.. Ничего не значит, что зима! Нужно только подсыпать специально высушенный грунт, если ночью прошли дожди. Нужно терпеливо, очень терпеливо увозить мерзлый, намокший верхний слой, если ночью выпал снег... и опять сбалансировать норму влажности сухой и добротной землей. Ширина плотины в основании более чем почтенна.

На месте, где мы находимся теперь с тобой, незнакомый спутник, будет стоять могучая толща воды. В этот предполудневный час пусть воображение поднимет тебя на самый верх, на шестиметровую дорожку, что пройдет по гребню плотины. В прозрачной дали будут четко различимы серые кристаллики кишлачных кибиток, оказавшихся в орбите водохранилища. Вон тот — Баба-Назар, а этот — Сарай-Гир, что значит в переводе Селение Слез. Через три месяца он уйдет под воду, как сгинут и сокроются во времени и все селенья слез на планете. Ухо слышит ровный гул социалистического труда. Круглое необозримое пространство, похуже на палитру художника, лежит перед взором. Она вся в движении, и красками на ней служат рыжие груды арматурного железа, белые штабеля строительного леса и опалубок, се-

рые навалы гравия и цемента, серебристо-желтые тростниковые берданы и, наконец, черный, кипящий в котлах битум; он обдает облаком пахучего зноя, когда проходишь мимо.

... Заставит прищуриться слепительное и множественное сверканье кетмелей, подобное сигнализациям оптического телеграфа. Порадуют глаз чуть выгоревшие на солнце знамена колхозов и ведущих бригад, развеваемые хатарчинским ветерком... Тебе не повезло, незнакомый спутник. Дело близится к окончанию; фронт работ сузился, и только двадцать тысяч строителей сейчас перед тобою против ста тридцати, что работали в начале стройки. Но все равно, — ты глядишь в будущее земли и видишь ее символический прообраз.

Отсюда легко пройти в обширный карьер концевого сооружения, где великая вода будет вливаться в чашу водохранилища. Параллелепипеды обрубленной глины, ступеньки гигантов, отвесными уступами спускаются вниз; цистерна с питьем осторожно крадется по самому краю двадцатиметрового обрыва. Длинные шланги мотопомп выхлебывают просочившуюся воду; она уже стоит в ожидании за порогом котлована. Он весь полон колхозников, изготовляющих лоно народной реки. Впередкидку, в целых пять ярусов, влажная глина идет наверх. Поток тачек и носилок, чалтаков и замбаров, и просто мешков или бараньих шкур с извергнутой землей движется мимо и мимо. Так вот оно, происхождение окрестных холмов, вынесенных на плечах богатейшей. Пылают на солнце халаты пестрых ферганских расцветок. Косая рембрандтовская светотень делит эту кубическую выемку по диагонали... И там, на самом дне, в передовой линии фронта, по щиколотку в глине, — смуглый человек в синей русской рубахе. Асрар Алиев.

— Здравствуй, Абдул-Салим, прорубающий народу дорогу в завтра!..

Разгоряченный работой, он разгибается, опираясь на кетмень:

— Э, шен дост!.. — протяжно восклицает он, и голос его слышен сквозь грохот бетономешалок. — О, друг!

И его соседи, взволнованно и нарастающе, как в обычае у узбеков после хорошей песни, многоголосым вздохом отзываются ему:

— О, джан эм!.. Душа!

А второй смысл восклицанья, — так переводит человек с красным матерчатым кружком на рукаве, начальник участка, — «обгоним, торопись!» И какая нетерпеливая жажда поскорее увидеть плоды своих дел заключена в самой интонации восклицанья!

Началось, конечно, с энтузиастов; вокруг них кристаллизовалось великое движение. Но этих крепких и открытых людей не приходилось долго агитировать за участие в постройке величайшего в СССР искусственного водохранилища, как не нужно было им разъяснять, что значат для Средней Азии советская власть плюс вода. Колхозы подготовили эту новую форму народного труда. Зерно падало на почву, подготовленную веками затаенной надежды на избавление от бесправья и безводья. Люди единодушно поднимались с места по первому кличу партийных организаций, ставших штабами народного движения. Не останавливали и расстоянья. Ближние приходили пешком, дальние по триста километров ехали на ишаках и машинах. Здесь можно было воочию изучать этнографию Самаркандской области и прилегающих районов. Добирались из Чиракчи, куда нет тракторов и откуда не ходят поезда. Прибывали из отдаленного Заamina, даже с Кашкадарьи, в точности зная, что не получат никакой непосредственной выгоды от нового сооружения. Ими руководило лишь благородное чувство солидарности, которому их научила партия Ленина — Сталина. «Когда будет нужно, ты протянешь руку и мне, товарищ». И те, кого не брали на этот народный трудовой то й, праздник, слали в Верховный Совет республики жалобы на жестокую и несправедливую обиду.

Они двигались от темна до темна, ночью и днем, эти завтрашние герои, почти целыми колхозами, под музыку, именно, как на праздник. Они гнали с собою овец и везли муку, отпущенную

из полных колхозных амбаров. В их мыслях и сердце всеобъемлющее слово — Сталин. Дороги им стали тесны. С высоты ширококолыхных кокандских арб проникновенно пели зурнабы и гремела старая глянцевиная кожа узбекских дайр.

— Э, шен дост!

Сложная задача стояла перед руководителями стройки. Речь шла не только о переброске или размещении добровольных трудовых дивизий, — уже позади был опыт Ферганы. Теперь трудности заключались в создании точного графика работ, в разумной расстановке рабочей силы, в правильной пригонке отдельных частей громоздкого строительного механизма, без чего неминуемы были бы простои всех этих копров, паровозов и тракторов. Нужно было размежевать работу отдельных колхозов с учетом всех их особенностей и так, чтобы каждый мог взять на буксир отстающего соседа. И, наконец, следовало умело сочетать колхозный труд с самой высокой механизацией, которой еще не было на Большом Ферганском канале.

И вот, ответственное дело — укладку плотин — производят сами колхозники. Бетонные работы башенного водоспуска ведет колхоз имени Сталина, Самаркандского района. Строительство приобретает значение крупнейшего строительного техникума. Колхозы получают отсюда собственных каменщиков, плотников, арматурщиков. К примеру, все знают про знаменитые сюзаньи из Нур-Аты, родины газганского мрамора, что красуется в московском метро. А кто слышал про замечательных нур-атинских бетонщиков?

— Вот то новое, что возникает на наших глазах и становится достоянием опыта для других!

На груди инженера значок «БФК» — он строитель и Ферганского канала. Их много пришло оттуда; они прибыли на эти места в феврале прошлого года, когда снежная поземка заметала палатки строителей, а машины увязали по самый дифер в катта-курганских грязях... Есть умная и романтическая привлекательность в этих скромных людях, делателях советской воды на просторах

Средней Азии. Их личные биографии лишь частицы великой биографии молодой страны социализма. Пройдет год, Катта-Курган вступит полностью в действие, республика скажет им свое братское рахмат, спасибо. И они пойдут дальше воскрешать мертвые земли: на очереди — Кайракумское водохранилище, значительно превышающее все предыдущие. И уже говорят о Кампыр-Раватском, Курук-Сайском, Чарвакском и десятке других, что зреют в замыслах советских ирригаторов.

Начался обеденный перерыв; недалеко на утопанной равнинке идет очередной концерт. Уменьшенные расстройнем, пляшут фигурки девушек в пестрых камзолах, и ветерок доносит задорную мелодию хорезмской лязги.

— Ну, что ж, пойду в контору заниматься бюрократизмом, — шуточно говорит инженер и напоследок прищуренным хозяйским глазом обводит свою территорию.

Где-то здесь будет стоять, может быть, высокий обелиск с датами закладки и окончания. На нем будут помещены имена Бурдиашвили, начальника строительства, инженеров Бабуна, Калижнюка, Роголя, галяя-аральца Ерназара Ахмедова, восьмикратно перевыполнявшего норму и ни разу не покидавшего стройку, Ядгара Яминова, Ирисмата Маханова и других... И на медной доске будут вырезаны еще более внятные векам слова:

«Советский народ, руководимый великим Сталиным, создал это Озеро Счастья на благо свое и своих потомков».

## 2. У КОЛЫБЕЛИ БОЛЬШОГО АНГРЕНА

Есть знаменитые места на земле, где история от века устраивала свои нарядные или печальные фестивали. История этой долины скудна и бесцветна, — зато она старше других. Кроме того, очень скоро она станет известной всей нашей стране. Ее начало теряется в дремучем мраке Юрского периода... Наверно, здесь был когда-то залив неохватного водного пространства. Земля была моложе, она дышала бурно и, следуя колебаниям ее коры, вода то сливалась

отсюда, то возвращалась вновь на заболоченные равнины, уплотняя и заливая илом многовековые растительные наслоения. То была так называемая пульсация доисторического моря, с периодом, может быть, в триста тысяч лет; геология расставляет веки во времени на расстояниях, потрясающих человеческого разум.

Тогда все было иное. Эти библейского величия горы стояли под водой, и сама Азия походила на себя, нынешнюю, как первый набросок взыскательного мастера на его законченное творение. В последний раз море отступило в третичную эпоху, оставив после себя каспийскую и аральскую лужи. В эту пору Ангреное сокровище уже лежало и созревало в глубинах сухой и бесстрастной здешней земли.

По мере приближения к рубежам, уже доступным человеческой памяти, на более мелкие отрезки дробится время. Вот оно измеряется уже лишь тысячами лет. Горы выступают наружу; резвая речка, которую люди назовут Ангреном, сбегает с них между живописных колоннад ортоклазового и кварцевого порфира. Дружно работают ветер, солнце и холод... Старые Шаш и Мараканда, Ташкент и Самарканд, еще не начинались, не перелистанные века лежат впереди. Могучие леса прикрывают золото, медь, каолины и другие богатства Ангреной долины. Лашкерекские шлаки, например, рассказывают ученому и о древних свинцовых плавильнях, помещавшихся здесь, вблизи нынешнего Джигиристана, «стана печей»; под ним и лежит новый черный клад узбекского народа... Джучи, первенец Чингиса, гонялся за ходжентским Тимур-меликом среди этих гладких, верблюжьего цвета гор и, говорят, сам Чингис, по дороге в Китай, в грозе и пламени прошел по Ангрено. С той поры редуют леса и затихает жизнь. Долина приобретает тот вид, в каком семь веков спустя ее увидели и Богданович с Машковцевым, и Чикризов с Казаковым. Редкие кышлаки раскиданы в громадном бездорожном пространстве, безмолвие пустыни стекает с линиях осенних предгорий.

Время измеряется уже годами. Богданович приходил сюда в тридцать четвертом году с разведкой на каолин и, говорят, даже видел метровый пласт угля — непромышленного, как тогда показалось, значения, а до него только Машковцев искал здесь огнеупорную глину; он также не одобрил ее. И только в прошлом году настало пробуждение Ангрена. Это было десятилетие великого броска в будущее. Советский народ создавал базы своего материального могущества, недра раскрывали свои тайны перед новыми и нетерпеливыми хозяевами. В ту пору Узбекистан владел уже многим, почти всем, — кроме топлива.

Кугитангское месторождение, ненадежное из-за тонкости пластов, не покрывало всей потребности в угле и было слишком удалено от Ташкента, который через пять лет будет потреблять почти половину всего расходуемого здесь топлива. Те два миллиона тонн, что необходимы заводам Средней Азии, шли из Кузнецка, даже Донбасса; треть его сгорала в топке при самой перевозке. Уголь нужен был республике, как вода. Его ищут везде, ищут трижды и не находят. Результаты геофизических обследований пугают: уголь есть, целых тридцать находок, но запрятан слишком глубоко. И опять ищут, потому что клады любят, чтобы их искали крепко.

Теперь события удалены лишь на месяцы друг от друга. В мае прошлого года, мимо цветущей урюковой рощицы Абылка, новая и первая, по существу, такая экспедиция проходит на Ангрэн. Ее прямая цель — уголь, ее первая задача — составить карту и наметить точки для бурения. По бездорожью и, наверно, не без «Дубинушки» сюда доставляются буровой станок, трубы, двигатель — несложный, но громоздкий зонд геолога.

В августе заложили первую структурную скважину, в сентябре буры вошли, наконец, в юрскую угленосную толщу. Из обсадных труб в молчании вынимали керн — пробный полуметровый столбик глубинной породы. Где-то рядом, под ними, таились необъятные склады растительных накоплений, заго-

товленные впрок. Мастера были предупреждены о близости угля, девушки-коллектора безотлучно дежурили у вышек. Какими долгими представлялись им те полчаса, пока доставали из скважины буровую штангу. Но наступил день, когда весь керн оказался углевым. Уголь, уголь!.. Наверно, вот так же закричал о долгожданной земле и вахтенный на корабле Колумба. Радость была недолгой. Толщина пласта оказалась незначительной.

Это были все опытные люди, давно преодолевшие в себе настроения непрочного успеха или неминуемого иногда в большой работе разочарования; за Казаковым, например, числились уже находки трех вольфрамовых месторождений. И все же эти последующие сорок метров плотной глины были изрядным испытанием для маленькой колонии отличных советских людей. Приближалась деловая проверка всех их знаний, чутья и опыта. Снова их захватило острое чувство, знакомое охотнику, когда он крадется по следу бесценного и быстрого зверя... В эти несколько дней томительного ожидания уместается тема большого романа о жгучей романтике геологического искательства, о благородном нетерпении патриотов, стремящихся скорее вручить народу плод своего упорного труда, — о неуверенности и бессонных ночах, предшествующих почти всякому значительному открытию; там должны быть и цифры, звонкие, как рифмы и, возможно, лирические отступления о работе вечности... Эти пионеры Ангрена имели время поразмыслить, сколько же здесь потрудились природа. Непосвященному в сложную геологическую бухгалтерию представляется простой расчет: для накопления метра угля требуются сто метров торфа, а за год его откладывается всего два миллиметра; приблизительно те же нормы определяют толщину годового отложения глины.

...Однажды в керне снова обнаружился уголь. И сорок раз подряд ныряла в недра обсадная труба, и сорок проб великолепно свидетельствовали об удаче. Уголь, свой уголь, был найден. Люди присутствовали при рождении гиган-



та, который, вот окрепнет немного, и один станет приводить в движение все станки республики... Хрупкую колонку клада выгнали насосом из трубы, и тотчас же осколки разошлись по рукам. Рассматривали в лупу его строение, клали на ладонь, наспех определяя удельный вес, даже пробовали на зуб—каковы его твердость и зольность.

История ускоряет ход, время на Ангрене исчисляется днями. Но еще не сразу начальник геологического управления Казаков привел Чикрызова в кабинет Кабанова. Чикрызов и был фактический технорук экспедиции, которой посчастливилось ухватиться за краешек Юры на Ангрене. Он разложил карту и вещественные доказательства победы на наркомском столе.

В кабинете секретаря ЦК были повторены все данные о новорожденном угле. Дополнительные скважины, проброшенные по восьмикилометровой линии, позволяли заключить, что уголь молодой, близкий по качеству к шурабским углям, но площадь угленосных отложений огромна.

— Сколько лет вы работаете в своей области, товарищ Куликов?

Куликов был также членом Ангренской экспедиции.

— Десять.

Цифра стажа вызывала доверие к себе.

— А вы, товарищ Чикрызов?

— Восемнадцать.

...События отделяются друг от друга часами. Разговор по прямому проводу с Москвой; спускаются первые миллионы рублей и хозяйственно-строительные лимиты; происходят объединенные заседания всяких комиссий. Пятидесятая партия колхозников в две недели прокидывает сорок семь километров отличной гравийной дороги в эту вчера безвестную долину. Гремят тягачи, грузовики пылят, — грузы очередями идут на Ангрэн.

И вот на месте трех кибиток прежнего Джигиристана появляются временные постройки контор, чайхан и общежитий. Важного вида дощечка «Управление строительства» повисает на невзрачном саманном фасаде. Теплые зем-

лянки безглазо смотрят из расковырянных холмистых склонов. Все это только черновик будущего «большого Ангрена». Пока и населения здесь не больше полутора тысяч, и дощатые копры высятся над шахтами, и деревянные лестницы ведут в отрешеченную глубину забоя, где четверо проходчиков с кайлами и лопатами пробиваются сквозь крышу угля. Пока — можно и закурить там, на будущем рудничном дворе, пока начальник стройки, в стеганке и похожий на джек-лондоновского героя с Аляски, заседает с помощниками в кабинетике о четырех квадратных метрах... Наивна молодость всякой великой славы: Ангрену всего несколько месяцев.

Но уже пахнет свежей краской от продуктовых ларьков, строится душевэй комбинат для проходчиков (и на равном известняке из здешнего карьера — отпечатки огромных мезозойских раковин); уже два безусых радиоспециалиста укрепляют в нише непросохшей стены выпрямители и линейные щиты будущего радицентра, а вчера сожгли на пробу первые два пуда угля из верхнего пласта. «Хорошо, длиннопламенно горит!» Узбек и таджик, татарин и кореец объединились здесь в работе..

А вот в облаках стружек и славные рязанские плотнички. Ближний кажется поразговорчивей. Свежая лафетная доска сверкает перед ним на верстаке; озорной пахучий локон струится из старенького рубанка.

— Здорово, отец. Хорошо у вас нынче на Ангрене!

— Чего прекрасней... — И зорким глазом окинул эти малиновые распады дальних гор и выше, где в снегах теплой, не рязанской, зимы темнели заросли арчевых рощиц. — Вчера один из наших кабанчика тут свалил, на речке. Приличный попался, пудов близ шести. Опять же лис, фазанов... Здешняя лиса, видите ли что, обожает кеклика покушать. Горная куропатка по-нашему. А кеклика этого где-есть..

Ладошкой поглаживая глянecь доски, он собрался было еще и еще, нехоженными ущельями и форелевыми угодами подразнить сердца охотников, да

вспомнил, что часть строений стоит без рам и дверей, а население множится с каждой минутой, потому что время на Ангрене измеряется уже минутами... порвался речевой его ручеек, и вновь серебряно зашелестела стружка.

Всякий день в нашей жизни рождает фейерверки слепительных последующих дней. Нужно время от времени вглядываться в наше бесконечно далекое вчера, чтобы проникнуть в совсем близкое завтра людей и мира. Строителю, как и художнику, полагается постоянно держать в воображении прекрасные абрисы здания, которое он воздвигает. В том обновленном революциями мире, в семью омоложенных старых городов вступят и совсем юные, — и одним из них будет Большой Ангрэн. — Смотри, вот он раскинулся перед тобой, свежий и чистый после весеннего дождя, без родимых пятен прошлого, без церквей, без трагических гробниц и грустных трущоб, веселый, еще одноэтажный, но уже весь залитый светом, — уголь-то не привозить! Большеликой и гордой горной луне придется чуточку померкнуть... Вступи в этот, тобою же построенный город, товарищ. Пройдись по улицам, еще пустоватым, мимо библиотек, яслей и театров, одетых в строительные леса, мимо умных и стройных трибун, — все это будет уже потому, что сам народ в три тысячи надежных рук взялся за это дело на Ангрене. Вслушайся в смутный речитатив ночной воды в арыке, в девичий смех на молоденькой чинаровой аллее, в басовитый гудок серийного «СО», которому зычно откликается горное эхо. Это полновесные вагоны угля уходят на заводы Родины с ангренской угольной биржи. Хорошо будут жить на Ангрене, потому что советский человек стремится сде-

лать столицеподобным то место, где он живет.

И, конечно, удивительные биографии уже родились и еще возникнут в этом завтрашнем городе. Поговори вон с тем белокурый паренком из шахты, прислонившимся к стенке копра подтянуть резиновые сапоги: может быть, именно он станет со временем председателем ангренского горсовета? Было же утро однажды, когда тысячи советских газет произнесли вслух имя безвестного и героического донецкого шахтера... Запомни деловитую и черноглазую Ходжаеву, секретаря ахангаранского комсомола, или эту приветливую бригадиршу Худякову, — ее одиннадцать девушек уже не один месяц держат знамя первенства. На дорогах большой советской жизни ты с ними встретишься еще не раз!

Гости, начальники и рядовые командиры здешнего народного хозяйства идут по дороге, иссеченной гусеницами тракторных тягачей. Ночной холодок уже хлынул с ближних предгорий. День клонится к вечеру, а солнце к дальнему Ахангарану. Черная, полуметровой высоты, гряда лежит на земле. Все становятся в полукруг, и беседа рвется на полуслове.

— ... вот он и сам, ангренский уголь, — представляет начальник строительства.

Все нагибаются взять по куску. Уголь глубокого матового цвета, маслянист на ощупь, тяжел, пачкает пальцы. Одинаковое волнение охватывает всех, как если бы доводилось распечатывать посылку, которая шла до своего адресата три миллиона лет. Люди стоят молча, созерцая будущее гиганта в его просторной колыбели, образованной Чаткальским и Кураминским хребтами!..

# Дипломатия и дипломаты

Б. ИЗАКОВ

★

В 168 году до нашей эры сирийский царь Антиох IV захватил значительную часть Египта. Египет, обессиленный войной с Сирией и междоусобной распрей между египетским царем Птолемеем и его братом, не мог дольше сопротивляться. Царь Птолемей запросил мира у Антиоха. Но победитель выдвинул такие тяжкие и унижительные для побежденного условия, что переговоры зашли втупик. Антиох двинулся во главе своего войска на египетскую столицу Александрию. Когда сирийское войско находилось всего в четырех милях от Александрии, неожиданно произошло нечто, в корне изменившее исход египетско-сирийской войны.

Сирийское войско встретило небольшую кучку людей. Это были послы Рима. Изумленный сирийский царь приветствовал послов и протянул руку главе посольства Попилию. Не отвечая на приветствие и не принимая протянутой руки, Попилий вручил Антиоху дощечку с написанным на ней постановлением римского сената. Из этой дипломатической ноты Антиох узнал, что Рим требовал от него немедленного очищения Египта. В противном случае утомленным войной сирийским войскам предстояло столкнуться с новым могущественным противником — римскими легионами. Раздосадованный Антиох заявил, что желает обсудить ультиматум Рима со своими приближенными. Тогда Попилий очертил палкой круг на песке и сказал царю:

— Прежде чем выйти из этого круга, дай точный ответ, который я могу передать сенату.

— Я исполню все, чего требует сенат, — ответил застигнутый врасплох сирийский царь.

Услышав этот ответ, Попилий пожал руку Антиоху. Сирийское войско повернуло вспять, утратив в течение нескольких минут плоды своей победы над Египтом. А римские послы помирили между собой братьев Птолемеев и прочно утвердили в Египте римское влияние. Попав в орбиту Рима, Египет стал постепенно утрачивать свою самостоятельность и, наконец, превратился в римскую провинцию.

Удачный выбор момента, когда война обессилила два крупных государства Ближнего Востока, облегчил Риму одну из его величайших дипломатических побед. Попилий и его коллеги сумели одними дипломатическими средствами, не вынимая меча из ножен, втянуть большую страну в сферу римского влияния и тем самым предрешить ее дальнейшую судьбу.

Об этом рассказано в «Истории дипломатии»: очень ярко и убедительно показано огромное значение дипломатии в руках государства для защиты его интересов. Выход в свет первого тома этого труда под редакцией В. П. Потемкина обогатил советскую историческую науку и явился немаловажным событием в культурной и общественной жизни нашей страны.

★

Дипломатия — политическая деятельность правительств в области международных сношений — возникла в седой древности, когда первые рабовладельческие государства стали испытывать потребность взаимного общения.

До наших дней дошел договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов Хаттушилем III. Это был дружественный договор об оборонительном и наступательном союзе. «Если пойдет какой-либо враг против владений Рамсеса, то пусть Рамсес скажет великому царю Хеттов: иди со мной против него со всеми твоими силами» — так гласит этот договор, заключенный в 1278 году до нашей эры.

В 432 году до нашей эры в Спарте состоялась настоящая дипломатическая конференция государств Пелопонесского союза. На этой конференции влиятельные делегации призывали к созданию антиафинской коалиции и открытию военных действий против Афин. Если бы в ту далекую пору существовали газеты, они не пожалели бы красок на описание развернувшихся на конференции бурных прений, в ходе которых коринфские делегаты бросили серьезное обвинение по адресу афинян:

— Афиняне всегда на словах выступают против войны; на самом же деле они усиленно к ней готовятся.

Разгоревшаяся Пелопонесская война завершилась подписанием Никиева мира — замечательного дипломатического документа античной Греции. В том же году Афины и Спарта заключили по всем правилам дипломатического искусства договор о взаимной помощи.

Наряду с мирными пактами, союзными договорами, договорами о взаимопомощи дипломатам древности были известны соглашения о максимальном благоприятствовании, носившие, преимущественно, экономический характер.

Конечно, в те века дипломатия была лишена современного лоска. Вавилонский царь Кадашман-Харбе обращался к египетскому фараону Аменофису III с бесцеремонной просьбой: «Что касается золота, шли мне золото, много золота, шли его до прибытия посольства.

Пришли его теперь же, как можно скорей, в эту жатву, в месяц Таммуз». Вавилонский царь Бурнабуриаш писал фараону Аменофису IV в своеобразной ноте протеста по поводу принятия Аменофисом ассирийских послов: «Если ты расположен ко мне, не вступай с ними в сношения. Пусть они уезжают, ничего не добившись. Со своей стороны шлю тебе в подарок пять мин голубого камня, пять конных упряжек и пять колесниц».

Современный Кадашман-Харбе облек бы свою просьбу о присылке золота в несравненно более дипломатичную форму; возможно, что он ходатайствовал бы о долгосрочном займе. А Бурнабуриаш наших дней ни словом не упомянул бы в своей ноте о неугодных ему ассирийских послах; зато он не преминул бы перечислить вскользь все те вопросы, в которых имел возможность нанести ущерб интересам Аменофиса; остальное было бы ясно без слов.

Что и говорить, минувшие века ознакомились немалым прогрессом дипломатии. Нельзя недооценивать ее величайшее значение в жизни государств; например, в средние века в России и Франции дипломатия много способствовала «преодолению феодальной раздробленности, объединению и расширению государственной территории, борьбе с соперниками за военное и торговое преобладание, поискам союзников, необходимых для разрешения этих задач». («История дипломатии», том I, стр. 91.)

Большая государственная роль дипломатии требовала соответствующих качеств от ее деятелей.

Древне-индийские законы Ману предъявляли высокие требования к дипломатии и дипломатам. Согласно законам Ману, дипломатическое искусство заключается в умении предотвращать столкновения и укреплять мирные отношения между народами. Дипломаты-послы создают дружбу между государствами или срывают их. Мир и война находятся в руках послов. Вот почему законы Ману рекомендовали назначать послов с большим выбором, из числа людей почтенного возраста, преданных своему долгу. Проницательность, все-

сторонняя образованность, умение быстро проникать в планы иностранных государств, знание местных условий, хорошая память, красноречие, представительность, обходительность с людьми, — таковы те качества, которыми наделяли дипломатов законы Ману. Характернее всего, что эти законы требовали от дипломатов честности.

В древней Греции свято чт�ли заключенные договоры. По убеждению античных греков, нарушение договора влекло за собой божественную кару. Договорные обязательства скреплялись клятвой договаривающихся сторон; клятва дополнялась проклятием по адресу возможных нарушителей договора. Все споры, возникавшие между участниками договора, передавались на разрешение международного арбитража — третейских комиссий, налагавших тяжелые денежные штрафы на нарушителей договорных обязательств. Злостным нарушителям договоров в древней Греции угрожала священная война. Тексты договоров высекались на каменных столбах, хранившихся в храмах и национальных святилищах. При расторжении договора и разрыве дипломатических отношений эти столбы полагалось разбивать.

Так было в древности, когда дипломатия была в зачатке. Ход времени во многом изменил старинные представления о дипломатии и дипломатах.

Макиавелли, один из крупных политических мыслителей XVI века, оказавший немалое влияние на развитие дипломатии, советовал в своих сочинениях «не уклоняться от пути добра, если это возможно, но уметь вступать и на путь зла, если это необходимо». А английский посол во Франции Генри Уоттон давал в XVI веке такое определение послу и его функциям: «Муж добрый, отправленный на чужбину, дабы там лгать на пользу своей стране». Сравнивая это определение с уложениями древнего закона Ману, нельзя не согласиться с тем, что прогресс движется иной раз очень извилистыми тропами!

С течением времени хитроумная интрига стала занимать все больше места в

дипломатии. Большим мастером по этой части был французский король Людовик XI, которого нередко считают родоначальником современного дипломатического искусства. Людовик XI относился с пренебрежением к рыцарским доблестям и к военной славе, будучи глубоко убежден в том, что хитрость лучше, чем сила. Он был ловким притворщиком и отлично умел обольщать людей. В письме к своим послам, ведшим переговоры с Максимилианом Габсбургским, Людовик XI писал: «Они вам лгут. Ладно! Лгите им больше». В этом Людовик усматривал едва ли не важнейший принцип дипломатии.

Серия обманных маневров позволила прусскому королю Фридриху II значительно расширить границы своего королевства. Во время войны за австрийское наследство Фридрих II выступил против Марии-Терезии вопреки данному Пруссией обещанию — признать ее наследницей австрийского престола. При этом Фридрих заверил французского посла, что поделится своей добычей с Францией, если последняя окажет ему военную помощь. Антиавстрийская коалиция в составе Пруссии, Франции, Испании и Баварии стала теснить австрийские войска. Этим моментом Фридрих воспользовался для заключения тайного соглашения с Марией-Терезией. Та согласилась уступить Пруссии Нижнюю Силезию с городами Бреславлем и Нейсе, взяв с Фридриха обещание, что он никогда не потребует других австрийских территорий. Фридрих с готовностью дал это обещание. В соответствии со своим тайным обязательством Мария-Терезия приказала австрийскому гарнизону в Нейсе сдать город после двухнедельной демонстративной осады прусскими войсками. Это не помешало Фридриху неожиданно ударить всеми своими силами на австрийскую армию и разбить ее при Чаславе. Затем прусский король получил при поддержке англичан, помимо Нижней Силезии, всю Верхнюю Силезию.

Все эти маневры были столь искусно проведены пруссаками, что их французские и иные союзники не сразу по-

няли смысл происшедшего. В числе прочих на удочку попался даже великий Вольтер. Вольтер поспешил поздравить своего «друга» Фридриха с достигнутыми успехами. Зато потом, когда французы увидели, что они воевали «для прусского короля» — «pour le roi de Prusse», — их негодованию не было предела, а Вольтеру пришлось публично отмежеваться от своего поздравительного письма.

Фридриху II принадлежит бесподобное заявление:

— Не говорите мне о величии души! Государь должен иметь в виду только свои выгоды.

Много лет спустя два монарха поклялись друг другу над гробницей Фридриха II во взаимной дружбе. То были Фридрих-Вильгельм III Прусский и царь Александр I. Когда затем, накануне войны 1812 года, Фридрих-Вильгельм согласился предоставить свой войска в распоряжение Наполеона и изъявил желание получить в виде компенсации Прибалтийский край, французский император задал саркастический вопрос:

— А как же клятва над гробом Фридриха?

Но, по существу, попирая торжественный обет, данный им над гробницей Фридриха II, прусский король лишь выполнял заветы своего предшественника.

Широкую известность получил коварный прием, которым «железный канцлер» Бисмарк обеспечил нейтралитет Англии во время франко-прусской войны 1870—1871 годов. Начав энергичную подготовку войны против Франции, Бисмарк заручился дипломатическим документом, свидетельствовавшим о захватнических притязаниях Франции на бельгийскую территорию. В одной из своих бесед с французским послом Бенедетти он попросил последнего сформулировать в письменном виде все пожелания французского правительства. Не усмотрев расставленной ловушки, французская дипломатия легкомысленно снабдила Бисмарка секретным меморандумом, существеннейшая черта которого заключалась в проекте включения Бельгийского королевства в состав Француз-

ской империи. Зная, насколько Англия дорожит сохранением бельгийской независимости, Бисмарк тщательно припрятал компрометирующий Францию документ. Он извлек его на свет и предал гласности лишь после начала франко-прусской войны. Опубликование секретного французского меморандума произвело желательное Бисмарку впечатление на Англию.

С давних пор деятельность дипломатов часто переплеталась с активностью разведок.

В одном из арабских трактатов XI века подчеркивается, что, отправляя послов друг к другу, некоторые государи преследуют не только дипломатические, но и разведывательные цели. «Они хотят знать, — говорится в трактате, — каково положение дорог, проходов, рек, рвов, питьевых вод, может ли пройти войско или нет, где имеется фураж, где его нет, кто из чинов в том или другом месте, каково войско того царя и каково его снаряжение и численность... Его войско — довольно или нет? Народ его — богат или беден? Бдителен ли он в делах или беспечен? Визирь его — достоин ли или нет, религиозен ли, добродетельного ли жития? Являются ли его главнокомандующие опытными и искусными в делах людьми или нет? Его приближенные — ученые, даровиты или нет? Что они ненавидят и что любят? Во время питья вина царь общителен и весел или нет? Участлив ли он или безучастен? Склоняется более к серьезному или веселому? Предпочитает более находиться среди воинов или женщин?»

Коммин, главный дипломат Людовика XI, утверждал, что «послы не выходят из рамок своих обязанностей и не злоупотребляют своим долгом, предаваясь шпионажу и торговле соведью». Исходя из этого, Коммин замечал: «За одного посла, которого враги нам дают, я бы им послал взамен двух». Хозяин Коммина Людовик XI тратил много времени и усилий на то, чтобы добывать всевозможную информацию о государствах и деятелях, с которыми ему приходилось иметь дело. Людовик завел обширные досье, в ко-

торых хранил полученные им разносторонние сведения.

В XVI и XVII веках применялся весьма оригинальный термин для обозначения посла: «почетный шпион» («espion honorable»). Именно такими «почетными шпионами» были многие первые иностранные резиденты и посланники в Московском государстве. Известно, например, что в донесениях шведских резидентов в Москве своему правительству сообщались очень ценные сведения о военных силах Московии. Впрочем, и русская разведка была поставлена неплохо. При Анне Ивановне русский посланник в Турции Неплюев имел тайного осведомителя в свите своего главного противника — французского посла, — каждый шаг которого был известен Неплюеву.

Значительно позже России дорого обошлась болтливость некоторых придворных и самого царя в общении с иностранными дипломатами. Это было во время Крымской кампании. Героическая оборона Севастополя смутила французского императора Наполеона III, и он одно время подумывал снять осаду города. Неожиданно французское правительство получило сообщение, заставившее Наполеона отказаться от своих колебаний. Дело в том, что в петербургских салонах велась легкомысленная болтовня об отчаянном положении защитников Севастополя. Сам Николай I часто падал духом и в такие моменты откровенно делился своими тревогами с прусским военным атташе графом Мюнстером, считавшимся «другом» России. Граф Мюнстер подробно излагал эти разговоры, как и содержание бесед в петербургских салонах, в своих письмах к генералу фон-Герлаху, любимцу прусского короля. Но за Герлахом шпионил прусский премьер-министр Мантейфель. Агент Мантейфеля выкрадывал письма графа Мюнстера из письменного стола фон-Герлаха и передавал их премьер-министру. Этот агент, некий Техен, надумал продавать копии с писем Мюнстера французскому послу в Берлине, а тот стал пересылать их в Париж. Таким образом, Наполеон III получал подробные отчеты о положении в Пе-

тербурге, так сказать, из первых рук.

Еще царь Македонии Филипп II, отец Александра Македонского, говорил, что нагруженный золотом осел возьмет любую крепость. В книге голландского автора Авраама Викфора — «Посол и его функции», изданной в 1676 году, специальная глава носила такой заголовок: «Послу позволяет подкупать министров двора, при котором он выполняет свои функции». Как рассказывает Викфор, некий простодушный джентльмен однажды сообщил английскому королю Якову I о том, что многие придворные и члены королевского совета получают деньги от Испании. Яков I ответил, что это ему хорошо известно; он добавил, что не возражал бы, если бы Испания платила его приближенным еще в десять раз больше: тем меньше, по его словам, оставалось бы у нее денег на войну с Англией.

Подкуп чиновников иностранных правительств, вплоть до министров, был долгое время весьма распространенным явлением в Европе. Продажность одного из величайших французских дипломатов, Талейрана, вошла в пословицу.

История дипломатии знает немало подлогов, фальшивок. Едва ли не самая шумевшая фальшивка была пущена в ход папской дипломатией. Речь идет о знаменитом «Константиновом даре» — документе, который должен был доказать неотъемлемость прав папы на светскую власть в Папской области в Италии. Эта неуклюжая фальшивка повествует о том, как император Константин в знак благодарности за чудесное исцеление от проказы отдал папе власть над Западом, а сам, удалившись из Рима, обосновался в Константинополе.

Впоследствии другие фальшивки сыгнали свою роль в расшатывании светской власти папства. В столкновении между французским королем Филиппом IV и папой Бонифацием VIII королевский двор бойко прибегал к подделке папских булл.

В эпоху Французской буржуазной революции европейская реакция широко применяла фальшивки для борьбы против революционной Франции. При по-

мощи подложных документов деятели реакции искусно раздували слухи об антимонархической пропаганде якобинцев за пределами Франции. Так был сфабрикован и опубликован подложный «доклад Сен-Жюста», содержащий фантастические сведения о якобинской пропаганде в европейских странах, о «парижском золоте» и прочих небывлицах. (Быть может, английские твердолобые, некогда сфабриковавшие «письмо Коминтерна» для борьбы против советской власти, воспользовались в качестве шпаргалки этим «докладом Сен-Жюста».)

С ловким подлогом связана история возникновения франко-прусской войны 1870 — 1871 годов. Об этом рассказал двадцать пять лет спустя сам автор этого подлога — Бисмарк.

Дело происходило в июльские дни 1870 года. Обе стороны, подготовлявшие войну уже в течение длительного времени, считали момент подходящим для начала военных действий. Нехватало только предлога. Вечером 13 июля Бисмарк получил за обедом срочную телеграмму из королевской резиденции в Эмсе. В депеше сообщалось о переговорах престарелого прусского короля Вильгельма I с французским послом Бенедетти. Отклоняя явно провокационные требования Франции, Вильгельм I в то же время оставлял открытыми двери для соглашения: он указал, что франко-прусские переговоры могут продолжаться после его возвращения в Берлин. Бисмарк был удручен уступчивостью короля, его готовностью пойти на примирение. Таково же было и настроение гостей Бисмарка, сидевших вместе с ним за обеденным столом в момент получения депеши из Эмса. Это были: военный министр фон-Роон и начальник главного штаба армии фон-Мольтке.

Бисмарк задал Роону и Мольтке вопрос: достаточно ли, в самом деле, вооруженные силы Пруссии подготовлены для того, чтобы разбить Францию? Военный министр и начальник главного штаба ответили на этот вопрос утвердительно. Тогда Бисмарк зачеркнул в депеше то место, где говорилось о воз-

можности дальнейших переговоров в Берлине. Смысл новой редакции депеши сводился к тому, что прусский король, отклонив требования Бенедетти, отказался от дальнейших переговоров с Францией.

— Это будет красный платок для галльского быка, — заявил Бисмарк своим гостям, пришедшим в восторг от нового текста депеши.

Так был сфабрикован желанный обеим сторонам предлог для объявления войны.

Конечно, все это отнюдь не означает, что лживые маневры, шпионаж, подлоги, а то и убийства являются непременными аксессуарами всякой дипломатической деятельности. Среди выдающихся дипломатов были сторонники прямой и честной политики. Они рассматривали свою деятельность как дело, способствующее благополучию своей страны. Некоторые из них много сделали для защиты национальной чести своего государства. Петр I был великим государственным деятелем и выдающимся дипломатом. Однако основными принципами его внешней политики были добросовестность и верность взятым обязательствам. Петру принадлежат слова: «Лучше можно видеть, что мы от союзников оставлены будем, нежели мы их оставим, ибо горор пароля (честь данного слова) дражае всего есть».

Пример Петра достаточно наглядно показывает, что крупнейших дипломатических успехов можно добиться и прямыми, а не темными путями.

Блестящие успехи внешней политики Петра объясняются его умением сосредотачивать все усилия на разрешении какой-либо одной важнейшей проблемы, откладывая впредь до ее разрешения другие, второстепенные вопросы. Внешняя политика Петра отличалась твердостью и последовательностью, не знала колебаний и шатаний. «Этот действительно великий человек, — писал Энгельс о Петре, — ...первый вполне оценил изумительно благоприятную для России ситуацию в Европе. Он ясно увидел, наметил и начал осуществлять основные линии русской политики как по отношению к Швеции, Турции, Пер-



сии, Польше... так и по отношению к Германии».

Добившись выгодного мира с Турцией, закрепившего завоевания России на Азовском море, Петр развязал себе руки для действий на Севере. Победы русского оружия в войне со Швецией, равно как и энергичная дипломатия Петра, обеспечили России выход к Балтийскому морю. «В Европу прорубив окно», Петр выдвинул Россию на одно из первых мест в ряду европейских держав. Только разрешив важнейшую для России проблему Балтики, он обратил свои взоры на Восток и приступил к действиям против Персии.

Петр крепко держал в руках рычаги российской дипломатии. Он лично участвовал в важнейших переговорах с иностранными державами и дважды ездил с этой целью за границу. Амстердамский договор между Россией, Францией и Пруссией, заостренный против Швеции, был детищем петровской дипломатии. Петр реорганизовал по западному образцу русскую дипломатическую службу и воспитал кадры умелых дипломатов.

Крупнейшей фигурой истории дипломатии является Екатерина II, действовавшая при помощи таких талантливых дипломатов, как Н. И. Панин и А. А. Безбородко. В итоге успехов русской дипломатии и русского оружия в эпоху Екатерины II «закреплены были достижения Петра Великого в Прибалтике; воссоединены земли, населенные родственными русскому народу белоруссами и украинцами. Россия стала твердой ногой на Черном море. Наконец, Российская империя завоевала решающий голос в делах европейских («История дипломатии», т. I, стр. 291).

История знает немало талантливых, выдающихся людей, верой и правдой служивших своему народу на поприще дипломатии. Одному из них, знаменитому американскому ученому, мыслителю и общественному деятелю Вениамину Франклину довелось стать на склоне лет послом Соединенных Штатов во Франции. Дипломатическая карьера Франклина началась несколько раньше, когда, по поручению конгресса Соеди-

ненных Штатов, он вел переговоры в Лондоне. Это было нелегко: тогда уже шла освободительная война североамериканских колоний против Англии. В качестве официального представителя мятежных колоний Франклин выступил с речью в английской палате лордов: он выдвинул 17 требований примирения. На голову Франклина обрушилась буря негодования и оскорблений, но он не потерял хладнокровия и спокойно возражал разъяренным лордам.

Дипломатическая миссия Франклина во Франции ознаменовалась рядом блестящих успехов. Посол молодой заокеанской республики олицетворял собою передовые, прогрессивные идеи американской борьбы за независимость. Именно поэтому он привлекал к себе горячие симпатии французского народа. Эти симпатии были столь велики, что скромный американский ученый стал даже законодателем мод в блестящем Париже. Передовые люди тогдашней Франции, в их числе талантливый драматург Бомарше, оказывали посильное содействие американскому послу.

В своей дипломатической деятельности Франклин и его миссия широко использовали англо-французские противоречия. Преодолевая в монархической Франции бесчисленные преграды, Франклин сумел добиться от нее заключения договоров о союзе и о торговле, предоставления крупных займов и помощи оружием. Американская миссия в Париже сыграла точно так же большую роль в установлении контакта между Соединенными Штатами и Испанией. Как Франция, так и Испания выступили против Англии.

Американская дипломатия эпохи борьбы за независимость получила высокую оценку в «Письме к американским рабочим», вышедшем из-под пера Ленина в 1918 году. «В своей трудной войне за освобождение,—писал Ленин,—американский народ заключал тоже «соглашения» с одними угнетателями против других, в интересах ослабления угнетателей и усиления тех, кто революционно борется против угнетения, в интересах массы угнетенных. Амери-

канский народ использовал рознь между французами, испанцами и англичанами, он сражался даже иногда вместе с войсками угнетателей — французов и испанцев против угнетателей — англичан, он победил сначала англичан, а потом освободился (частью при помощи выкупа) от французов и от испанцев».

При всем том миссия Соединенных Штатов в Париже могла бы избежать многих трудностей и проволочек, если бы она с большей бдительностью следила за темными махинациями своих противников и временных союзников. Вокруг нее постоянно увивались шпионы. В самом составе миссии имелся провокатор — агент английского правительства Эдуард Банкрофт. Другому члену миссии, чрезмерно доверчивому Сайласу Дину, было предъявлено обвинение в разглашении условий секретного договора о союзе с Францией. Обвинение в излишней доверчивости предъявлялось и самому Франклину; опасаясь доверчивости Франклина, другие члены миссии во время заключительных переговоров с Англией неоднократно действовали за его спиной.

Все же в конечном счете политика Франклина увенчалась полной победой. Заключив договор с Англией, которым англичане признавали независимость Соединенных Штатов, Франклин счел свою миссию законченной. К тому времени ему исполнилось 79 лет; он истощил свои последние силы, служа родине на посту ее дипломатического представителя. Когда конгресс разрешил ему вернуться в Америку, здоровье Франклина было уже так расшатано, что его пришлось доставить из Парижа в Гавр на носилках. Американский народ устроил угасавшему Вениамину Франклину восторженную встречу. Любовь народа дала Франклину основание записать в своих мемуарах: «Я прожил свою жизнь счастливо...»

Сущность дипломатии большей частью сводилась к тому, чтобы искать за рубежом союзников, разъединять и ослаблять противников.

Яркий пример неразборчивости в поисках союзников явил папа Григорий VII в своей борьбе с императором Ген-

рихом IV. В ходе военных действий против этого «христианнейшего» главы Священной Римской империи Григорий VII привлек на свою сторону отряды сицилийских мусульман. Вместе с южно-итальянскими норманнами мусульманским отрядам действительно удалось отстоять папу. Правда, папские союзники мимоходом подвергли Рим разгрому и разграблению, но Григорий VII все же добился своего.

Искусство разъединять противников, подрывать их силы постоянно занимало видное место в дипломатии всех времен и всех стран. В эпоху Пелопонесского союза к такой тактике с успехом прибегли Афины, чтобы ослабить своих опаснейших соперников на море — Коринф и Керкиру. Для этого афиняне заключили дружественный оборонительный союз с Керкирой, справедливо рассудив, что такой союз навлечет подозрения Коринфа и поссорит керкирян с коринфянами. Расчет оказался правильным. Разразившаяся керкиро-коринфская война ослабила обе стороны и позволила Афинам укрепить свои позиции.

Тактика разъединения возможных противников лежала в основе всей внешней политики древнего Рима. «Могущество Рима состоит не в его военной мощи, а в его способности разъединять противников» — говорил Ганнибал. Именно потому, что Ганнибал разгадал римскую тактику, он оказался для Рима таким опасным врагом. Рим всегда предпочитал вести войны не столько собственными силами, сколько силами своих союзников, и притом не на своей территории, а где-нибудь подальше.

«Разделяй и властвуй» — «divide et impera» — гласил основной принцип политической деятельности великого римлянина Юлия Цезаря. Придерживаясь этого принципа, Цезарь искусно сеял рознь среди галльских племен и покорил Галлию владычеству Рима.

Эту римскую тактику переняла Византия. Византийская империя находилась в окружении воинственных варварских племен. Чтобы устранить угрозу с их стороны, византийские деятели со-

рили и сталкивали эти племена, натравливая их друг на друга. В конечном же счете Византия заставляла варваров служить своим интересам. Нанимая на свою службу войска варваров, императоры Византии вели бесчисленные войны их руками. Особенно отличился в умении воевать чужими руками византийский император Юстиниан. Он воевал против болгар руками гуннов, против гуннов — руками аваров, против вандалов — руками остготов, против остготов — руками франков.

Кондотьер Франческо Сфорца советовал Людовику XI:

— Разделите своих врагов, временно удовлетворите требования каждого из них, а затем разбейте их поодиночке, не давая им возможности объединиться.

Следуя этому совету, Людовик XI разбил могущественную коалицию феодальной знати — так называемую Лигу общественного блага.

Классический пример консолидации национальных сил и использования противоречий в лагере враждебных государств дал Иван III, сумевший освободить Московское государство от татарского ига не столько оружием, сколько дипломатическим путем. Иван III добился заключения союза с крымским ханом Менгли-Гиреем, а затем привлек к этому союзу ногайских и сибирских татар. Владыка Золотой Орды, хан Ахмат, был убит ногайцами, а сама Золотая Орда была окончательно разгромлена Менгли-Гиреем. Так Иван III, по выражению Маркса, «погубил одного татарина посредством другого».

Основоположники английской дипломатии сделали тактику «войны чужими руками» руководящей нитью внешней политики Англии. Это о них метко выразилась шведская королева Христина:

— Мне кажется, в Англии много таких людей, которые, надеясь извлечь из того выгоду, выказывают больше святости, чем имеют ее в душе.

В XVII веке Англия открыто и беззастенчиво покупала за наличный расчет солдат у мелких немецких князей. Жадные до наживы мелкопоместные

князья порой учиняли форменные облавы на своих подданных, забирая в солдаты, а затем продавая их Англии. Ландграф Гессенский продал Англии 17-тысячную армию для участия в войне против восставших американских колоний. За какие-нибудь полстолетия немецкие князья выручили таким путем огромную сумму в 46,5 миллиона фунтов стерлингов.

В 1755 году Англии удалось заключить договор с Россией, согласно которому последняя обязывалась за 500 тысяч фунтов стерлингов одновременно и 100 тысяч фунтов ежегодной субсидии выставлять против врагов Англии на континенте 80-тысячную армию. Кстати сказать, договор с Англией подписал тот самый канцлер Бестужев, который состоял на жаловании у английского двора. Призраком этого наивыгоднейшего для Англии договора веками не давал затем покоя английской дипломатии.

Впрочем, с течением времени подобную куплю-продажу «чужих рук» английским дипломатам пришлось заменить более утонченными методами. Во время войн против Наполеона жутоминый Питт Младший сколачивал антинаполеоновскую коалицию не только при помощи субсидий, но и посредством сложных дипломатических комбинаций. Те же приемы были применены затем Пальмерстоном во время Крымской кампании при создании антирусского союза.

— Нет страны на свете, которая так мало проигрывала бы от войн, как Англия! — похвалялся Пальмерстон.

Дипломатия правящих классов старого общества всегда отличалась склонностью к внешнеполитическим соглашениям, направленным против интересов трудящихся. В уже упомянутом нами договоре египетского фараона Рамсеса II и хеттского царя Хаттушиля III имелся такой пункт: «Если Рамсес разгневан на своих рабов, когда они учинят восстание, и пойдет усмирять их, то заодно с ним должен действовать и царь Хеттов». Договор между Афинами и Спартой, заключенный в 421 году до нашей эры, также предусматривал вза-

имопомощь обеих сторон на случай восстания рабов. Но договор Рамсеса и Хаттушила имел в виду подвластные племена, а афино-спартанский договор был заострен против класса рабов, выступления которого угрожали самим основам античного рабовладельческого строя.

В XIX веке основатели «Священного союза» — русский царь Александр I, Франц I Австрийский и Фридрих-Вильгельм III Прусский — провозгласили идею подавления общими силами мятежного революционного духа, где бы он ни проявлялся. В 1849 году войска преемника Александра, Николая I, помогли Австро-Венгрии подавить венгерское восстание. А годом раньше Николай I сердечно поздравил французского генерала Кавеньяка, расстрелявшего тысячи революционных парижских рабочих.

В дни Парижской Коммуны в полной мере проявилась способность буржуазных государств забывать на время свои противоречия для совместной борьбы против рабочего класса. Победители и побежденные — прусское правительство Бисмарка и правительство Тьера в Версале — заключили между собой тайное соглашение, предусматривавшее участие прусских войск в блокаде осажденного Парижа. В последующем эта черта политики буржуазных государств проявлялась тем сильнее, чем больше расшатывался фундамент капиталистического строя.

Немудрено, что народные массы, поддерживавшие прогрессивные устремления в области международной политики, в то же время ненавидели враждебную им дипломатию правящих классов.

Полтора столетия тому назад деятели Французской буржуазной революции демонстративно отвергли старые дипломатические методы и, в первую очередь, политику тайных договоров. В своих сношениях — впрочем, весьма ограниченных — с иностранными государствами они проявляли демонстративное пренебрежение к дипломатической тайне. Левые якобинцы и эбертисты высказывались против всякой дипломатии и против переговоров с монархическими

странами. Шометт в принципе высказался за упразднение дипломатического представительства Французской республики за границей. Клоотц отрицал все прежние формы дипломатических сношений и не видел никакого применения для дипломатов.

Разумеется, дальше утопических излияний и демонстративных жестов дело не пошло. Очень скоро победившая французская буржуазия вернулась к старым дипломатическим методам, вдохнув в них иное классовое содержание.

Знание основ дипломатии, понимание ее сложных шахматных ходов обязательны для трудящихся. На это неоднократно указывали основоположники марксизма-ленинизма. Еще в учредительном манифесте I Интернационала Маркс призывал передовых рабочих овладеть тайнами международной политики, бдительно следить за дипломатией буржуазных правительств и противодействовать ей. В одном из своих писем к Энгельсу Маркс писал: «Я рад, что случай заставил меня поближе ознакомиться с внешней дипломатической политикой за двадцать лет. Эта сторона была у нас в большом загоне, а ведь надо же знать, с кем приходится иметь дело».

Ленин предостерегал рабочих против расставляемых дипломатами удочек; «было бы прямо ребячеством, — отмечал он, — если бы кто-нибудь вздумал верить словам дипломатов, не считаясь с делами их». В мае бурного 1917 года Ленин воскликнул: «Как жаль, что народные массы не могут читать ни книг по истории дипломатии, ни передовых статей капиталистических газет!»

Товарищ Сталин постоянно учит рабочий класс умению проникать в самые запутанные планы буржуазных правительств, умению разбираться в сложнейших вопросах международной политики.

Издание марксистской «Истории дипломатии» вооружает трудящихся нашей страны сильнейшим оружием для овладения основ дипломатии. Выход в свет этого замечательного труда как нельзя более отвечает потребностям нынешнего момента, когда международные

противоречия достигли предельной остроты и все шире разгорается пожар второй мировой войны.

★

Величайшая заслуга авторов и редактора вышедшего в свет первого тома «Истории дипломатии» заключается в правдивом и строго научном освещении дипломатического прошлого нашей страны. Покровский и его последователи немало потрудились над тем, чтобы исказить это прошлое. В их статьях и книгах Россия представлялась каким-то европейским захолустьем, а русские дипломаты рисовались в самом неприглядном виде. Нечего и говорить, что подобные писания не имеют ничего общего с подлинной наукой.

Россия всегда являлась важным фактором европейской политики, силой, с которой приходилось считаться всем державам, чьи интересы соприкасались с Восточной Европой. С каждым веком возрастал международный авторитет нашей страны. Начиная с середины XVII столетия ни одна международная проблема не могла быть разрешена в Восточной Европе без участия России. В первой половине XIX века Россия оказывала первенствующее влияние на дела западноевропейского континента.

Русские дипломаты во многом способствовали укреплению могущества России. Нередко они брали верх над своими противниками в дипломатических поединках. Закладывая основы могущественного Московского государства, Иван III и Иван IV проявили выдающиеся дипломатические качества. Первые профессиональные дипломаты Московского государства — Иван Висковатый, Андрей Щелкалов и другие — заложили в лице «Посольского приказа»

основы российского дипломатического ведомства. Своей целеустремленной внешней политикой Петр I сумел разрешить важнейшие проблемы, назревшие для России в его время. Успехи петровской дипломатии были умножены А. И. Остерманом, Н. И. Паниным. Бисмарк учился дипломатическому искусству у крупнейшего русского дипломата XIX века А. М. Горчакова — товарища Пушкина по лицу.

Эта блестящая плеяда русских дипломатов стяжала себе громкую славу.

В наши дни дипломатия Советской страны принципиально отлична по своей классовой сущности, по своим целям и методам от дипломатии всех других государств. Это — подлинно справедливая, революционная дипломатия, не знающая великодержавных, захватнических устремлений в отношении других стран. В ее основе лежит защита интересов трудящихся.

На долю советской дипломатии выпала труднейшая задача из всех тех, которые когда-либо знала международная политика. Страна социализма окружена враждебным капиталистическим миром. Наряду с другими средствами борьбы враждебное окружение пускает в ход против советской власти весь свой дипломатический арсенал. Нужен был дипломатический гений Ленина и Сталина, чтобы последовательно разбивать сложные хитросплетения коварных интриг, которыми враги пытались опутать нашу родину.

Советские дипломаты, вооруженные учением Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, руководимые в своей повседневной деятельности ближайшим соратником великого Сталина — Вячеславом Михайловичем Молотовым, вписывают на наших глазах новые блестящие страницы в историю дипломатии.

# Снова о вредной черепашке и теленомусе\*

ГЕННАДИЙ ФИШ

★

## ПИСЬМА ПИСАТЕЛЮ

**В** разгар минувшего лета я стал получать письма от людей разного звания и разных возрастов, из разных мест нашей страны.

Мне писали:

«В прошлом году вы написали книжку, в которой утверждали, что найден решительный способ борьбы и уничтожения черепашки, и даже говорили, что в 1940 году ее можно полностью уничтожить... А между тем, в этом году вредной черепашки стало даже больше, чем в прошлом году, и она уничтожает на много тысяч гектаров посевов больше...»

В чем дело? Может быть, то, что вы писали, было простой фантастической сказкой, — так зачем же вы дали подзаголовок «Реалистическая сказка»?..»

Были и другие письма.

Но первые письма меня взволновали и расстроили...

В самом деле, не увлекся ли я слишком, печатно заявив о том, что найдены способы уничтожения черепашки? Не ввел ли в заблуждение читателей? А если я был прав в своей книжке, то почему же все-таки черепашка совершает такое победное шествие по полям?

Советский писатель должен отвечать за свои слова, даже если называет книжку свою «реалистической сказкой»... И я решил, предварительно наведавшись в Наркомзем, обратиться в те районы, которые в прошлом больше всего пострадали от вражеского нашествия.

## ГЛАВА — УВЫ! — НЕ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

«Первый ученый, которого я посетил, был тощий человечек с закопченным лицом и руками, с длинными всклокоченными и местами спаленными волосами и бородой. Его платье, рубаха и кожа были такого же цвета. Восемь лет он разрабатывал проект извлечения солнечных лучей из огурцов; добытые таким образом лучи он собирался заключить в герметически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета. Он не сомневался, что еще через восемь лет будет иметь возможность продавать солнечные лучи для губернаторских садов по умеренной цене; но он жаловался, что его акции стоят низко, и просил меня дать ему что-нибудь в качестве поощрения его изобретательности, тем более, что в этом году огурцы очень дороги. Я предложил профессору несколько монет...» — все это с полной достоверностью сообщает нам Гулли-

\* См. «Новый мир», № 8 за 1939 г.—«Вредная черепашка и теленомус» того же автора.

вер в своем отчете о путешествии в чудесную страну Лапута.

Увы! Повсюду, и даже у нас, есть ученые-профессора, ведущие свой род от лапутян...

Советское государство тратит на науку огромные суммы и, к сожалению, часть их расходуется бесплодно. А иногда мысль излагается так, что ее понять невозможно.

Полюбуйтесь:

«Собранные в единый кулак все эти разрозненные, разбросанные по разным логиям сведения и слепленные воедино агогическим цементом, — они позволят нам действительно стать творцами животных форм. Вместе с тем и в рамках физиологии, в рамках экологии и других логий несомненно внедрение в них гибридагогии (и других агогий, конечно) вызовет расцвет исследований по таким проблемам, которые без этого еще долго оставались бы в тени, а это, конечно, вызовет и новый расцвет самих логий, оплодотворяемых дыханием творческого энтузиазма агогов»<sup>1</sup>.

Разве эти строки не напоминают разговор лапутян?!

И разве в Лапуте, а не у нас, кое-чем проводилось пятнадцать лет исследование: «Анализ темперамента диких крыс и их гибридов».

А один академик разрабатывал проблему: «Кастрация снегирей и зябликов».

И вдруг, без особо ученой терминологии, академик Лысенко предлагает мобилизовать на борьбу с вредной черепашкой кур и теленомуса.

И сразу же загремели пламенные речи некоторых лапутян:

— В вашем распоряжении вся мощь современной советской химии, мощь всех последних достижений науки и техники, а вы суетесь со своими допотопными деревенскими курами!

— Птица? Курица не птица, — посмеивались скептики, — это известно издавна!

— Нет, верно, плохи дела у Лысенко, если он за кур ухватился!

— Гуси Рим спасли, — язвили местные остряки, а куры призваны спасти Сельскохозяйственную академию и ее президента!

А вредная черепашка, между тем, не обращая внимания на кастрацию снегирей и зябликов, продолжала размножаться и размножаться.

И летом 1940 года ее было на полях гораздо больше, чем в прошлом году...

### ЧТО ГОВОРIT ПРАКТИКА

В 1939 году по вине вредной черепашки колхозы Вознесенского района, прилегающие к местным лесам, остались без хлеба.

У них не оставалось даже семян на будущий год.

А черепашка устраивалась на зимовку. В лесу в тридцать восьмом году нигде не находили больше 70 штук клопов на квадратном метре, а теперь их было в некоторых местах и до 1500 штук...

В хатах по вечерам не загорались огоньки. Во всем районе не было слышно песен.

Будущий год обещал стать еще более суровым.

И вновь, шагая по пыльной дороге, беседовал с приятелем седобородый Павло, с которым читатель познакомился в книжке «Вредная черепашка и теленомус».

Оба они были печальны.

Павло теперь ни в чем не винил свою старуху. Он знал теперь причину несчастья.

— Надо сейчас же все бросить и переселяться куда-нибудь всем селом с семьями, с худобой, со всем скарбом, — говорил он. — В такие места надо ехать, где о черепашке и слухом не слышать. А то дальше еще хуже будет...

Собеседник вспоминал, какая богатая здесь земля и какой привольной может быть жизнь. Сколько здесь было прожито и пережито и горя, и счастья!

Он сказал:

— Нет, ты неправ. Надо сделать другое. Надо дотла сжечь все окрест-

<sup>1</sup> А. С. Серебровский. Гибридизация животных как наука. Сельхозгиз, 1933, стр. 28.

ные леса. Вместе с лесом сгорит и эта чортова черепашка.

— Так ведь это должны сделать все районы сразу, — ответил Павло, — мы спалим леса, а клоп к нам залетит из других районов, где леса остались невредимыми!

И они молча разошлись по домам. Так же, как они, думали сотни обескураженных колхозников.

Почти все охотники района, когда летела черепашка, вышли с оружием и стреляли из дробовиков в воздух, думая шумом пальбы отогнать летучее насекомое подальше.

А в колхозе имени Шевченко собрали у опушек леса мусор, кизяк и жгли, выдвигая против черепашки едкие дымовые завесы.

Но что помогало против других насекомых, оказывалось недостаточным в борьбе с черепашкой. Положение казалось безвыходным...

— ...И тут, — говорит директор Белоусовской МТС товарищ Сирков, — мы узнали из «Известий» о куриных походах в Новопражском районе...

И произошло чудо!

В тех колхозах, где в прошлом году было полностью уничтожено 62 проц. посевов и собран урожай по 2,8 центнера с гектара, в 1940 году не уничтожено ни одного га. Средний урожай — 10,8 центнера. А в передовых колхозах, — например, в колхозе имени Свердлова, где в 1939 году полностью погибла вся яровая пшеница и весь ячмень и овес, — средний урожай всех зерновых, несмотря на неблагоприятную погоду, достиг 13 центнеров.

Это чудо было бы еще более разительным, если бы так же рьяно, как Белоусовская МТС, принялась за дело ее соседка — Вознесенская МТС.

Но если Анисим Петрович Сирков и агроном-энтомолог Илья Тихонович Артеменко носились по своим колхозам, объясняли колхозникам, как надо бороться с черепашкой, помогали заведующим хатами-лабораториями разводить теленомусов, организовывали выезд птицеферм в леса, проверяли работу куроводов и осенью 1939 года вывезли в лес 25 тысяч кур, а весной 1940 года —

35 тысяч кур, то соседняя МТС выпустила в лес и в поле только 1200 кур. И результаты на полях были видны яснее, чем на какой-нибудь диаграмме.

Товарищ Сирков приезжал в колхоз и начинал агитировать за кур и теленомуса. Вместо ответа ему показывали директиву о том, что с клопом нужно бороться, сгребая листья в лесу и прикапывая их...

И тогда приходилось вытаскивать карандаш и доказывать с выкладками на глазах у собравшихся, что посылать кур на борьбу с черепашкой выгодно.

Когда после одного из таких собраний председатель колхоза имени Свердлова товарищ И. Г. продолжал упорствовать на своем, общее собрание сняло председателя с его поста.

А на другой день все колхозники принесли своих кур, чтобы они «выехали» на работу вместе с колхозной птицефермой.

Бывший председатель колхоза уже работал в артельной конюшне, и колхозники, улыбаясь, говорили:

— Нашего бывшего председателя черепашка снова к лошадям поставила!

И мы по этому поводу можем сказать:

— Если так, товарищи, то черепашке не чуждо чувство справедливости. Если она одного человека с председательского поста сняла, то другому дала известность!

И когда мы так говорим, всякий в районе поймет, что речь идет о Кондратии Евтихиевиче Заволоке...

### КОНДРАТИЙ ЗАВОЛОКА, ЛИЩИЦА И СУРКИ

Это он в прошлом году вывез своих кур в лес осенью. Пожилой человек, Кондратий Заволока всю осень провел с курами в лесу. В холодные ночи спал у костра. От дождей прятался под телегу, на которой приютилась птицеферма...

На рассвете Кондратий Евтихиевич вставал, открывал дверцу курятника, наливал воды в корытце, выпускал кур



и затем, отмеривая метров по двести от телеги, привязывал у дальних деревьев на длинную веревку собак. Собаки охраняли кур, увлекшихся уничтожением черепашки, от нападений лис.

Собаки чуют лису, и она чует собак отлично.

С ястребами заботы, конечно, было больше, — их запахом собаки не отгонишь... Бывало, что с неба сорвется камнем ястреб и утащит курицу.

Но за всю осень — работал Кондратий Евтихievич до снега — пропало у него всего пять кур из 250...

Поздней осенью в лесу сыро. И ноги промокают без спецобуви, и холодно пожилу человеку по ночам. Ветви цепляются за пиджак, сучья рвут брюки.

Одежды не напасешься...

Заволока обижался на невнимание председателя.

Если на поле работает трактор или какая-нибудь машина, председатель обязательно раз-другой в день наведается. А здесь в лесу работает один человек да две с половиною сотни кур, и бывало, за несколько дней никто не заглядывает.

Но Кондратий Заволока не то, что иные куроводы, — залягут под телегой, да там и лежат, а куры бродят только сколо своего домика. Нет, он берет по утрам палку и идет вперед, а куры идут за ним. Только и видать, как склоняются их красные гребешки на белых головках.

А если прелые листья слежались, то Кондратий Евтихievич разворошит их палкой, и курица из-под разворошенной листвы легко добудет себе черепашку. Когда же надо нестись, кура приходит к гнезду и выполняет свое куриное дело...

— Куры в лесу хуже несутся только у тех куроводов, которые работают близко к селу, где базар, — хитро улыбаясь, отвечал он на расспросы наблюдателей, — а у меня — в норме... И работают у меня они, как солдаты...

Когда же черепашка вышла на посевы из лесу, вслед за ней Кондратий Евтихievич перевел свое птичье воинство.

Он вывез свой домик на ячмень.

На поле плотность черепашки была — 30 штук на квадратный метр.

Заволока шел с палкой в руке по рыхлой и мягкой вспаханной земле.

Весь день так ходил, а за ним шли его куры. Он останавливался, поджидая их. Они шли и истребляли черепашку.

И после того, как Заволока проходил со своими курами, самый придирчивый человек редко мог найти на посевах черепашку.

Шли дожди, веяли ветры, палило солнце, а Заволока со своими курами работал порою за очень много километров от дома — он так и жил все время на поле, никому не доверяя своих кур.

И тут ему пришлось пережить трудное испытание.

На кочующих птицефермах было больше кур, чем планировали (ведь прибавились «индивидуальные»), и на подкормку нехватало проса.

Как быть?

Одной черепашкой курам питаться вредно.

Куры начали болеть. Товарищ Сирков разрешил некоторым куроводам вести кур обратно по домам, и, между прочим, тут же получил выговор «за срыв мероприятия».

Это было тем более смешно, что директор соседней МТС, который пальцем о палец не ударил, чтобы организовать куриные походы, не только не получил выговора, но и посмеивался над Сирковым:

— Вот что бывает, когда берешься не за свое дело и делаешь больше, чем требуют инструкции!..

Но Кондратий Евтихievич не увел с поля своих кур.

Он потребовал от колхоза пятьдесят маленьких капканов. Расставил их и стал ловить свиставших на полях сусликов...

С пойманных зверьков он сдирал шкурки, а мясо варил и давал курам. Кроме того, он собирал улиток и подкармливал ими своих кур.

И вот его куры снова здоровы и несутся.

Я боюсь назвать число пойманных им и скормленных курам сусликов, настолько оно неправдоподобно:

1800 сусликов уничтожил упорный куровод и тем тоже спас часть урожая...

Так жил, работал и ходил по полям Кондратий Евтихевич Заволока.

### О ПОДАРКЕ ТАЛИЦКОМУ И ЕГО ТРЕВОГАХ

Бой с черепашкой, открытый наступлением кур, продолжали в районе теленомусы, а завершили клопоуловители.

И в 1941 году в Вознесенском районе не говорят уже о борьбе с черепашкой. Там ставят вопрос иначе:

— Добиться полного уничтожения черепашки!

Это задача вполне реальная. Все же, и Сирков, и Артеменко, и Заволока, и Талицкий, пожимая плечами, говорят:

— Мы можем уничтожить черепашку в нашем районе. Но нужно, чтобы это было сделано и в соседних районах, — иначе она может снова залететь сюда. Ведь у нее есть крылья!..

Не случайно здесь упомянут наш давний знакомый Владимир Иванович Талицкий. Он был прикреплен Одесским институтом селекции и генетики к Вознесенскому району для методического руководства уничтожением вредной черепашки. Сейчас он стоит смущенный перед колхозниками колхоза имени Свердлова, которые на общем собрании постановили в знак благодарности за помощь подарить Талицкому мешок чистой прекрасной пшеничной муки, которой не коснулся дух черепашки.

И тут же ему вручают прекрасную буханку белоснежного хлеба, чтобы он продемонстрировал ее на всесоюзном совещании.

Владимир Иванович смущен. Дело не только в том, что он растроган вниманием колхозников. Дело в том, что Трофим Денисович Лысенко просил его поставить и опыт размножения теленомусов на поле в парниках, а опыт этот не удался. Не дал таких результатов, на которые рассчитывал Лысенко.

Огромную работу проделал Талиц-

кий со своими помощниками Надей Петровской и т. Недопако, чтобы выяснить, на сколько метров разлетается теленомус от места выпуска его. Приходилось опять разбивать площадь на маленькие участки. Считать найденные там яйца черепашки. Сверять зараженные с незараженными. Огромнейший труд!.. Но труд этот привел к неутожительным выводам — теленомус дальше, чем на сто метров, почти не летал. Да и на сто метров для поражения черепашкиных яиц улетало очень мало теленомусов...

То ли они при искусственном разведении стали слабосильными, то ли они, вообще, так далеко не летают, то ли еще что?.. Во всяком случае, если дело обстоит именно так, то следует, во-первых, над этим задуматься, а, во-вторых, точки выпуска теленомусов устраивать чаще!..

Вот какие мысли ввергают Талицко-го в раздумье. Но зато у него возникает и другая мысль, которая невольно вызывает улыбку на его лице...

Дело в том, что теперь открыли, как зимует взрослый теленомус. Он был обнаружен и Медведевой (Ростадра), и Сидоровниной (Орджоникидзе), и Мартинсенем, и самим Талицким, и другими товарищами: теленомус зимует под корою деревьев в нижней части ствола, под листьями, в сухих местах, у развилке ветвей, в гнилых дубовых пнях на опушках вблизи от посевов.

Каждый район теперь может пользоваться своим теленомусом, уже приспособившимся к местным условиям!

Все разговоры о районировании теленомусов, которые на иных станциях возникли после того, как в природе было обнаружено несколько разновидностей теленомуса, теперь отпадают.

И вот, подумать только! В то время, когда Алексеев с такими предосторожностями вез в Одессу в пробирках азиатского теленомуса, в то время, когда мы тряслись над несколькими замороженными самочками, — рядом, за стеной лаборатории, в саду института, зимовали тысячи нормальных теленомусов! Если бы они узнали об этом, они бы над нами хохотали!..

## ЧУДО В ВОЛНОВАХСКОМ РАЙОНЕ

В 1938 году во многих колхозах Волновахского района Сталинской области было собрано меньше четырех центнеров зерна с га.

Зерно было насыпано в кучи, но даже куры отворачивались от этих куч и не клевали. Его коснулся дух вредной черепашки.

Сделав свое дело, черепашка ушла в лес на зимовку. На будущий год бедствие грозило разрастись...

Районный агроном Даниил Антонович Хара-Мурза — крепкий и неутомимый, молодой, но уже поседевший в трудах человек — не знал, что делать, как спасти труды колхозников своего района.

И тут была получена инструкция Наркомзема о борьбе с черепашкой. По этой инструкции народ должен был идти в лес сгребать опавшую листву и присыпать собранные кучи землей...

Несколько сот здоровых людей должны были работать в лесу в сентябре и октябре.

Уничтожить таким образом черепашку на одном только гектаре леса — значило израсходовать 338 рублей и шестьдесят трудодней.

Хара-Мурза задумчиво шел по лесу, разгребая опавшие листья, на нижней стороне которых пряталась черепашка. Он подсчитывал, во сколько же обойдется такой египетский труд для одной только Сталинской области. Цифры получались неприятные — 88 миллионов рублей и 4 200 тысяч трудодней.

Сколько здорового и сильного народа должно все бросить и пойти в лес сгребать листву!.. Да и найдется ли в области столько народа? А если нет, — значит, черепашку все равно не истребить.

И тут под самым носом Даниила Антоновича заклекотал индейский петух. Он горделиво вытянул свою шею и снова опустил клюв к листве.

И Даниил Антонович увидел, как индюк с жадностью проглотил вредную черепашку. Поблизости паслись другие индюшки и куры. И все они на глазах

у Даниила Антоновича поглощали клопа.

Неподалеку находилась усадьба. Это был дом лесника.

Даниил Антонович поспешил к леснику.

— Сколько у вас кур? — спросил он опешившего от неожиданного вопроса лесника.

— Да сто с лишним, — ответил тот и на всякий случай добавил: — Только это теперь разрешается!

— А чем вы кормите этих кур и индеек?

— Да ничем. Все лето по лесу ходят сами по себе и питаются!..

— Вот это замечательно!.. Зарежьте, пожалуйста, эту индейку, — указал Хара-Мурза на мирно пасущуюся в лесу птицу.

В зобу и в желудке зарезанной индейки он сосчитал 800 черепашек.

Оставив недоумевающего лесника, Хара-Мурза поспешил к себе в район.

— Надо заставить работать кур! — вот вывод, к которому он пришел.

В первый год — осенью тридцать восьмого года — ему удалось вывести в лес только одну птицеферму — 330 кур.

Они «обрабатывали» полностью 25 гектаров леса за 35 дней, и к концу выяснилось, что очистка гектара леса с помощью кур обходится всего 25 рублей деньгами и не больше трех трудодней.

Значительно дешевле и на много трудодней меньше!

Теперь оставалась задача для третьеклассников — насколько это будет дешевле и легче в областном масштабе?

Итак, выход был найден.

И не вина товарища Хара-Мурзы, что через полгода Матковскому пришлось заново находить то же самое решение в Новопражском районе. Не его вина, что опыт этот сразу не был подхвачен и разнесен по всей стране.

Однако в районе теперь уже знали, как надо вести борьбу с вредной черепашкой. И к чести волновахского райисполкома надо сказать, что он уже 27 сентября 1938 года принял решение, аналогичное тому, какое Наркомземом

было принято лишь в августе 1940 года.

Осенью клоп устраивался в лесу на зимовку, и плотность его была — 160 штук на метр. Но уже осенью товарищ Хара-Мурза вывел кур в лес...

Весной же сорокового года работали в лесу около 15 тысяч кур.

Черепашка была уничтожена почти полностью на местах зимовки.

Вместо 758 га по плану «журицы» «обработали» 773.

В тридцать восьмом году в районе ушло на борьбу с черепашкой 10 500 трудодней, и все же ряд колхозов, в том числе «Червоный маяк», получили лишь 3,7 центнера зерна с гектара, а в сороковом году были истрачены только трудодни куроводов, и колхоз получил 12 центнеров с гектара — и притом не простого зерна, а семенного!..

Чудо произошло, таким образом, и в Волновахском районе.

Здесь куры немного работы оставили теленомусам!

Для окончательного уничтожения черепашки работники Волновахского района осенью сорокового года вывезли в леса уже около 40 тысяч кур.

Даниил Антонович обеспокоен теперь только тем, как обстоит дело у соседей. Потому что даже у себя в районе для того, чтобы никто не мог обвинить районного агронома в полном игнорировании приказов Наркомзема, пришлось допустить на нескольких га сгребание листьев и прикопку их людьми. Но по соседству, в Ольгинском районе, работала Щепетильникова, о которой речь будет итти впереди.

Если поверить Даниилу Антоновичу, все дело обстояло у него в районе просто и никаких особых случаев и приключений не было.

— Приключения, всякие романтические истории бывают только у тех, кого черепашка забила, — говорит он. — А у нас черепашке пришлось плохо. Вот и все...

Эти слова напомнили мне моего приятеля Егорова, капитана одного из рыболовных траулеров в Мурманске.

Мы вместе служили на действительной военной службе в Ленинграде, во

2-м автомобильно-мотоциклетном полку. После демобилизации несколько лет не видались. И вдруг я увидел Егорова в Петрозаводске на торжествах, посвященных пятидесятилетию Карельской социалистической республики. В петлице его бушлата был Орден Ленина.

Мы обрадовались этой неожиданной встрече. Вечером я спросил товарища:

— Наверно, у тебя на корабле и в море были какие-нибудь занятные приключения, необычайные случаи. Возможно, что твой траулер спас кого-нибудь или вывел из шторма судно, терпящее бедствие? А ну, не стесняйся, не скромничай, расскажи по душам, за что получил награду...

Егоров нахмурился и недовольно сказал:

— Если ты хочешь рассказов о приключениях и необычайных событиях, то ты не по адресу обратился. Об этом тебе могут многое порассказать капитаны тех судов, которые не выполнили производственных планов. Ведь у них всегда в оправдание найдется не одна история... А у меня никаких историй. Все в порядке. План улова рыбы выполнен. Никаких особенных случаев. Орден-то я за то и получил, что никаких происшествий у меня не было, а улов был большой.

Итак, в Волновахском районе, в сороковом году оправдалось предсказание — черепашка была разбита наголову.

Рядом с Волновахским районом находится Ольгинский. Это тот самый район, откуда в свое время присылали Трофиму Денисовичу панические телеграммы и куда в свое время выезжал Степан Тимофеевич Матковский (об этом читатель уже знает из первой части книжки «Вредная черепашка и теленомус»).

#### ЧУДО В ОЛЬГИНСКОМ РАЙОНЕ И ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ВИЗРА

Если в Волновахском районе черепашка была вся уничтожена в лесу, то совсем иначе обстояло дело в соседнем Ольгинском районе.

В этом районе 3 тысячи гектаров лесов. А на колхозных фермах района было всего 6 тысяч кур.

Их и бросили в лес на работу, на истребление клопа.

Работали они отлично, как и всюду, но их было мало, поэтому они к моменту вылета черепашки в поле успели очистить только около 550 гектаров леса.

Нужно было бы сразу же осенью мобилизовать на это дело и «индивидуальных» кур. Но этого не сделали, так как инструкции Наркомзема и местных земельных органов требовали не посылать в лес кур, а лишь сгребать листву. А народу на это дело нехватало, деньги своевременно не отпускались. К тому же «по вопросу о сгребании листвы» возникли жаркие, затянувшиеся споры между Наркомземом и Управлением лесоохраны, которое доказывало, что оно сгребание вредно отражается на лесе.

И в результате район по этому поводу получил одну за другой три разноречивые, взаимно исключаящие директивы.

Если бы в районе работал уже признанный местными работниками такой авторитетный человек, как Хара-Мурза, то возможно, что и здесь нашли бы правильное решение и сделали все по его совету. Но в Ольгинском районе борьбой с черепашкой руководила прикрепленная к Сталинской области Валентина Щепетильникова, научный работник, человек новый, только-что приехавший из Ленинграда.

Теперь-то, год спустя, своей энергией и работой, своей победой она завоевала подлинную любовь и авторитет; но вначале местные руководители, понятно, не знали еще, с кем они имеют дело.

Таким образом, черепашка не была уничтожена полностью в лесу и вылетела на посевы.

Она усеяла 12 700 гектаров посевов. Во многих местах плотность ее достигала 40 штук на квадратный метр. А урожай можно считать погибшим и при четырех клопах на метр.

Так обстояло дело весной сороково-

го года. Для спасения урожая нельзя было терять ни одной минуты.

И вот тут под руководством Валентины Щепетильниковой и было создано нечто вроде штаба борьбы с черепашкой. Был разработан сложный план войны, в котором каждому роду оружия было отведено почетное место.

Первое — куры. Была объявлена тревога.

Хозяйки понесли своих кур на фермы. И вместе с колхозными курами вывезли на поля кур «индивидуальных» — 12 500 кур вышли на посевы. Эта куриная пехота отработала, очищая поля от врагов, 5 000 гектаров.

Второе — теленомусы. Чтобы уничтожить черепашкино отродье, было выпущено в районе 12 миллионов теленомусов, выращенных в местных хатах-лабораториях. Один только завхатой-лабораторией колхоза имени Сталина товарищ Стигней выпустил на поля колхозов 3 миллиона черных наездников. Конечно, для полной победы требовалось бы, чтобы теленомусы летали над полями тучами, как мошкара, которая кружится в воздухе и даже мешает порою дышать коровам, заглатывающим ее с каждым вдохом. Но и те теленомусы, которые были выпущены, «обработали» 3 340 га, уничтожая черепашкино отродье.

Пехота и кавалерия сделали все, что могли в борьбе с врагом, бесконечно более многочисленным, и тогда на черепашку двинулись «мотомехчасти».

Третье — клопоуловители, конные и моторизованные. Конная клополовка была изобретена энтомологом Донецкой селекционной станции товарищем Мартинсенем, автоклополовка была изобретена секретарем одного из райкомов партии Ростовской области товарищем Одинцовым<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Товарищ Одинцов с помощью изобретенной им клополовки очистил полностью свой район от неприятеля. Однако в дальнейшем он успокоился — почил на лаврах, и в следующем году — 1939 — в его районе почти полностью весь урожай уничтожила черепашка.

Если уж она появилась, она не даст забыть о себе ни на минуту.

Механическими клопоуловителями лучше всего работать рано утром или к вечеру, когда почти вся черепашка находится на верхнем ярусе посева.

Днем слишком жарко, она прячется от солнца, и тогда клопоуловители работают менее эффективно.

Клопоуловители «обработали» 8 365 гектаров.

Кроме всех этих боевых средств, применялись и — с большим успехом — методы, которые применяются во всякой войне. А именно:

**Военная хитрость.** Убирали хлеб лобогрейками досрочно, в стадии восковой спелости, и этим спасли немалое количество центнеров хлеба.

**Сжатые сроки.** Они также были применены на уборке. Ведь каждый день промедления означал лишний день работы сотни миллионов врагов; каждый сэкономленный на уборке день давал сотни центнеров зерна.

**Ловчие полосы.** Несколько га хлеба среди убранных полей оставались нарочно необранными. И сразу все клопы шли на эти полосы и концентрировались там. Там их ловили клопоуловителями, давили и делали с ними все, что нужно. На таких ловчих полосах с одного га собирали до тонны клопа, т.е. до 10 миллионов штук.

Когда хлеб был уже убран, а черепашка еще не успела улететь в лес, провели раннюю пахоту, причем пахота эта была глубокая: в 22 — 25 сантиметров глубины. Попросту говоря, черепашку закопали в землю живьем.

В земле она даже полезна, как удобрение.

Все эти военные хитрости, примененные в войне против черепашки, называются агротехническими мерами борьбы.

Конечно, в такой работе нельзя было рассчитывать на отдых и выходные дни, как и во всякой войне, потому что противник также не празднует ни одного дня.

Организуя всю эту работу, разъезжая из одного колхоза в другой, агитируя среди хозяек за разведение кур, за куриные походы, помогая выводить

и выпускать на поля теленомусов, — Валентина Щепетильникова ни на секунду не забывала о своей научной работе.

Она выясняла нормы выпуска теленомусов на поле в зависимости от количества черепашек, от температуры воздуха; она изучала соотношение полов у теленомуса разных поколений, она узнала, что самки теленомусов предпочитают свежие яйца яйцам многодневным. И все это было задокументировано и подсчитано так, что по окончании работы можно было сразу же приниматься за диссертацию.

Но больше всего ее радовали цифры урожая.

Средний урожай по району составил 12 центнеров зерновых с гектара. А в колхозе имени Сталина, где хатой-лабораторией заведывал товарищ Стигней и все советы Щепетильниковой исполнялись, урожай зерновых, несмотря на то, что на посевах было по 10 клопов на метр, достиг 14 центнеров.

«Да, метод найден!» — с удовлетворением думала Валентина Андреевна.

Валентина Андреевна — человек из Визра. Это я повторяю для того, чтобы читатели, знающие о Визре только по книжке «Вредная черепашка и теленомус», не решили, что все работники Визра — люди, преданные только умозрительной гимнастике. Это было бы неправильно потому, что там есть и такие люди, как Щепетильникова. Не все, но — есть.

## НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

«Итак, — думала Валентина Андреевна, — общим нашим достижением можно считать то, что урожай в самом угрожающем районе спасен. Теперь посмотрим, какие же достижения в области науки о черепашке и техники борьбы с ней мы получили в этом году?..»

Она вспоминала работу Алексеева — того самого, который когда-то вез в прибирке теленомусов из Ленинграда в Одессу.

Он еще в 1938 году установил, что в Ростовской области имеются все пять видов яйцеедов, которые были описаны

в первых работах энтомологов, посвященных черепашке. Однако год спустя, кроме этих видов теленомусов, в Сталинской области, в Ольгинском районе, он обнаружил еще два новых рода яйцеедов — те роды, которые до сих пор были описаны только в Америке.

К общему перечню насекомых, населяющих нашу страну, прибавилось еще два, и что особенно приятно, полезных насекомых...

Когда составлялся список людей, которые бесспорно должны были в сентябре поехать в Москву на совещание в Сельскохозяйственной академии имени Ленина, то первыми в Ольгинском районе были названы имена заведующего хатой-лабораторией колхоза имени Сталина товарища Стигней и заведующего хатой-лабораторией колхоза «Червоный маяк» Спиридона Яковлевича Заблоцкого.

Стигней выпустил на поля 3 миллиона теленомусов. Добиться такого успеха он сумел только потому, что отменил рекомендованные в инструкции Одесского института марлевые садки для разведения черепашки, яйцами которой питается теленомус.

Он попросту стал разводить черепашку прямо на полу.

Ставил кормушки на пол и клал на них полотнища марли. И вместо того, чтобы рукою залезать в садок и там кропотливо копать, собирая яйца черепашки, — он мог просто зайти в комнату и сметать веничком яйца на полотнища марли. Так, конечно, лучше всего размножить черепашку, начиная с марта. В январе и феврале на полу еще холодно. Такой метод и упрощает дело (не надо делать садки), и облегчает работу.

А кроме того, при этом плодовитость черепашки увеличивается на 23 процента.

Это было проверено так. Три килограмма клопа положили в комнате на пол, как рекомендовал Стигней, а в соседней комнате то же количество клопов на такой же площади и при той же температуре разместили в садках.

Через пять дней в садках получено

было 101 тысяча яиц, а в комнате — 125 тысяч.

Спиридон Яковлевич Заблоцкий прославился другим. Он осенью собрал 860 килограммов черепашки. 320 килограммов он оставил себе, а остальное роздал в другие районы по хатам-лабораториям, заведующие которыми никак не могли добыть для себя и сохранить клопа живым.

Спиридон Яковлевич один собирал гораздо больше черепашки, чем десять человек.

— Как вам это удастся? — спрашивали его.

— А очень просто — положу веточку с дубовыми листьями на поле, и через некоторое время клопы сами наберутся туда. Там теплее. Мне только стряхивать и остается, — посмеивался он в ответ.

О том, что собранная и заготовленная для работы черепашка массами гибла в ящиках и что даже у самых запасливых работников лабораторий к тому времени, когда начинался массовый выпуск разводимых теленомусов, вдруг недоставало черепашки и ее яиц, — обо всем этом читатель уже знает из книги «Вредная черепашка и теленомус». Но как же Заблоцкий сумел сбереечь этот живой корм теленомуса?

Спиридон Яковлевич помнил слова Лысенко: «Когда вам что-нибудь не ясно, посоветуйтесь с растением или животным. Спросите его, что с ним делать?..»

И вот, Заблоцкий внимательно продумал всю жизнь черепашки и нашел способ сохранять нужное для хаты-лаборатории количество клопа. В лесу он отмерял местечко и почти вплотную — один к одному — усыпал его клопами. На квадратный метр приходилось около 10 тысяч насекомых. Затем он накладывал прослойку из листьев и стлал поверх новый слой черепашки. И так несколько слоев — один над другим...

Затем дальше все шло так же, как и идет обычно в природе. Становилось холодно, шел снег; он засыпал делянку Спиридона Яковлевича, и клопы зи-

мовали в привычной обстановке. Когда они были нужны, оставалось только притти в лес, найти делянку и откопать из-под снега столько черепашек, сколько требовалось. Правда, до леса итти не так уж близко, но зато лаборатория была обеспечена всем, что ей необходимо.

### СИГНАЛ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ! ПОБЕДА В НОВОПРАЖСКОМ РАЙОНЕ...

Это было летом 1940 года.

По главной улице Новой Праги проскакал запыленный всадник... Перед двухэтажным каменным зданием он осадил взмыленного от быстрой скачки коня, соскочил с него и, бросив поводья мальчишке, быстро вбежал в здание. На дворе было жарко. Комнаты райзо, несмотря на неудобную канцелярскую обстановку, располагали к себе прохладой. Но вновь прибывший не стал прохладиться.

— Где Матковский? — спросил он у первого встречного и вошел в соседнюю комнату. Здесь он бросился к Матковскому, сразу же узнав его.

— Степан Тимофеевич, — сказал прибывший, — тревога... Сигнальные посты сообщают — летит... Летит!..

— Приземляется?

— Уже приземляется...

— Где? Где? — заторопился Матковский. И вместе с посланцем он быстро вышел во двор райзо.

Во дворе цвели огромные акации, и аромат их опьянял.

А посланец говорил:

— Садится она на поля «Имени Першего серпня»... Из колхоза «Имени Фрунзе» тоже сигналят с постов...

Через час Матковский был уже на посевах, подвергшихся нападению врага.

— Что же это за сигнальные посты? — спросит читатель.

Сигнальные посты были расставлены колхозами на полях. На их обязанности лежало немедленно бить воздушную тревогу, как только в воздухе появятся первые авангарды вражеской летучей силы.

Дозорные внимательно вглядывались, всматривались, прислушивались. Известно, с какой стороны мог налететь враг. Одно только было ясно, — враг мог появиться только из соседних районов. В самом же Новопражском районе осенью 1939 года и весной 1940-го 19 тысяч кур полностью еще в лесу уничтожили всю черепашку...

Куры «обработали» 1700 га районных лесов начисто. И когда на территории района уже не оставалось врага, — колхозники Новопражского района решили помочь соседям.

Их птицефермы двинулись на подмогу в леса соседних районов — в районы Знаменки и Александрии. И там они убрали вчистую 300 гектаров леса.

Но у соседей не все леса были обработаны к моменту вылета черепашки. Вот почему победители-новопражцы были обеспокоены и расставили на полях сигнальные посты.

И действительно, из соседних районов на поля граничащих с ними колхозов «Имени Першего серпня», «Имени Фрунзе», «Имени пятилетки» налетела массированным налетом вредная черепашка.

Но уже первые одиночные разведчики противника были замечены сигнальными постами.

В райисполком помчались нарочные. На поле боя выехал немедля Степан Тимофеевич Матковский.

Он сразу же определял площадь расселения клопа и его плотность на данном участке.

Узнав это и зная возможности куринной пехоты, он подсчитывал, сколько здесь, на этом участке, потребуется кур. Сразу же их высылали на угрожаемый участок. И куры принимались уничтожать осевшую на посевах черепашку.

В результате такой организации дела средний урожай в сороковом году достиг 14,5 центнера, а трудодень весил 4 килограмма. А ведь в прошлом году здесь пришлось перепахать 1791 га, на которых черепашка полностью уничтожила многодневные труды колхозников, и в среднем по району на



трудодень было выдано всего по 0,6 кг хлеба!

Победа куриной пехоты над черепашкой порадовала колхозников, и освобожденные куры в некоторых местах были брошены на борьбу со свекловичным долгоносиком.

На плантациях Грязненского сахарного комбината успех этой новой кампании был поразителен: курица победила долгоносика на всех делянках, где она работала.

### УДАЧА СТЕПАНА ТИМОФЕЕВИЧА

А что же теленомус, — в Новопражском районе он совсем не работал?

Нет, работал. Ведь много черепашек перед тем, как их истребят куры, успевают отложить яички. Куры часто проходят мимо этих кладок. И уже после того, как куры пройдут по полю, из этих яичек может выйти личинка; она с тыла ударит на поля.

И вот, выпущенные хатами-лабораториями теленомусы расправлялись с этими последышами врага. Во многих колхозах, там, где на участках озимой пшеницы вместе с курами поработал теленомус, — урожай был в среднем на четыре центнера выше, чем на тех участках, где теленомус не работал.

Но для того, чтобы «обработать» теленомусом все поля, нужно иметь его в несметных количествах.

Надо находить новые пути и для того, чтобы увеличить выпуск теленомуса на поля, и для того, чтобы удешевить его.

Раздумывая об этом, Степан Тимофеевич решил испытать то, что ему горячо посоветовал Трофим Денисович.

Мы говорим о том опыте, который не удался Талицкому, — о парниках.

Степан Тимофеевич и заведующий хатой-лабораторией товарищ Авроменко брали обыкновенную парниковую раму — деревянную коробку без дна — со съемной стеклянной крышкой. Длина коробки два метра, ширина метр с четвертью и высота четверть метра. Такую коробку с рамой они выставляли в поле прямо на естественный покров.

В парник посадили черепашку — три

килограмма живых клопов. Рамы были выставлены в апреле. В то время когда на открытом воздухе градусник показывал всего 14 градусов, под парниковой рамой температура достигала 32 градусов. И черепашка начинала откладывать яички.

Сразу же вслед за этим в парник выпускали теленомусов, выращенных в хате-лаборатории.

В среднем Степан Тимофеевич выпускал на килограмм черепашки одну-две тысячи теленомусов. И через пятнадцать, максимум девятнадцать дней появлялось на свет первое поколение теленомусов, воспитанное в парниках.

Надо было сосчитать, сколько теленомусов расплодилось под стеклом, но страшно было открыть раму, чтобы они не разлетелись. И тогда изобрели раму с двумя отдельно открывающимися половинками. Одну половинку накрывали матом. Теленомус любит свет; поэтому он сразу же перелетал на освещенную половину. Тогда открывали ту раму, из-под которой бежал теленомус, и подсчитывали, сколько яичек черепашки поражено кладками теленомусов.

Потом покрывали матом вторую половинку, и теленомус устремлялся обратно. И во второй половинке подсчитывали, сколько там пораженных яиц. Подсчет этот дал такие результаты: в первом поколении теленомусов — свыше 70 тысяч штук. Во втором поколении — еще через две недели — 475 тысяч штук. Таким образом, с апреля и до вылета клопа на посев под одной рамой рождалось полмиллиона теленомусов!

На тысячу гектаров надо расставить всего штук пятнадцать рам. Обслуживает эти рамы только один человек.

Он ходит среди парников и следит, чтобы туда не набиралось слишком много влаги. Если же солнце сильно припекает, то стекло нужно покрыть мелом, а то теленомусы страдают от жары и жизнедеятельность их уменьшается.

Кое-где надо дать подкормку черепашке и теленомусам. Вот и все...

Таким образом, разрешены две задачи — и массовость выпуска теленомусов,

и удешевление их стоимости... Кто бы мог подумать, что такие сугубо заводские термины могут быть применены к этому быстрому, симпатичному черненькому насекомому?

Теперь в Новопражском районе принято такое решение: на будущий год в каждом сельсовете только одна хата-лаборатория будет систематически работать с теленомусом, поддерживая маточный материал; а все остальные хаты-лаборатории с первого апреля займутся размножением теленомуса на полях в парниках.

### СЛЕЗЫ И УСПЕХИ ТАМАРЫ

Тамара прочитала в дневнике позавчерашнюю запись, затем глубоко вздохнула, перевернула листик тетради и написала несколько слов о сегодняшнем. Еще раз вздохнула, подошла к остывшей печке, потрогала ее — и горько заплакала.

В позавчерашней записи было сказано:

«Отпустили на каникулы. Школу перестали топить, и наша черепашка перестает откладывать яички...»

Сегодня же пришлось записать:

«В биологическом очень холодно, погибло пятьсот черепашек».

И снова подошла Тамара к садку. Не вытирая слез, стала пересчитывать погибших черепашек.

Никто в мире никогда так искренно не горевал по умершим клопам!

Потом Тамара оделась и вышла из школы.

На углу Социалистической улицы и Кировского проспекта Тамара встретила соученика Юру Никоса.

— Ты плачешь?.. Почему? — спросил он Тамару.

В другое время Тамара бы гордо заявила:

— Ничего подобного, я никогда не плачу.

Но сейчас она обо всем рассказала Юре. Он тоже расстроился, а потом предложил:

— Пойдем в школу, в подвал: там, наверное, есть немного угольного штыба. Спасем хоть часть черепашки...

С помощью райкома партии удалось раздобыть немного угля и спасти часть черепашки.

— Мало у нас черепашек осталось — не выполним мы своего обязательства, — горевал Шура Дмитриев.

...Поскольку читатель впервые встречается с только-что названными именами, то долг вежливости заставляет нас познакомиться с ними:

Тамара Тимошенко — это староста кружка юннатов ростовской средней школы № 3 имени Свердлова. Юра Никос, Шура Дмитриев, Тая Кравец, Нелли Голощекова, Алла Пететюк, Юля Худякова, Аня Гордиенко, Оля Мельниченко, Вера Федорищенко — это юные биологи, члены кружка той же школы... И руководил ими замечательный человек — учительница естествознания Елена Павловна Дерибина...

Именно 3-й ростовской школе принадлежит почин всесоюзного пионерского похода против черепашки. Именно этот кружок вывел и весной 1940 года выпустил на колхозные поля 80 тысяч теленомусов.

В начале учебного года в школу пришло письмо:

«Здравствуйте, друзья!

Мы, колхозники, колхозницы и ученики средней школы колхоза «Красный Октябрь», Табунщиковского сельсовета Красногвардейского района, шлем вам наш большевистский привет.

В мае 1940 года вы оказали нам большую практическую помощь, выпустив на наши поля 80 тысяч теленомусов. Тогда мы убедились, что борьбу с вредной черепашкой ведем не только мы одни, но и вы, ученики, и ваши педагоги, что вы также заботитесь о наших социалистических полях.

Вы проявили хорошую инициативу, возглавленную вашей руководительницей Е. П. Дерибиной, и мы, члены колхоза «Красный Октябрь», и его партийная организация, сердечно вас благодарим за это.

Прочитав постановление бюро обкома ВКП(б), где отмечается ваша работа, а также статью товарища Дерибиной, в которой вы обещаете обезвре-

дить выведенными вами теленомусами 50 га нашей пшеницы, мы приветствуем вас и надеемся, что свое обещание вы по-пионерски выполните.

Со своей стороны можем сказать, что строгое выполнение социалистического договора с вами о борьбе с вредной черепашкой уже принесло свои плоды. В этом году мы добились путем применения всех средств борьбы того, что количество черепашки на наших полях сократилось вдвое. Сейчас мы готовимся к выводу в хате-лаборатории одного миллиона, а в нашей школе — 200 тысяч теленомусов. Скоро думаем приехать к вам за опытом и советом. Надеемся, что и на этот раз вы окажете нам помощь.

С приветом:

Член правления колхоза Е. С. Лобанова, зав. хатой-лабораторией Н. Д. Потеев, секретарь партийной организации И. Д. Пудов, ученики неполной средней школы — Миндюков, Сиротенко, Бондаренко».

И тогда юннаты 3-й школы подумали о том, как облегчится борьба с вредителем, если юннаты всей области будут разводить теленомусов.

А как это интересно, они уже знали.

И вот юннаты 3-й школы вызвали все школы области на соревнование.

Не было школы в области, которая не занялась бы этим делом.

Областной комитет комсомола решил, что каждой средней школе нужно вывести не меньше чем по 200 тысяч теленомусов, — столько, сколько предлагают юннаты 3-й школы, — а каждому сельскохозяйственному институту или техникуму — не меньше 3 миллионов штук.

Газета «Ленинские внучата» посвятила борьбе с черепашкой целые номера, она дала по радио специальный выпуск, посвященный борьбе школьников против общего врага.

Работа закипела.

И по радио выступали доктор сельскохозяйственных наук Н. П. Архангельский и Елена Павловна, и Шура Дмитриев, а пионерка Генриетта Калашникова рассказала, как юннаты 51-й школы заключили договор с каменским

колхозом имени Сталина о совместной борьбе с черепашкой...

Для кружков юннатов Ростовской области еще в сентябре прибыло 8 тысяч пробирок и 927 луп.

В. Филов сочинил гимн юннатов, собирающих черепашку. Н. Гольм положил этот гимн на музыку, и теперь его распевают юннаты и все школьники Ростовской области.

Не стоит хвалить раньше времени, но нам кажется, если судить по той энергии, с какой взялись школьники области за дело, что свое обязательство они выполнят.

Пионеры Дона вызвали на соревнование воронежцев.

Вызов подхвачен.

У меня под руками письма и сообщения, и рапорты из Воронежской области, из Россоши, Белогорья, Калача и других мест. И всюду разрастается бой пионерии за теленомуса против черепашки.

Преподаватели-биологи сияют.

Их предмет сделался едва ли не самым любимым у ребят тех школ, которые выводят теленомусов.

В этих школах почти исчезли неуды у ребят по естествознанию.

Мне вспоминается полутемный, нетопленный зал на Малой Дмитровке в Москве осенью двадцатого года.

Владимир Ильич выступал здесь перед делегатами III Съезда комсомола.

Он говорил, что задача молодежи — учиться коммунизму. Он говорил, что учиться коммунизму можно, только связывая каждый шаг деятельности в школе, каждый шаг воспитания, образования и учения неразрывно с борьбой всех трудящихся. «И нужно, чтобы Союз коммунистической молодежи свое образование, свое учение и свое воспитание соединил с трудом рабочих и крестьян, чтобы он не запылился в свои школы и не ограничивался лишь чтением коммунистических книг и брошюр».

Ильич приводил в пример работу молодежи на пригородных огородах, работу по ликвидации неграмотности.

И, вспоминая сейчас речь Владимира Ильича, думаешь о том, какие молодцы ростовские ребята, и о том, что на при-

зв: «К борьбе за дело Ленина — Сталина будь готов!» — они имеют право ответить: «Всегда готов!»

Но среди всех откликов на вызов ростовских школьников больше всего волнует один ответ.

Это письмо юннатов школы № 11 из города Бельцы.

Бельцы находятся в Бессарабии. Прошло всего лишь полгода с тех пор, как они стали советскими. И вот юннаты города Бельцы в Бессарабии принимают вызов ростовчан и сами берутся за разведение теленормусов для крестьянских полей.

### ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ЮРЕ

Мы поднимаемся по лестнице старинного особняка на Большом Харитоньевском переулке.

Мы снова в стенах Сельскохозяйственной академии имени Ленина.

У стола регистрируются делегаты с мест.

Уже приехал профессор Архангельский из Ростова, Щепетильников, Хара-Мурза, Стигней и Заблужный — из Сталинской области, Матковский и Авраменко — из Кировоградской, Талицкий, Сирков, Заволока — из Одесщины. Здесь люди из институтов и с полей, из лабораторий и колхозов — герои этой книжки. Сколько знакомых!

Через несколько минут откроется всесоюзное совещание по борьбе с черепашкой. Разговаривая со своим собеседником, ученым агрономом, и я предъявляю свой мандат. Мой собеседник говорит:

— Видите, мы победили черепашку! Способы победы были открыты еще весной прошлого года. Они окончательно проверены практикой осени. И ведь это не в одном только районе! Их надо было подхватить — составить брошюры, послать новые инструкции, пропагандировать опыт передовых. Вы меня простите, что я говорю таким штампованным языком, — вы найдете слова поживее, но ведь дело обстоит именно так. Кто должен был это сделать? Наркомзем. А он этого не сделал? Не сделал! Он только посмеивался, разго-

варивал про римских гусей да упорствовал на негодных методах... Кто же виноват, что в этом году черепашка не уничтожена?.. Ясно, — Наркомзем!.. И ведь только после того, как даже детям, пионерам, стало все ясно, после того, как и в этом году погиб во многих районах урожай, после того, как местным организациям невтерпещ стало, наконец-то Наркомзем издал приказ о необходимости вывозить кур в леса — для борьбы с черепашкой — и разводить теленормусов! Подумать только — опоздать на год! Дать черепашке сгубить десятки тысяч тонн зерна.

К нам подходят Стигней и Щепетильникова... Они присоединяются к разговору.

— Вы слишком снисходительны к работникам Наркомзема, — говорит Валентина Андреевна. — Говорите, что они опоздали на год... Больше, чем на год! Они издали приказ в середине августа, а график работы кур в лесу по этому приказу должен быть составлен лишь к первому сентября. А мы в нашей области когда вывезли кур в лес, товарищ Стигней?

— Я своих кур сразу же отправил за черепашкой, 22 июля, Валентина Андреевна, — отвечает Стигней.

— У нас тоже куры стали работать в лесу еще до приказа, — подхватывает подошедший товарищ куровод...

— Значит, опоздали на год, а теперь снова опоздали?

— За этот приказ — пусть с опозданием — я все же готов простить многое, — говорит товарищ Хара-Мурза, — только бы он выполнялся. А то ведь, вы знаете, по правде сказать, у меня нет уверенности, что он по-настоящему будет выполняться!

— Хорошо и то, что наконец-то наших кур официально признали. Так сказать, по-дипломатически, де-юре!

У входа становится совсем тесно.

В большой конференц-зал, украшенный геральдическими львами, входит Трофим Денисович Лысенко.

Все затихают.

Открывается Всесоюзное совещание по борьбе с черепашкой.

## ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЫСЕНКО В РАЙОНЕ СПЛОШНОЙ ВЕЖЛИВОСТИ

Один за другим поднимались на трибуну доктора сельскохозяйственных наук и куроводы, заведующие хатами-лабораториями, директора МТС, колхозники, районные агрономы и научные работники — и каждый рассказывал о том, что проделано было на его полях, в его лаборатории, на его птицеферме, в его районе, в его научной теме.

И цифры, и факты, и имена людей, и названия районов, и схемы, и диаграммы, и реплики с мест, и вопросы из президиума — все говорило об огромной работе, посильной только коллективу, объединенному одним стремлением, одной целью.

Голоса выступающих звучали сильно и уверенно, и лишь тогда, когда заходил вопрос о том, почему же черепашка не уничтожена еще в этом году, эти голоса звучали смущеннее, и резкость сменялась какой-то подчеркнутой вежливостью. Я бы сказал, даже обидной вежливостью...

— В чем дело? — спросил меня мой сосед. — Почему они так хорошо критикуют себя и так бережно относятся к другим?..

— Во всяком случае, мне кажется, что мы попали в район сплошной вежливости, — сказал мне сосед.

Он еще что-то хотел сказать, но тут слово было предоставлено тому человеку, с которым читатель познакомился еще в третьей главе нашей книги, когда он читал телеграмму, полученную им из Ольгинского района.

— Вас удивляет, почему теленормус не летел дальше, чем на сто метров от места выпуска. Дорогие товарищи! Да потому не летел, что он не дурак... Для чего ему летать и утруждать себя попустому, если в радиусе ста метров оставались еще не пораженные им яйца черепашки?.. Как только вы станете на его точку зрения, вам будет ясно, что незачем ему лететь далеко. Вот если бы насыщенность была настолько сильной, что ему нехватало бы на этой площади яиц черепашки, тогда теленормус, конечно, пролетел бы и тысячу мет-

ров, и больше, разыскивая яйца черепашки.

Так отвечал с трибуны совещания Лысенко на сомнения товарища Талицкого.

— Правда, — говорил он, — товарищ Щепетильникова доказала нам своими опытами, что если теленормуса воспитать неправильно и изнеженно, то его жизнеспособность и эффективность работы понижается. А мы их изнеживали уже тем, что в зиму мы брали теленормуса из яиц черепашки, не подумав о том, что черепашка кончает откладывать свои яйца летом, а теленормус идет на зимовку только осенью. Что же, он не размножается в природе несколько месяцев? И вот тут научный работник товарищ Комосько показала нам, что в августе—сентябре теленормус продолжает развиваться в яйцах других клопов. Поколение, вышедшее из этих яиц, и идет в зиму. Теперь нам нужно выяснить, — из яиц каких клопов выходит зимующий теленормус, для того, чтобы с этим теленормусом по преимуществу и оперировать в хатах-лабораториях. А из-за того, что мы об этом не подумали, у нас был очень большой отход теленормуса во время зимней работы...

И когда Трофим Денисович говорил это, все в зале оживилось. Найден был ответ на много недоуменных вопросов.

— Товарищ Комосько сделала очень большое дело...

Комосько, волнуясь, опустила глаза. Ее смущало внимание переполненного зала.

А президент академии продолжал:

— В этом году мы намного продвинулись вперед в борьбе с черепашкой.

Куры всюду оправдали себя и те надежды, которые мы на них возлагали.

Мы научились организованно вести куриные походы и много выиграли на этом.

Товарищ Заблоцкий нашел лучшие методы хранения черепашки для лаборатории. Товарищ Попова из Мальчевского зерносовхоза и товарищ Стигней нашли лучшие и простейшие способы для получения яиц черепашки — не в садках, а просто на полу комнаты.

Товарищ Матковский и Авраменко доказали, что лучше всего и быстрее, и дешевле, и надежнее выводить теленомуса на поле в шестирамных парниках.

Это то, что принес нам год в науке. Здесь труд практиков и труд ученых неразделимы. И совсем не надо быть ученым экономистом, чтобы рассчитать: для спасения гектара посева от черепашки достаточно, чтобы на этом гектаре три-четыре месяца поработали две курицы. Две курицы спасают 15, а то и 20 центнеров зерна для колхоза!

Те колхозы, которые не имеют куроферм, должны обзавестись немедленно курами, хотя бы только для борьбы с черепашкой. Но кур можно будет впредь применять и для борьбы с другими вредными насекомыми. Ведь куры очень послушные.

Для того, чтобы не только простые колхозники, но и ответственные работники Наркомзема поняли, что предложенные нами методы борьбы правильны, можно привести еще и такое соображение: уничтожение черепашки с помощью этих методов обошлось в четыре-пять раз дешевле, чем все проведенные мероприятия, рекомендованные Наркомземом в тех районах, где черепашка все же победила. В четыре-пять раз дешевле, не считая, конечно, стоимости спасенного урожая!

А теперь, когда мы убедились в правильности наших методов и в их относительной дешевизне, когда в борьбу с черепашкой включаются тысячи людей, когда поднимается школьная молодежь и Наркомзем издал правильный приказ, — можно рассчитывать, что будущий год принесет нам решающую победу над черепашкой и полный ее разгром. Это будет победой массовой действенной науки, быстро решающей все нужные вопросы производства.

После товарища Лысенко выступил представитель Наркомзема.

— Вот он, наверно, забудет, что мы находимся в районе сплошной вежливости, и выступление его будет пронизано самокритикой, — шепнул мне сосед. — Подумать только — прозевали год!..

И весь зал ждал от оратора, очевидно, того же, что и мой сосед. Однако записанные в книге «Хороший тон» правила целиком овладели выступающим товарищем.

Правила эти гласят: «Болтовня в обществе может отлично обойтись без порицаний и не должна отыскивать слабостей и ошибок в ближних. Болтовня должна иметь целью доставить удовольствие, сократить приятно время и заставить всех присутствующих сожалеть, что больше нельзя ее слышать или принимать в ней участие. Не следует говорить только об одной погоде или о хозяйстве и сопряженных с ним неприятностях»<sup>1</sup>.

Вот эти правила хорошего тона и соблюдал выступающий настолько явно, что его выступление вместо того, чтобы доставить удовольствие, стало вызывать раздражение.

Правда, он нашел все-таки недостатки в работе того учреждения, которое он представлял на совещании. Между прочим, он сказал:

— Мы мало обращали внимания на культурное обслуживание куровода в лесу...

...Нет, право, опасения товарища Хара-Мурзы были не лишены оснований! Но еще больше оснований имеет вера Трофима Денисовича в советский, трудовой народ, в его волю, его умение и ум.

## СНОВА ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Здесь, по сути дела, надо поместить снова последнюю главу книжки «Вредная черепашка и теленомус». Только пусть тот читатель, который это делает, заменит всюду слова «сороковой год» словами «сорок первый год».

Автор же этой книжки надеется на то, что ему никогда не придется писать продолжения, потому что борьба с вредной черепашкой окончится полным уничтожением врага в сорок первом году.

<sup>1</sup> «Хороший тон». Сборник правил и советов на все случаи в общественной и семейной жизни, в пяти отделах. Издание Г. Гоппе. СПб, 1881, стр. 215—216.

# Поэзия 72 дней Парижской Коммуны

(К семидесятилетию)

Ю. ДАНИЛИН

★

## I

Поэзией Парижской Коммуны следует называть политическую поэзию фактических участников или единомышленников первого опыта пролетарской диктатуры, посвященную теме Коммуны, — поэтизации ее событий и героев борьбы, пропаганде ее идей. В поэзии этой отражен и дальнейший путь коммунаров после гибели Коммуны, путь в эмиграции, в тюрьмах и на понтонках, в залах военных судов, у саторийского столба (места расстрелов), в ссылке и на каторге в Новой Каледонии — вплоть до самого возвращения их во Францию к обезнадлежающей действительности Третьей Республики.

Таким образом, поэзия Парижской Коммуны вовсе не исчерпывается немногими сохранившимися образцами той социально-политической лирики, которая успела родиться за 72 дня Коммуны.

Поэзия Парижской Коммуны широко разворачивается в последующем двадцатилетии; основной ее массив был создан в 70-х годах коммунарами-эмигрантами. В числе последних находились крупнейшие поэты Коммуны: Эжен Потье, Жан-Батист Клеман, Эжен Шатлэн, Эжен Вермерш, Шарль Бонне, Гюстав Гайяр, Шарль Келлер, Эмманюэль Делорм и многие другие, а из числа ее временных соратников — Верлэн и Рембо. Поэты-эмигранты

нашли себе убежище, главным образом в Англии, Швейцарии и в Бельгии. Мрачная обстановка разложения эмиграции губительно отразилась на личной судьбе некоторых из них (например, Эжена Вермерша), втянув их в атмосферу склок и бакунистских интриг, но большинству поэтов Коммуны удалось сохранить свое политическое здоровье.

С течением времени им становилось понятно историческое значение Коммуны, которого они не осознавали в ее дни, и они с жаром слагали поэмы, гимны, сатиры и песни, посвященные первой пролетарской революции, ее великому освободительному порыву, ее отдельным событиям и деталям, осуждению ее ошибок и разоблачению ужасов версальского террора. Последняя тема разработана поэтами Коммуны с особенной силой. Воссозданные ими картины свирепого истребления десятков тысяч пролетариев на улицах Парижа в дни «кровавой недели», изображенные зверства военных судов, неумолкающих залпов в Сатори, переполненных тюрем и львиных рвов, — образуют ряд наиболее впечатляющих страниц поэзии Коммуны.

Но поэзия Парижской Коммуны не ограничивалась одним протестом против версальского террора. Версальская бойня была в ее глазах не порождением личной свирепости Тьера или генерала Галифе, но глубоким и органичным следствием классового противостояния, ме-

сти капитализма восставшему пролетариату. Антиверсальская тема этой поэзии была в то же время антикапиталистической темой, и потому страстные призывы поэтов-коммунаров к неумолимому, безжалостному, беспощадному возмездию врагам народа, версальским палачам Коммуны, переходят в энергичную и великолепную художественную пропаганду новой пролетарской революции, которая уничтожит капитализм.

Мы знаем ныне, в каких кошмарных тюремных условиях содержались коммунары в ожидании суда, ссылки или казни. Голодные, лишённые воды, подвергаясь оскорблениям и издевательствам, окруженные озверелыми жандармами и дулами заряженных мицральез... И тем не менее, эти удивительные, железные люди не слабели, не впадали в отчаяние. Почти невозможно поверить, — но это факт, даже целый ряд фактов, — что и в этой страшной обстановке стойкий дух борцов Коммуны был способен создавать бурные, клочущие местью строфы. Политическая поэзия Луизы Мишель и Кловиса Гюга достигает величайшего подъема в эти тюремные дни. Мы не говорим уже об анонимных песнях, полных задорной революционной энергии, гремевших проклятиями по адресу версальских победителей; такие песни слагались заключёнными сообща и даже пелись ими хором, причем стража бессильна была этому помешать. Один из коммунаров, поэт и журналист Гастон Кремье, глава Марсельской Коммуны, написал в тюрьме, в ожидании расстрела, драму в стихах о Робеспьере; драму эту, оставшуюся незавершенной, закончил затем Кловис Гюг.

Но само собой разумеется, что произведения тюремной лирики коммунаров не могли быть многочисленными: их трудно было записывать и хранить — тюремщики при обысках беспощадно их истребляли. Столь же невелик количественно — что не лишает его своего значения — вклад в поэзию Парижской Коммуны, созданный поэтами ссылки. Среди последних, помимо той же Луизы Мишель, Гюстава Марото, Анри Бриссака и Жана Аллемана, был ряд

других, частью совершенно безвестных поэтов, ухитрившихся издавать в Новой Каледонии свою прессу. Поэзия ссылки, над которой также тяготела тюремная цензура и на которую в неменьшей мере влияли различные процессы разложения среды ссылке, условия отупляющего быта и тяжелые климатические условия, многолетние настроения подавленности и безнадежности, — ценна, главным образом, рядом бытовых и психологических зарисовок, а также откликами на некоторые выдающиеся местные события, вроде попыток заключенных к бегству.

К поэзии Парижской Коммуны имеет отношение и та французская легальная поэзия, которая была связана с борьбой за амнистию и которую возглавили — еще в 1871 году — Виктор Гюго и поэт-парнасец Альбер Гатиньи. Хотя Виктор Гюго высказывался о Коммуне с обычной либеральной двойственностью (он осуждал Коммуну, но требовал христианского прощения для коммунаров), за что и получил надлежащий отпор со стороны поэта-коммунара Троэля, тем не менее высказывания Гюго сыграли немаловажную роль в последующей борьбе за амнистию. В 1879 году борьба за амнистию являлась уже темой массовой поэзии и широко, например, отразилась в сборнике «Республиканская муза», объединившем целый ряд поэтов, пропагандистов амнистии, в среде которых всего громче прозвучал голос поэта-рабочего Оливье Суэтра. В поэзии эмигрантов тема амнистии почти не отразилась, исключая популярной песни Эжена Потье «Ни праздника без амнистии!»

Возвращение коммунаров во Францию в 1880 году знаменовало собою новый подъем поэзии Парижской Коммуны, выразившийся прежде всего в том, что многим поэтам (Потье, Клеману, Шатлэну) удалось, наконец, издать свои сборники, а другие получили возможность развернуть свое созревшее дарование в журнальной работе (Гюстав Гайяр, Луиза Мишель и др.). Кроме того, появляется много новых, почти не печатавшихся до той поры



поэтов, главным образом бывших участников Коммуны, посвящающих свои произведения борьбе за приход новой социальной революции. Оливье Суэтр, Жорж Прото, Андрэ Жилье, Деккер, Леон Мэйо — вот эти новые имена, самым интересным из которых является, пожалуй, имя коммунара Ашиля Ле Руа, человека с живописной биографией, революционера с юных лет и участника гарибальдийских походов, сыгравшего в 80-х годах большую культурную роль в качестве издателя социалистической литературы и поэтов Парижской Коммуны.

Все сказанное позволяет видеть, насколько велик был размах, широк диапазон и велико общественное, политическое и культурное значение поэзии Парижской Коммуны. Она встает в громадном созвездии интереснейших литературных имен, — конечно, встреченных злобой и непризнанием со стороны французской Третьей Республики, ибо творчество этих поэтов было не кабинетным лирическим чириканьем, а мужественной, страстной революционно-пропагандистской поэзией.

Поэзия Парижской Коммуны представляет собою крупнейший, мирового значения, художественный памятник первого опыта пролетарской диктатуры. Энгельс отметил: «...Коммуна была могилкой старого, специфически-французского социализма, но в то же время и колыбелью нового для Франции международного коммунизма»<sup>1</sup>. Перефразируя эти слова, можно сказать, что поэзия Парижской Коммуны является завершением французской революционно-демократической поэзии XIX века, полной различных буржуазно-демократических иллюзий, влияний утопического социализма и т. п., и колыбелью революционной поэзии эпохи империализма и пролетарских революций, поэзии, борющейся за свержение капитализма и за коммунистический строй.

То обстоятельство, что поэзия Парижской Коммуны создавалась не только поэтами из демократического народ-

ного лагеря, но также имела свое интеллигентское крыло, связанное с парнасской школой, — заставляет по-иному взглянуть на историю и значение французского Парнаса. Нельзя не заметить и того, что прямое или опосредствованное влияние поэзии Парижской Коммуны на прочую французскую поэзию 70—80-х годов чувствуется буквально на каждом шагу.

В 90-х годах и в последующее время традиция поэзии Парижской Коммуны вырождается и опошляется под творческим влиянием II Интернационала. Она смогла еще оказать кое-какое влияние на ряд поэтов-символистов и, главное, на так называемых монмартрских песенников (Жюль Жуи, Морис Букэй, Брюан, Монтегюс и др.), но ее политическая острота и непримиримость получают теперь «смягченную» трактовку, а ее воинствующий классовый пафос подменяется гнилым оппортунизмом. Поэзия Парижской Коммуны, поднявшая в 70—80-х годах свой факел на огромную идейно-художественную высоту, пока так и не нашла своих достойных преемников у себя на родине, каких имела проза в лице Анри Барбюса.

Этот факел перешел в руки поэтов СССР. Он передан нам самими участниками Парижской Коммуны. Ведь в СССР провели свои последние годы Ашиль Ле Руа и другой поэт-коммунар Гюстав Инар, продолжавшие и здесь свою творческую работу. Стихи Инара были переведены на русский язык А. В. Луначарским и другими советскими поэтами. Так, традиция поэзии Парижской Коммуны непосредственно передалась в советскую поэзию, оказалась унаследованной ею и братски влилась в общее русло ее многообразных социально-политических тем.

## II

Что же представляли собою стихотворения, появлявшиеся в дни Парижской Коммуны?

На первом этапе существования поэзии, сопровождающей революцию, в этой поэзии обычно возникают гимны

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 422 (курсив Энгельса).

и оды. Так должно было быть и в дни Коммуны. Но ее гимны и оды до нас не дошли, и мы располагаем только приблизительными указаниями о существовании этого рода поэзии.

Лишь одно произведение можем мы указать, в котором имеются несомненные элементы торжественности гимна и радостного взлета оды. Этим произведением является передовая статья Жюль Валлеса «26 марта» в газете «Крик народа», посвященная дню первых выборов в Парижскую Коммуну. Мы полагаем, что это произведение вполне может быть названо стихотворением в прозе. Вот его полный перевод:

Что за день!

Ласковое яркое солнце золотит жерла пушек; благоухание цветов, шелест знамен, рокот революции, которая течет, спокойная и величавая, как голубая река. Этот трепет, этот свет, звуки медных труб, блеск бронзы, вспышки надежд, аромат славы,— есть от чего победоносной республиканской армии преисполниться гордостью и радостью.

О великий Париж!

Малодушные, мы поговаривали уже о том, чтобы покинуть тебя, уйти из твоих предместий, казавшихся нам мертвыми.

Прости, родина чести, город свободы, бивуак революции!

Что бы ни случилось, пусть завтра, снова побежденные, мы умрем,— у нашего поколения все же есть утешение! Мы вознаграждены за двадцать лет поражений и страданий.

Горнисты, трубите к выступлению! Барабаны, бейте в поход!

Обними меня, товарищ; в твоих волосах седина, как и у меня! И ты, малыш, играющий за баррикадой, подойди — я поцелую тебя.

День 18 марта раскрыл перед тобою прекрасное будущее, мой мальчик. Ты мог бы, подобно нам, расти во мраке, шлепать по грязи, барахтаться в крови, задыхаться от стыда, переносить неслыханные муки бесчестия!

С этим покончено!

Мы пролили за тебя и кровь, и слезы. Ты воспользуешься нашим наследством.

Сын отчаявшихся, ты будешь свободным человеком!<sup>1</sup>

То внутреннее волнение, которым полны строки Валлеса, те чувства гордой удовлетворенности, восхищения,

радости и ликования, которые запечатлены в нем, — разделялись всею массой коммунаров.

О сочувствии, с которым была принята его статья, Валлес упоминает в «Инсургенте».

А вот одна из попыток массовой поэзии создать революционный гимн. Это «Марсельеза мира» некоего Е. Тринитюса, три куплета которой (I, IV и V) автор прислал в газету «Отец Дюшен», хотя она стихов не печатала.

### I

Вдали вздымается волна.  
Глядите, как она громадна!  
Гонима Разумом, она —  
Хоть медленна, но беспощадна.  
Поток ревет, как Аквилон,  
Несущий смерть и разрушенье.  
В нем крик народа заключен,  
Что поднял знамя возмущенья.

Вставай, народ!  
На бой вперед!  
Смети тиранов,  
Поток гражданский.

### IV

Мы отрекаемся навек  
От августейшей благодыни;  
Простой, но честный человек  
Пусть правит Францией отныне.  
Пусть добродетелью своей  
Он всех спялет нас, французы!  
На этом свете всех сильней  
Взаимного доверья узы.

Вставай, народ и т. д.

### V

Кто любит Францию, как мать,  
Пускай ей будет верным сыном;  
Чтобы отчизну защищать,  
Солдаты, право, не нужны нам.  
Все за оружие! Долой  
Отчизны бедной лиходеев  
С их раззолоченной толпой  
И генералов, и лакеев.

Вставай, народ и т. д.<sup>1</sup>

Любопытно отметить, что и стихотворение в прозе Жюль Валлеса, и стихи безвестного Тринитюса совершенно не затрагивают вопроса о социальных задачах Коммуны. Валлес, может быть, и не собирался говорить об этом. А Тринитюс мог только сказать, что пусть

<sup>1</sup> «Le cri du peuple», 28 mars 1871. Перевод П. С. Нейман.

<sup>1</sup> Перевод О. Б. Румера. «Письма рабкоров Парижской Коммуны». М. 1933, стр. 45—46.

демократия приходит к власти, пусть ее избранники будут добродетельны и полны взаимного доверия.

Но это не упрек автору. Дело в том, что и вся поэзия Коммуны, уделившая столь много места борьбе с Версалем, очень мало говорила о целях самой Коммуны.

Это не случайность. Здесь еще одно из доказательств правоты слов Ленина о непонимании Коммуны ее участниками: «Коммуны не понимали те, кто ее творил, они творили чутьем гениально проснувшихся масс, и ни одна фракция французских социалистов не признавала, что она делает»<sup>1</sup>. Стоит привести в этой связи признание покойного Гюстава Инара: «Если бы можно было воскресить мертвых и спросить у них, признавали ли они, что в этот день (18 марта. — Ю. Д.) совершается величайшее мировое событие, которое оставит на вечные времена огненный след в истории человеческого рода, они скромно ответили бы, что в тот момент они об этом не думали. Точно так же отвечу и я»<sup>2</sup>.

Тем не менее, появлялись и некоторые «программные» стихотворения, посвященные пропаганде задач Коммуны.

Интереснейшим документом здесь является стихотворение некоего Вемара «Коммуна», напечатанное в вечернем выпуске «Официальной газеты» 6 мая 1871 года.

Восставший Париж говорит здесь рабочему: «Твои руки ныне раскованы! Двадцать веков ты гнул спину под феодальным игом; требовались тысячи рабов, чтобы богатели заводы. Объединившийся пролетариат одержит победу над капиталом!»

Строки в полном смысле слова замечательные. Представление о Коммуне как об исторически обоснованном выступлении сплотившегося пролетариата и уверенность в его победе над капитализмом безусловно выражают точку

зрения первого опыта пролетарской диктатуры.

Однако, в этом стихотворении отразились колебания и противоречия Коммуны. В дальнейших строках мы встречаем прудонистскую мысль о том, что Коммуна, «полная справедливости», удержит «должное равновесие между гордым хозяином и честным рабочим...» Нужно помнить, что если Коммуна в своей революционной практике и изживала унаследованные ею от прошлого мелкобуржуазные иллюзии, то освободиться от них всех сразу и немедленно она не успела.

Говоря о «революционной партии» 1848 года, Маркс указывал, что она была в плену различных иллюзий и пережитков дореволюционного времени, «от которых ее могла освободить не февральская победа, а только целый ряд поражений»<sup>1</sup>. Точно так же классовая сущность Коммуны и ее историческое значение были осознаны поэтами-коммунарами — да и то не всеми — лишь после ее кровавого финала.

Мы не располагаем другими поэтическими памятниками Парижской Коммуны, говорящими об ее общих задачах. Существовали ли такие памятники?

Они существовали. Но вся беда в том, что от поэзии революционных эпох до потопства обычно «доходят» только ослабленные варианты этой поэзии — вроде упоминаемых библиографом Ф. Мэйаром, — ибо они в меньшей мере уничтожались последующей реакцией. Можно ли предположить, чтобы ни один из революционных пролетариев 1871 года не смог выразить в стихах свои думы и чувства, если они умели выражать их до Коммуны? Коммунар Межи написал, например, в 1869 году «Революционный гимн» под заглавием: «На баррикады!» с таким рефреном:

Эй, пролетарий, встань! Вперед на баррикады!

Как пламя — алый флаг над нашей толпой.  
Владельцы, буржуа — вам не видать пощады!  
Должны победу мы любую взять ценой.

Если французские пролетарии умели выражать в стихах свои революционные

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. XXII, стр. 352.

<sup>2</sup> «Бессмертная Коммуна». Воспоминания ветеранов, участников Парижской Коммуны, М., 1928, стр. 8.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, стр. 3 (курсив К. Маркса).

стремления до Коммуны, то нет никаких оснований думать, что они внезапно утратили эту способность в дни пролетарской диктатуры. Нет, гимны и оды Коммуны, посвященные пропаганде ее революционных целей, несомненно, существовали, и «Интернационал», созданный Эженом Потье немедленно после Коммуны, должен был явиться гениальным завершением, — но на другом этапе, — этой линии поэзии 72 дней. И мы не знаем ее лишь из-за белого террора 1871 года, нещадно истреблявшего эту поэзию, а также вследствие того, что позднее между этой поэзией и потомством встали «библиографы» типа Фирмена Мэйара, тоже, разумеется, проводившие свою внутреннюю цензуру.

Ознакомление с газетами Коммуны позволяет видеть, что она уже ставила перед своим искусством и литературой какие-то общие задачи.

Так рождалась на свет литературно-художественная политика Коммуны.

### III

Характерной особенностью поэзии 72 дней Коммуны является свойственное ей настроение веселой, бодрой жизнерадостности, которым определяется весь ее сатирический спектр — от бичующей насмешки и язвительной иронии до ласкового, дружески теплого юмора.

Большой раздел поэзии Парижской Коммуны, посвященный борьбе со всеми врагами революции, а главным образом — с Версалем, носит ярко выраженный сатирический характер. В жанровом отношении эта поэзия исчерпывается сатирами и песнями, иногда довольно объемными, до сотни строк, но чаще — короткими и даже ограничивающимися двустихиями и катренами эпиграмм.

Прежде всего объектом насмешки коммунаров явилась неудачная попытка Тьера захватить монмартрские пушки. Мы можем указать на анонимную карманьолу, напечатанную 2 апреля в газете «Карманьола». Песенка эта — одно из первых произведений поэзии

72 дней — весело рассказывала, как Тьер накануне 18 марта пожелал устроить «маленький конфликт», чтобы допечь парижан. Для этого он назначает Валентена префектом полиции, запрещает сразу шесть оппозиционных газет и собирается «в одну прекрасную ночь» бесшумно захватить монмартрские пушки. Но национальные гвардейцы не зевают, и предприятие не удается. Прозаический пересказ бессилён передать то обаяние задорной, приплясывающей насмешки, которая свойственна этой песенке.

Далее нужно упомянуть о насмешках поэтов Коммуны над разномастными претендентами на вакантный французский престол. Так, в № 61 «Пароля» читаем следующее анонимное четверостишие, основанное на игре созвучий и обращенное к орлеанистам:

Orléanistes, mes amis,  
Vos espérances sont une conte  
Jamais le comte de Paris  
De Paris ne fera le compte<sup>1</sup>

В № 8 сатирического журнала «Сын папаши Дюшена» на обложке изображен Наполеон III, который в одной руке держит Тьера, а в другой Францию. Анонимная стихотворная подпись, занимающая девять строк (монолог Наполеона III с ответной репликой), гласит: «Я был всегда жаден до власти, и у меня блестящий план: я стравлю их обоих, подожду, чтобы они слопали друг друга, а когда смерть создаст пустоту, — вернусь в Париж... если только смогу!» Следует ответная реплика поэта: «При виде столь гнусного и глупого плана, каждый из нас посмеется от всего сердца над этим лысым чудовищем!» Соответствующие насмешки были и по адресу графа Шамбора, претендента легитимистов.

<sup>1</sup> Перевод: «Друзья мои, орлеанисты, ваши надежды химеричны. Никогда графу Парижскому не удастся рассчитывать на Париж». Может быть, ко времени Коммуны относится и указываемое Ф. Мэйаром стихотворение (№ 326) «Прокламация Луи Филиппа к французскому народу», пародирующее стиль и политическую программу претендентов.

Особый цикл стихотворений посвящен Национальному собранию, как центру и опоре реакции. Таково, например, стихотворение без заглавия и без подписи, помещенное 14 апреля в «Пароле». Речь идет здесь о страхах Национального собрания: оно так боится Парижа, что решает засесть в Версале. Но вот, набравшись храбрости, собрание начинает бомбардировать Париж. И так поступают люди, которые обливались слезами, когда пруссаки обстреливали Париж! Следует гневное заключение: «О старые Тартюфы, годные только для поисков трюфелей, позорная клика шарлатанов,—подождите же! Широкая рука республики займетя вами, и завтра вы познакомитесь с пощечиной».

В номере «Пароля» от 15 мая напечатаны «Версальские заповеди блаженства»; автор скрылся за псевдонимом «Un franc-flaneur». Заповеди вот в чем: надо чтить Мак-Магона; не употреблять всуе имени Тьера и не ругать его; запрещать революционную прессу, дабы подольше жить; расстреливать пленников; стрелять из пушек по Парижу; сажать в тюрьмы республиканцев; день и ночь работать на короля прусского; побеждать Коммуну в газетах и взять Париж, «если ничто не помешает». Это стихотворение одновременно носило антирелигиозный характер, как пародия на известные церковно-католические вирши.

Всего обильней цикл стихотворений, посвященных Тьеру, в равной мере занимавшему внимание и карикатуристов Коммуны. Начнем с подписей к карикатурам.

Тема о Тьере была «сквозною» темой: она разрабатывалась всеми сатириками и в предшествующий Коммуне период. Поэтому нельзя точно определить, к какому времени относятся рисунки, ставящие вопрос о Тьере лишь в плане его общей реакционности. Такова, например, карикатура А. Бэйлака, изображающая, как Тьер, сняв верхушки ульев, запускает лапу внутрь. Стихотворение, подписанное неким П. Ф. Матье, удостоверяет, что пчелы — это трудовой народ. Таковы же карикатуры Гайяра-сына «Тьер-укро-

нитель», А. Беллогэ «Под каким союзом» и т. д.

А вот сатирический плакат, родившийся в дни Коммуны в виде первого и последнего номера «Сатирической галереи», издания, задуманного либреттистом Луи Галле и какими-то его друзьями. Под карикатурой, вымевшей Тьера, имелась подпись: «Тьер, главнокомандующий версальских армий». Эта подпись являлась и заглавием стихотворения, состоявшего из 76 строк.

Стихотворение повествует о том, что Тьер, «выигравший на бумаге столько сражений», решил в один прекрасный день стать полководцем, — ведь он столько времени изучал войны Наполеона I. Полководцем против Коммуны. Нежно улыбаясь юной республике, он в то же время скликает к себе роялистские банды: бретонцев, папских зуавов, африканских охотников. Он держит к ним патетические речи: «Быть может, нам случится, для окончания этого дела, пустить в ход бомбы, выжечь какой-нибудь квартал и — что особенно досадно — слегка пострелять в наших друзей. Но что же делать? Прежде всего спасем принцип! Если нужно обезглавить Францию для того, чтобы сохранился Порядок, — пусть погибает Париж!»

Закончив свою речь, Тьер взбирается на коня при помощи табуретки, обнажает саблю и грозит туче. Но догнать ее и схватить он никак и никогда не сможет, потому что, по неопытности своей, уселся на лошадь задом наперед. «Нужно протягивать руки к цели, которой хочется достигнуть, а не садиться спиной к ней!»

Стихотворение слишком растянуто. Эта сатира родилась, вероятно, после начала военных действий, после обстрела Парижа Тьером, и в ней отразилось возмущение, охватившее громадное большинство парижан. Но авторы не сумели написать яркую и острую концовку, потому что были не коммунарами, а только случайными и кратковременными соратниками Коммуны.

На ту же тему о Тьере, как верховном руководителе армий Версала, напи-

сано указываемое Мэйаром стихотворение «Версальская песня, пропетая 22 апреля в версальском кафешантане первым тенором Адольфом Тьером» (№ 427). Песня пародирует речи Тьера, охваченного живейшим желанием вырезать всех коммунаров. Тьер уповает на генералов Винуа, Галифе и Дюкро, а также на полицию: «Этим молодцам, не ведающим страха, достаточно сделать знак — и... ррран!.. все кончено. И тогда каждый в этом городе сможет мирно похрапывать с перерезанным горлом». И песня кончается припевом: «К оружию, деревенщина, шпионы, солдаты муниципальной гвардии! Идите защищать г-на Тьера от восставших!»

Вот образчик массовой песни о Тьере, присланной Е. Тринитюсом «Отцу Дюшену». Песня акцентирует монархизм Тьера:

### КАРАПУЗ

Ростом мал он, пустомеля,  
По прозванью «карапуз  
Из Марселя», —  
Между тем, крикливый гнус,  
Он за королей, бывало,  
Грудь надсаживал немало.  
«Ишь, проклятый карапуз!  
Скоро ль замолчишь ты, что ли?» —  
Думал каждый поневоле.

Но крикливый этот гнус  
По прозванью «карапуз»,  
Что за королей, бывало,  
Грудь надсаживал немало, —  
За империю потом  
Стал работать языком.  
Каждый думал поневоле:  
«Скоро ль замолчишь ты, что ли,  
Распроклятый карапуз?»<sup>1</sup>

Можно указать и другие стихотворения о Тьере, — например, в № 67 и в № 83 «Пароля», — ряд выпадов по его адресу со стороны сатирических журналов и т. д.

Соратники Тьера также были взяты под обстрел поэтами Коммуны. 15 апреля в «Пароле» появилось стихотворение некоего Леона Мийо «Печаль Эрнеста Пикара». Министр Пикар чем-то опечалился, и вот все версальские газеты, вся глупая деревенщина, все Тар-

туфы Национального собрания, все проститутки встревоженно задают друг другу вопрос: что такое с ним случилось? По мнению поэта, Эрнест Пикар печалится все же не потому, что коммунары сожгли гильотину и что ему уж не придется познакомиться с ее ножом, и не потому, что пала «правая» собрания, и не потому, что неприятно смотреть на разгромленный орудийной пальбой Париж, видеть его окровавленные



Тень Тьера.  
Рисунок Андре Жюль

трупы. Нет, дело гораздо проще: вчера на бирже произошло понижение, а Пикар не знал об этом и ничего не успел «заработать».

Тема войны с Версалем занимала в поэзии 72 дней очень большое место. Некоторые из относящихся сюда стихотворений были изданы брошюрами или листовками. Таково, например, указываемое Мэйаром (№ 207) стихотворение некоей Э. Клеро «Война, слова гражданки Парижа, последовательницы Коммуны». Мэйар не цитирует это стихотворение и сводит свою аннотацию к насмешке над его небогатыми рифмами.

<sup>1</sup> Перевод О. Б. Румера.

«Пароль» иногда отзывался на тему войны простой шуткой, но та же тема отразилась ведь и в мрачной иронии «Версальских заповедей блаженства». В других случаях четверостишие «Пароля» являлось поэтической концовкой к заметке хроникера и заостряло ее смысл ядовитой рифмой. Вот прозаический текст заметки:

«В Версале, во всех витринах книжных магазинов выставлена гравюра, изображающая убийство генерала Дювала и его товарищей».

Далее следуют стихи:

C'est une boucherie impitoyable, atroce...  
Un ramas de brigands sont au bout des fusils;  
Ce qu'on ne voit pas d'ordinaire, c'est qu'ils  
Sont au bout de la crosse<sup>1</sup>.

Остановимся теперь на стихотворении Этьена Каржа, напечатанном 3 мая в газете «Коммуна» под заглавием «Версальцы». Автор его, один из поэтов парнасской школы, журналист, карикатурист и фотограф, представитель литературно-художественной богемы 60-х годов, принимал участие в республиканском движении последних лет Второй империи. Он был связан личными отношениями со множеством участников Коммуны, но его участие в ней выразилось, кажется, только в опубликовании этого стихотворения. Во всяком случае после Коммуны Этьен Каржа не подвергался репрессиям и не эмигрировал; он продолжал оставаться в Париже, попрежнему ведя богемный образ жизни и, вероятно, рассматривал свое литературное выступление в дни Коммуны как незначительное происшествие.

Как бы то ни было, но стихотворение Этьена Каржа является одним из немногих поэтических памятников дней Коммуны, принадлежавших сколь-нибудь известному поэту. Кроме того, стихотворение это имеет свой стиль. Это произведение высокой сатиры, не устаивающей улыбнуться даже с презрением, полной ювеналовского, сумрач-

ного и сосредоточенного негодования. И лишь в последних строфах, где автор говорит о Коммуне, его нахмуренные брови расходятся, стихотворение теплеет, светлеет и говорит о надеждах Коммуны на победу.

«Подобно сварливой собачонке, которая тявкает на человека в блузе и отскакивает, скаля мелкие острые клыки, — глупая и завистливая деревня издали оскорбляет тебя, о Париж, прижимая к себе свои эку». — так начинается стихотворение Этьена Каржа.

Поэт переходит к описанию жителей «деревни»<sup>1</sup>, этого «стада избирателей, зажиточных крестьян, увальней, жадных дворянчиков», словом «подданных супрефекта и полевого сторожа» и «послушных слуг мэра и кюре». Напоминающая собою сову, ослепленную лучами солнца, эти жители деревни, покорно и безропотно сносят иго любого Цезаря, лишь бы только их поля давали урожай. Когда к ним приходит прусская армия и вынимает из кармана деньги, они предлагают врагам и хлеб, и вино, и постель, и готовы даже предложить свою жену в придачу. Но если у их двери стучится несчастный и раненый французский солдат — что им за дело до него? «Герой, у которого нет ни гроша, может подышать, как собака». И вот все эти жители деревенской Франции, эти «ядовитые грибы, возросшие на общественном навозе», все эти скудомные и зловещие пандуры — изливают свою имперскую желчь на Париж Коммуны.

Таков первый раздел этой сатиры. Во втором автор демонстрирует отдельных знаменитых представителей версальской «деревенщины». Вот Галифе, который, напив своих жандармов, «со-

<sup>1</sup> Речь идет здесь главным образом о помещиках, крупных и мелких. Однако коммунары нередко упрекали и крестьян за их эгоистические интересы, косность и политический индифферентизм. В одном из номеров вечернего издания «Официальной газеты» было перепечатано стихотворение Альбера Глатиньи (из его вышедшей перед тем книги анти-бонапартистских сатир «Раскаленное железо»), где автор призывал крестьянина отречься от своей косности и «стать наконец человеком».

<sup>1</sup> Перевод: «Безжалостная, жестокая бойня... Куча разбойников ждет расстрела. Но — и это самое необычное — они-то, оказывается, и расстрелявают». Разбойниками, о которых идет речь, являются версальские жандармы.

смехом убивает взятых в плен детей» (в сноске автор указывает: «На площади Бержер двое часовых, один 17, другой 18 лет, были расстреляны, после чего им размозжили головы ударами прикладов»); вот Винуа, который приказал убить храброго генерала Коммуны Дюваля; вот Мак-Магон, вот старые бонапартисты, возвращенные из немецкого плена, «с лицом, еще горящим от немецкой оплеухи». Все эти люди околачиваются в Версале и воинственно машут саблями, читая остервенелые статьи Франсиса Сарсэя. Но попав под огонь пушек Коммуны, эти петушащиеся герои начинают пятиться, отступать, пугаясь коммунаров и не понимая, «как все эти штафирки сумели научиться военному ремеслу». А новобранцы Тьера с непочтительным смехом рвут со стен страницы «Голуа» со статьями Сарсэя.

«Нравственные лавочки, поставляющие обстановку куртизанкам, Тропманы биржи, содержатели рыжих девок, банкиры, хлыщи, шпионы—все они соединились против нас, — пишет поэт. — Они превозносят до небес хладнокровие жандармов, храбрость шуанов, генеральский такт, искусство Тьера; но они не осмеливаются лично взяться за оружие: кровь у них слишком холодна, чтобы разыгрывать героев. Защищать свое знамя — это хорошо для черни, которой Париж платит тридцать су за доблестную смерть».

Вот почему Париж, «сильный своим правом», со спокойствием льва ждет наступления версальцев, обещанного уже так давно. «Его артиллеристы готовы; держа палец на курке, солдаты-граждане ожидают сигнала, и на бастионах сверкает яркий пурпур знамен Коммуны с их золотой бахромой. Париж-корабль в разгар бури прокладывает свой след в море идеала; его ведет народ, а этот мощный атлет никогда не спустит красного штандарта!»

Стихотворение Этьена Каржа, среди прочих своих достоинств, замечательно еще в одном отношении. Тема борьбы парижской демократии с правительством «Национальной обороны», наличествовавшая в демократической поэзии еще до 18 марта, передалась и в поэзию

Коммуны. Но, как мы видели, многие из рассмотренных выше стихотворений часто ограничиваются изображением «разлагающейся буржуазии». Стихотворение Каржа представляет собою типичный случай перерастания «сквозной» темы в тему Коммуны. Борьба народа с Тьером становится борьбой за Коммуны. Тема поэзии демократической перерастает в тему революционно-пролетарской поэзии. И если высказывания Каржа о «Париже-корабле» общи и неопределенны, — объяснение этому в том же непонимании коммунарами задач Коммуны, о чем уже говорилось выше.

#### IV

Мы знаем разную улыбку Коммуны. Мы видели ее лучезарную, победную улыбку в валлесовском стихотворении в прозе, широкую улыбку радости, улыбку победившей революции. Мы видели язвительную улыбку ее политической насмешки по адресу Тьера и его подручных, по адресу генералов, по поводу тщетных стараний всех претендентов.

Но была и другая улыбка Коммуны, всего менее известная, добродушная, дружеская улыбка, милый мягкий юмор коммунаров, подтрунивание над самими собой, над своими маленькими несовершенствами, над своими героями.

Улыбку эту мы уже не раз встречали на страницах «Пароля», — а надо помнить, что эта газета, руководимая радикалом Рошфором, давала лишь отраженную улыбку Коммуны. Улыбка «Пароля» была лишь отблеском пролетарской жизнерадостности, и неудивительно, что она порою сводилась к шутке, прелесть которой во многом заключалась в неожиданной и сложной рифме:

Il pleut des balles, des obus:  
Mais pour bien noyer les abus  
Il faudrait que jusqu'à Versaille  
L'averse aille <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Перевод: «Дождем сыплются пули и бомбы: но чтобы хорошенько смыть все злоупотребления, следовало бы, чтобы ливень дошел до Версаля».



Или в не менее неожиданной игре слов. Вот, например, катрэн, посвященный Гарибальди, которого одно время ждали в Париж:

Garibaldi, que l'on renomme  
Pour ses coups au trône, à l'autel,  
Est certainement un grand homme.  
— Considérons le comme Tell<sup>1</sup>.

Улыбку эту мы находим и на страницах сатирических журналов Коммуны. Некоторые из этих источников (напр. «Карикатура», где редактором был Пилотель) нам оказались недоступными. Из других же журналов эту ласковую улыбку чаще всего встречаешь на страницах «Сына папаши Дюшена», «торговца печными трубами». Сам-то отец Дюшен, если читателю неизвестно, торговал печами.

Любимцем журнала явился генерал Домбровский. В № 3 ему посвящен и заглавный рисунок, изображающий возглавляемую им вылазку, и целый очерк, в котором имеется специальная песенка. Журнал, смеясь ради, утверждает, что автором этой песенки является Вермерш, один из крупных поэтов Коммуны.

«Этот куплет, который приписывается гражданину Вермершу, более чем свидетельствует, на какую энергию он (Домбровский.—Ю. Д.) способен и какое доверие может он внушать своим войскам». Юморист с особенным смаком изобретал здесь сногшибательные рифмы к фамилии Домбровского (Dombrowski — d'ombre ous-qu'y) и куплет его по-русски не переводим.

Если в № 3 стихи приписывались Вермершу, то в № 8 упоминается имя Виктора Гюго:

«Я прочитал на этой неделе буриме, сочиненное гражданином Виктором Гюго по поводу разрушения колонны<sup>2</sup>. Помоему, оно неплохо сработано. И это подало мне мысль самому сочинить такое же. Вот послушайте».

<sup>1</sup> Перевод: «Гарибальди, известный теми ударами, которые он нанес трону и алтарю, — несомненно, великий человек. Будем же его считать за Телля» (или «за такового»).

<sup>2</sup> Ходило много слухов о том, что Виктор Гюго обратился с письмом к Коммуне, прося ее не сносить Вандомскую колонну.

Следует шестистишие, говорящее о той ярости, которая охватит версальских генералов, когда они узнают о свержении Колонны. Сильней всех лезть на стену будет грязный Галифе, sale Galifet. И следует огулительная рифма, венец всего куплета: sale gueule у fait.

Веселье юмористов проявлялось не только в изобретении рифм, забавляющих читателя. В № 4 мы находим следующий юмористический отчет о заседании Коммуны.

### ЗАСЕДАНИЕ КОММУНЫ

Полночь. Заседание открыто.

Гражданин Везинье. Граждане, сейчас мне доставлено письмо от нашего коллеги Ж. Б. Клемана, известного вам автора песни «Не получить тебе подарка в новый год», который извещает меня, что, спеша закончить новую песенку для гражданки Борда, он видит, к крайнему своему огорчению, что лишен чести присутствовать среди нас на заседании в этот вечер.

Многие голоса. Очень хорошо! Очень хорошо!

Гражданин Риго. Не знаю, не тот ли это самый Клеман, что раньше сочинял гривуазные песенки, которые с таким успехом исполнялись в Альказаре... Я возьму это на заметку.

Юмореска эта носила характер самой беззлой шутки. Известно было, с каким рвением Клеман посещал заседания Совета Коммуны и как резко он осуждал других членов Коммуны за частые отсутствия. И, увы, работа, которой он был со всех сторон завален, не оставляла ему времени для сочинения песенок. В этой связи не лишено пикантности восклицание «многих голосов», обрадовавшихся неевке Клемана по неуважительной причине. А дальше юморист-коммунар улыбается грозному прокурору Коммуны, которому не придется брать на заметку Клемана.

Нужно ли приводить новые примеры для доказательства того, что юмор Коммуны все теснее срастался с ее внутренней жизнью, с ее мероприятиями и со всем бытом? Катрэнны из «Пароля» с неизменной шутливостью откликались то на решение Коммуны снести Помпейский дворец Наполеона III, то на снос

часовни Бреа, то обращались к «законодателям» с каламбурами, упрашивая, например, их обложить налогами пианино и разрешить «приканчивать пианистов», которые наводят скуку.

Известно, что вокруг сноса Колонны развернулась немалая борьба. Она содействовала рождению одной из крупнейших песен Коммуны, специальной «компленты» под названием «Колонна». В этом стихотворении, появившемся к 16 мая, дню свержения Колонны, и состоявшем из двадцати одного куплета плюс заключительный, содержащий «мораль», была рассказана вся история сноса Колонны.

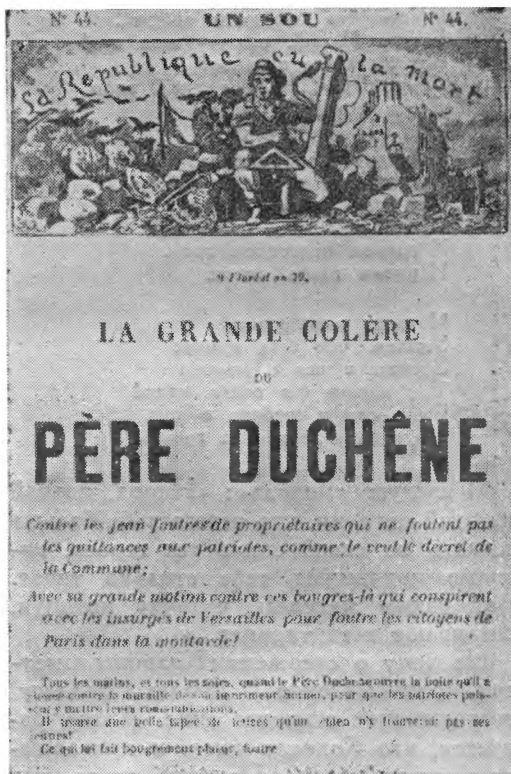
Автор этого стихотворения пожелал скрыть свое имя. Поль Жинисти указывает: «Грубый народный дух запечатлелся в фактуре этих куплетов, сочиненных одним из сотрудников «Народного Трибуна», не захотевшим назвать свое имя. Это было не лишено благодарности, потому что несколько дней спустя уже не приходилось хвастаться этой второй «Одой Колонне»<sup>1</sup>.

«Жила-была колонна в Париже на Вандомской площади» — так начиналась комплента. Но вот колонну не возлюбил художник Курбе и обратился к Коммуне за разрешением скovyрнуть дядюшку Баденге. Коммуна соглашается на его просьбу, выражая лишь опасение, как бы колонна, падая, не задела соседних домов. Но Курбе тотчас рекомендует патриота-инженера, который чудесно выполнит все дело, и Коммуна подписывает свое решение, а Прото, делегат юстиции, прикладывает печать. Стихотворение шутовское, и автор забавляется изобретением веселых рифм вроде: *protocole—Protot colle, maçonnerie—maçon ne rit* и т. д.

В следующих VII—XI куплетах повествуется о том впечатлении, которое произвело решение Коммуны в провинции, в Версале и среди инвалидов-военных. Особенно обиделись «три строгих

республиканца» — Фавр, Пикар и Жюль Симон, члены правительства Национальной обороны. Зато народ полностью одобрил решение Коммуны.

В несколько дней все готово к сносу. «Славные ребята рабочие трудятся бесплатно, потому что для них — это праздник». Колонна подпилена, верхушка ее



Первая страница № 44 газеты «Папаша Дюшен»

обхвачена веревкой, веревка прикреплена к вороту, на мостовую навалена земля, труха, навоз. И вот наступает радостный день.

Видны издали знамена, —  
Там вожди идут. И вот  
Их приветствует народ  
Громким криком и поклоном.  
Пусть на них клеветает враг, —  
Мы уверены в вождях!

И оркестры медным пеньем  
Каждый свой ведут мотив.  
Весел, радостен, красив  
Праздник солнечно-весенний.

<sup>1</sup> Основными сотрудниками «Народного трибуна» при Коммуне были Лиссагарэ (редактор), Эдмон Лепельтье и Анри Маре. Намекает ли Жинисти на авторство одного из этих трех лиц, или имеет в виду какого-либо эпизодического сотрудника газеты?

Каждый чувствует из нас  
В опере себя сейчас.

Машинист дал знак рабочим.  
Началось... Балы скрипят.  
Как струна, дрожит канат...  
Что такое? Он непрочен?  
В блоках ли какой изъян?  
Или слаб наш кабестан?

Нас волнует нетерпенье...  
Шесть без двадцати минут...  
Георгиев Пятый, вот — наш суд!  
Вот желанное паденье!  
Крик «Ура»... Под медный звон  
Лег в навоз Наполеон.

И бежит толпа народа  
Посмотреть, чем, рухнув, стал  
Тот, кто долго угнетал,  
Проливая коовь, как воду.  
И гремел оркестров гром.  
И цвели глаза огнем.

И толпа захохотала,  
Увидав, чем был кумир:  
Бронзы пушек и мортир  
Там нашли мы очень мало!  
Были сор и щебень в нем,  
Но в паденье грянул гром<sup>1</sup>.

И следует «мораль»: «Народ, познай из этой истории, что нечего тебе больше таскать на своей спине тех героев, которые причиняют тебе столько тягот. Вот каким манером, чуточку потянув, сваливают всех тиранов...»

На тему о свержении Колонны имеется приписываемое Жюлю Валлесу восторженное стихотворение. Автор радуется, что Колонна пала, и приглашает плюнуть на нее. Плюнуть за то, что «нас, бедняг, принуждали платить четыре су, чтобы влезать по ней вверх». А вверх бедняки влезали, чтобы броситься оттуда наземь, чтобы покончить с собой. «Они не могли себя бесплатно убить!» Но это время прошло, утешается автор, и из этой валяющейся на земле зеленоватой махины Коммуна начеканит медяков для всех голодающих, для всей нищей братьи!

18 мая «Пароль» отозвался на свержение Вандомской Колонны перепечаткой сатиры Огюста Барбье «Кумир» (в отрывках). Чуждая той интернациональной идеи, которая лежала в основе

декрета о сносе Колонны, газета Рошфора расценивала этот акт лишь в плане борьбы с бонапартизмом. В редакционном предисловии она писала: «Мы считаем своим долгом напомнить настоящему поколению, что ровно сорок лет назад, в подобную же эпоху, поэт Огюст Барбье выразил, по поводу господствовавшего тогда бонапартистского идолопоклонства, пророческие чувства, совершенно сходные с теми, которые воодушевляли ныне парижское население. В день падения колонны мы не сумели бы сделать ничего лучше, чем воспроизвести в передовой «Пароля» эти патристические и мстительные стихи».

## VI

Поэзия 72 дней Коммуны полностью оставалась на службе у своей социально-политической современности. Это ее важнейшая и характернейшая черта, по сравнению с беллетристической Коммуны. Ни разу не порывая с изображением современности ради исторической или любой другой темы, она неизменно оставалась злободневной, подвижной, оперативной, способной мгновенно откликаться на все крупные и мелкие вопросы своей современности, — и притом поэзией оптимистической, отражавшей и волю революции к победе, и самую жизнерадостность «веселого Парижа рабочих».

Тем не менее поэзия 72 дней Коммуны не является целиком пролетарской. В ней различаются два крыла. Первое из них, ведущее, пролетарско-социалистическое, пыталось, хотя и не без ошибок, говорить об общих целях Коммуны, о ее историческом значении, о победе над Версалем как классовой пролетарской победе, о внутренних событиях жизни Коммуны, пропагандируя их идейный смысл. Второе крыло, мелкобуржуазное, являлось еще носителем буржуазно-демократической революционности, видело в Коммуне лишь защитницу республиканской идеи, выступало, главным образом, против бонапартистских, орлеанистских и легитимистских претендентов и нападало на членов правительства Национальной оборо-

<sup>1</sup> Перевод Евгения Сокола.

ны не как на защитников капитализма, а как на носителей реакции или отдельных бездарных, жестоких и аморальных людей.

В связи с развитием революционных событий и с модификацией классовой борьбы менялось и соотношение обоих указанных флангов поэзии 72 дней Парижской Коммуны. Процесс этот выражался в усиливающейся доминанте пролетарско-социалистического крыла и в соответствующем — по мере отхода мелкой буржуазии от Коммуны — уменьшении масштаба и влияния ее второго фланга. Если вспомнить, что одно из первых стихотворений Коммуны, вышеуказанная карманьола, ограничивалось насмешкой над неудачей Тьера и не несло никаких социальных мотивов, то в мае картина существенно меняется: появляются стихи Вемара, Каржа, стихотворения о Колонне. А месяц спустя, Потье создаст свой «Интернационал». Если бы мы располагали большим количеством памятников поэзии 72 дней, процесс этот был бы, вероятно, еще более очевиден.

И если комплента о Колонне завершается угрозой по адресу королей, — в этом не следует видеть внезапную реставрацию буржуазно-демократических тенденций: темой компленты является не борьба с королями, а революционно-творческий порыв пролетарской диктатуры, свергающей один из символов старого мира. Так, отдельный буржуазно-демократический мотив становится здесь лишь составной частью пролетарско-демократической революционности и подчинен ее общим и основным задачам. Точно так же требования, рождавшиеся в литературно-художественной политике Коммуны, — о разоблачении преступлений и тайн феодального и буржуазного прошлого, — не следует пони-

мать как требование буржуазно-демократическое, ибо это прошлое отрицается целиком и подлежит уничтожению целиком, подобно всему старому миру.

Поэзия 72 дней Парижской Коммуны, при всем доминировании в ней ее пролетарского крыла, вскрывает недостаточную политическую зрелость французского пролетариата 1871 года, слишком обольщавшегося легкой победой над Версалем, слишком еще подвластного разным иллюзиям, несмотря на то, что он освобождался от них в ходе революции, и не обладавшего достаточным революционно-политическим опытом. Вот почему эта яркая поэзия была больше праздничным отдохновением, чем перспективой колоссальной работы. Именно поэтому так весела и жизнерадостна, так беспечна и беззаботна поэзия 72 дней Коммуны. Как все это было закономерно и как трагично!

Рубеж кровавой недели резко ограничивает эту лирику от последующей поэзии коммунаров, создавшейся в эмиграции, в тюрьмах, в ссылке и частью после амнистии 1880 года. Со всем не похожа эта поэзия на памятники 72 дней! Где прежняя улыбка, где юмор Коммуны? В поэзии 70—80-х годов все полно гнева, возмущения, скорби, отчаяния и вместе с тем — новой, могучей бодрости, призывов к отмщению, к новой революции.

Так, после кровавой гибели Коммуны и под впечатлением этого страшного урока улыбающаяся поэзия 72 дней превращается в ту суровую, мужественную и по-иному оптимистичную реалистическую лирику, которая поднимается на огромную идейно-художественную высоту и лучшие традиции которой унаследованы поэзией Октябрьской революции, социалистической поэзией народов СССР.

---

# Заметки о советской драматургии 1940 года

Б. РЕЙХ

★

В последние годы в репертуаре наших театров большое место занимали произведения, откликавшиеся на актуальные события современной жизни. Так, драма «Павел Греков» была сильна искренним и честным изображением волнующих вопросов современности. Пьеса Ф. Панферова «Жизнь» воспроизводит картины быта колхозной деревни. К. Паустовский и М. Светлов подчеркнули в пьесах «Простые сердца» и «Сказка» поэзию и романтику современной нашей жизни.

Драматургия 1940 года демонстрировала разносторонность творческих поисков советских писателей, которые проявили интерес и к историческим темам. Созданы такие драмы, как «Свердлов» и «Кремлевские куранты», в которых показана деятельность вождей революции, воплощающих творческие силы и чаяния человечества.

Неудивительно, что советская общественность с возрастающим вниманием следила за работой наших драматургов.

Но к концу года некоторые писатели выступили с произведениями, в которых была как будто и «острота» ситуации, и поэтическое настроение, и «подтекст», и романтическая гиперболичность, однако в них не было основного — правды жизни. Если верить декларациям этих писателей, то они вознамечивались с головой кинуться в кипучую жизнь сегодняшнего дня. Они хотели якобы заняться изображением «малень-

ких», «незаметных» людей и в них показать зрителю героя нашего времени. Когда же эти вещи подверглись тщательному анализу, то в них была обнаружена поверхностность, а иногда и искажение действительности.

Таким образом, истекший год во всех отношениях был важным и поучительным для нашей драматургии. Его творческие итоги заслуживают серьезного анализа.

## I

Надо сразу же отметить, что работа советских драматургов последнего времени над художественным воплощением исторического материала производит значительно более отрадное впечатление, чем их деятельность на ниве современной тематики.

Известны серьезные творческие опыты, посвященные изображению вождей революции, ее героев. В таких произведениях бьет творческая мысль, видно упорное стремление к разрешению сложных художественных проблем.

Возьмем «Двадцать лет спустя» — пьесу М. Светлова.

Действие ее поэт перенес в эпоху гражданской войны. Он рассказывает знакомый эпизод, персонажи даны не исторические, однако видно, что они взяты с натуры и принадлежат к числу многих неизвестных героических бойцов за дело революции.

Герои драмы Светлова — комсомоль-

цы, остающиеся для работы в подполье, в городе, занятом белогвардейцами: они поддерживают боевой дух населения, они защищают от врагов мост — важный стратегический пункт, обороняют его до прихода Красной армии.

Поэт излагает события задушевым, трогательным, лирическим голосом. Светлов преследует совершенно определенную задачу — создание своеобразного «поэтического» театра. Это чувствовалось уже в пьесе «Сказка». Светловская театральная концепция придает значительность и драме «Двадцать лет спустя».

Лирическая связь автора с событиями и людьми — вот основная черта этой пьесы. Волнение поэта столь искренно, что сильно заражает зрителей. Все же здесь много спорного. Так как в пьесе Светлова настроение не возникает из объективной поэзии образов, то автор, стремясь сохранить художественные особенности пьесы, вынужден прибегать к другим приемам. Он пользуется каждой возможностью для введения в пьесу поэтического элемента. Один из комсомольцев — поэт. По просьбе товарищей он читает свои стихи. В соответствующих местах эти стихи приводятся целиком или отдельными строфами. Временами Светлов от своего имени выражает чувства, возникающие у него при воспоминании о прошлых днях.

Если это было уместно в детской пьесе «Сказка», то в драме, предназначенной для взрослого зрителя, такой прием весьма сомнителен. Песня или поэтическая вставка имела смысл главным образом в музыкально-драматическом жанре.

Может быть, это приемлемо для определенного материала, где поэтические вставки оправданы его своеобразием. Судя по произведениям Светлова, он, повидимому, считает этот прием новым изобретением и полагает возвести его в принцип своего драматургического творчества. В этом его ошибка. При многократном повторении такого приема воздействие его притупляется, и самый прием может превратиться в шаблон.

★

Значительным событием в нашей драматургии явилась пьеса В. Соловьева «Фельдмаршал Кутузов». Советская публика живо и глубоко интересуется образом фельдмаршала Кутузова и его эпохой. Весьма сложен и образ Наполеона. Его поражение произошло при особенно драматических обстоятельствах.

Наполеон был военным гением своей эры, но стратегия Кутузова привела Наполеона к падению. Кутузовская стратегия, казавшаяся многим рискованной, непонятной и неправильной, обеспечила победу над Наполеоном. Потому фигура и деятельность Кутузова приобретают героико-драматический характер. Но воистину трагично то, что победа русской армии, русского народа, угнетенного недостойным властителем, усиливала жестокий режим Александра I. Это чувствовал Кутузов, и для него Александр был чуждым и далеким.

Во время войны конфликт между Кутузовым и императором Александром ослабел, но после победы над Наполеоном он должен был проявиться вновь и вспыхнуть с огромной силой. В исторической драме В. Соловьева этот конфликт доминирует в финале.

Драма эта, несомненно, заслуживает серьезного внимания. Все стороны богатой исторической эпохи, о которой мы говорили выше, затронуты автором. Но, к сожалению, они только отмечены, а не разработаны.

В пьесе есть ряд эпизодов, которые не подкрепляют основной темы. При их отборе В. Соловьев, вероятно, руководствовался желанием раздобыть материал для эффектных сценических картин. Недостаточно глубоко трактует автор центральные фигуры драмы — Кутузова и Наполеона. Он не хотел находиться в зависимости от Льва Толстого и надеялся на собственную творческую силу; однако изучение романа «Война и мир» могло быть только полезным для успеха драмы. Толстой, как известно, объяснял победу Кутузова судьбой, властью providения. Это-

придало изображению характера великого русского патриота чуждую ему фаталистическую окраску. И все-таки, образ полководца в «Войне и мире» обладает живостью и человечески правдив. У Толстого Кутузов — человек, вечно размышляющий, неуклюжий и немногословный. Он не может высказаться, пока окончательно не решил вопроса, и не будет высказываться перед людьми, которым не доверяет: одно поспешно брошенное слово может быть превратно понято или умышленно искажено и в таком виде передано императору... В интерпретации же В. Соловьева Кутузов разговорчив, даже многословен. Он легко находит удивительно точную формулировку своим размышлениям. Такой Кутузов должен был быть для императорского двора, как говорят, *enfant terrible*.

Наполеон в драме упрощен. Он просто грубый захватчик, растерявшийся в трудных условиях. Ему недостает истинно наполеоновской энергии, при помощи которой он добивался блестящих побед в самых отчаянных ситуациях. Ведь уже низвергнутый Наполеон сумел после своего бегства с острова Эльбы быстро разгромить Бурбонов и продержаться у власти целых сто дней! В. Соловьев сухо констатирует: Наполеон не хотел дать крепостным крестьянам России социальной свободы. А ведь это и явилось одной из причин его поражения; Наполеон был для русского мужика только чужеземным завоевателем...

Историческая тематика заинтересовала многих драматургов братских народов СССР. Национальная драматургия обогатилась несколькими значительными произведениями. Художники национальной драматургии часто останавливают свое внимание на фигурах, чья жизнь, духовная сила возвещают о творческих силах народа.

В «Соломоне Маймоне» — пьесе недавно умершего еврейского писателя Даниэля — героя постигает судьба многих еврейских мыслителей. Аналогичная ситуация ярко показана в драме Гущкова «Уриэль Акоста». Акоста не мог устоять против фанатизма ортодо-

сков, мелких торгашей и против семьи, требовавшей от него и своей части любви. Предвестник великого Спинозы капитулировал и покончил с собой.

Маймон оказался сильнее Уриэля. Он отрывается от семьи и жизни в местечке, пешком отправляется в Германию, в Берлин, считавшийся тогда очагом прогресса и эмансипации евреев. Он приходит к Моисею Мендельсону, воплощающему в себе для молодого философа свободолюбие и нравственное величие.

Маленького литовского еврея любезно принимают в салоне Мендельсона. Его труды получают хвалебную оценку Иммануила Канта, — кажется, счастье его достигло кульминационной точки. Однако Маймон, душевно чистый и правдивый, чувствует окружающую его ложь, ограниченность своего, ранее обоготворяемого, учителя.

Мендельсон остался просветителем-идеалистом. Маймон же пошел дальше. Он ищет материалистическое понимание мира.

Между учителем и учеником происходит спор о философии Спинозы. Спор этот кончается открытым разрывом. Маймон — духовно попрежнему сильный — возвращается в свое родное местечко...

Драма «Вагиф» азербайджанского поэта Самеда Вургуна переносит нас в давно забытое прошлое. Вагиф — один из значительнейших исторических деятелей и поэтов древнего Азербайджана. Он защищает свой народ перед властителем персов Каджаром; за это он был посажен в тюрьму. Когда палач хватает поэта и его сына, появляется Эльдар — вождь народного движения — и свергает владычество персов.

В этой трагедии реальные события фантастически украшены. Рассказывается о благородных намерениях Вагифа поставить азербайджанского хана Ибрагима на хороший путь. Происходит неожиданное падение поэта, который навлек на себя немилость своего властителя из-за Эльдара. Вагиф терпит много горя. Хан пытается соблазнить жену поэта и уговаривает ее уйти от него. Ибрагим мерзко обманывает свой

народ, который восстает против завоевателя. Предатель открывает фронт. В жанре сказки изображена фигура жестокого и смелого иранского шаха Каджара. Это существо без сердца и души. Глубокое впечатление оставляют эпизоды, где бездушный Каджар противопоставляется Вагифу с его огромной человечностью.

Вагиф всегда говорит завоевателю правду, твердо, строго, полным голосом. Пусть бросают его, закованного в кандалы, в самую глубокую темницу, он остается поэтом свободы и любви.

Творчество Самеда Вургуня тесно связано с живыми традициями азербайджанского искусства. Это творчество содержит подлинно поэтическое отношение к миру. В образах прошлого поэт показывает борьбу «хороших» и «злых» людей и находит ситуации, черты и краски, благодаря которым герои — любимцы народа — появляются в ярком блеске.

«Вагиф» — это поэма о свободе и борьбе. Драма «Абай», написанная казахским драматургом Ауэзовым (русский вариант Л. С. Соболева), — это прежде всего произведение о пафосе любви.

Действие происходит незадолго до Октябрьской социалистической революции. В то время казахский народ жил еще старым укладом. По этим старым традициям, девушка-невеста может принадлежать лишь мужчине своего племени. Это запрещение любить по собственному выбору создавало в старые времена трагические коллизии. В народных эпических поэмах эта тема занимает большое место. В драме «Абай» девушка Ажар полюбила поэта Айдыра — ученика великого казахского поэта Абая. Эрден — глава племени — преследует их.

Веревка охватывает шеи виновных, их уже тащат на казнь. Появляется Абай. Затем дело передается на решение суда. На суде Абай произносит речь. Его речь превосходна. Он говорит о казахском народе, которому приписывают ненависть к человеку. «В действительности, — говорит он, — народ всегда любил тех, кто защищал его пра-

во на любовь, и ненавидел тех, кто сеял вражду и ненависть между людьми». Суд над Ажар и Айдаром становится ареной великого спора между гуманизмом и варварством. Побеждает Абай. Суд оправдывает влюбленных. Разрешение конфликта между реакционными элементами казахского народа и Абаем насыщено большим пафосом.

Все эти сцены, полные подлинного духовного величия, обладают и поэтической силой. Борьба за спасение влюбленной пары заканчивается во втором акте. Последние два действия показывают дальнейшую жизнь великого поэта. На него обрушивается ряд несчастий. Его преследуют. Молодой его ученик Айдар погибает от яда, два сына умирают, предатели врываются в его школу. Этот человек, страстно любящий свой народ и поэтому ненавидящий его врагов, поэт большой интернациональной культуры, остается с отравленной душой, полной горя.

Вторая часть драмы не дает ничего нового характеру героя. Речь перед судом — это самая высокая точка, кульминационный момент его деятельности.

Отношения различных общественных кругов в тогдашнем Казахстане были чрезвычайно сложны. Убедительное воплощение этой ситуации авторам не удалось. В последних двух актах зрители видят лишь мозаичную картину эпохи и биографию казахского поэта.

★

Значительны по своей тематике и литературным тенденциям пьесы «Свердлов» Дзеля и «Кремлевские куранты» Погодина.

«Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева — историческая драма. Автор взял один эпизод из жизни полководца. Он отразил внутренний облик Кутузова и существенные исторические процессы эпохи. «Соломон Маймон» Даниэля обнаруживает иной подход, — автор рассказывает всю историю жизни своего героя, драма написана в биографическом жанре.



В драме «Свердлов» Дэль раскрывает характер замечательного революционера, хронологически показывая его жизнь. Пьеса начинается со сцены в нижегородском театре. Спектакль прерывается голосом, призывающим публику к демонстрации протеста против указа царских чиновников о высылке Максима Горького из города. В театре суматоха. Наконец, восстанавливается тишина; прерванный спектакль может продолжаться. Но одна из актрис вместо того, чтобы вернуться к исполнению своей роли, подходит к рампе и с энтузиазмом декламирует при напряженном внимании зрителей «Песню о буревестнике».

Голос, призывавший к протесту, принадлежал Якову Свердлову. За этим следуют сцены: арест Свердлова; Свердлов в тюрьме; под надзором полиции; опять в тюрьме; путешествие по этапу; ссылка в Сибирь; в Петербурге вместе со Сталиным и, наконец, Свердлов, председатель ВЦИК в Петрограде, за несколько часов до переезда центральных советских органов в Москву.

Каждый из этих эпизодов ведет к выявлению характера Свердлова, и это, вероятно, и было главной задачей, которую автор себе поставил.

Образ Свердлова в драме ярок и выразителен. Свердлов — мастер революционной пропаганды. Автор показывает его высокий ум, проникающий в сложнейшие ситуации, его необыкновенную способность перейти от идеи к ее осуществлению. Мы видим его работоспособность и энергию: принятое решение выполняется, несмотря ни на какие препятствия.

Человек и деятель Свердлов вызывает чувство горячей любви.

Дэль показал также и другие качества Свердлова: его исполнительность, например. В ответ на даваемые ему поручения, он неизменно и не без юмора отвечает: «Уже все сделано!»

Пьеса Дэля заканчивается переездом Свердлова, вместе с Лениным и Сталиным, в Москву.

Во второй картине пьесы участвует Максим Горький. Перед вынужденным

отъездом из Нижнего он прощается со своим молодым другом Свердловым. Интерпретация образа Горького своеобразна: Горький здесь — человек, который приносит с собой запах лесов и полей, отголосок своеобразного большого мира; зритель ожидает, что вот-вот он расскажет, с присущей ему широтой, о борьбе, только-что проведенной им против великанов и чудовищ.

Горький восторгался Свердловым не только как борцом, но и как замечательным человеческим характером эпохи, которую он — поэт — должен был постигнуть и передать.

Автор не дает, к сожалению, одной типичной черты, характеризующей великого художника: Горький был любознателен. Он читал книги и «читал» людей. В пьесе Дэля Горький не проявляет этого интереса к людям.

★

«Кремлевские куранты» Погодина — это пьеса о Ленине.

Кто знаком с произведениями Погодина, знает наперед, что в пьесе «Кремлевские куранты» не будет эффектных, острых эпизодов, потому что Погодин говорит о великих делах тихим голосом. Он интересуется событиями, которые не отличаются внешним блеском и, может, даже немного будничны.

В пьесе Погодина ремонтируются кремлевские башенные часы. Что за незначительная мелочь, — скажет иной читатель. Однако Погодин находит своеобразную романтику и в этой ситуации.

Где взять специалиста, который мог бы пустить в ход этот сложный механизм? Нашли где-то еврея-часовщика — мастера своего дела. Но вот беда — до сих пор он имел дело с обыкновенными, только с обыкновенными часами — карманными, стенными, висячими, стоячими, а тут... кремлевские часы: гигантский механизм. Висят они высоко на Кремлевской башне, да и при том это куранты — часы с музыкой, а мастер не музыкант. Все-таки дело нала-

живается. Нерешительные люди начинают достигать головокружительных высот, скрытые таланты проявляются и развиваются, скромные механики становятся инженерами сложных машин... Это — законы революции. Этим законам дал жизнь Ленин. Разве это не романтика? Разве это не поэзия?

Почему Погодин взял именно часы отправной точкой действия пьесы? Разве нечего было больше исправлять в стране, разоренной империалистической и гражданской войной? Пьеса Погодина дает ответ: Москва любит эти часы. Их молчание свидетельствовало о беспорядке и разорении. А начавшие снова действовать часы объявили: «Большевики вносят порядок в жизнь».

Это событие доказывает инженеру Забелину — представителю старой Москвы — стремление и умение большевиков наладить новый порядок.

Кремлевские часы пошли и, когда они бьют властные двенадцать ударов, их слушает весь мир!

Ленина мы встречаем в пьесе за работой, Ленина, осуществляющего огромную задачу. Ленин работает над планом электрификации России. Он занят не только самим планом, но и мобилизацией людей, которые будут осуществлять этот план. Один из них — высококвалифицированный специалист инженер Забелин. Он недоволен советской властью, большевиками. Их цели ему непонятны и... он саботирует. Он стоит на углу Китай-города и продает спички...

Эта ценная творческая рабочая сила бездействует. И как часы, так и эта сила нуждается в «ремонте». Решение этой задачи берет на себя Ленин, мастер формирования характера, воспитания человека. Вождь увидел в Забелине человека, в котором нуждается дело. Энергия сделает свое. В избах и хатах станет светло, гигантские машины дадут народу все, что ему нужно: одежду, хлеб, оружие. Разве это не поэзия? Да, почва, на которую поставлена пьеса Погодина, поэтична, хотя речь и идет как будто бы только о ремонте часов да еще о привлечении к работе инженера, который не хотел трудиться.

Автор ввел в пьесу еще и третий сюжет: историю Маши — дочери Забелина. Она находится на перекрестке; в душе она отеклась от среды, враждебной советам, и тянется к новым людям. К ним принадлежит и матрос Рыбаков. Он влюбился в Машу, и она могла бы его полюбить, если бы не его грубые манеры, если бы не попытки завоевать ее любовь так же, как штурмуют крепость. Но эта часть — инородное тело, лишенное внутреннего отношения к теме пьесы.

«Человек с ружьем» — первая пьеса Погодина о Ленине. «Кремлевские куранты» — второй опыт. Понятно, как сложна задача полноценного, художественного изображения Ленина. Эта задача может быть по плечу только талантливому художнику, и ее выполнение должно быть результатом большого творческого труда. Погодин пока ставит себе ограниченные задачи. Пока он работает лишь над портретным эскизом Ленина, чтобы, повидимому, потом перейти к воплощению образа вождя в полный рост.

Правда, во второй своей пьесе автор прибегает уже к более сложной разработке этой задачи. В «Человеке с ружьем» была художественно воспроизведена, в сущности, лишь одна характерная черта Ленина: его умение получить из будничного разговора с добродушным, совсем простым, еще не сознательным человеком ценнейший материал для изучения положения в стране. Та же картина и в пьесе «Кремлевские куранты» — в разговорах Ленина с часовщиком и с Забелиным. Но здесь Погодин хочет показать Ленина как гения революционной мечты и ее претворения в жизнь.

Общеизвестно, как относился Ленин к революционной мечте, как он отстаивал право коммуниста — мечтать. Бывали вещи, осуществление которых казалось невозможным. Ленин верил и добивался их осуществления. В первых же сценах «Кремлевских курантов» Погодин старается показать глубину ленинского проникновения в будущее, многогранность его гения. Свообразие ленинской большевистской мечты ав-

тор старается раскрыть в беседах с часовщиком и с Забелиным, в разговорах об электрификации. Однако изображение отдельных ситуаций в пьесе Погодина вызывает некоторые сомнения.

Вот Ленин беседует с английским писателем (Уэллсом). Эта короткая сцена должна была быть развита со всей художественной обстоятельностью. По замыслу автора, здесь должен быть дан контраст. Чтобы реализовать этот интересный замысел, надо было первым делом дать Ленину достойного собеседника, человека большого диапазона. У Погодина же английский писатель в ответ на высказанную Лениным мечту об электрификации приводит шаблонные, мелкие, обывательские аргументы, примерно, такого же сорта «размышления» одолевают в момент слабости какого-нибудь капиталиста из Сити или Уолл-стрит. Погодин упростила свою задачу тем, что изобразил собеседника ничтожным обывателем.

Несомненно, автор будет еще много и долго трудиться над драматургическим воплощением образа Ленина. «Кремлевские куранты» — не последнее слово Погодина, а потому мы позволим себе еще одно замечание.

Погодин должен остаться Погодиным и говорить так, как он умеет, — тихим голосом о великих людях, о великих событиях. Но иногда, если судить по тому, как он рисует беседу с английским писателем, «тихий» голос Погодина выглядит, как «творческое облегчение». Не нужно ли Погодину достоинства своих пьес дополнить сильным, горячим чкаловским порывом? Ленин — человек, чей характер развивался в самых сильных бурях жизни, человек, который привел народ к победе в борьбе с жесточайшим и упорнейшим врагом, каким было самодержавие и капитализм.

Полное воплощение художественного образа Ленина возможно только для искусства, воспроизводящего жизнь, человеческие характеры всесторонне. Вот о чем должны помнить художники, берущиеся за эту тему.

## II

В Советском Союзе ежегодно пишется много пьес, но только незначительная их часть ставится на сцене. Правда, театральные руководители в большинстве случаев выбирают лучшие драматургические произведения из тех, которые к ним попадают, но не всегда утруждают себя поисками молодых дарований.

Так, например, незаурядная пьеса «Царь Потап» Копкова долгое время не была признана. Она лежала в портфелях различных театров, пока ее с большим успехом не сыграли в Ленинграде. Обзор поставленных пьес не дает поэтому полного представления о текущей советской драматургии.

Показательно большое внимание, уделяемое драматургами проблемам любви, семьи, воспитания. Пьесы, посвященные такой тематике, могут рассчитывать на серьезный интерес зрителей. Такие произведения, если они написаны правдиво и глубоко, должны содействовать коммунистическому воспитанию нашего народа.

Советская общественность, однако, некоторые из пьес, посвященных этим жизненным проблемам, резко отвергла: их авторы внесли больше путаницы, чем ясности в серьезные вопросы.

Сюжеты таких пьес обычно построены на семейном разладе. В «Обыкновенной истории» К. Симонова, например, отношения между двумя, по мнению автора, замечательными советскими людьми, постепенно охладели. Он — Алеша — страстный исследователь, преданный науке; она — Катя — добросовестный научный работник. Алеша и Катя расходятся, хотя и любят друг друга. Причина неизвестна и неопределенна. Наиболее верное предположение: они надоели друг другу. Позже, когда Алеша показал себя в боях на Халхин-Голе отважным и преданным сыном своей родины, их совместная жизнь налаживается.

Алеше и Кате неясны их чувства. Они их и не желают понять. Вопросы любви и семьи для них незначительные жизненные эпизоды. И несмотря

на то, что это идет вразрез с коммунистическими взглядами на семью и брак, Симонов выдает облюбленных им обывателей за представителей нового общества и такими рекомендует зрителю, не раскрывая их внутренней пустоты.

Авторская характеристика действующих лиц и их поступков — ложна, поэтому ложны и завязка этой пьесы и разрешение в ней семейного конфликта. Алеша и Катя не понимают, что их «брак» был только пошлым сожительством. А когда автор в конце пьесы мирит своих героев, то они и свою новую жизнь не строят на здоровой и твердой основе: их любовь может опять остыть, они опять могут надоесть друг другу и... опять разойтись.

В пьесе Герасимова «Строгие времена» рассказывается следующая семейная история. Двое молодых людей полюбили друг друга. Они женятся. Он — инженер и «сильная сторона» в этом браке. Она со своей покорной любовью приспособляется к его характеру и его особенностям. Появляется ребенок. Это событие ускоряет полное порабощение жены. Она оставляет работу и всецело отдается ребенку и домашнему хозяйству.

Она теряет свое «я» и даже желание иметь собственные интересы. Время от времени, правда, у нее просыпается сознание своего внутреннего унижения, и она пытается «восстать», но каждый раз муж ее подавляет, и семейная жизнь остается такой, какой была раньше.

Начинается война с белофиннами. Муж — инженер в рядах действующей Красной армии. Жена получает сообщение о том, что он пропал без вести. Это сообщение будит уснувшие силы жены. Она не верит в его смерть и развивает огромную энергию, разыскивая мужа. Позже выясняется, что инженер жив. Он получил трудное и секретное поручение разведывательного характера и, выполнив это задание, возвращается. Чувство ее не обмануло.

Творческий замысел этой пьесы вполне ясен. Автору хотелось показать,

как «строгие времена» воспитывают женщину, как женщина отвоевывает потерянную индивидуальность, как развивается и укрепляется характер в жизненной буре.

Это — мудрая и смелая правда; она нам близка и понятна.

Но в пьесе есть еще и другое, плохое. Автор думает, что он достиг своей цели, когда его героиня становится активной и энергичной, и самодовольно заканчивает пьесу. А между тем, самые и трудные, и решительные дни еще впереди. Перестройки отношений героев на подлинно советский лад в пьесе нет. Сцену, которая должна была быть самой важной во всей пьесе, автор не написал. Поэтому все бурные события «Строгих времен» — все-таки не дали ничего существенного зрителю.

Уже одно это означает неудачу Герасимова. Но ошибки его пьесы заключаются не только в этом. Почему он не объяснил, каким же образом эти хорошие, молодые советские люди, любящие друг друга, могли устроить такую недостойную совместную жизнь? Автор пьесы «констатировал» это «супружество» как факт. В побуждения действующих лиц он не внес необходимой ясности. Он не извлек из этой «семейной жизни» никаких выводов для оценки характеров.

Во втором акте Герасимов дает такую ситуацию. Целые месяцы жена сидит дома; муж всегда занят; но сегодня он ей обещал прийти домой раньше, они пойдут на прогулку или в театр. Она ждет этого вечера, как ребенок. Уже поздно, а он не приходит. Томительно течет время, а его все нет. Может быть, с ним что-нибудь случилось? Может быть, его ненароком задержали на работе? Ни то, ни другое! Он, видите ли, встретил нескольких товарищей, ну, заболтался с ними; а потом выпили, и он забыл о жене, о своем обещании.

Но вот он, наконец, появляется «на веселе» с компанией. Уже поздно пойти в театр или погулять. Он находит, что ничего страшного не произошло, — все в порядке вещей! В результате и «психическая перестройка» же-

ны (на этом построена вся пьеса) выглядит совершенно неубедительной.

Если ее активность на ложном пути,—а это именно так, ибо она поддерживает насквозь прогнившие взаимные отношения,—то она остается лишь рабой своей страсти, какой она была и раньше. Ничего не изменилось из-за «Строгих времен»...

Автор рассказывает, что его инженер особо проявил себя во время финского похода, что он получил ответственное и почетное задание и что он его блестяще выполнил. Но ведь это просто политическая бестактность! Уместно ли ради прихоти автора связывать эти далеко не отрадные семейные отношения со столь серьезными и почетными делами, какие имели место в боях с белофиннами? Расщепление поступков и сознания отнюдь не характеризует нового человека.

Внутренняя пустота «Обыкновенной истории» и «Строгих вермен» привела к крупнейшим художественным недостаткам. Характеры действующих лиц неопределенны. Только при тщательном анализе становится ясно, что собой представляют эти люди в действительности, какие именно поступки соответствуют их характеру. В поступках персонажей нет здоровой логики жизни.

Следует с уверенностью сказать, что такие пьесы не обогатят познания и чувств зрителя.

★

В пьесе «Семья Ковровых» Колкова как будто есть настоящий конфликт. Но как он развернут? Тут так же назревает семейный кризис. Он начинается с появлением ребенка. Мать воспитывает мальчика, как эгоиста, как одиночку. Ей кажется, что она горячо любит ребенка. В действительности ее любовь жестокая, жадная и завистливая. Она хочет иметь сына только для себя. Ей он должен принадлежать, только ей. Она покупает его любовь уступчивостью, подарками, она балует его и потворствует всем его капризам. Отец видит ужасающий результат этого «воспитания». Мальчик плохо учит-

ся, лжив, не сдерживает обещаний. Мать обижается, когда отец пробует вмешаться в воспитание своего сына. Начинаются ссоры, и семейные отношения портятся.

В душе жены растет ненависть к мужу, нарождается новая потребность в любви. «Новая любовь» появляется — это юрисконсульт. Все это вызывает взрыв и решение расторгнуть брак с Ковровым.

И вот из-за мальчика ведется борьба между отцом и матерью, — он хочет защитить его от губительного влияния матери и взять к себе; она его ни за что не отдает.

Ребенок, любящий их обоих, страдает от раздора родителей. Он болезненно переживает враждебные отношения, возникшие между отцом и матерью. Есть ли возможность освободить его от этих страданий? Если верить автору, то конфликт между родителями никак нельзя разрешить. Отец не должен уступить, поскольку он прав; мать не уступит, поскольку она никогда не поймет, что она права, что она губит ребенка.

Есть как будто один выход. Автор, хотя открыто этого не показывает, но все же пробуждает у зрителя мысль: нельзя ли устроить так, чтобы родители ради счастья своего ребенка опять зажили вместе?

Собственно говоря, Ковров хотел бы этого. Но жена не хочет. И в этом отношении она права. Поскольку не предвидится коренной перестройки убеждений жены, нескончаемые ссоры, отравляющие жизнь родителей и ребенка, неизбежны. И этот вариант не устраняет противоречий в семье Ковровых. Одно только можно сказать: из-за неразрешимости конфликта судьба мальчика заранее решена — никогда не будет у него счастливого детства!

В первоначальной редакции пьесы автор дал катастрофическую развязку. Несмотря на строгий надзор, мальчик познакомился с хулиганами. В один прекрасный день он удирает, садится на буфер поезда, срывается и попадает под колеса. Такой финал по край-

ней мере соответствует концепции автора, который считает конфликт семьи Ковровых неразрешимым. Но затем Колков придумал другую развязку: отсутствие мальчика обнаружено в доме во-время; его удается в последнюю минуту снять с уже готового к отходу поезда. Но этого ведь мало! Автор успокаивает зрителя насчет судьбы мальчика, и все...

Разрешает ли спасение мальчика конфликт? Ведь печальные домашние условия, в которых он вырос, остаются в силе. Такой вариант может утешить только нервного и недалёковидного человека, но отнюдь не нашего мыслящего зрителя.

Но, быть может, эта пьеса имеет, несмотря на все ее недостатки, какое-либо педагогическое значение? Может быть, поэтому она заслуживает более мягкой оценки? Пьеса привлекает внимание зрителя к судьбе детей, чьи родители расстаются. Она заставляет задуматься над тем, что развод касается не только родителей, но имеет влияние и на жизнь детей. Это намерение автора надо приветствовать: действительно, во многих случаях супруги при семейных ссорах думают только о себе и забывают о детях. Однако, если взять типы мещан и, указывая на них, говорить, что это, дескать, советские люди, — то тут уверения и предупреждения автора окажутся бесполезными. Зритель скажет: «Это не мы» — и отбросит даже то зернышко правды, которое имеется в пьесе.

★

Авторы рассматриваемых нами драматических произведений уверены в том, что они толкуют о конфликтах между хорошими советскими людьми «среднего уровня». В действительности же изображенные ими мнимо положительные образы — неустойчивые натуры, насквозь проникнутые обывательщиной.

К счастью, эту тенденцию можно считать явлением преходящим. Тот же Герасимов — автор «Строгих времен», например, написал значительную пьесу

«Учитель». Молодой человек Лаутин закончил учебу в институте. Он собирается вернуться в деревню, чтобы заняться обучением и воспитанием молодежи. Лаутину приходится бороться с трудностями, возникшими из-за бессмысленной рутины и неповоротливости местных властей. Он с успехом преодолевает эти трудности. Его хорошая работа в маленьком местечке была отмечена — народ выдвинул его на почетное и видное положение — он был избран депутатом. Эта часть сюжета в «Учителе», несмотря на несколько занятных деталей и некоторые тепло изображенные места, суховата.

Молодой учитель попадает, кроме того, в конфликт интимного характера. Его невеста не хотела с ним поехать в деревню, и они живут в разлуке: он на родине, она в Москве. И, как это часто бывает, их связь постепенно гаснет, и она выходит замуж за другого.

Деревенская девушка Груня полюбила Лаутина. Он почти не обращает на нее внимания до тех пор, пока не получает известия о замужестве своей невесты. Из-за уязвленного самолюбия, чтобы не остаться покинутым, он делает предложение этой девушке. Делает он это нетактично, грубо, оскорбительно: «Пошли в загс» — говорит он.

Девушка реагирует на это совершенно правильно. На его предложение она отвечает: «Нет», хотя и любит его. Именно потому, что любит, она не может жить с человеком, у которого в душе еще таится остаток чувства к другой. Она не хочет связывать свою жизнь и свое счастье с человеком, который в «сердечных делах» груб и поверхностен.

В дальнейшем «воспитатель» перевоспитывается, и они становятся мужем и женой.

Здесь Герасимов проявил ценное чувство нового. Груня морально чиста, серьезна, умна. Она умеет познавать людей и подавлять силу страсти. У нее качества, которые возвышают нового человека и принадлежат только ему. Герасимов смог здесь придать образу девушки обаяние; поэтому мысли ав-

тора производят сильное впечатление, они пленяют и формируют чувство зрителя. Эта жизнерадостная девушка действует по законам здоровой логики и инстинкта, а не по соображениям прописной морали.

★

Много мотивов, отмеченных в ранее рассмотренных пьесах, имеется и в «Живых цветах» — последней работе Н. Погодина (в настоящее время автор эту пьесу перерабатывает).

В этой своей пьесе Н. Погодин не избегает прискорбных заблуждений своих коллег.

«Живые цветы» — комедия с сатирическим уклоном. В ней, по замыслу драматурга, должны быть пригвождены к позорному столбу все пороки наших сограждан во всей их смехотворности, во всей их нелепости. Отрицательные персонажи здесь в меньшинстве. Их всего два. Один из них — Клавдия, сестра летчика Черамыслова, Героя Советского Союза, советский «синий чулок», ханжа, которая своим сухим морализированием вредит скорее себе, чем другим, — это явно безвредный отрицательный персонаж. Второй персонаж, это — Золотов, который производит вначале впечатление несчастного существа. Но в должности директора этот сухой бесталаный человек становится сущим бичом для подчиненных: он пресмыкается перед вышестоящими и угнетает стоящих ниже. Он опасается талантливых людей и вечно находится в тревоге, как бы его не сместили.

Когда бездарный карьерист занимает крупный пост в окружении талантливых людей, то логика вещей, естественно, приводит его к конфликту. У Погодина Золотов становится просто подлецом. Он совершает попытку вымогательства у молодого инженера Веткина, он клеветает на свою жену, чтобы испортить репутацию его недругу, летчику, и т. п.

Супружество Золотовых со стороны кажется примерным, совместная жизнь их основана как будто на взаимном уважении; но, на самом деле, этот се-

мейный дом оказывается вертепом с прилично выкрашенным фасадом. Как только Золотов замечает холодность жены, он сразу становится хамом. Он подозревает ее в измене и осыпает самыми бесстыдными ругательствами. По сравнению с ним Гельмер из «Норы» прямо благородная натура.

Поступки Золотова вызывают воспоминание и о другом персонаже Ибсена, о строителе Сольнесе, с его страхом перед молодежью. Сольнес — натура талантливая, но он живет в мире, где один беспощадно вытесняет другого, где он, стареющий человек, должен всеми средствами отстаивать свое право на жизнь. Золотов совершенно бездарен, живет в обществе, где все способности и достижения находят соответствующее применение. Независимо от того, что поступки Сольнеса, таким образом, до известной степени оправданы, а Золотова не оправданы, отношение строителя Сольнеса к молодому гениальному Рагнору кажется деликатным по сравнению с отношением Золотова к молодому талантливому Веткину.

Он не дает никакого хода работам инженера так же, как и Сольнес, но Сольнес не выражает Рагнору дружеских чувств, не привлекает его к себе, чтобы унижить, скомпрометировать его перед всеми. С точки зрения элементарной нравственности, Золотов — чудовище, закоренелый моральный отравитель. Зачем Погодину нужны такие ужасные краски при изображении Золотова?

Несмотря на чрезмерную обстоятельность и фотографическую точность, в этой пьесе недостает живой страстности и подлинной правдивости. Обнаруживается это еще яснее при анализе положительных персонажей.

Жена Золотова — человек советской формации. Она врач, ученая, и имеет, по данным автора, исключительные достижения в области медицины. Она закончила научную работу, которая по достоинству оценена авторитетными специалистами. В интимных отношениях она проявляет себя, как человек серьезный, как натура глубоко нрав-

ственная. Зарождение новой любви и страсти к летчику готовит ей страдания, она решает побороть свою страсть. Все это прекрасно. Но подумал ли автор о том, что она живет в браке с подлецом Золотовым и что это непорядочно дискредитирует, унижает ее?

Неужели этой самостоятельной, по характеристике Погодина, женщине нужен внешний толчок, чтобы заметить то, чего нельзя скрыть в интимной совместной жизни? Она была опьянена страстью? Или, быть может, она попросту бездумно жила со своим мужем и ни во что не вмешивалась? Все это совершенно не похоже на нее.

Это противоречие не в самом характере, это противоположность между персонажем и действительностью. Вот почему эта героиня выпадает из числа положительных персонажей, новых людей. Она не вызывает у зрителя той симпатии, с которой следят за жизненным путем положительного героя. Почему писатели не хотят учиться у Шекспира? Дездемона любит Отелло, лучшего человека, его, а не Кассио, не Родриго, не Яго! Джульетта любит Ромео, а не Меркуцио и не Бенволио!

И главное действующее лицо — летчика — автор также ставит в весьма жалкое положение. Этот Герой Советского Союза был школьным (или фронтовым) товарищем Золотова. Только его простодушием можно объяснить то, что он не находит ничего странного во внезапных дружеских чувствах Золотова, который впервые явился на квартиру к своему прежнему другу лишь тогда, когда тот стал знаменит. По каким-то неведомым мотивам наш летчик тут же соглашается на предложение своего «друга», прекращает свои полярные полеты и поступает к нему летчиком-испытателем. Как только он приходит на завод и обменивается несколькими словами с загадочной секретаршей Тарховой, он сразу же замечает подхалимство Золотова перед наркомом, его бюрократический нажим на старого, очень способного инженера. Материала достаточно, чтобы нормальный советский человек (а тем более наш летчик — ведь

он Герой Советского Союза!) подумал: с Золотовым дело не ладно. Было бы нормально, если бы он серьезно поговорил со своим другом и сообщил обществу о замеченных непорядках. Но в пьесе об этом ни слова. Это непонятно.

Может быть, летчик принадлежит к тем, кто не видит дальше узких рамок своей специальности, кто ко всему остальному глух и равнодушен? Но ведь в таком случае в смысле общественном это не положительный, а отрицательный персонаж.

Но дальше — больше! В тот же день летчик беседует с молодым инженером Веткиным. Тот жалуется ему на директора, обвиняет его, во-первых, в скрытой травле, — что для советского директора, мягко выражаясь, непристойно, — во-вторых, в попытке вымогательства, что даже по буржуазным понятиям считается уголовным преступлением. На эти чудовищные поступки Герой Советского Союза, наконец, реагирует. Но как?

Можно было бы подумать, что он откровенно и прямо скажет об этом директору, забывшему о своем долге, сообщит партийной организации и властям, наконец, лично знакомому ему наркому. Ничего подобного не происходит. Наш летчик молчит. Он заставляет молодого инженера продолжать разработку проекта и затем готовый проект передает властям.

Почему избирает он такой сложный, извилистый путь. Может быть, он считает Золотова сверхловким субъектом, которого надо уличить так, чтобы он не мог вывернуться? Но соответствует ли этому его дальнейшее поведение? Как хватает у него духа поддерживать с Золотовым дружеские отношения и даже отправиться с ним в путешествие? Не подтверждает ли это в глазах зрителей жалобу Золотова на то, что летчик, друг его, интригует против него и хочет его окончательно «доканать»?

А если это дружеское отношение к Золотову является маневром, примененным для того, чтобы разоблачить опасного мошенника по всем правилам де-



тективного искусства, то почему летчик ведет борьбу против Золотова так вяло, так осторожно, что это даже вызывает удивление наркома?

Во всяком случае наш «герой» ведет себя, как непонятный, бездумный человек, не способный размышлять, анализировать.

Складывается впечатление, что положительные персонажи нашей драматургии часто создаются кое-как, наспех, по готовому рецепту.

Известно, что в великих драматургических произведениях положительным персонажем является герой, — он ведет действие, а отрицательный персонаж большей частью бывает «противником». При создании драмы следует прежде всего подумать и прочувствовать характер, образ положительного героя, представить себе его в центре действия и изобразить во всей полноте. Все, самое значительное, что знает поэт о действительности, самое возвышенное представление свое о людях вкладывает он в этот образ. Так возникают Прометей, Фауст, Гамлет, Карл Моор.

Но вернемся к «Живым цветам». Как здесь создавался образ героя?

Положительные качества летчика (т.е. качества, которые, по замыслу автора, являются положительными) выбраны в пьесе Погодина по принципу контраста, в прямом соответствии с отрицательными качествами Золотова. Золотов черствый, постоянно озабоченный, всегда начеку, настороженный, озлобленный, неуравновешенный, то заносчивый, то унижающийся, то льстивый, то грубый, то сдержанный, то разнузданный. Летчик — полная противоположность. Постоянно беззаботный, живущий мгновением, откровенный, живой, он «купается в жизни», в нем нет ничего театрального, искусственного. Он простой, естественный, несколько даже неотесанный, но всегда деликатный.

Иными словами, именно Золотов является в пьесе мерой вещей, в то время как этой мерой должен был бы быть летчик. Не удивительно, что этот образ в художественном отношении полон противоречий.

★

Сюжет пьесы «Клевета» Н. Вирты сходен с сюжетом драмы «Павел Греков». «Клевета» изображает ужасное положение, в которое попал честный советский человек из-за ложных обвинений. Его прогоняют со службы; люди, которых он считал своими друзьями, отворачиваются от него; жених его дочери покидает ее.

Вирта показывает клеветников «за работой». Зритель видит, как они сочиняют клеветнический слух, как они его распускают... Слух этот сгущается, разрастается, принимает огромные размеры, пока, наконец, обнаруживается правда.

Автор назвал свою пьесу комедией. Это вызывает целый ряд недоуменных вопросов. Ведь клеветники стремились уничтожить наши лучшие кадры. Возможно ли комическое изображение столь отвратительных субъектов и их деятельности? Целесообразно ли ограничиться легким смехом, когда речь идет об этих вещах? Не означает ли это, что у автора нехватает элементарного такта, — ведь вместо того, чтобы занести над врагами меч беспощадного обличения, он ограничивается беззлым смехом.

В интерпретации Вирты смысл исторических событий затемняется; связь вещей путается. Действительность коверкается.

Вирта ставит себе задачу — написать сатирический памфлет на врагов. Автор подошел к этой ответственной задаче со «смелыми» замыслами и — увы! — осуществил их поверхностно, бессодержательно.

Имеющиеся в пьесе положительные образы не вносят света в эту мрачную панораму. После просмотра «Клеветы» о положительных образах скоро забываешь. И это понятно. Они — нули; их нравственное содержание незначительно, их духовный уровень низок. «Положительные герои» лишь наделены качествами и склонностями, противоположными тем, которые свойственны отрицательным персонажам. Они не клеветают, не проходят равнодушно

мимо судьбы невинной жертвы, они не способны злорадствовать по поводу несчастья невинной жертвы клеветы, трусливо отстраняться от нее, заметать следы дружественных отношений к ней.

Эти положительные персонажи в пьесе не могут отвлечь внимания, которое привлекает к себе злонаправленный персонаж. Аким Акимович, клеветник, остается в центре пьесы. В этой «сатире» нет идей, которые могли бы привлечь нас. Совет «не клеветать и не злорадствовать» — это обыденная, ходовая истина и ничего больше.

Искусство в прошлом доказывало свою смелость тем, что оно предвидело новую человечность и художественно воплощало ее. Искусство в наши дни проявляет свою смелость в том, что оно чутко улавливает проблески нового в настоящем, намечает черты и облик будущих людей.

Конечно, советское искусство должно в то же время вести смелую и решительную борьбу с пережитками буржуазного сознания. Нам не нужны никакие прикрасы. Но нам нужно, чтобы писатели, в том числе и сатирики, разместили вещи по своим местам, а не вносили в существующий порядок путаницу.

Внешне кажется, что в основе сатирического жанра лежит страсть к отрицанию и только к отрицанию, ибо сатира пригвозждает к позорному столбу пороки общества. В действительности же она обладает силой лишь тогда, когда возникает из пламенного стремления к идеалу, как говорит Шиллер.

Не нужно производить особенно глубокий анализ, чтобы по самым острым сатирическим комедиям Мольера создать представление об его идеале добродетельной, «естественной» морали. Этот писатель преклонялся перед разумом и бичевал всякую спекуляцию на глупости ближних: шарлатанство врачей, религиозное лицемерие, тупое и наглое дворянское чванство и паразитизм.

Идеал живет и в сатирических произведениях Салтыкова-Щедрина, и в

«Мертвых душах» и «Ревизоре» Гоголя, где выведены почти сплошь отрицательные персонажи. Громя старое, отжившее, сатира в то же время выступала в защиту нового, которое вынуждено было бороться за свое существование. Она отстаивала то, что будет, против того, что было. Советская сатира служит углублению и расширению социалистического сознания, служит утверждению победы «нового» над остатками «старого».

Когда советская общественность подвергла резкой критике «Обыкновенную историю» Симонова и «Строгие времена» Герасимова, эти драматурги занялись исправлением своих забракованных произведений. Они убрали отдельные моменты, вызвавшие нарекания, они изобрели новые названия: вместо «Обыкновенная история» — «История одной любви», вместо «Строгие времена» — «Наши дни». Но порочность произведений, о которой мы говорили выше, осталась и в новых вариантах, несмотря на иные названия: эти писатели затрагивают различные «острые» жизненные проблемы, но показать свой идеал, вдохновляющий их на сатирическое изображение недостатков быта, им не удалось.

### III

Публика хочет смеяться. Наш зритель любит комедии Лопе де Вега, Карло Гольдони, Бомарше. Он не прочь иногда поразвлечься и Скрибом.

Писать веселые комедии на легкий лад довольно трудно. Для этого необходимы уверенное техническое умение, развитый вкус; одним словом, нужно обладать большой художественной культурой, внутренней свежестью, живой изобретательностью, блистательным юмором... К сожалению, все это редко встречается в комедиях, написанных за последнее время, зато вы найдете там вещи, не обязательные для комедии, например, глубокомысленные и многозначительные места, которые — если быть точным — и не глубокомысленны, и не многозначительны, а... претенциозны и сентиментальны.

Братья Тур предупреждают, что веселая комедия «Неравный брак» — правдивая история, была. Они рассказывают, как один богатый человек Шпигельглаз, эмигрировавший много лет назад из маленького еврейского местечка на Украине в Америку, завещал своему сыну весь капитал с курьезным условием: наследник должен жениться на девушке из родного местечка отца, иначе сын лишается наследства! Молодой Майкл Шпигельглаз, конечно, едет в это местечко в Советской Украине. Понятия, с которыми он сталкивается, кажутся ему нелепыми, например: 1) любовь не товар, который можно купить и продать; 2) выйти замуж за него, хорошо сложенного, одетого по последней моде, красивого, очень богатого молодого человека, — значит, вступить в неравный брак и 3) американская цивилизация — цивилизация, не во всем приемлемая.

Можно ли иметь дело с такими людьми? Конечно, нет. И Майкл должен вернуться домой ни с чем. Можно смеяться над снобизмом Майкла, можно высмеивать пошлые взгляды буржуазного юноши на человеческие отношения, можно сколько угодно мотать головой по поводу того, что такие взгляды в капиталистическом обществе вполне нормальны. Можно радоваться и неудаче отвергнутого жениха — этого ловца счастья.

Но... нужна же какая-то мера преувеличения!

В комедии Майкл — «средний» американец из богатой семьи. Девушки и юноши в колхозах также «средние» граждане нашей страны. Должна быть соблюдена пропорция для того, чтобы изобразить огромную разницу культур социалистической и буржуазной. Братья Тур хотели показать это различие во всем до мелочи. И вот как это выглядит: Майкл совершенно необразованный и даже глуповатый человек. Он никогда не слышал о Шекспире, он даже не знает, что этот человек был одним из лучших поэтов и драматургов мира. Колхозные же девушки, наоборот, не только знают Шекспира, но они досконально знакомы с его произведениями и да-

же цитируют из них целые строфы наизусть. Этот способ показа превосходства нашей культуры поверхностен и несерьезен: есть другие, более серьезные критерии.

Главный замысел сюжета неплохой; он прост, приятен, без претензий. Но авторы изо всех сил стараются что-то найти, чтоб внести в сюжет драматическую серьезность. И вот братья Тур «лепят» полукомический, полусерьезный образ Зайчика. До Октябрьской революции Зайчик был «шадхен»<sup>1</sup>. Теперь он выполняет прозаические обязанности бухгалтера. Он этим не очень доволен. Зайчик скучает по «поэзии» своей бывшей благородной деятельности — связывать брачные узы! Содействовать счастью своих клиентов! Неудивительно, что он так усердно, со страстью берет дело Майкла в свои руки.

Встреча с Майклом — счастливый случай. Не верится даже, что Зайчику представилась возможность еще раз сватать. Эта возможность больше не вернется, и Зайчик должен показать себя во всем блеске. Поэтому он сильно переживает все стадии сватовства Майкла и его неудачи. В этом человеческая драма этой комедии.

Сват в изображении мировой литературы всегда очень комичная фигура — незначительный человек. Его деятельность вызывала сердечные трагедии, — это бывало часто. Но он сам трагедии не переживал. Интерпретация этого образа в комедии братьев Тур по крайней мере оригинальна, но, к сожалению, неправдива.

Драма Зайчика вызвана не глубоко-мыслием, а пустомыслием, и именно потому, что он не имеет настоящих интересов, он так крепко цепляется за привычки своей бывшей профессии. Его внутренние переживания не драматичны и не трогательны. Это не подлинная человечность, а какое-то блуждание человеческих чувств, и для зрителя это не может иметь значения.

Текст роли написан плохо. По замыслу авторов этот текст должен был характеризовать Зайчика как человека,

<sup>1</sup> Сват.

который смотрит на все с точки зрения философа и страдает. На деле же получился неприятный, нервирующий жаргон с весьма сомнительными общими местами и истинами, произносимыми тоном самолюбования и жалости к себе.

С главным сюжетом переплетается несколько побочных, трактующих конфликты между влюбленными парами. Было бы неплохо свежо и изобретательно разработать эти истории. Мы часто встречали «войну» между влюбленными, возникающую из-за невинных недоразумений. Сталкиваемся мы с этим и у братьев Тур. «Война» начинается с легких разногласий. Она усиливается сценами ревности, развитие «военных действий» идет «крещендо» и доходит до открытого столкновения влюбленных; постепенно это принимает характер «бойни», прямо пугаешься, чувствуется: вот-вот наступит катастрофический финал. И тут-то, можно сказать, в последнее мгновение недоразумение разъясняется, борьба прекращается, мирный сигнал подан... влюбленные целуются...

В «Сашке» К. Финна, задуманной как веселая комедия, главный сюжет и центральная фигура шаблонны. Автор показывает героя как скромного ученого, истинно преданного науке: Сашку постепенно выживает внешне блестящий, а внутренне пустой соперник. Сначала Сашка отодвинут в тень, а затем его совсем оттесняют. В конце пьесы правда раскрывается.

Сашка рассеян — это его слабость.

Наш приятный Сашка имеет еще один недостаток: он домашний тиран, один из так называемых сентиментальных деспотов. Каждая мелочь его задевает, по самому незначительному поводу он вспыхивает и принимает решительные меры. Таким образом, развивается побочный сюжет комедии. Сашка покидает свою молодую жену Ксению, мучает себя и эту прелестную женщину совершенно напрасно.

Главный и побочный сюжет, вместе взятые, дают жиденькое действие и весьма скромную дозу веселья. По-на-

стоящему свежи и милы только несколько деталей,—например, отношения между Сашкой и его отцом. Молодой ученый сидит в ресторане, чтобы «запить» свое горе; там же работает его отец, официант. Отец-официант обслуживает его и заботливо смотрит на сына. Но так долго продолжаться не может, и отец упрекает «гостя» в его поведении. Но сын упорно принимает официальный тон, как это подобает в разговоре между гостем и официантом.

«Серьезный образ», необходимый, по мнению автора, для советской комедии, — это друг Сашки, тихо страдающий, поборовший свое чувство поклонник Ксении.

«Глубоко значительный образ», также необходимый, по мнению автора, для советской комедии, — это старик с попугаем. Этот старик с попугаем появляется, когда вздумается автору, и изрекает мудрые сентенции из раздела «гуманистическая философия».

★

Для советской драматургии 1940 год был весьма оживленным. Наша общественность подвергла острой критике ряд драматических произведений, написанных квалифицированными авторами. В этих произведениях были обнаружены весьма вредные тенденции.

Надо, однако, отметить, что в то же время многие советские драматурги небезуспешно работали над серьезными творческими проблемами, которые ранее не привлекали должного внимания.

Значительными были успехи национальной драматургии. Интересна работа писателей над образами великих революционных героев. Ценные вещи созданы в области исторической драмы.

Но, к сожалению, центральная тема нашей эпохи — образ современного советского человека, нового героя, воплощающего пафос труда и обороны, — еще не нашла достойного драматургического воплощения. Над этим нашим писателям еще предстоит основательно поработать.

# Поэзия осуществленной мечты

Р. ВАРТ

★

## I

Исполнилось двадцать лет Советской Грузии. В дружной семье народов Советского Союза цветет солнечная Грузинская республика. Растет и крепнет ее культура, социалистическая по содержанию, национальная по форме.

Одним из наиболее ярких свидетельств этого роста может служить грузинская поэзия, обзору которой мы и посвящаем нашу статью.

У каждого народа есть свой Прометей. К числу таких великих борцов и страдальцев за счастье народа относятся и Амиран — герой грузинского эпического предания. Амиран борется не только против мифических существ, дэвов, но и против врагов своей родины. За свой дерзкий вызов богу Амиран был закован в недоступном ущелье Казбека. В грузинском Прометее отразились представления о подлинном герое, бесстрашном богатыре, который вечно живет, не теряя надежды на свое освобождение, и когда-нибудь выйдет к народу!

Грузинские классики литературы не раз обращались к мудрому преданию об Амиране, образ которого был для них символом самой Грузии, угнетаемой своими и чужими поработителями. В исторической пьесе Акакия Церетели «Торнике Эристави» грузинские воины после победы над Склярсом, возвращаясь на родину, пели песню об Амиране:

На Кавказе к цепи горной  
Амиран прикован был...  
Грудь героя ворон черный  
Расклевал и раскогтил...

Недрузи кружатся злобно,  
Словно стая воронья.  
Но придет, настанет время —  
Цепи разорвет народ.

(Перев. С. Спасский.)

И это освобождение прикованного Амирана символизировало освобождение самого грузинского народа.

Основной темой многих произведений грузинской классики являлась тема Амирана, которая пришла в литературу из народного творчества. Не было в Грузии ни одного крупного писателя, который не обратился бы к этой теме — теме освобождения народа от национального и социального угнетения. В грузинской литературе XIX века гражданские и национально-освободительные мотивы играли главенствующую роль. Одним из отличий грузинского романтизма от западноевропейского, в частности от немецкого и английского, является его земной характер. В нем сильны общественные мотивы, и уход отдельных поэтов в мир природы и любовных наслаждений объяснялся в большинстве случаев разочарованием в мечте увидеть Грузию освобожденной.

Но лучшие представители грузинского романтизма, в частности тонкий и обаятельный лирик Николоз Бараташвили, увидели единственный выход для грузинского народа в присоеди-

нии своей родины к России. Правда, поэт видит трагическую судьбу своего народа при господстве самодержавия:

Мчит, несет меня без пути-следа мой  
 Мерани.  
 Вслед доносится злое карканье, окрик  
 враний.  
 Мчись, Мерани мой, несдержим твой скак  
 и упрям,  
 Размечи мою думу черную всем ветрам!  
 (Перев. М. Лозинский.)

Крылатый вороной конь Мерани — это сама скорбная судьба поэта, у которого «брошены где-то отчизна и братья, голос любимой и близких объятий»... Трагедия Николоза Бараташвили — это трагедия поэта-патриота. Но он верит, что наступит время, когда человек обгонит свою «черную судьбу» и достигнет счастья:

Нет, не исчезнет душевный трепет того, кто  
 ведал, что обречен,  
 И в диких высях твой след, Мерани,  
 пребудет вечно для всех времен:  
 Твоей дорогой мой брат грядущий  
 проскачет, смелый, быстрее меня  
 И, порвнявшись с судьбою черной, смеясь,  
 обгонит ее коня.  
 (Перев. М. Лозинский.)

Романтический протест против действительности и мечта об освобожденном человеке принимают более острый социальный характер и в то же время реалистическое очертание у основоположников новой грузинской литературы — поэтов Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели. Неслучайно Илья Чавчавадзе истоки новой поэзии искал именно в творчестве Н. Бараташвили.

Литературная группа так называемых «Теркдалеули» (буквально: испившие воды Терека) состояла из молодых грузин, получивших образование в России и вернувшихся на родину, чтобы служить своему народу. Они пошли в борьбе против угнетения и насилия дальше романтиков. Во главе этой литературной группы и стояли И. Чавчавадзе и А. Церетели. На мировоззрение и творчество обоих художников оказали огромное влияние идеи Белинского, Добролюбова, Чернышевского, гражданская поэзия Некрасова.

В программном стихотворении «Поэт» (1860) И. Чавчавадзе говорит о своем

понимании общественной роли писателя. Он противопоставляет себя поэтам, которые ограничивали свое творчество только воспеванием традиционных соловья и розы или созданием гедонистических песен. «Не для одних лишь сладких песен я послан родине своей», — поэт хочет жить судьбой народа, сродниться с ним:

Его страданием — страдать,  
 Его томлением — томиться  
 И ликованьем — ликовать.  
 (Перев. Б. Брик.)

В первой своей поэме «Призрак» И. Чавчавадзе дал широкую социальную картину жизни Грузии. Это первая крупная социальная поэма в грузинской литературе. В ней со всей остротой обнажены общественные противоречия современной автору действительности. Чавчавадзе видит угнетенное положение народа, но не находит героев, которые могли бы перестроить мир. «Большую цель давно утратив, вы не стремитесь никуда» — гневно обращается поэт к современникам. Отсутствие реальной революционной силы, которая могла бы освободить народ от национального и социального угнетения, вело к тому, что и Чавчавадзе, и Церетели искали героические личности в истории Грузии (поэма «Дмитрий Самопожертвователь» И. Чавчавадзе, поэмы «Торнике Эристави», «Натела», историческая пьеса об Ираклии II «Патара Кахи», повесть «Баши-Ачук» А. Церетели). Отсюда и некоторая романтическая идеализация прошлого.

Величайший грузинский поэт конца XIX и начала XX веков Важа Пшавела, выше всего ценивший в человеке храбрость и самоотверженность, романтизировал мужественных горцев и в них видел остатки былого героизма, непосредственность и органическую слитность человека и природы. В стихотворении «Жалобы меча» он скорбит об измельчании человеческой личности, об утере героического в современных ему людях.

Но Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели и Важа Пшавела, отрицая современный им общественный строй (а Це-

ретели обличал его также в злых и бичующих сатирических стихах), не теряли надежды на лучшее будущее.

Мир грабежа и угнетенья  
Уже разрушиться готов,  
И распадутся вскоре звенья  
Отяготительных оков, —

(Перев. Б. Брик.)

пишет в «Призраке» И. Чавчавадзе. Грузия освободится потому, что «свободы цель перед собой поставил славный наш народ». И освобожденного Амيرانа — Грузию — не смогут больше приковать к холодной ледниковой скале Казбека:

И на тебя бывшие цепи  
Вновь не наденут никогда,  
И расцветет великолепье  
Освобожденного труда.

(Перев. Б. Брик.)

Вот будущее, которого ждали лучшие поэты и мыслители второй половины XIX века. Но это будущее само не придет. Народ должен сам завоевать его, и поэты сознательно ставили перед собой задачу — воспитание народа в духе борьбы. В дни первой русской революции 1905 года Акакий Церетели призывал народ к вооруженному выступлению против царской деспотии.

Сталь твою точку, кинжал,  
Мне в борьбе она поможет.  
Рукоять я крепко сжал,  
Выхватив тебя из ножен.

(Перев. А. Корчагин.)

Такие произведения помогали политически воспитывать трудящихся Грузии.

## II

Советская грузинская литература продолжает лучшие традиции классической литературы Грузии.

Старшее поколение писателей, которое начало творить еще до установления в Грузии советской власти, отдало некоторую дань литературным вкусам конца XIX и начала XX веков, в частности символизму. Но нужно отметить, что большинство из них после революции смогло понять историческую миссию пролетариата, переосмыслить прой-

денный творческий путь и правдиво изобразить явления новой действительности. К числу таких писателей принадлежат поэты: Г. Табидзе, С. Шаншиашвили, И. Гришашвили, Ал. Абашели, символисты в прошлом — В. Гаприндашвили, Р. Гветадзе, Г. Леонидзе и др.

Путь, пройденный крупным поэтом Галактионом Табидзе, характерен для лучшей части дореволюционной художественной интеллигенции. Начал он писать стихи еще в 1908 году. Тогда и в Грузии свирепствовала черная реакция... Интеллигенция, не связанная с революционным движением, уходила в мир субъективных переживаний. Стихи Г. Табидзе этого времени проникнуты глубоким пессимизмом, мотивами трагического одиночества. Единственный его друг — черная ночь, которой он поверяет тайны своего сердца, «чуждого людям, чуждого миру»:

Лишь ночь, подруга думы поздней, лишь  
ночь, горящая в окне,  
Узнает тайну, что мимозой в моей тает  
глубине.  
Ночь знает о пути тернистом, которым мне  
итти невмочь,  
Теперь мы двое в мире мгlistом, мы двое  
в мире: я и ночь.

(Перев. В. Гаприндашвили.)

Мир кажется поэту «горячкой бесконечной», в которой «все исчезло, отзвучало, отмаячило, умчало». В этом хаотическом вихре все несет к смерти. Но в минуты страшной душевной пустоты лирический герой иногда обращается к самому себе: «Все ль мои мечты отшелестели крыльями взлетевшего орла?» Он не находит ответа, но самое возникновение вопроса говорит о далеко не безнадежном пессимизме поэта.

Октябрьская социалистическая революция выводит Г. Табидзе из творческого тупика. Поэт был очевидцем великих дней. Он стремится понять происходящее. Своим поэтическим чутьем предчувствует он новые пути своего творчества. В его поэзии начинают звучать мотивы преодоленного одиночества. Художник сознает, что он «в мире не один». Г. Табидзе приходит к народу, творящему революцию. Его поэзия уже не кружится в водовороте

ночи. Революция воодушевила поэта на поиски новых тем и новых красок для изображения великой эпохи. В стихотворении «Колокола» Табидзе пытается дать картину революции. Но великое движение масс он воспринимает как стихию. Правда, поэту ясно: «Пока знамена мы искали, в ветре внезапно зареял флаг». Сейчас есть знамя, о котором мечтали великие люди прошлого. И под это знамя становится и Г. Табидзе.

За этим же знаменем пошли и другие лучшие представители дореволюционной грузинской литературы, например, Георгий Кучишвили — демократический поэт, воспевший революцию 1905 года, создавший «Песню рабочих». Он желал, чтобы песня его звучала, «точно гром, с такой же грозной силой, чтоб она возмездье окрыляла и врага коварного разила».

К этому же поколению принадлежит и поэт-драматург, автор известной пьесы «Арсен», С. Шаншиашвили.

Группа грузинских символистов, возникшая в Кутаиси в 1915 году под странным названием «Голубые роги», претерпела ту же эволюцию.

«Творчество «голубороговцев» представляло в грузинской литературе запоздалый отзвук западно-европейской и русской буржуазно-декадентской литературы. В результате успеха социалистического строительства, острой идейной борьбы, проведенной против «голубороговцев», группа распалась»<sup>1</sup> — говорил Л. П. Берия в своем докладе на X съезде КП(б) Грузии. Лучшая, талантливая часть грузинских символистов порвала с идейно-эстетическими принципами декадентской литературы и перешла на позиции реалистического изображения действительности. Бывшие «голубороговцы» — Гаприндашвили, Георгий Леонидзе, Р. Гветадзе и др. — написали прекрасные произведения, отражающие красочную жизнь советской Грузии.

В. Гаприндашвили — поэт городской

культуры. В его творчестве существенную роль играют урбанистические мотивы. Наоборот, для творчества Леонидзе, как и для Симона Чиковани, поэта, некогда увлекавшегося футуризмом, характерно широкое изображение природы. Она для них не фон, а предмет лирического раздумья, содержащего глубокие поэтические идеи. В своих стихах они стремились показать органическую связь человека с миром природы.

Коммунистическая партия и советская власть, освободившие Грузию от гнета, вдохнули новую жизнь в талантливый народ, открыв широкие возможности творческого труда. В советское время выросла плеяда поэтов, которой может гордиться Грузия. Имена А. Машашвили, С. Чиковани, И. Мосашвили, К. Лордкипанидзе, К. Каладзе и представителей более молодого поколения — И. Абашидзе, Г. Качахидзе, А. Гомиашвили, Г. Абашидзе и др. — известны широким массам читателей.

К художникам, начавшим свой творческий путь еще до установления советской власти в Грузии, принадлежат и поэты демократического направления С. Эули и И. Вакели, впоследствии сыгравшие немалую роль в формировании грузинской советской литературы.

Все эти писатели в едином творческом содружестве создают замечательную поэзию, воспевающую счастливую жизнь грузинского народа, освобожденного от социального и национального угнетения.

Трагедия многих писателей прошлого заключалась в том, что они не находили в действительности положительных образов, воплощающих идеалы будущего человека. «На улице поэтов бывших траурная пелена» — пишет Леонидзе. И писатели жили только надеждой на приход настоящих героев, а пока оставалось точить свой сатирический меч для расчистки современного им общества.

Некоторые поэты дооктябрьского периода потеряли даже и этот критический пафос. Они находились в творческой растерянности и не видели выхода. Но те, кто дал поэтам алое знамя свободы, воспитали и новых героев.

<sup>1</sup> Л. П. Берия. Отчет Центрального Комитета КП(б)Г. на X съезде КП(б) Грузии. «Заря Востока», Тбилиси, 1937, стр. 58.



К нам, поэтам, на помощь  
 пришел герой.  
 Нас тоска по героям  
 не обманула, —  
 (Перев. А. Корчагин.)

говорит Чиковани в стихотворении «Поэт и герой». Теперь поэты ищут героев не только в прошлом, но главным образом в настоящем, в нашей действительности, которая выдвинула миллионы славных борцов за дело социализма.

Герой — это мой брат,  
 Каждый сосед — герой.  
 Герой — сверстников ряд,  
 Товарищей дружный строй.  
 (Перев. С. Спасский.)

Поэт и герой дружно строят новую жизнь, и вместе с героем поэт борется против остатков собственничества, против пережитков эгоистических инстинктов в сознании людей. Поэты нового времени — могильщики старого мира с его эксплуататорской психологией. И прав Г. Табидзе, когда он говорит, что истинно «лишь то перо, которое стихом закатный мир взорвет, как динамитом». Но поэты не только борются против отживающего мира, они одновременно воспитатели новых человеческих качеств и чувств. Советская поэзия — поэзия, воспитывающая нового человека, героя нашего времени. Поэзия тогда только может выполнить поставленную перед ней задачу, если она будет боевым оружием и поведет людей на борьбу за великие идеалы человечества.

Таким большим поэтом-полководцем был Владимир Маяковский. В его облике видят поэты братских республик подлинного поэта-гражданина, который служил своим творчеством великому делу строительства коммунистического общества.

### III

Грузинский народ не забыл мрачные века нечеловеческого угнетения:

Горек был нищенский хлеб,  
 Труд громыхал кандалами,  
 Купол небесный был слеп,  
 Звезды — как уголья в яме.

(Г. Табидзе, перев. А. Гарковский.)

Но даже в эти тяжелые годы, когда народ выжимал хлеб из болот и из скалистых полей, он не терял надежд на будущее: «Будет время — скроются болота под широкими коврами пастбищ», — выражая народные мечты, пишет Симоң Чиковани. «Солнце даст и радость, и здоровье, и шумя, раскинутся до моря плодоносные сады и рощи».

Эти мечты народа осуществились. Страна, в которой свирепствовала желтая лихорадка, сегодня стала одной из передовых республик Советского Союза. Богатая природа Грузии, покоренная и освоенная советским человеком, открыла свои богатства трудящимся.

Воспевание природы является одним из мотивов грузинской советской поэзии. И в раскрытии этой темы выступает одна из существенных ее особенностей. О мужественной красоте грузинской природы писали и классики грузинской литературы, и поэты других народов. Но никто из них не показал активного отношения человека к природе. Николоз Бараташвили создал жанр так называемого философского пейзажа, в котором природа вызывает только скорбные размышления о своей трагической судьбе и судьбе грузинского народа. У романтиков природа являлась лишь предметом пассивного созерцания. Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели иначе относились к природе, чем романтики. В выборе тем пейзажа грузинские шестидесятники были так же тенденциозны, как и в изображении общественных явлений. Поэтому Чавчавадзе близок был образ мятежного Терека. «Я люблю мощное рокотание Терека, — писал он в «Записках проезжего», — его неистовую борьбу, негодующий ропот и смятение. Терек — это образ пробуждающейся человеческой жизни, это образ, волнующий и достойный признания: в его мутных водах пепел скорбей всей страны. А Мкинвари (Казбек. — P. В.) — великолепный образ вечности и самопоенного величия; он холоден, как вечность, и безмолвен, как это самопоение. Нет, не люблю я Мкинвари еще и потому, что он неприступно высок! А краугольный камень мирского счастья кладется всегда сни-

зу, у земли, от земли начинается кладка всякого здания, и нигде никто не начинал строить сверху. Вот почему мне, сыну своей страны, милее образ Терека, и я люблю его больше».

Несколько иной характер отношений между природой и герсем видим мы в творчестве Важа Пшавела. Блестящий мастер пейзажа, Пшавела опоэтизировал природу Грузии. Он, как и его герой Миндия из поэмы «Змеед», старался понять язык природы, ее скрытую от человека тайную жизнь. Он одушевил, очеловечил мир природы: «Лес, небо, что ни попадись, теперь с ним в беседе совместной...»

Когда наступает весна,  
Как бы пробуждается спящий.  
От радости и полноты  
Природы восторг беспределен.  
Являючись почки. Цветы,  
Обнявшись, вплетаются в зелень.  
Бросается Миндия с ног  
На горы и с гор, как к знакомым.  
Приветствует каждый цветок,  
Здоровается с насекомым.  
И все ему хором: Ура! —  
Свои распуская знамена.  
Раскраской на все колера  
Кивают цветы изумленно.  
И все сообщает, как один,  
Навстречу: «Здорово, дружище!»  
И, лес шевеля до вершин,  
Подпочву сосут корневища.  
Вдруг, что ни росток, то: «Сорви!  
Нет травки на свете полезней».  
«А я от застоя в крови».  
«А я от такой-то болезни».  
Он рвет их, покуда темно,  
И только роса их курчавит.  
Он знает: из них ни одно  
Ни в грош свою целость не ставит.  
Им главное — жизни бы нить,  
Подаренную в посева,  
На чью-либо пользу продлить.

(Перев. Б. Пастернак.)

Идеал человеческого существования, по мысли поэта, не в борьбе против природы, а в содружестве, в единении с ней. Герой его поэмы, Миндия, потерял способность понимания природы после того, как начал подчинять ее себе, бороться с ней. В. Пшавела видел в человеке только разрушителя гармонии природы, а не создателя ее.

Советская грузинская поэзия усвоила традиционную любовь к природе, к матери-земле. Но в отличие от поэтов

прошлого природа для советских писателей не только предмет созерцания и размышления. Для современной грузинской поэзии характерно активное отношение к природе. Отсюда и реалистическое изображение мира, где наряду с прекрасными долинами Кахетии и горами Кавказского хребта тянулись болота, бесплодные земли горцев. В стихотворении «Осенние вечера в Колхиде» Симон Чиковани вспоминает свое детство и вместе с тем трясину Колхиды. И вот даже воспоминания, которые часто романтизируются поэтами, не вызывают у Чиковани радостных чувств:

Я тряску вспоминал сириачконских арб,  
Немыленной оси унылое скрипенье,  
Просторный двор, быков, везущих нищий  
скарб,

И нездоровое Колхиды дуновенье;

И малярийного комарика трезвон,  
И благодатный сок целительной ошоши,  
И оглушающий хинин, и тяжкий стон,  
И бормотание больных, объятых дрожью...

(Перев. Б. Брик.)

С реалистической суровостью описывает свою родину С. Чиковани. Но эта природа осталась лишь в воспоминании. Изменились люди, изменилась природа. Социализм строит не только новое общество. Он переделывает и мир природы.

Симон Чиковани—мастер пейзажа. Через предметный мир показывает он новые социальные отношения, установившиеся в советскую эпоху. В стихотворениях «Дорога», «Вечер застает у Хахмат», «Мингрельские вечера», «Осенние вечера в Колхиде», «Осеннее утро в Кахетии» и др. Симон Чиковани мастерски показал, как переделывается природа Грузии. В стихотворении «Хевсурская корова» поэт нарисовал картину рождения новой деревни в наиболее отсталом горном районе. Он отошел от тех абстрактных поэтических форм, которые выступали в «Балладе о черепе» и в других ранних стихах.

Страстный поэт Алио Машавили создал ряд стихотворений и большую эпическую поэму «Энгури», посвященные борьбе человека с природой, ее подчинению. В поэме своей автор повествует о строительстве бумажного ком-

бината на реке Энгури. Это вторая поэма Машашвили. В первой — «Я и Бараташвили» — поэт в полемическом задоре поучал великого грузинского романтика. В отличие от этой поэмы и ряда стихотворений он в «Энгури» обращается к самой жизни, к большим фактам современности. Эта поэма свидетельствует об его эпическом таланте, элементы которого выступали еще в его лирике. На широком фоне показывает он победы строителей социализма. А. Машашвили — один из талантливых певцов социалистической Грузии.

Герой нашего времени, перестраивая общество и природу, перестраивает и собственную психологию. Уничтожается одно из величайших зол, которое прививалось господствующими классами, — национализм. «Где вражда грузин к армянам, ненависть кистина к пшаву?» — спрашивает Машашвили. Былая отчужденность и вражда уступили место искренней дружбе и любви между народами Советского Союза: «Словно реки в общем русле, мы слилися величаво» — говорит поэт. «Теперь в засаде между скалами врага не встретите в горах вы» — пишет молодой поэт Карло Каладзе. Эти страшные времена, когда «братский кинжал забывал сожаление», канули в вечность.

Нам советы и дружба от сердца даны, —  
И кипят, и бурлят через край, —  
И навеки мы братской любовью хмельны,  
Словно зеленую блещущий май, —

(Перев. Б. Брик.)

обращается к поэтам-азербайджанам Леонидзе. И это великое чувство любви и дружбы, которое так гениально воспел Шота Руставели, стало реальным фактом жизни. Песни грузинского народа проникнуты глубокой благодарностью к великому русскому народу, с помощью которого он освободился от векового ига.

Ты родина всех человеческих стран.  
Ты родина Грузии. Здравствуй, Россия! —

воскликает Симон Чиковани. Своим счастьем, творческим трудом, миром и дружбой народы нашего Союза обяза-

ны коммунистической партии и ее великим вождям — Ленину и Сталину. Замечательные образы борцов, которые были созданы народами у колыбели человеческой истории, получили реальное воплощение. То, что казалось сказочной мечтой, осуществилось. Вот почему грузинский народ и его поэты с песней, полной любви, обращаются к гениям человечества — Ленину и Сталину.

#### IV

В маленьком грузинском городке Гори родился человек, который смог осуществить надежды человечества.

Георгий Леонидзе в поэме о Сталине «Детство и отрочество вождя» прекрасно показал мечту народа о справедливой жизни и любовь к тому, кто освобождает от угнетения. Поэма Леонидзе — одно из лучших произведений о великом строителе новой жизни. В отличие от многих поэтов и писателей Леонидзе построил свою вещь, как широкое героико-эпическое полотно. Читатель здесь не найдет бытового реализма, точных описаний, хроники событий и т. д. Однако поэма Леонидзе глубоко исторична. Этот историзм не в достоверности деталей, а в показе внутренней подготовленности народа к грядущим битвам. Для изображения великого человека нашего времени автор избрал романтическую форму, и эта форма оказалась вполне соответствующей героическому характеру темы. Этим и объясняется несомненный успех его поэмы.

Образ Сталина занимает центральное место не только в творчестве Леонидзе, но и во всей грузинской литературе.

Я вижу всюду здесь обилье и достаток,  
Былая родина немолчного дождя,  
Довольство родичей и в их глазах  
крылатых —  
Сиянье, схожее с улыбкою вождя.

(С. Чиковани.)

И народ несет свою песню великому Сталину, тому, кто освободил закованного Амираана — Грузию, — песню, рассказывающую о завоеванной счастливой жизни.

# Литературные взгляды Дмитрия Фурманова

(К пятидесятилетию со дня смерти)

АЛ. ИСБАХ

★

1

Пример творческой жизни Дмитрия Фурманова — пример настоящей жизни писателя, не со стороны созерцающего действительность и высказывающего свои глубокомысленные суждения о ней, — это пример писателя, активно участвующего в борьбе и созидании.

Работая над «Чапаевым», Фурманов не раз задумывался над общими вопросами литературы. В дневниках Фурманова мы можем найти ряд записей, свидетельствующих о литературных взглядах писателя, ряд теоретических положений, которые потом претворялись в художественной практике Фурманова.

«Каждый порядочный художник, — пишет Фурманов, — непременно причастен к общегосударственной жизни, понимает ее, ею интересуется, следит за ней, даже часто активно в ней участвует своими собственными силами, знаниями, опытом».

В мае 1923 года Владимир Маяковский в аудитории Политехнического музея проводил своеобразную «чистку» поэтов. Маяковский резко поставил перед поэтами вопрос об их работе, об их творчестве, о созвучии современности. Дмитрий Фурманов, высоко ценивший Маяковского, заинтересовался основными критериями этой «поэтической чистки». В своих дневниках он писал о том, что задача, поставленная Маяковским, — проанализировать весь строй

мыслей и убеждений поэтов-современников, изучить их литературные приемы и формы, вывести на чистую воду лжепоэтов, — задача в высшей степени интересная, благодарная и серьезная. В основу «чистки» Маяковский положил три критерия:

1. Работа поэтов над художественным словом, степень успешности в обработке этого слова.

2. Современность поэта по отношению к переживаемым событиям.

3. Его поэтический стаж, верность своему призванию, постоянство в выполнении высокой линии художника жизни.

Эти критерии кажутся Фурманову абсолютно справедливыми. С большим вниманием следя за ходом «чистки», Фурманов в своих записях живо реагирует на обсуждение творчества каждого поэта. В особенности подчеркивает Фурманов необходимость участия поэтов в современной жизни. В то же время проблема формы также занимает большое внимание писателя. Он пишет о работе над словом, о создании формы, определяемой богатым и сложным содержанием.

Реалистическое мастерство заключается, по его мысли, не только в выборе злободневной темы. Неоднократно пишет он о том, что писатель-реалист может взять любую тему. Весь вопрос в том, как он к этой теме подойдет.

«Все ли можно писать? Все. Только... в бурю гражданских битв пишешь

об особенностях греческих ваз... они красивы и достойны, а все-таки ты сукин сын: или по идиотизму или по классовости. Писать надо то, что служит непременно, прямо или косвенно, служит движению вперед. Для фарфоровых ваз есть и фарфоровое время, а не стальное. Впрочем, можешь и про вазы. Дело тогда решит душа произведения, смысл, гармония чувств и настроений».

Мы видим, как в постановке вопроса о форме и содержании соприкасаются взгляды Фурманова с взглядами крупнейших мастеров реализма.

«Как писать? — заносит Фурманов в свой дневник. — Вопрос удивительный, непонятный, почти целиком обреченный на безответность. Крошечку завесы можно впрочем поднять. Так, чтобы это подействовало в отношении художественном, подымало, будило, родило новое. Драма, повесть, стихотворение — все равно. Только не упивайся одной техникой — она вещь формальная. Чудо может быть и без нее, а с другой стороны, она, как тина болотная, втягивает и губит подчас с головой, остается голая любовь к форме, — это нечто даже враждебное, совсем чуждое поэзии. Пиши, чтоб понимали».

Борьбу за реализм, за понятность, за художественную простоту Фурманов связывает с борьбой против формализма. Уделяя чрезвычайно большое внимание художественному качеству, Фурманов резко возражает против формализма, против трюкаческих изысков. В одной из своих заметок о Всероссийском союзе писателей он пишет: «Нельзя отбрасывать те завоевания художественной техники, которых мы достигли, ими пренебрегать — это значит быть рутинером, но радеть только над рифмами — бесполезное занятие. По-моему, содержание должно неизбежно, органически рождать те рифмы, которые ему необходимы, которые его выражают, — все равно, старые или новые. Одна рифма сама по себе еще отнюдь не имеет красоты — эту внутреннюю красоту дает только содержание, порождающее форму».

Особое место в высказываниях Фур-

манова занимает вопрос о создании положительного образа, о создании характера. Фурманов утверждает абсолютную недопустимость обеднения образа. Он против «абстрагированных» образов, против показа людей-монументов. Задачу создания образа он понимает как задачу показа человека во всем его многообразии. Он выступает против механического создания образа человека путем дозировки отрицательных и положительных черт, против пресловутой теории «живого человека», которая впоследствии нашла свое отражение в «программе» Раппа.

«Никогда, — пишет Фурманов, — не увлекаться в отрицательном типе изображением отрицательных черт, а в положительном — положительных: прямо».

«Черты характера перемешивать, а не тенденциозить в одну сторону».

Проблема развития характера в динамике, в росте особенно занимает Фурманова.

«У каждого действующего лица, — пишет он, — должен быть заранее определен основной характер, и факты — слова, поступки, форма реагирования, реплики, смена настроений и т. д. должны быть только естественным проявлением определенной сущности характера, которому ничто не должно противоречить, даже самый неестественный, по первому взгляду, факт».

Говоря о развитии характера, Фурманов особое внимание уделяет психологическому анализу. Психологический рисунок образа представляется ему особенно важным. Впоследствии некоторые критики (П. С. Коган) говорили о фактографии Фурманова, об антипсихологизме его, ставя это едва ли не в заслугу писателю. Совершенно ясно, насколько они были неправы. И в своей художественной практике, и в своих эстетических взглядах Фурманов выступает за подлинный психологический анализ как основу развития образа.

«Действующие лица должны быть нужны по ходу действия; должны быть актуальны и все время находиться в психологическом движении. Никогда не должны быть мертвы и очень редко

эпизодичны: ценнее, когда они участвуют на протяжении всего действия, почти до конца».

«Следить за точностью в обрисовке внешних проявлений психологического состояния (движения рук, головы, побледнение, покраснение, физическое реагирование и т. д.)».

Портреты своих героев Фурманов никогда не дает только внешне живописно. Особое место занимает у него психологический портрет. Это находит свое отражение и в его эстетических высказываниях.

«Все время учитывать изменения (главным образом психологические), которые происходят во взаимоотношениях между действующими лицами благодаря столкновениям».

«У каждого возраста своя типичная психология, склад ума, объем и характер интересов, форма выявления чувств и т. д. (уклонения от типа — по индивидуальности)».

Большое внимание уделяет Фурманов изображению развития характера. Он говорит о том, что действующее лицо всегда надо иметь в виду, как единицу динамическую. «Каждая черта характера, — говорит Фурманов, — должна быть дана в развитии, должна быть изображена наиболее выпукло в одном месте, а в других — лишь оттеняться. Весь характер следует раскрывать не сразу, а только по частям, по отдельным его проявлениям».

Немалое место в своих высказываниях уделяет Фурманов и вопросу об общей композиции произведения, о движении темы в целом.

«Тема должна быть полна интересных коллизий... Допустимы неожиданности, но не часто, дабы не сбиться на уголовщину, на авантюризм, сенсационность, филигранное пустяковство».

Говоря о композиции произведения и о столкновениях отдельных образов, Фурманов требует показа образа в действии, в движении, а не в риторических отступлениях, не в рассказе о действующем лице. Он говорит о том, что описания лиц должны быть коротки, «скорее вводить их в действие, главным

образом, в поступки, а не в рассуждения о чужих делах».

Особый интерес в высказываниях Фурманова, как писателя, работавшего в известной мере на исторической тематике, представляют его взгляды на исторический фактографический материал. Признавая огромное значение исторического факта, Фурманов подчеркивал, что изложения этого материала еще недостаточно. Он писал о том, что чрезвычайно полезно в основу положить факт действительной жизни, сведя до минимума выдумку, вымысел. Он писал о том, что необходимо вклеивать памятные особенности эпохи для полноты ее очерка (открытия, важные события в разных областях науки и т. д.), но в то же время Фурманов требовал от художника собственной трактовки события, художественности изложения, Фурманов говорил о том, что абсолютно недопустимо «нырять случайно, от факта к другому факту».

Механическое сцепление отдельных фактов Фурманов всегда отрицал.

Немалое внимание уделял Фурманов и проблеме языка. С большим интересом он всегда относился к новым словообразованиям, к новым языковым изменениям. Известно, как Фурманов исправлял свою книгу «Чапаев» перед выходом ее четвертого издания. Если сличить это издание с первым, можно увидеть, насколько основательно переработана почти каждая фраза. Необходима работа над совершенствованием художественного слова, — писал Фурманов, — и «усиленная и плодотворная работа над словом, над его обновлением, оживлением, мастерским объединением его с другими — и старыми и новыми словами».

«С чрезвычайной тщательностью, — пишет он, — надо отделять характерные диалоги, где ни одного слова не должно быть лишнего».

В одном из своих писем к начинающему писателю, довольно сурово проанализировав язык его повести, Фурманов пишет: «Вы ошибочно взяли псевдо-народный язык, выдавая его за подлинный рабочий: «чаво», «ведмедь»,

«када», «тада» и т. д. — вовсе не являются типичной рабочей речью. Отдельные рабочие, конечно, могли так говорить, но нельзя этого обобщать и распространять на всех рабочих, как правило. Это не верно, а потому и художественно фальшиво».

Уже в ранних своих высказываниях о языке Фурманов близок к Горькому, борется против жаргона и вульгаризмов, за чистоту языка.

Отдельные замечания, взятые нами из дневников, речей, высказываний, писем Фурманова, составляют как бы наброски программы. Они не теряют своего значения и по сей день, они имеют непосредственное отношение и к нашим сегодняшним литературным спорам.

## 2

Высказывания Фурманова о литературе нашли свое непосредственное воплощение в его художественной практике. Творческая история «Чапаева» и «Мятежа» чрезвычайно любопытна именно в этом отношении. Приступая к работе над «Чапаевым», Фурманов неоднократно заносит в дневник свои мысли, все, что его волнует, захватывает в этой первой его большой работе. Многие еще неясно Фурманову. Многие еще только-только намечаются, только-только отливаются в художественные формы.

В 1922 году Фурманов записывает: «Ясна ли мне форма, стиль, примерный объем, характер героев и даже самые герои? Нет. Во-вторых, пытал ли свое дарование на вещах более мелких? Нет. Имеешь ли имя? Знают ли тебя? Ценят ли? Нет. Приступить по этому всему трудно... О, многого еще не знаю, что будет. Материал единожды прочел весь. Буду читать еще и еще, буду группировать, пойду в редакцию «Известий» читать газеты того периода, чтобы ясно иметь перед собой всю эпоху в целом, для того чтобы не ошибиться и для того чтобы наткнуться еще на что-то, о чем не думаю теперь и не подозреваю».

Непосредственный участник событий,

сам прошедший с Чапаевской дивизией ее боевой путь, Фурманов считает записи своих дневников недостаточными для книги. Он собирает всевозможные материалы. Образ самого Чапаева особенно волнует его. Он хочет вылепить фигуру народного героя во всей ее яркости, во всей ее реальности. Слабые, прятные образы «красных Георгиев Победоносцев» претят ему. Он хочет показать Чапаева в развитии, показать его путь, истоки его героизма.

«Вопрос, дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой, или, как обычно, дать фигуру фантастическую, т.-е. хотя и яркую, но во многом кастрированную. Склоняюсь больше к первому».

«Стою, — пишет Фурманов, — думаю про Чапаева. Ложусь — все о нем же. Хожу, лежу, каждую минуту, если не занят срочным другим, — только про него, про него. Поглощен, но все еще полон трепета. Наметил главы и к ним подшиваю каждый соответственный материал, группирую его, припоминаю, собираю заново».

Заметки, наброски, образы Чапаева в дневниках и записных книжках Фурманова целиком совпадают с его мыслями о создании положительного характера вообще. Не желая идеализировать образ Чапаева, выступая против внешней, слащавой, паточной романтики, Фурманов выступает в то же время и против натуралистического снижения этого образа, он записывает: «К чорту быт — символами. Символы долговечней, восторженней, глубже, чем фотографированный быт. В символах — выход».

Он хочет показать образ Чапаева во всем его многообразии, он хочет создать тип народного полководца, не лишая его ярких индивидуальных черт самого Василия Ивановича. Как бы полемизируя со своими будущими критиками, Фурманов выступает против абсолютной фотографической точности. «Местность, селение, хотя и буду называть, — пишет он, — но не всегда верно — это, по моему, не требуется. Здесь не география, не история, не точная наука вообще».

Многочисленные наброски и варианты входят в творческую историю «Чапаева». Проблема сочетания действительности с вымыслом все время занимает воображение Фурманова. В раскрытии образа Чапаева его задачей является показать самую сущность этого человека, не увлекаться кажимостью, не увлекаться поверхностными общими представлениями об этом человеке. И в то же время реалистический образ Чапаева не лишен своеобразной романтики. Именно в сочетании реализма и романтики — сила этого образа у Фурманова. Чапаев дается нам и в его типическом, и в его индивидуальном. Любопытно слитить два эпизода романа, как рисовался Чапаев Клычкову (Фурманову) до того, как он встретился с ним, и каким он предстал перед писателем в своей живой реальности.

«Перед ним стояла неотвязно, волновала, мучила и радовала сказочная фигура Чапаева, степного атамана. Это — несомненный народный герой, — рассуждал он с собою, — герой из лагеря вольницы — Емельки Пугачева, Стеньки Разина, Ермака Тимофеевича... Те в свое время свои дела делали. А этому другое время дано, — он и дела творит не те. По рассказам Гриши можно заключить, что у него, у Чапаева, удаль и молодечество — главные в характере черты. Он больше именно герой, чем борец, больше страстный любитель приключений, чем сознательный революционер... Но какая это оригинальная личность на фоне крестьянского повстанчества, какая самобытная, яркая, колоритная фигура!»

Чапаев рисуется Клычкову в образе легендарного народного богатыря. И вот — первая встреча с Чапаевым.

«Федор быстро-быстро обшаривал его пронизывающим взглядом: хотелось поскорее рассмотреть, увидеть в нем все и все понять... Обыкновенный человек, сухощавый, среднего роста, видимо, не большой силы, с тонкими, почти женскими руками; жидкие темнорусые волосы прилипли косичками ко лбу; короткий нервный тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы, блестящие чистые зубы, бритый начисто под-

бородок, пышные фельдфебельские усы. Глаза... светлосиние, почти зеленые, быстрые, умные, не мигающие. Лицо матовое, свежее, чистое, без прыщиков, без морщин. Одет в защитного цвета френч, в синие брюки, на ногах оленьи сапоги. Шапку с красным околышем держит в руке, на плечах ремни, сбоку револьвер...»

Клычков несколько разочарован. Живой Чапаев не соответствует представлению о легендарном богатыре. Представление о легендарном Чапаеве разрушается все время. Фурманов знакомит нас с нешироким политическим кругозором Чапаева, с целым рядом отрицательных проявлений его характера.

Сказочный облик Чапаева снижается Фурмановым. Но в то же время страница за страницей вырисовываются истинные черты этого замечательного, самобытного народного героя: его ум, организаторские способности, его сила, его военный талант, его связь с народом. Перед нами возникает истинный, не выдуманный, не приукрашенный, не лакированный народный герой. Перед нами возникает образ Чапаева во всей его многогранности, образ Чапаева реального и земного. Фурманов сумел слить воедино типичные и индивидуальные черты, причем образ Чапаева дается в движении, в росте, с каждой новой страницей мы обогащаем свое представление о Чапаеве. Все черты раскрываются перед нами постепенно, с развитием эпизодов романа. Начинаешь понимать одно из основных эстетических положений Фурманова — «никогда не увлекаться в отрицательном типе изображением отрицательных черт, а в положительном — положительных... Весь характер сразу не раскрывать, а только по частям... Черты характера перемешивать, а не тенденциозить в одну сторону».

Облик Чапаева, многогранный и многообразный, является сложным и потому ярким образом, а не механическим сочетанием положительных и отрицательных черт. Образ Чапаева не вымышлен, и не фотографичен. Он художественно правдив, и потому он живет сейчас и будет жить как один из лучших образов советской литературы.



Взаимпроникновение личного и социального особенно ярко мы видим в образе Чапаева. И вместе с тем мы видим, насколько неправы были критики типа П. С. Когана, которые говорили о натурализме и фактографичности Фурманова и считали эту фактографичность едва ли не его достоинством. Порочна эта концепция и потому, что она считает положительными те черты фурмановского творчества, которые сам Фурманов старался избежать и в своей художественной практике, и в своих эстетических высказываниях.

Сила образа Чапаева как-раз и заключается в умении Фурманова проникнуть в его внутренний мир, в борьбе Фурманова со стихийным натурализмом, в умении сочетать *Dichtung und Wahrheit*, поэзию и правду. И совершенно прав товарищ Д. З. Мануильский, когда говорит о том, что Фурманов дает нам Чапаева не только в огне битв, но и дома, показывает его во всех положениях, и образ Чапаева для нас является отражением той революционной стихии, которая вынесла тогда Чапаева и дала победу. Прав Мануильский, говоря о многообразии и многогранности образа Чапаева, о показе образа Чапаева в постоянном движении, в действии.

А. С. Серафимович — писатель, которого любил и ценил Фурманов, — в своей речи в день десятилетия со дня смерти Фурманова говорил: «Невольно приходит мысль, был ли Фурманов натуралистом, фотографом, который берет только голую действительность; перед Фурмановым могла встать такая опасность. Но почему же эта опасность миновала Фурманова, почему мы его произведения воспринимаем как глубоко художественные, как реалистические? Куда же девалась масса его фотографических снимков? Ясно, что он делал отбор. Все его вещи с огромной силой освещены революционным содержанием. Эти материалы собраны как бы натуралистически, но огромное художественное чутье позволило ему отобрать основное и реалистически художественно построить свой материал».

«Чапаев» был издан. Это стало большой творческой победой писателя. Чи-

татель сразу оценил эту замечательную книгу. Но Фурманов был многим недоволен. С настоящей большевистской самокритикой и скромностью подошел он к этой первой своей книге. 23 марта 1923 года он заносит в дневник: «Конечно, очень охота, чтобы произведение было прекрасное, действительно. И тогда пусть и отзывы будут хорошие. Если же... много недостатков — не буду рад, коль о них станут некоторые умалчивать, хотя бы из вежливости, товарищеских ко мне чувств и т. д.».

И это не громкие слова. Фурманов не бравировал, не фальшивил. О необходимости суровой критики он пишет неоднократно.

«Книга вышла, но следует быть чрезвычайно осторожным, внимательным к тому, что за сим последует: не надо восторгаться похвалами, ибо они могут быть плодом и следствием дружеских отношений, опасения попасть впросак, нежелания прослыть политпрофаном, оставшим от революционного прогресса, неподбадривающим, а, наоборот, своей холодностью убивающим побегу свежего, молодого революционного творчества и т. д. Следовательно, со стороны похвал задирать голову не годится. Можно куриный помет по ошибке принять за куриные яйца. С другой стороны, отзывы отрицательные, бранчливые, опять-таки не могут, не должны приводить в уныние... У других, как только возьмут книжку в руки, загораются жадной завистью глаза. У них одна, только одна зажигается в глазах алчная мысль: «Подлец, почему же это ты, почему не я, не я выпустил такую большую, так хорошо изданную книгу?» У них жадная зависть отшибает возможность, умение серьезно или внимательно отнестись к делу».

Чутко прислушивался Дмитрий Андреевич к каждому замечанию, к каждому слову о его книге. Недаром большим праздником для него было письмо Алексея Максимовича Горького. Горький сразу увидел в Фурманове большого и настоящего мастера, большого и настоящего человека. Впоследствии, после смерти Фурманова, Горький писал:

«Для меня нет сомнения, что в лице Фурманова потерял человек, который быстро завоевал бы себе почетное место в нашей литературе. Он много видел, он хорошо чувствовал, и у него был живой ум. Огорчила меня эта смерть. Я с такой радостью слежу за молодыми, так много и уверенно жду от них».

Фурманов внимательно относился к каждому критическому замечанию Максима Горького. Письмо его Алексею Максимовичу — замечательный документ настоящего писателя-большевика.

«Если, — пишет Фурманов, — я говорю, что в письме Вашем все для меня понятно, то это потому, что все указания и сам я принимаю, разделяю, знаю и чувствую, что верные они указания. Прежде всего основная Ваша мысль: «Историческое и идеологическое значение книг превышает их значение художественное». Именно и теперь мне очень горько видеть это и понимать, теперь, через два-три года, когда я бесспорно, уверенно могу сказать, что вырос хоть на вершок, но вырос как художник. Теперь я не написал бы этих любимых, любимейших мною книг, как они написаны. Я писал бы их по-иному. Не знаю, оставил бы я ту же основную их композицию (ни очерк, ни роман, ни рассказ), может, и оставил бы: структура меня еще не так смущает, можно и в этих формальных рамках дать волнующее содержание. Можно. Меня заставляет страдать мой скудный, убогий язык, которым книжки написаны. Теперь самому мне тошно от этого обыкновенного, тускленького язычишка... Я теперь бы сидел над страницей не час, я бы сидел над ней целую ночь. Мой «Чапаев» ушел в печать едва ли не с первой корректуры (страшно и стыдно сказать). Теперь, — теперь я легкий газетный набросок переписываю семь — десять раз. Милый и строгий Алексей Максимович, разве это одно не шаг вперед, когда начинаешь робеть и стыдиться своего материала. Я искренно рад пробудившемуся во мне неведомо как и когда строжайшему критицизму. Он уцепил меня в колючие шоры и не дает покоя, когда пишу. Зато какая радость, когда после седьмой-восьмой-

десятью корректуры получается то, вот то, что хотелось и как хотелось сказать. Расту — это бодрит. И если бы теперь писал «Чапаева» с «Мятежом» — сделал бы их лучше».

В конце письма Фурманов добавляет:

«Вы говорите о том, что надо беспощадно рвать, жечь рукописи. До этого дойти — большая, трудная дорога. Я как будто начинаю подходить, начинаю именно так беспощадно относиться к своим рукописям, — это единственный путь к мастерству, и все-таки не всегда хватает духу: видно, болезнь роста. У меня даже сложилось такое парадоксальное мнение: «жечь рукописи куда труднее, чем писать их». Я до сих пор говорил о дефектах. Но у вас в письме, Алексей Максимович, много и бодрых строк. Эти строки мне — как живая вода. Уж если вы мне крепко жмете руку, так дайте и я вам пожму, когда приедете к нам в Россию, в нашу, в Вашу Советскую Россию. Тогда и на деле пожмем друг другу руки».

Фурманов не был никогда человеком фразы. Критически относясь к своему творчеству, он, как мы уже писали, начал органическую переработку «Чапаева», несмотря на то, что книга встретила уже общее признание в стране и он, казалось бы, мог «почивать на лаврах». Он успел пересмотреть и переработать слово за словом первые сто страниц текста.

Фурманову не удалось лично увидеться с Алексеем Максимовичем. Но несомненно, что письма Горького оказали большое влияние на развитие фурмановского творчества.

Отношение Фурманова к критике, внимание к настоящим дружеским указаниям — образец самокритики и скромности писателя-большевика.

### 3

Особое место в литературных высказываниях Фурманова занимает вопрос об отношении к писательскому ремеслу. Критически относясь к своему собственному творчеству, Фурманов не менее критически относился и к творчеству

своих товарищей по профессии. Призвание писателя он считал исключительно почетным и требовал от каждого писателя — молодого или старого, признанного или начинающего — ответственного отношения к своему делу. Он собирался написать роман «Писатели», где хотел показать и путь новых растущих писателей, и отрицательные типы, к сожалению, еще до сих пор сохранившиеся в нашей литературе. Многие наброски этого романа сохранили всю свою злободневность.

Убийственную характеристику дает он одному из «модных» в то время драматургов:

«Многообразен ли, многосторонен ли автор? Нет. Даже наоборот. Лишь полное отсутствие литературного чутья позволяет ему писать на самые разнообразные темы. Ведь для многообразия нужно обладать огромной эрудицией, знаниями, а у автора как раз этого нет. Драммы его — не драмы, а пустяки. Там ни одного типа, ни одного характера. Язык действующих лиц — это язык автора... Он берется за многое, и ничего путного не делает. Разговоры — все на один лад. Патетические тирады против буржуев тошны. Пьесы печет он, как блины на масленице...»

Резко обрушивался всегда Фурманов на верхоглядов, всезнаек, людей, несерьезно относящихся к своему труду, писателей-скороспелок.

Остро ненавидел Фурманов всевозможные проявления политиканства, зазнайства, богемщины в литературной среде. В набросках и материалах к роману «Писатели» мы находим ряд эпизодов, в которых разрабатывается эта тема. Фурманов передает разговор свой с одним из писателей:

«У Асеева это стих. Такой стих я чувствую. — Да, говорю ему, эту чеканку редко где еще найдешь. — Гм, гм... — неопределенно прогудел Н., как будто говоря: «ну, это, брат, уж слишком ты». А я продолжал: ленинская у него траурная — это нечто изумительное, этакой сжатости и чеканки... Да... — А ты читал мою ленинскую? — вдруг громко и ревниво перебил мои восторги Н. и глаза его жадно засверкали. — То-то,—

рывкнул он дико и злобно. Не стал больше разговаривать и отошел».

С большим вниманием относясь к творчеству молодых начинающих писателей, руководя кружками как секретарь Московской ассоциации пролетарских писателей, Фурманов всегда высмеивал «теоретиков», которые вместо истинного воспитания молодых писателей занимались интригами, расценивали творчество молодых не соразмерно их таланту, а с точки зрения конъюнктуры. Об одном из таких интриганов он пишет:

«Его пригласили на кружок. Хлопец там читает свое. Хлопцы критикуют: пустяково, но искренно. Выступает Р. И начинает выковыривать пустячки, которые раздражают, благо, критика вздорная, хоть все он и старается «обосновать» теоретически. Кончилось заседание. Разошлись все. Остались трое. Они делятся впечатлениями от Р. «Тонкий человек...» — «Жидкий... словно вода между пальцев уйдет». «Ну уж...» «Так про что же я говорю. Хитрость свою имеет человек. Так завсегда: чем в нем мозгу-то меньше, тем говору больше». — «Наговорил вот, наговорил, а запомни, что он говорил, и не запомню ничего. Да надо быть, и не говорил он ничего... Так все больше сердился. Не знамо за что, не знамо на кого».

«Р. — интриган, все в нем мелко».

С меньшей резкостью обрушивался Фурманов на организационную толчею, которой часто в кружках подменялась истинно творческая работа. Очень резко критиковал он скороспелые, необработанные произведения, критика его была дружеская, но суровая.

«Писать надо,— говорил Фурманов,— долго, годами, пока не научишься писать хорошо. Кому нужна безграмотная брехня. Не торопитесь, друзья. Наш лозунг — строже, чем где-либо,— должен быть лишь один: «Лучше меньше, да лучше». Я не знаю другой отрасли труда, производства, где бы так просто, бездушно, безоглядно и даже... цинично относились к продукту своего ремесла: написал, сдал и ладно. Пишут всякую дребедень, кому что вздумается, пишут, не зная, не понимая, не чувствуя,

совсем, словом, вслепую. И нет другой такой области, где безответственная мазня процветала бы так махрово, как именно в области художественной литературы. Ну кто посмеет все-таки писать про какой-нибудь Сатурн, про Мадагаскар, про тарифную политику или что-либо вообще специальное, — кто посмеет писать, не зная вовсе ничего? Редко. Бывает, но редко. А в художественном творчестве — отчего же не взяться? Разве тут есть какие-нибудь каноны, правила, традиции? Разве тут обязательны точные знания? Да ничего подобного. Наоборот, чем неожиданней (думают иные храбрецы), тем больше надежд на успех, на внимание. И дуют, кому охота дуть...»

Портреты отдельных писателей, в особенности портреты отрицательные, в набросках к роману сделаны с большим мастерством. Вот описывает Фурманов образ поэта-прониры Ивана Колобова, поэта, который тычется по всем кружкам, нигде не работает, со всеми за панибрата, у всех клянчит деньги. Вот рядом с ним портрет писательницы, которая старается на каждом заседании «втыкать, подтыкать, подпирать, просовывать, контрабандой проволочивать, прошибать сквозь глухую стену, подвешивать неслышно, науськивать, нашептывать, втирать и т. д.». В отрицательных портретах писателей много негодования, много истинной горечи. Изображая окружающую его литературную среду со всеми ее отрицательными явлениями, бичуя ее, Фурманов в то же время с огромной чуткостью относился к молодым, к начинающим писателям, оказывая им посильную помощь своими советами и указаниями. Он всегда умен отличить настоящее от фальшивого, он всегда искренно радовался каждому творческому росту. Фурманов понимал,

что воспитание молодого писателя — дело нелегкое и непростое. Он понимал, как надо отбирать истинные молодые таланты. В своих замечаниях о работе с начинающими писателями Фурманов писал: «Писательский молодняк надо осторожно, строго, но и любовно отбирать: из тысяч — единицы».

Он никогда не льстил молодому писателю. Он говорил: «Начинающего писателя с самого начала надо брать в шоры и не давать ему останавливаться в росте, тем паче не давать ему садиться на лавры — этого достигнуть можно разумеется только строжайше обоснованной критикой материала и предъявлением к автору требований предельных, — по масштабу его дарования».

В своих письмах к начинающим писателям, говоря об общих задачах литературы, Фурманов был в то же время предельно конкретен. Своим учителем в области работы с молодыми авторами он считал Алексея Максимовича Горького и во многом подражал ему. В своих советах начинающему писателю, в советах, изложенных в виде заповедей, Фурманов писал:

«1. Очень серьезно, тщательно изучи материал прежде, чем писать.

2. Десять корректур, обработай каждое слово.

3. Походи, послушай, погляди, изучи.

4. Вдумайся в газетный материал, в журнальный.

5. Особое внимание к рабкововскому материалу.

6. Подвергни предварительной критике свое творчество».

Все проблемы литературной жизни волновали Фурманова. Он сплывал, объединял вокруг себя молодые писательские силы. И здесь, на литературном фронте, он был бойцом и комиссаром.

# „Суворов“

И. АСТАХОВ

★

Среди наших исторических фильмов «Суворову», бесспорно, принадлежит одно из первых мест. Советские кинематографисты, накопившие немалый опыт в работе над историческими фильмами, создавая «Суворова», сумели избежать многих и многих недостатков, которые так явственно выразились в «Пугачеве», «Алекサンドре Невском» и в особенности в «Минине и Пожарском».

Авторы «Суворова» учли плюсы и минусы ранее созданных советских исторических фильмов и подарили советскому кинозрителю замечательное произведение. Таким образом, появление «Суворова» следует рассматривать как явление, в значительной мере подготовленное предшествующим развитием советского исторического фильма. Среди всех кинопроизведений, с которыми связано имя талантливого режиссера В. Пудовкина («Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана», «Мать», «Минин и Пожарский»), «Суворов» является лучшим. И вместе с тем «Суворов» — произведение вполне оригинальное и самобытное. Роль А. В. Суворова исполняет в фильме артист Н. Черкасов. Это его первая, но, несомненно, блестящая роль. Такие дебюты в жизни киноактеров случаются не очень часто. Отдавший много лет театральной сцене, не помышлявший о работе в кино, Н. Черкасов неожиданно стал известным советским актером. Несомненно, что своим большим успехом у зрителя фильм обязан в значительной степени блестящей игре Н. Черкасова.

Основное эстетическое достоинство фильма состоит в правдивой передаче характера главного героя и той исторической обстановки, в которой проходила его жизнь и подвиги.

Авторы, прежде всего, стремились к воссозданию духа времени, живых человеческих нравов, политической и гражданской жизни, вне которых немислимо было бы правдивое воспроизведение характера главного героя.

В начале фильма зритель видит глубоко волнующую сцену: старого фельдмаршала, после разгрома поляков, радостные и возбужденные солдаты бережно несут на руках. А. В. Суворов, обращаясь к войскам, взволнованно говорит: «Дети мои, орлы мои, слава вам!»

С первых же кадров зритель проникается чувством глубочайшей симпатии к гениальному полководцу, заражающему всех, кто его окружает, глубочайшей человечностью, простотой обращения, внутренним демократизмом и совершеннейшим отсутствием позы. И в сцене разговора с князем Мещерским, и в дружеских разговорах с Багратионом, и в сцене встречи с Кутузовым Суворов обнаруживает удивительную простоту и задушевность.

Суворов создал свою военно-стратегическую систему таким образом, что она вполне обеспечивала железную военную дисциплину, признание солдата в качестве реальной, а не механической, единицы и возможность быстрого маневрирования для неожиданных и правильно рассчитанных ударов.

Короче говоря, Суворов строил свою «науку побеждать» на признании того факта, что главная сила армии — солдат.

Из этого основного факта Суворов вполне логично делал вывод о необходимости поддерживать в солдатах боевой дух, воспитывать в них смелость, мужество, выносливость, инициативу и другие важные боевые качества.

Совершенно естественно, что армия, созданная Суворовым, проникалась твердой верой и любовью к своему, не знавшему поражений, полководцу. Недаром солдаты суворовской армии называли своего военачальника отцом.

Суворов был строг и взыскателен по отношению к командирам, солдатам и самому себе. Поэтому в солдатах, в командирах и в самом себе он воспитывал готовность к любым невзгодам, к любым испытаниям, к любым неожиданностям. Строго и последовательно закаляя армию, Суворов закалял и самого себя:

На морозе обливался,  
Спал на сене под плащом  
И с артелью заливался  
Перелетным соловьем...

Эти замечательные суворовские традиции не утратили своего значения и по сей день. Вот почему наша великая победоносная Красная армия, созданная гением Ленина и Сталина, не отбрасывает суворовских традиций. Дух Суворова жив и по сей день! В этом сказывается его могущество, могущество народа, выдвинувшего из своей среды беспримерного «баловня побед».

Однако исторические события развились не в пользу новой стратегии, разработанной Суворовым. Екатерина II, напуганная Великой французской революцией, последние годы своего царствования с нескрываемым ожесточением начала наступать на вольнолюбие и либерализм, с которыми она некогда заигрывала. Начало царствования Павла связано с дальнейшим поворотом в сторону реакционных политических и военных доктрин, которые создавали крайне неблагоприятную обстановку для Суворова.

Павел, бывший поклонником военной системы Фридриха II, насаждал в русской армии палочную дисциплину, нимало не придавая значения роли солдата. Старые, отжившие формы, перенесенные Павлом в русскую армию, не могли не привести к резкому столкновению великого полководца с царем. Суворов не мог мириться с жалкой ролью, которая выпадала на долю солдата, согласно гатчинской системе. Суворов, воспитывавший в солдатах дух инициативы и самостоятельности,



должен был столкнуться с прямо противоположным военным принципом, согласно которому солдат был механизмом, предусмотренным артикулом.

На этом столкновении двух прямо противоположных военных систем, двух диаметрально противоположных мировоззрений и выросло то реальное противоречие, которое положено в основу драматического конфликта фильма о Суворове.

Перед нами, с одной стороны, выступает гениальный полководец, разработавший и безошибочно применявший новейшую военную доктрину и основанную на ней стратегию; с другой стороны — тупой реакционный самодержец, поклоняющийся отжившим военным теориям, влюбленный в парики, косички, букли и шагистику. Фильм показывает, с одной стороны, глубокое творческое начало суворовских принципов, вполне согласующихся с народным духом армии, а с другой — ущемление

и умерщвление всякого творческого начала, грубое, бессмысленное подавление народного духа в армии. Именно здесь кроется реальное историческое противоречие, приведшее к резкому столкновению Суворова с Павлом.

Задача режиссера состояла в умелом раскрытии этого противоречия, в правильной исторической трактовке событий.

Режиссеры Пудовкин и Доллер, исходя из этого основного факта, строили все свои режиссерские задачи. Драма-



тический конфликт, составляющий основу фильма, оформляется не в виде сложного и запутанного сюжета, а в виде реального столкновения противоположных идей и воззрений Суворова и Павла.

Представление о сюжете, как о сложном и запутанном стечении обстоятельств, совершенно неприменимо к фильму «Суворов». Если говорить о сюжете, преобладающем в большинстве американских фильмов типа «Вива Вилья», «Юнион Пасифик», «В тупике», «Сказка одного города», то в фильме «Суворов» такого сюжета нет. Точнее говоря, в нем нет внешнего сюжета, обычно лежащего на поверхности произведения и составляющего главную пружину действия. В фильме «Суворов» дело обстоит иначе. Здесь сюжетные положения непосредственно вырастают из столкновения двух фигур, двух систем, двух воззрений. Вот перед нами

Суворов в момент разгрома поляков. Он радостно возбужден, стремителен. Вслед за этим в его судьбе наступает крутой перелом, связанный с воцарением Павла. непокорный гений, натолкнувшись на гатчинскую систему, оказывается в ссылке. Село Кончанское. Опальный, но не побежденный, Суворов пребывает в состоянии вынужденного бездействия.

Далее следует назначение Суворова главнокомандующим соединенными русскими и австрийскими силами, затем походы 1799 года — италийский и швейцарский, Сен-Готард, драматический переход через Чортов мост. Таковы главные эпизоды.

Эпизоды, связанные с предательской изменой австрийцев, с разоблачением и расстрелом шпиона Тура, занимают второстепенное место. Основную драматургическую роль играют перипетии борьбы Суворова, поддерживаемого умными, талантливыми военачальниками, и Павла, олицетворяющего собою политическую и военную отсталость России того времени. Внимание зрителя находится в состоянии непрерывного напряжения, поскольку перед ним проходит ожесточенная борьба двух глубоко различных начал. Зритель с волнением следит за тем, как окончится эта напряженнейшая борьба. Суворов, не знавший поражений в борьбе с сильнейшими европейскими армиями, терпит неоднократные поражения в столкновении с тупой, неразумной и глубоко реакционной системой Павла—Аракчеева. Красота и величие народного духа, олицетворенные в гениальном полководце, вынуждены уступить поле «боя» грубому самодержавному властелину, испытывающему чувство животного страха перед непокорным фельдмаршалом, завоевавшим безграничную любовь и доверие у руководимой им армии.

Зритель любит Суворова и сочувствует ему. Когда Суворов получил эстафету от генерала Лобанова-Ростовского, двигавшегося в обход леса к намеченному пункту сражения с поляками, поляки уже были разбиты наголову Суворовым. Добродушная суворовская ирония, с которой он говорит о ге-

нерале Лобанове, превращается в едкую издевку над теми, кто мешкает, запаздывает и благодаря этому ставит себя в смешное положение. Принципы быстроты и натиска, применяемые Суворовым в борьбе с противником, обнаруживают исключительное превосходство над принципами «торопиться, не спеша», применяемыми жалкими войками.

Появление Суворова в царском двор-

«неуклюжестью», незнанием аристократических манер. Суворовские причуды достигают своего кульминационного пункта тогда, когда он, шествуя в тронную залу, по приглашению царя, останавливается перед дверями и отвешивает поясной поклон лакею. Придворные, уже готовые видеть в этом «поступке» обнаружение старческого покаяния, вызванного царской милостью, к ужасу



це после изгнания в селе Кончанском производит ошеломляющее впечатление. Придворная знать, рассчитывавшая встретить старого войку в виде раскаявшегося грешника, растроганного «милостью императора», на самом деле встречает независимого человека, беспощадно издевающегося над придворной мишурой и бесчисленными генералами, которых он, посевший в боях, никогда не видел на поле брани. Старый фельдмаршал часто моргает, ноги его на скользком паркете разбегаются в разные стороны, как у новичка-конькобежца, он роняет свою треуголку, страшно шокируя придворное общество своей

своему убеждают, что Суворов сделал это умышленно, желая поиздеваться над ненавистной ему придворной челядью. В глазах Суворова лакей и придворный — одно и то же. «Сегодня лакей — завтра герцог, а там, глядишь, генералиссимус какой... холуй-то, слышь, ноне шибко в гору пошли...»

В этой связи нелишне вспомнить слова из «Моей родословной» А. С. Пушкина: «У нас нова рожденная знатность. И чем новее, тем знатней». В то «блаженное время» многие генералы добивались чинов и орденов не на поле брани, а в передней».

Суворов воочию видел эту гнилую и



гибельную для интересов страны политику. Вот почему при встрече с Аракчеевым он, с присущей ему язвительностью, повел такой разговор:

— Здравствуй, Алексей Андреевич... Здравствуй, граф необычайной... Я, милый, житие твое каждое утро наизусть повторяю.

— Как так?

— А вот как: прошедшего года ноября седьмого — комендант, восьмого — генерал, девятого — в гвардию, двенадцатого — в бароны, четырнадцатого — Анну первой степени да душ крестьянских двадцать тысячей. А ноне: года не прошло — в графы... Куда уж нам, старикам, за тобой угоняться!

В словах Суворова звучит убийственная правда, которую мог осмелиться говорить только бесстрашный человек. Устами Суворова говорила вся передовая, недовольная царем Россия. Вот почему каждое слово правды, сказанное там, где царили ложь и лесть, звучало как обличение тех, кто молчаливскими приемами стремился достигнуть «степеней известных».

Авторы фильма хорошо поняли своеобразие характера Суворова и нашли для его раскрытия верный ключ. Под личиной «чудачества», которую Суворов носил вполне сознательно, скрывалось пламенное сердце патриота, безгранично любившего правду, народ и родину. На вопрос Фукса о причинах этого «чудачества» Суворов ответил так: «Это моя манера. Слышал ли о славном комике Карлене? Он на парижском театре играл Арлекина. Как будто рожден Арлекином, а в частной жизни был пресерьезный и строгих правил человек: ну, словом, Катон».

При слишком сильном режиссерском и актерском нажиме на «чудачестве» можно было легко утратить реалистически точный рисунок. Но этого, к счастью, не случилось. Артист Н. Черкасов вдохновенно и глубоко искренно передает могучий суворовский характер, на котором известные причуды кажутся лишь частностями, сознательно усвоенными прототипом. Это спасает образ Суворова от театральщины и нарочитости. Н. Черкасов хорошо передает

суворовскую подвижность, стремительность, обаятельную простоту, насмешливость, задушевность и, главное, — большой ум.

Пафос фильма «Суворов» заключается в идее патриотизма, высокой и благородной любви и родине. Выразителем этой благородной идеи является прежде всего сам Суворов и предводимая им армия, глубоко проникнутая духом суворовского патриотизма.

Суворов — человек высшей природы. Руководящей идеей на протяжении всей его многотрудной и прекрасной жизни была идея служения своей родине, своему великому народу. «Жизнь моя и смерть принадлежат России» — эти слова Суворов с полным правом мог сказать о себе.

Обращаясь к своим солдатам накануне знаменитого перехода через Чертов мост, старик Суворов взволнованно говорит:

— Воины русской земли... Орлами взлетали вы на самые высокие вершины Европы... Древняя слава в знаменах наших шумит... Победа говорит на остриях штыков... Победа любит вас... Не бойся смерти... Борись за жизнь... Ей же-богу, жизнь хороша... Вперед — атака будет... Музыка, генерал-марш! Знамена развернуть!

Преданные коварной изменой австрийцев, русские войска оказались в окружении. «Еще никогда, — говорит Суворов, — войска, предводимые мною, не были в положении столь гибельном и грозном».

И Суворов решает: «Штурм или гибель. Иного выхода нет».

Покрывший себя бессмертной славой в многочисленных битвах Суворов сумел найти выход даже из этого «гибельного» положения.

Когда Суворов, обращаясь к своим солдатам, говорит: «Чудо-богатыри... птенцы мои... слава вам, слава!», — вы невольно чувствуете и голос сурового солдата, и нежного заботливого отца, и великого патриота, радующегося приумножению славы своей родины.

Что такое патриотизм? Н. Г. Чернышевский говорил: «Патриотизм — слово священное».

«Высочайший патриотизм — страстное, беспредельное желание блага родине, одушевляющее всю жизнь, всю деятельность человека».

Суворов, как историческое лицо и как герой фильма, является патриотом в этом значении слова.

«Историческое значение каждого русского великого человека, — писал Н. Г. Чернышевский, — измеряется его заслугами родине, его человеческое достоин-

ственные лица старых солдат, беззвучно произносит их имена и проходит дальше. Не дойдя до конца фронта, Суворов неожиданно прерывает обход и, пропустив вперед генералов, выбегает на середину, к оркестру... Наступает глубокая пауза. Суворов коротким движением срывает со своего мундира боевые георгиевские кресты.

— Этот крест, ребята, вы дали мне за Фоншаны!.. А этого георгия — за



ство — силою патриотизма. Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин справедливо считаются великими писателями, — но почему? Потому, что оказали великие услуги просвещению или эстетическому воспитанию своего народа» («Очерки тоголевского периода»).

Авторы фильма сумели хорошо показать глубокую связь Суворова с руководимой им армией. Сцена прощания Суворова со своими солдатами исполнена глубочайшего драматизма.

Вдоль широкой Тульчинской улицы выстроились любимые гренадерские батальоны. Фельдмаршал, в сопровождении своих генералов, быстро проходит вдоль фронта. Изредка он останавливается, пристально всматриваясь в тре-

Измаил!.. Эта звезда светила на небе варшавском!.. А эта...

Суворов неожиданно бросает все ордена на барабан:

— С вами заслужил — вам и оставляю!

Быстрыми шагами, ни на кого не глядя, старый фельдмаршал направляется к ожидающей его бричке.

— Отец, не покидай... Хоть слово скажи, одно хоть слово.

Масса солдат устремляется за бричкой, которая вскоре скрывается в клубах поднимающейся пыли.

Фильм «Суворов», воскресивший перед нами замечательные страницы нашей истории, служит делу воспитания благородных чувств советских людей.

Режиссеры В. Пудовкин и М. Доллер с честью справились со своей задачей. Фильм, посвященный великому полководцу, отнюдь не перегружен батальными сценами. Авторы фильма, соблюдая чувство меры, столь важное в искусстве, удержались от приемов гротеска, которые могли бы нарушить реалистический стиль всей картины.

Роль Павла, исполняемая артистом А. Ячницким, дает яркое представление о гатчинском властелине. Заслуженный артист республики М. Астангов талантливо воспроизвел образ Аракчеева, этого мрачного, льстивого и зловещего царедворца. Неплохо справился с ролью Платоныча артист А. Ханов. Вполне удалась заслуженному артисту республики Г. Коврову роль Прохора. Пожалуй, слабее других сыграл С. Килигин роль Багратиона.

Следует особо остановиться на особенностях диалога.

Просматривая фильм, читая сценарий, невольно замечаешь, что язык сценария — одна из сильнейших его сторон. Сценарий заключает в себе богатый подтекст. Это дает благодарный материал для актерской игры. Богатство речи — первый признак талантливости произведения и несомненное доказательство большой и любовной работы над ним автора. Г. Гребнер сумел понастоящему полюбить своего героя. Поэтому-то он нашел в богатейшем арсенале слов такие, которые всего ярче, всего полнее выражают характер героя и особенности его интонации. Краткость, лаконизм, ясность и глубокая взволнованность речи Суворова — результат большой и кропотливой работы Г. Гребнера. В уста своего героя Гребнер вложил такие словесные формулы, которые могут войти в разговорный обиход на правах народных афоризмов. Например: «Недорубленный лес опять вырастет...», «Кто испуган, тот побежден наполовину» или «Орлы русские римских орлов облетели...»

Богатый подтекст сценария позволил режиссерам и актерам развернуть такое действие, которое можно было бы назвать двойным. Что это значит?

Возьмем для примера разговор Суворова с Павлом.

После первых «согласных» слов Павел спрашивает: «Понравилась столица? Войска?» Суворов отвечает: «Прекрасно, ваше величество, — единообразие и стройность... Все Иван Ивановичи и все на один лик!» Павел не замечает убийственной иронии суворовских слов и продолжает задавать вопросы: «А войска? Армия?» Суворов отвечает: «Приятны для глаза...»

Вся эта сцена выдержана в духе глумливой насмешки Суворова над Павлом. Суворов все время отвечает, как бы в тон Павлу, но за внешним «созвучием» этих ответов кроется прямо противоположный и глубоко оскорбительный для Павла смысл.

Некоторые наши критики по причинам, истинный смысл которых понять довольно трудно, относятся к сценариям, как произведениям второразрядным и по преимуществу ремесленным. Такое отношение может быть оправдано только в тех случаях, когда речь идет о действительно плохих, действительно ремесленных сценариях. Что же касается таких сценариев, как «Суворов», «Тимур и его команда», «Георгий Саакадзе», «Мертвая петля», «Чкалов» и другие, замечательные художественные достоинства которых уже получили широкое признание, то о них следует говорить, как о значительных и безусловных оригинальных явлениях искусства.

Кинодраматургия — сложная и важная область словесного искусства. Многочисленные факты неопровержимо доказывают, что важнейшим залогом подлинного успеха кинофильма является сценарий. Эта бесспорная истина вполне приложима к замечательному фильму «Суворов».

## БИБЛИОГРАФИЯ

### СТИХИ М. РЫЛЬСКОГО\*

Гослитиздат выпустил книгу стихов Максима Рыльского, включающую избранные произведения поэта. Книга отражает различные этапы его тридцатилетнего поэтического пути.

Максим Рыльский принадлежит к лучшим украинским советским поэтам, его песня о Сталине распевается миллионами советских людей. Но Рыльский не сразу нашел путь к себе и к своему народу; этому предшествовали долгие «годы странствий».

Недаром мотив путешествия так часто звучит в поэзии Рыльского, недаром поэт так часто говорит о море, о кораблях, парусах и чужеземцах-матросах. Образ Одиссея, этого вечно ищущего новых миров странника, которого так любил Данте, не раз встает перед нами в стихах Рыльского:

Как Одиссей, блуждавшем утомленный  
По морю синему, я, — жизнью утомлен, —  
Прилег под сенью дерева большого...

(Пер. Н. Ушакова.)

Но поэта привлекал не живой, широко раскинувшийся мир действительности, не то вечно зеленеющее «золотое дерево жизни», о котором говаривал гетевский Мефистофель. Рано «утомленный жизнью», поэт совершал свое путешествие по выдуманной, созданной поэтическим вымыслом, эстетической стране. В тихих гаванях этой вымышленной страны, под сенью густой листвы (не живой листвы, а книжных листьев!) М. Рыльский искал убежища от жизни, настойчиво требовавшей размышлений, требовавшей ответа на жгучие вопросы.

Мелькают мысли или тени мыслей  
В полудремоте. Бродит луч в листве,  
И пятна света на коре играют,  
И муравей, не торопясь, ползет.

И я засну под беззаботный шелест  
С надеждой, что меня, играя в мяч,  
Прекрасная разбудит Навзикая —  
Родная дочь феакского царя.

(Пер. Н. Ушакова.)

Стихи эти относятся к 1915 году. М. Рыльский — на начальном этапе своего поэтического развития — жил по преимуществу книжной культурой, превращая свои стихи в длинную цепь литературных реминесценций и ассоциаций. В книжном царстве нет границ, и взору поэта открывались все новые и новые поэтические страны:

А где-то есть певучий Лангедок,  
Поля и рощи Франции веселой,  
Где в солнце тонет каждый городок,  
И в виноградниках зеленых — села.

И остров есть, что осыял Шекспир,  
Где Диккенс улыбался сквозь туманы...

(Пер. Д. Крачковского.)

Так, при помощи чудесной книжной премудрости поэт превращался в «гражданина мира». Но мир этот при ближайшем рассмотрении оказывался маревом, как маревом были чудившиеся поэту «вечность» и «небытие». И в тот час, когда М. Рыльский ощутил это, на его родине, певучей Украине, появился новый поэт с живой мыслью, с живым чувством, с сердцем, широко раскрытым всем впечатлениям большого, цветущего мира...

Я истомился от экзотики,  
От изощренных слов и дел...

(Пер. М. Травиной.)

Так писал М. Рыльский в 1924 году. Позднее, в своем программном стихотворении «Путешествие», М. Рыльский рассказал, как он, наконец, причалил к родным берегам, к родной Советской стране, которая бросила трудящимся всего мира клич:

...Рабочий, мощною рукою  
Для всей земли добудем солнца свет!

(Пер. М. Комиссаровой.)

Поэт увидел социальный смысл явления. Действительность предстала перед ним, как противопоставление двух миров, где на одной стороне — рабство, а на другой — осуществленная мечта о свободном труде, о дружбе народов. И новым светом осветилась перед ним также история, в которой поэт увидел «предисторию», увидел залитую кровью, длительную и напряженную подготовку

\* Максим Рыльский. «Избранное». Перевод с украинского под общей редакцией Бориса Турганова. Гослитиздат. М. 1940. Стр. 168. Тираж 10 000. Ц. 5 р. 50 к.

великой революции, великого освобождения. М. Рыльский создает поэму «Марина» (1933), повесть о судьбе крепостной девушки, о крестьянском восстании против панов. М. Рыльский рассказывает о дружбе двух художников-рабов — великого украинского поэта Шевченко и знаменитого негритянского актера Олдриджа:

...И обоим вдруг  
Издадека, за дымкою туманной,  
Забрезжил день, когда для всех рабов —  
Для чернокожих, белых, желтолицых —  
Оковы рабства навсегда падут...

(Пер. Б. Турганова.)

День этот, к которому в течение столетий стремились целые поколения борцов, платя за него жизнью, предстал перед поэтом во всем сиянии освобожденных сил, молодости, творчества, нового устремления, которое Рыльский обозначает традиционной, но сохраняющей свою живую поэтическую силу метафорой — устремленным ввысь полетом птицы. У поэта Рыльского всегда был острый глаз, он видел природу, явления, вещи, различая тонкие оттенки в них, но сейчас все это осмыслилось, потому что в центре стал человек, идущий к цели, знающий дорогу. Если в 1917 году Рыльский писал:

И летит вся земля, как телега в полях, —  
К дальней цели, а то и без цели... —

(Пер. Е. Нежинцева.)

то сейчас он ясно видит и ощущает цель неизменного человеческого «полета»:

...когда б мне захотелось  
Эпохи нашей образ воссоздать  
В простейшей аллегории, — я взяла бы  
Стальной вот этот журавлиный клин,  
Его отвагу, напряженье силы,  
Его порыв к просторам и его  
Стремленье воли, и разумный план  
Строения, где все, как есть, к тому  
Направлено, чтоб легче было грудью  
Врезаться в воздух, где в вершине клина  
Летит вожак, и мудрый, и отважный,  
И все полет ровняют на него,  
И каждому ясна его дорога.

(Пер. М. Комиссаровой.)

Вот это обретение смысла и цели в социальных стремлениях человека, в его творческой работе, во всем его жизненном процессе сказалось не только в тех стихах М. Рыльского, в которых поэт непосредственно касается социальных тем, но оно окрасило по-новому все мировосприятие Максима Рыльского, захватило весь лирический комплекс поэта.

Самое понятие «человек», которое раньше было для М. Рыльского одной из многочисленных и равнозначных «эстетических» категорий, оделось для него сейчас живой плотью, осветилось теплом жизни. В стихотворении о Шевченко, выступая против попыток превратить великого народного поэта в «позолоченный киот», в «идола» и переключаясь с зна-

менитой шекспировской поэтической формулой, Рыльский восклицает: «Он человек!»

В другом месте поэт говорит:

...Тут живут  
Поют, рождаются, плачут, умирают,  
Смеются, верят и читают —  
люди!

Простая мысль, а между тем она  
Живым теплом обогревает сердце,  
Подбрасывает в сонный ум дрова.

(Пер. Л. Длигача.)

Советская поэзия и вся наша литература в целом переживает период возрожденного на новой основе гуманизма. Поэзия М. Рыльского — один из потоков этого общесоветского гуманистического «течения».

Легкая и глубоко лирическая ирония (или, вернее, усмешка) всегда сопровождала поэзию М. Рыльского. Но это не усмешка скептика, в ней просто чувствуется зрелость и знание. В творчестве каждого поэта наступает критический период, когда он достигает «середины жизни», когда в его жизни наступает «полдень». В новейших стихах М. Рыльского чувствуются эти мотивы:

Вновь, быть может, как когда-то,  
Соберутся у стола —  
Друг, что был милее брата,  
И подруга, что ушла.

Обовьют цветы в тот вечер  
Косу русую твою,  
И чужую свадьбу встречу  
Я, как будто бы свою.

(Пер. Н. Ушакова.)

Но эта неминуемая печаль приближающейся человеческой осени находит свое разрешение не только в прекрасных стихах о маленьком сыне (поэт называет его «грибком»), в котором он видит вечное повторение и обновление жизни и к которому он обращает свой проникнутый радостным знанием жизни «совет»:

Расти, живи и знай, что нет нигде  
Сильнее муки и сильнее счастья,  
Чем в творчестве, — на всей планете нашей,  
Прекраснейшей, кланься, из всех планет!

(Пер. Б. Турганова.)

Мало у кого из советских поэтов этого поколения так настойчиво и так убежденно звучит мотив окружающей молодости и уверенной надежды на эту всепобеждающую молодость, как у Максима Рыльского.

Для того, чтобы ощутить всю красоту, тонкость и подлинное звучание поэзии М. Рыльского, необходимо с ней ознакомиться в оригинале, на прекрасном и глубоко поэтичном украинском языке.

Среди имеющихся русских переводов стихов М. Рыльского есть добросовестные переводы, есть вполне «приличные», встречаются даже хорошие. Нам хочется выделить переводы Н. Ушакова; в них чувствуется поэтическая внимательность и чуткость к слову. Но никто

из русских переводчиков Рьельского еще не отнесся пока к его произведениям так, как сам Рьельский, замечательный мастер поэтического перевода, относится к переводимым им поэтам. Для создания подлинного перевода требуется, помимо таланта и умения, заинтересованность переводчика в поэте, которого он переводит, если не страсть, то хотя бы пристрастие, некое чувство любви, близости.

Надобно еще иметь в виду, что перевод с украинского (как и с других славянских языков) на русский представляет особенную трудность. Близость языков таит в себе большой соблазн для переводчика. Многие переводчи-

ки (одни из формалистского педантизма, другие — из соображений «экономии мышления») стараются сохранить (в тех случаях, когда звучание украинских и русских слов равнозначно) рифмующиеся слова. И они подгоняют текст под заранее заданные рифмы, уподобляясь играющим в «буриме». О какой же тут поэзии может быть разговор!

Издательства делают прекрасное дело популяризации поэзии наших братских народов. Но при этом необходимо помнить не только о «выполнении плана», но также и о том, что перевод есть сложное, большое, трудное и подлинно поэтическое дело.

*А. Гурштейн*

★

## ПОВЕСТЬ О ПОДРОСТКЕ \*

Повесть С. Гехта оставляет впечатление глубокой странности. Вначале эту странность приписываешь своеобразию жизненного опыта автора, особенностям его художнического зрения, причудливости ракурса, в котором ему открылась жизнь.

Но при более глубоком раздумье начинаешь подвергать сомнению именно достоверность образного материала повести. Вот в кратком пересказе ее сюжет. Подросток Вадим — единственный сын хорошего, честного партийца Платова, бывшего партизана, ныне одного из видных работников небольшого южного города. У отца с сыном трогательно-любовные, но сложные отношения, вызванные тем, что два года назад сын покинул родной дом, придя к выводу, что отец своим поведением в одном служебном деле изменил своему славному прошлому. Этот вывод был следствием болезненно-обостренной моральной чуткости мальчика, через некоторое время он вернулся обратно, но настороженность в отношениях отца и сына осталась.

В город приезжает девушка Настя, с которой Вадим познакомился в пору своих скитаний. Она входит в повесть в самом начале. Вадим и Настя, которая старше его на два года, испытывают взаимное тяготение. Родители мальчика, зная его чувствительность, внимательно следят за развитием их отношений, опасаясь, что Вадим окажется страдательной стороной. Таков зачин, исходный пункт повести. Далее личное, семейное вплетается в социальную ткань. В городе начинается сказываться подрывная деятельность врагов народа. Случилось так, что одно событие, в котором сошлись все концы злодейских происков врагов, стало близко известно Вадиму. Он начинает распутывать эти концы за свой страх и риск, движимый непреодолимым стремлением к правде и справедливости: дело шло о провокационном аресте мужа его любимой школьной учительницы. Затем козни врагов народа становятся известны его отцу, Платову. Вадим присутствует при том, как один раскаяв-

ший негодяй признается отцу во всех хитро-сплетениях, которые должны были погубить нескольких лучших граждан города. Вадим, не сказавшись родителям, уезжает на одолженные у товарища деньги в Киев, пробирается в гостиницу к приехавшему из Москвы крупному работнику ЦК и сообщает ему обо всем, что узнал. Здесь его застает отец, который также явился к работнику ЦК, своему старому знакомому, чтобы просить его вмешательства и помощи. В результате, враги народа были разоблачены и арестованы, Вадим становится героем города. Но его любимая Настя отошла от него, она полюбила испанца-революционера Рафаэля, поселившегося в городке после победы реакционного режима Франко. Вадим страдает, но в борьбе с врагами он обрел новые душевные силы, повзрослел, и этому личному горю уже не сломить его возмужавшего духа...

Такова основная сюжетная линия, но повесть изобилует сложными сюжетными и психологическими ходами, в ней множество действующих лиц, тесно связанных с той жизненной ситуацией, в которой находится и действительно проявляет себя подросток Вадим: его школьные товарищи и подруги, а также ряд наиболее видных людей города.

Уже в простом пересказе, поневоле оставляющем в стороне тональность повести, расстановку ударений, масштаб и соотношение частей, сразу ощущается странность: подросток Вадим стоит как бы в центре жизни города, он является инициатором разоблачения врагов народа, как бы олицетворением гражданской совести и мужества советских людей. Жизнь города и его интересы вращаются вокруг личности подростка, о его отношениях с Настей знают буквально все, а в конце-концов, оказывается, даже приезжий работник ЦК. И не просто — пассивно — знают, а принимают в них участие, размышляют о них и чуть ли не совещаются. Так вот, когда задумаешься глубже о природе этой странности произведения С. Гехта, то объяснение ей ищешь уже не в своеобразии жизненного опыта автора или в особом ракурсе наблюдения. Материал повести настолько достоверен, настолько проти-

\* С. Гехт. «Вместе». Повесть. «Литературный современник», 1941. № 1.

воречит привычному опыту и самому обычно-му здравому смыслу, что ключ к нему приходится искать за пределами самой повести: не примешалось ли тут какое-либо далекое литературное влияние, не деформирован ли современный, советский материал каким-либо архаическим литературным стилем, порожденным давно отзвучавшей культурно-исторической эпохой. И тогда на память приходит... Достоевский. И как только мысленно произнесешь это имя, — мгновенно все элементы повести и основной ее персонаж обретают соответствие с элементами романа «Подрасток». Конечно, речь идет не о сходстве сюжета, не о сходстве жизненных положений: надо ли доказывать, что автор, опытный и даровитый писатель, ни в какой мере не повинен ни в заимствовании, ни в подражании? Речь идет о безотчетной стилистической подчиненности, о неестественном сочетании советского материала с архаическим для современности стилем. Стиль этот представляет собой настолько крепкий и своеобразный «настой», что способен «архаизировать», придать недостоверность самому точному и достоверному жизненному опыту писателя, который почему-либо запомнил о нерасторжимой связи формы и содержания.

Предельно-обостренное самолюбие, болезненная моральная чуткость, крайняя чувствительность к чужому страданию, сложнейшие счеты с взрослыми, ранняя зрелость мысли и чувства, любовное поклонение взрослому — или хотя бы старшей, — женщине, постоянный самоанализ, активное вмешательство в запутанные и сложные дела «старшего поколения», суетня, возня с чужими тайнами, передача каких-то тонких поручений — и все это во имя выполнения некоего властного категорического императива — таков «подрасток» Достоевского. Когда автор повести «Вместе» создавал своего Вадима — это имя дано герою не случайно, — здесь также сказалась традиция, правда, иная — перед ним незримо витал образ «подрастка» Достоевского. Незримо — ибо многие литературные образы живут в нашем сознании, оторванные от своих истоков, нередко мы считаем их слагаемыми своего собственного опыта. И вот, советский писатель задумывает повесть, он хорошо знает свой материал, он продумал человеческие образы, среду, обстановку, у него готов сюжет, им руководит верная идея: он пишет первую строку, первую страницу, первую главу, он вкладывает в каждое слово свое, сегодняшнее содержание, но он не подумал о форме, о нерасторжимом двуединстве художественного произведения, и чужая форма беспощадно ломает и уродует его верный замысел, извращает идею, деформирует человеческие образы, переставляет ударения, меняет масштабы.

В повести С. Гехта подросток Вадим до такой степени погружен в чужие дела, до такой степени занят душевно, что у него просто нет ни физического, ни душевного времени выполнять свои обязанности школьника или предаваться каким-либо забавам своего возраста. Как и предписывает стилистая традиция, он

вечно находится в воспаленном состоянии духа, то по случаю чрезмерной занятости крайне серьезными общественными делами, то любовными перипетиями, которые он переживает как человек вполне взрослый. Мало того, он еще несет на себе нагрузку самоанализа и морального «взвешивания» чужих поступков. Это — мрачное существо, с перенапряженной нервной системой, лишенное всякой непосредственности, всяких свободных, играющих сил. Каждый его поступок подчинен долгу и моральному расчету. Он добр, великодушен, благороден, но все эти свойства в нем закончены, завершены, они не зреют в нем, а даны ему в готовом виде. Конечно, автор не мог не ощутить искусственности этого образа, — поэтому он иной раз позволяет Вадиму проявить детскость, непосредственность, но эти вольности неспособны облегчить участь несчастного подростка, ставшего жертвой стилистической беспечности автора...

Как уже было указано, влияние Достоевского определило не только построение основного образа повести, но и весь ее колорит, характер второстепенных персонажей, даже образы прочих подростков, например, девочки Шуры Лемке, «маленькой женщины», расчетливой, коварной, кокетливой, способной плести сложную житейскую интригу. В ней есть что-то от Лизы Хохлаковой и от других девочек-подростков Достоевского. А мальчик Слепянский, навсегда изломанный тем, что его отец занимает «позорную» должность заведующего ассенизационным обозом? Он подавлен насмешками школьников, но иногда прорывается истеричной и злой активностью. Но вот он тяжело заболевает, и расквашенные подростки собираются вокруг его постели... до чего же знакомы все эти «достоевские» мальчики и девочки, с их надрывными и глубокими переживаниями, с их жестокостью, маскирующей добрую и стыдливую душу!

Есть в романе одна деталь, на которой стилистая подчиненность автора сказалась самым уродливым образом. Совершенно безотчетно автор привнес в образ испанца Рафаэля черты легковесности и — прямо сказать — пошлости, какими Достоевский охотно награждал «иностранцев», в противность русским людям, равно плохим и хорошим, которых наделял «глубокой» и «сложной» душой. Рафаэль совершенно пуст, он весь во вне, он беспрестанно декламирует, он красив, как парикмахер, и, конечно, отбивает у Вадима его Настю. Субъективно автор может полагать, что создал «положительный» персонаж, но для читателя он именно таков — эта очередная жертва пренебрежения автора к литературной форме.

Несчастный случай с повестью С. Гехта крайне поучителен. Я говорю о «несчастном случае», ибо повесть «Вместе» совсем не характерна для него. Писатель вдумчивый и одаренный, он всего лишь два года назад выпустил глубоко современную по всему своему строю повесть «Поучительная история», приветливо встреченную и критикой, и читате-

лем. Что же привело его сейчас к серьезному срыву? Я думаю, здесь повинна некая общая причина. Наша критика в своих суждениях редко выходит за пределы «локальной» оценки данного произведения и пренебрегает постановкой общих вопросов, особенно же вопросов формы. В атмосфере пренебрежения к форме, культивируемого многими критиками, такие срывы, какой случился с опытным писателем С. Гехтом, нередко происходят с нашими молодыми писателями.

Мы указали важнейший, определяющий порок повести С. Гехта. Сквозь чужую ткань, разрывая ее, иной раз мелькают хорошие куски, — но они встречаются редко, и ни в какой мере не могут быть противопоставлены общей неудаче автора. Так, очень хороша вставная новелла об испанском революционере Романе Сархове, но она легко и безболезненно вынимается из повести. Одновременно есть в повести куски, свободные от стилизации, но весьма слабые и даже просто негодные. Так, в частности, весь кусок, относящийся к взаимоотношениям работника ЦК Богдана с его дочерью. Тут авторская фразеология стоит на самой грани дурного вкуса:

«Но затем Богдан увидел, что это не просто свободно и страстно любящий человек, а раб любви. И все это сделала с ним Луиза (дочь Богдана), счастливая тем, что она, как некая современная Клеопатра, подавила в мужчине его волю и превратила его в чело-

века подчиненного, угождающего ее прихотям...

...ему нравилось, что ею любуются, что в ней как бы олицетворилось понятие женственности, которое существует и должно существовать в природе».

Образ Богдана легковесен и сделан художественными средствами—весьма примитивными: немного глубокой серьезности, немного простой серьезности, немного благодушия. Предполагается, что чередование и сложение этих свойств должно создать впечатление сложного, трехмерного человеческого образа..

Нет, автору не удалось ни в какой степени претворить в дело свой замысел, о котором можно догадаться как по названию повести, так и по отдельным частностям текста: отцы и дети Советской страны вместе, общими усилиями, в общем моральном единстве творят новую жизнь, новую культуру; общие испытания сближают их и заставляют только острее почувствовать, что в советской атмосфере не может быть органической розни между родителями и детьми...

Мысль бесспорная, и тема, в ее общем виде, счастливая, но с ее конкретной интерпретацией в повести С. Гехта можно спорить. Спор этот можно продолжить по другому поводу. В данной повести жизненный материал настолько деформирован и искажен, что в этом направлении повода для дискуссии не дает.

Я. Рыкачев

★

## РОМАН НАРАСТАЮЩИХ СОБЫТИЙ\*

Три части нового романа Ю. Либединского «Баташ и Батай» опубликованы сравнительно недавно отдельной книгой в изд-ве «Советский писатель». На последней странице книги указано: «конец». Но уже тогда казалось, что эта книга является лишь началом большого романа. Автор подтвердил это предположение, опубликовав в «Красной нови» (№ 5—6, 1940 г.) четвертую часть романа. Эта последняя из опубликованных частей сопровождается уже ясным указанием на то, что «продолжение следует». Иначе и быть не может. Повествование лишь вступает в ту фазу, когда у читателя пробуждается ощущение грядущих больших событий. Основные образы только начинают формироваться. Науруз, который воспринимается как центральный герой повествования, только в последних частях вступает в главное сюжетное русло романа. Если же роман и в дальнейшем будет разворачиваться так неторопливо, как в первых двух частях, то пока трудно даже предвидеть будущие его контуры.

Перед читателем открыта сейчас история небольшого горского племени, история, общая для многих малых народов вообще. Широко используя фольклорный материал, владея мно-

гогранным богатством народных преданий, Либединский создает совершенно своеобразный стиль, в котором гипербола, в частности, становится органическим и убедительным компонентом реалистического повествования. Народные предания и мифы отбирает в этом романе художник передового мировоззрения, он придает им правильное и выразительное звучание. Характеры разворачиваются широко и свободно. Социальные противоречия, в которых складывается история племени, показаны умело и убедительно.

История горского племени, о котором рассказывает Либединский, вступает в последних частях романа в критическую фазу больших социальных потрясений. Вот-вот готовы рухнуть феодальные основы жизни народа. Перед властью денег князь Темиркан Батаев, неограниченный властитель Веселоречья, начинает понимать всю иллюзорную условность своего феодального могущества. Он уже готов быть робким, почти бездумным исполнителем всех замыслов коммерсанта Гинзбурга.

Науруз, потомок Баташа, вырастает продолжателем славных традиций вольного, мужественного народа, наследником легендарных традиций богатыря-бунтаря Тхамали, чье имя заставляло трепетать феодалов. Наступают новые битвы, они неизбежны, к ним закономерно жизненно-правдиво, с очень редким опере-

\* Ю. Либединский. «Баташ и Батай». Изд-во «Советский писатель». М. 1940. Стр. 227. Тираж 10 000. Ц. 6 р. 75 к.; «Красная новь». 1940, № 5—6.



жением художественного образа логикой мысли, приводят все сюжетные коллизии, важнейшие столкновения многочисленных персонажей романа.

Уже сейчас читатель начинает любить вольного пастуха, молодого Науруза, наделенного лучшими чертами своих предков. Науруз, сохранивший нравственную чистоту тружеников племени Баташа, мужество и наивную дерзость Тхамали, встает реальным, понятным читателю носителем свободолюбивых традиций своего народа, символически очерченных в первой части книги. Первые шаги Науруза в жизни сопровождаются теми простыми подвигами здорового, смелого человека природы, которые, однако, начинают уже ощущаться как свидетельство нарастающей силы народа. Сцеплением ряда жизненно-правдивых случаев Науруз, простой пастух, выделен уже из среды таких же простых и близких ему бедняков, он преследуем самими князьями Батаевыми, он готов стать героем легенды, в которой с эпической силой зазвучат и такие простые случаи в его жизни, как единоборство с орлом и медведем, и тем более такие, как поражение пристава.

Первая удача художника заключается в том, что он сумел увлекательно, правдиво и психологически убедительно открыть путь Наурузу для подлинно героических дел, не открывая героя от понятий и верований своего народа, не разрушая внутреннего, наивного и чистого мира Науруза. Чистым и мудрым встает бедняк Науруз перед блестящим петербургским офицером, новым властелином Веселоречья Темирканом Батаевым, перед дифференцирующей уже горской интеллигенцией. И вот, едва вступив в жизнь, Науруз Хакимов вынужден спастись от княжеского преследования, став «теперь всадником, но не при стремени князя, а всадником свободным навсегда».

Четвертая часть романа повествует о странствованиях гонимого Науруза, о первых его столкновениях со сложными жизненными противоречиями. Ему нет надежного пристанища в аулах, люди, готовые помочь ему, бесильны. Даже девушка Нафисат, любимая и желанная, способная на любую жертву ради Науруза, ничего, конечно, существенного не может сделать для юного героя, вступившего в драку с самим приставом, оскорбившего дом властителя Веселоречья Темиркана. Много горячих соблазнов встает на трудном пути Науруза, которому некуда идти. Он встречает абрека и конокрада Батырбека, выручившего его в трудную минуту. Вот они расстаются в лесу: «— ...Слушай... — понизив вдруг голос, сказал Батырбек, — идем к нам в долю на хорошее дело: коней воровать!

— Коней воровать? — изумленно переспросил Науруз.

Батырбек взглянул черными, веселыми и злыми глазами, кивнул головой и сказал:

— Что за жизнь! В серебре и золоте ходить будем! Русских девок заведем — в каждом городе по три девки: в Арабии — три,

в Пятигорске — три, в Краснорежке — три и во Владикавказе — тоже три! На каждого по девке! Я, ты и Хусейн — три кунака... Ну? — Батырбек протянул Наурузу свою широкую короткопалую руку.

Но Науруз медлил. Абречество и конокраство! Нет, не на эту дорогу хотел он вступить и жалел, что Хусейн на нее вступил. Многие привлекало Науруза в Батырбеке, многое отталкивало от него. Крепко пожал его руку, Науруз сказал:

— Буду кунаками! Только коней воровать я не стану...

И, несмотря на то, что после такого ответа Батырбек обвиняет его в трусости и осыпает оскорблениями, Науруз уходит один в неизвестный путь, на поиски пока только сердцем ощущаемой правды.

Лесную пещеру, в которой укрывался Науруз, медленно окружают люди князя. Они охотятся за молодым пастухом, как за хищным зверем. Вот уже кольцо сомкнулось, вот оказалась в руках врагов преданная Нафисат, приносившая ему пищу. Безнадежностью, гибелью веет от частой цепи враждебных вооруженных людей, окружающих Науруза.

И вот в этой цепи Науруз увидел вдруг казака Филиппа, с которым они, как случайные враги, столкнулись на княжеском дворе во время схватки с приставом. Это его — казака Филиппа — когда-то на плацу бил на глазах у Науруза пристав. Знакомый человек! Такой же простой, как Науруз! И юноша с наивным простодушием пошел на этого вооруженного винтовкой человека, чтобы прорваться сквозь цепь. Он не знал ни мыслей, которые в этот час одолевали казака, ни вековой вражды между казаками и горцами, — он видел близкого человека, когда-то обиженного на его глазах. И вот несбыточное свершилось.

«На ловца и зверь бежит...» — думал Филипп. Он в любой момент мог крикнуть. Правда, Науруз тогда кинется на него с кинжалом; но вот ведь... он стоит, не кидается. Проходила мгновенья, цепь уходила в глубь леса. Забыв обо всем на свете, Филипп глядел на это лицо: доброе и смелое, румяное мальчишеское лицо, в эти вопрошающие и бесстрашные глаза... Науруз вдруг улыбнулся...

— Кунак, — сказал он. И Филипп после долгого перерыва вздохнул полной грудью, недоуменно махнул рукой, оставил винтовку к ноге... — Спасибо, русский человек, — сказал Науруз по-веселореченски и прошел мимо...

... Науруз был снова спасен для борьбы и для жизни».

Так знаменательно заканчивается эта последняя из опубликованных частей романа, обещающая новые события, возникновение новых и сложных черт в характере вольного сына народа — Науруза Хакимова.

В эволюции творчества Ю. Либединского «Баташ и Батай» (и это можно сказать уже теперь) представляется новым явлением. Либединский выступает в нем художником, обещаю-

шим создать одно из интереснейших произведений советской литературы.

Но романа пока еще нет, и далеко еще не все, судя по опубликованным частям, представляется бесспорным. Многие в затрудненной композиции романа вызывает откровенные возражения. Первая часть (большая, чем каждая из последующих) все отчетливее начинает звучать, как обстоятельное вступление к роману. Тема повествования заметно развертывается только в третьей части. Четвертая часть насыщена действием. Откровенно утомительным становится прием подробного ознакомления с биографией почти каждого вновь вступающего в роман персонажа. Стиль четвертой части явно противоречит стилю первой части. Даже изложенные в старой манере семейные истории героев (например, казака Филиппа Буслаева) насыщаются фактами, немедленно перекликающимися с показываемыми в

романе событиями. В первой части такая взаимосвязь исключена, она просто не нужна сплоченному, медлительному эпическому повествованию. Значение и роль многих персонажей и отдельных эпизодов еще не прояснились. Многие типы горцев, выписанные с большой тщательностью, еще не нашли себе места в общей картине.

Кажется уже почти определенным, что автору при окончательной отделке всего здания романа придется пойти на решительное сокращение первой половины произведения, но это «почти» еще продолжает существовать, потому что общая картина не определилась.

Все еще в будущем для этого обширного полотна, задуманного Либединским. Но и опубликованные уже части имеют немалое познавательное и художественное значение. Хочется со всей искренностью пожелать писателю большого, настоящего успеха.

*Ив. Мартынов*



### ИСКУССТВО ВОСПИТАНИЯ \*

В 1935 году, шесть лет тому назад, в «Комсомольской правде» появился очерк «Семья инженера Пфлаумер», после которого об этой семье заговорили повсюду, по всей нашей стране. И неудивительно! Всех поразила эта большая и дружная семья, насчитывавшая тогда пять человек детей, так как, — этим-то именно и примечательно было семейство, образовавшееся у супругов Пфлаумер, — дети все без исключения были у них не родные, а приемные. Они взяты были на воспитание и усыновлены Натальей Александровной и ее мужем, Давидом Ивановичем, которые делали (и продолжают делать) все, что в их силах, чтобы их питомцы выросли полноценными людьми, передовыми гражданами социалистического государства.

«Моя семья» Н. А. Пфлаумер основательно разрушает упрощенные взгляды на процессы воспитания и на взаимоотношения между детьми и родителями.

Когда следить за рассказом Натальи Александровны, удивляешься порой тому, как просто, как, мы бы сказали даже, обыденно начала складываться ее многочисленная семья.

«Через год после свадьбы, — рассказывает в «Моей семье» Наталья Александровна, — услышав печальный приговор врачей, что детей у меня быть не может, мы взяли к себе пятилетнюю племянницу мужа — Флерочку. Она была младшей дочкой в семье, где было двенадцать человек детей.

Флерочка прожила у нас семь лет. Вместе с ней воспитывалась у нас и дочь нашей кухарки, ровесница Флерочки, Нюша».

Однако первая попытка создать свою семью Н. А. и Д. И. Пфлаумер не удалась. В

1918 году Флерочка умерла от тифа, а Нюшу ее мать, испуганная надвигавшимся голодом, поспешила увезти с собой в деревню.

В 1919 году, в самую годовщину смерти Флерочки, у Пфлаумер появился приемный сын — Сергей.

Получилось это так.

Наталья Александровна собралась в этот день на кладбище, на могилку Флерочки. По дороге ей пришлось укрыться от внезапного ливня под навес крытого рынка, где она заметила неподалеку от себя слепого старика и плакавшего навзрыд мальчугана лет трех, который был поводырем слепого. Старик обращался с мальчиком жестоко, грубо; Наталье Александровне стало жаль маленького поводыря, и она решила за этой парой проследить. «Меня, — объясняет она в своей книжке, — мучило с каждой минутой укреплявшееся чувство, что ребенок чужой старику». Убедившись в правильности этой своей догадки, она, недолго думая, с милиционером отобрала мальчика и повезла его к себе.

Сереза был первым ребенком, который, к величайшей радости уже немолодой, сорокалетней женщины, назвал ее мамой.

Вскоре после Серезы у Натальи Александровны появилась и дочка — восьмимесячная Леночка. Мать ее умерла, а отец — сослуживец Давида Ивановича, — крайне подавленный смертью любимой жены, по совету Н. А. и Д. И. Пфлаумер, оставил у них девочку и уехал, чтобы переменить обстановку, в длительную командировку на Дальний Восток.

Когда Лене было уже около четырех лет, неожиданно приехал ее отец, — и не один, а с молоденькой женой, которая, боясь, должно быть, «дурной молвы» о мачехе, потребовала, чтобы ей отдали девочку. В семью Пфлаумер Лена возвратилась только много лет спустя.

На место Лены Н. А. Пфлаумер взяла из

\* Н. Пфлаумер. «Моя семья». Роман-газета. № 12. Гослитиздат. М. 1940. Стр. 64. Тираж 300 000. Ц. 50 к.

детдома круглую сироту, двухгодовалую тартарку Маулу, которую на другой день переименовали в Женю (Наталья Александровна и Давид Иванович предпологали тогда, что им удастся скрыть от детей их происхождение).

Было это в 1923 году. Следующее увеличение семейства Пфлаумер произошло лишь через одиннадцать лет, в 1934 году, совершенно неожиданным образом.

На одном из московских вокзалов Наталья Александровна случайно увидела двух крошечных, брошенных на произвол судьбы, изголодавшихся детей — сестру и брата, — и щемящая жалость с такой силой оватила ее, что она решила забрать их с собой.

После напечатания в «Комсомольской правде» очерка «Семья инженера Пфлаумер» на имя Натальи Александровны посыпались письма. Родители просили ее в этих письмах поделиться с ними опытом, раскрыть «секрет» воспитания детей. Однако самый основной, наиболее существенный «секрет», который, собственно, и секретом назвать нельзя, так как он сам собой подразумевается, от части корреспондентов семьи Пфлаумер странным образом ускользал.

Любовь Натальи Александровны к своим детям бесконечно далека от неосмысленной, портящей ребят «любви». Заботы Натальи Александровны о том, чтобы ее дети были одеты, обуты и сыты, — лишь малая часть ее родительских забот. Все ее устремления направлены прежде всего на то, чтобы привить своим детям навыки социалистического общежития. А это — задача, требующая затраты огромных душевных сил родителей, потому что каждый период жизни каждого ребенка имеет свои индивидуальные особенности и специфические трудности, которые в процессе воспитания должны быть непременно учтены, так как иначе ребенок легко может соскользнуть на неверный путь.

При чтении «Моей семьи» невольно вспоминается «Книга для родителей» выдающегося советского педагога и писателя Антона Семеновича Макаренко. Нельзя о ней не вспомнить потому, что автобиографический рассказ Натальи Александровны о своей педагогической практике является блестящим подтверждением той педагогической концепции, которая развернута в теоретических рассуждениях и художественных образах полупублицистической, полубеллетристической «Книги для родителей».

И в первую очередь опыт семьи Пфлаумер подтверждает основной тезис Макаренко о том, что советская семья должна быть коллективом.

Характеризуя свой метод воспитания детей, описывая, как она приучала их к дисциплине, Наталья Александровна подчеркивает:

«Метод, собственно, был один: спокойствие и ласка, соединенные с твердостью. Мы старались никогда ничего зря от ребят не требовать. Мы не запрещали им бегать, прыгать, визжать, играть. Мы не ахали и не возмущались, если из сада они возвращались перемыванными землей и песком. Но ребята знали: с

невмытыми руками и лицами за стол сесть нельзя. Спать надо вовремя. Есть тоже надо сразу, как позовут, чтобы не заставлять маму разогревать вторично. Маме помогать обязательно, потому что мама старенькая, а работает много. И, глядя на старших, которые жили по этим же правилам, младшие приучались к дисциплине».

Далеко не все родители способны определить, что можно позволить ребенку и чего ему позволять нельзя. Одни боятся стеснить в чем-либо своих детей, разрешают им все, а потом удивляются их недисциплинированности, хотя сами в сущности ее поощряли и больше всех в ней повинны. Другие запрещают детям то, что составляет прямую потребность детского организма, но не особенно приятно взрослым. Объясняется это частично стремлением ограничить личное свое спокойствие, частично непониманием того обстоятельства, что без синяков и ссадин ребенок вырасти не может и что тревожиться особо по этому поводу незачем. Необдуманные запреты родителей зачастую не только бесполезны и неосуществимы, но и воспринимаются детьми, как явная несправедливость, что, ясное дело, укреплению родительского авторитета отнюдь не способствует.

Если разобраться, в обоих случаях — и когда родители слишком «добры», и когда они сверх меры требовательны, — они исходят фактически не из интересов детей, не из задач, выдвигаемых процессом их воспитания. А для Натальи Александровны именно эти задачи стояли всегда на первом плане, и это как-раз и обусловило успех ее воспитательной работы. Она думала прежде всего о том влиянии, которое окажут ее действия на детей, а поэтому нередко сдерживала себя, когда, скажем, у нее являлось «почти непреодолимое желание» отшлепать непослушного ребенка или, наоборот, приласкать его в момент, когда необходима была строгость.

Особо следует отметить привычку к труду и к выполнению тех или иных — пусть на первых порах и несложных, но четко зафиксированных — семейных обязанностей, которую настойчиво воспитывала в своих детях Наталья Александровна.

В семье Пфлаумер у родителей были налицо все те качества, которые они хотели бы видеть у своих детей. Наталья Александровна и Давиду Ивановичу не приходилось лицемерить и кривить душой, предъявляя детям те или иные требования. А это — самое главное. Тогда воспитание всего успешнее достигает своей цели, когда у детей перед глазами живой, убеждающий пример самых близких, самых дорогих людей — отца и матери.

В книге «Моя семья», помимо воли автора, вырисовывается яркий и пленительный образ советской матери-воспитательницы. Нельзя не указать в этой связи, что литература наша до сих пор такого образа еще не создала. Но можно не сомневаться, что наши писатели вскоре дадут художественные

произведения об условиях формирования новых поколений советских людей, получающих в советской семье первые, навсегда запоминающиеся, жизненные уроки. Социалистиче-

ская действительность наша подготовила уже материал для такого рода произведений. Наглядным доказательством этого является, в частности, «Моя семья» Н. А. Пфлаумер.

Р. Воино

★

### БЕЗОБЛАЧНЫЙ МИР\*

Сборник стихов Сергея Фиксина проникнут одним настроением — доброжелательностью, радостной влюбленностью в жизнь, желанием «обнять весь мир». Для мироощущения лирического героя книги характернее всего наслаждение бытием. Для совершенной полноты счастья не хватает лишь кого-нибудь рядом — человека, на которого могла бы излиться переполняющая сердце радость:

Просто хочешь от души  
Встретить человека,  
Чтобы этот человек  
Смело поклонился,  
Чтобы этот человек  
Сразу полюбился,  
Чтобы он пошел с тобой  
По одной дороге,  
Слышал каждый звук лесной,  
Каждый кустик трогал,  
Ключевую воду пил,  
А вода б струилась.  
Чтоб от всей души любил  
Все, что полюблось.

Поэт жаждет видеть в этом желанном встречном достойного любви, хорошего человека, одного из тех, образы которых наполняют первый раздел сборника «Хорошие люди». Благодарные и ласковые строки посвящает Фиксин простым советским людям — первому учителю детства, старику-почтальону — отцу героя, деду-рыбаку, старушке — бывшей учительнице, наконец, ребятишкам, мечтающим над своими игрушечными кораблями о могучей эскадре. Все это очень простые, ясные стихи, в которых природа и люди предстают полными любви и радости, улыбочивыми, тихими.

Сначала читатель, умученный унылой лирикой разлук, щедро разлитой по страницам иных книжек, с готовностью и радостью впитывает легкие и светлые тона стихов Фиксина. Однако вскоре на смену этому ощущению приходит какое-то смутное раздражение. Наконец, перевернута последняя страница сборника, и тут становится ясно, что мир, изображенный Фиксиным, не полон, что многое автор обошел стороной, от многого попросту отвернулся. Действительно, каково содержание книжки, какие жизненные факты привлекают внимание поэта?

Фиксин любит изображать детей и стариков. Дети, разумеется, только мечтают о подвигах. Для стариков — жизнь уже позади, за плечами лежит большой путь, труд многих

лет окончен, можно спокойно отдохнуть, окинуть взором все свершенное и отдыхать. Отдыхать умиротворенно, тихо, «благостно», — сказали бы мы, — как это делают Алексей Степанович со своей бабкой («Стихи о первом учителе»), или учительница, которая полвека «учила, гладила (!?) детей», а сейчас сидит у окна «одна с мечтой своею» («Подснежники»).

Этим же чувством законного отдыха после прожитой жизни проникнуто стихотворение «Дед и внук». Старик вырастил сыновей и внуков, которые «завтра приедут в гости со всех четырех сторон». И он занят мыслью о том, какими торжественными и задушевными словами можно достойно встретить этот праздник у новогодней елки.

Вот стихотворение «Герой». Может быть, здесь мы увидим действительную жизнь и борьбу? Нет, подвиг совершился где-то там, далеко, — за пределами стиха, — а на страницах книги мы снова видим только прослезившегося от гордости и радости отца героя, мирного почтальона Никанорыча. «Героем» стихотворения оказывается именно он.

Вот, наконец, автор показывает бойца, человека, на плечах которого лежит самый большой и ответственный долг, долг защиты родины. Но мы снова опаздываем: подвиг уже совершен, боец лежит в госпитале. Казалось бы, госпиталь, каким бы раем ни представлялся он после землянки или окопа, все же не очень радостное место. Но Фиксин производит такой отбор деталей, словно мысль о крови и страданиях, перенесенных бойцом, вовсе не входит в его сознание: на столике «жарко астры горят», друзья приходят навестить бойца, школьники приносят шоколадные конфеты, землячки-ткачихи — вышитую васильками рубашку. И если бы автор не сказал, что эту рубашку пока не велит надевать «добрый строгий профессор», можно было бы усомниться в том, что речь идет о раненом.

Мы замечаем, что в стихах Фиксина отражается лишь праздничная сторона жизни. Не борьба, а отдых. Не труд, а награда за труд. Не самое действие, а лишь итог действия. Поэт, словно намеренно, отворачивается от тревог и трудов мира, точно боится на них взглянуть, чтобы не утратить своего безоблачного настроения.

Оптимизм убедителен, если это оптимизм с открытыми на все глазами, если основой ему служит уверенность в своих силах, вера в преодолимость любых трудностей. Если же голос автора звонок и уверен, но говорит он

\* Сергей Фиксин. «Легко дышать». Стихи. Смоленское областное государственное издательство. 1940. Стр. 46. Тираж 3 000. Ц. 55 коп.

только об идиллических радостях бытия, то читатель может задуматься: сохранит ли автор этот жизнерадостный тембр, если ему придется затронуть в своем творчестве темные, трудные стороны жизни?

Единственная вещь, в которой намечено хоть какое-то подобие конфликта, — это стихотворение «Рыбак». Но здесь столкновение противостоящих друг другу общественных сил дано в самой общеизвестной и много раз повторявшейся в литературе ситуации; к старику-рыболову подходит незнакомец, подсаживается, заводит разговор, — да вы уже догадались, читатель, пожалуй, дальнейшее излагать излишне, — ну, конечно, гость просит о ночлеге, старик не подает виду, что он подозревает что-либо, а сам приводит его на заставу. Незнакомец оказывается шпионом, и начальник заставы поздравляет «рыбака с уловом».

Мягкий юмор, с которым написано это стихотворение, не спасает его от скуки, слишком все известно с самого начала: автор лишь повторил одну из многочисленных газетных заметок. Этого для поэзии недостаточно.

В стихотворении «Иван Кошель» о встрече с белорусским мальчиком, бывшим пастушком пана Любомирского, автор вспоминает о своем собственном сыне:

Который панский скот не пас,  
И на веку своем  
Он видел пана только раз —  
В музее под стеклом.

★

### РАВНОДУШНАЯ ПОЭЗИЯ \*

Маяковский однажды остроумно заметил, что человек, впервые доказавший простую истину — «два и два — четыре», — был великим математиком, даже если для своего утверждения он складывал всего лишь окурки. А если кто-нибудь потом с этой же целью складывал паровозы, то, с точки зрения математики, он только повторял трюизм. Это замечание Маяковский прилагал к творческой работе скверных поэтов — его и наших современников. Некоторые страницы его статьи «Как делать стихи» именно этому посвящены. И эти страницы приходится часто вспоминать, когда читаешь иные стихотворные сборники, появляющиеся у нас сегодня.

Один из таких злополучных сборников — книга стихов Валентина Лозина «Здесь я живу», вышедшая там, где Лозин живет, — в Ленинграде.

Лозин дал в своей книге концентрированное выражение всех и всяческих банальностей, еще живущих и плодящихся в нашей поэзии. Он складывает в стихах паровозы и любовные письма, боевые знамена и осенние листья,

Однако не исчерпываются же все трудности жизни музейными панями и, если так может показаться сыну поэта, то ведь Фиксин, конечно же, знает, что это не так. Но, очевидно, только знать — недостаточно. Впрочем, это истина, ставшая общим местом, — не будем ее доказывать.

При чтении стихов Фиксина легко обнаружить зависимость автора от поэзии Твардовского, совпадает даже разрешение некоторых тем («Соперники»). Однако сравнение яростно любящего жизнь, великого охотника до работы, деда Данилы, — излюбленного героя стихов Твардовского, — с отрешенными от жизни, умиленными стариками «на покое» у Фиксина обнаруживает, что сходство ограничивается лишь интонационными, ритмическими и лексическими особенностями.

Если говорить о смысловой насыщенности, жизненной правде и энергии стиха, то здесь Фиксину можно сделать много горьких упреков. Звание поэта обязывает к особой чуткости, к обостренному вниманию, а стихи Фиксина поражают своей умиротворенностью и благодушием, свидетельствуют о том, что атмосфера сдержанности, волевой напряженности, в которой живет сейчас народ нашей страны, ускользнула от его поэтического восприятия.

Книжка названа «Легко дышать». Нам кажется, название дано неправильное. В мире стихов Фиксина нехватает ветра, движения, в нем, как это бывает в знойный, сонный летний полдень, — немного душно.

*Е. Златова*

лозунги нашего дня и старые прибаутки... И все это каждый раз служит одной только цели — доказательству маленькой истины, что дважды два, как ни верти, равно четырем.

Впрочем, это старый фельетонный прием: обыгрывать таблицу умножения. Поэтому оставим его и заглянем в самую книгу Лозина. Она объемиста, в ней много разделов. Среди них первое место занимают лирические стихи.

Желая сразу открыть читателю свою поэтическую программу, первому, любовно-лирическому, циклу книги Валентин Лозин дает скромное название «Обыкновенный день».

«Я расскажу тебе о самом обычном дне жизни, я открою перед тобой поэзию наших будней» — как бы говорит поэт читателю. Что ж, читатель не возражает! Втайне читатель надеется, что, быть может, перед ним развернется поэтическая картина сегодняшних дней, что наше время не просто обозначится перед ним в парадных строфах риторических разглагольствований, а раскроется в реалистических стихах о «дне нашей жизни».

И вот доверчивый читатель начинает одну за другой перелистывать страницы книги. Напрасная доверчивость! Ощущение внутренней пустоты лозинских стихов сразу же охватывает его:

\* В. Лозин. «Здесь я живу». Стихи. Гослитиздат. Л. 1940. Стр. 158. Тираж 5 000. Ц. 3 р. 50 к.

Нам двоим луна светила,  
Мы глядели на залив.  
Милая моя спросила,  
Почему я молчалив.

Не отвечу я любимой.  
Ничего ей не скажу,  
Пусть она сама узнает,  
Что ее простое имя  
Я сейчас произношу.

Все! В этом маленьком стихотворении с редкой наглядностью отражен главный порок всей лирики Лозина: ему нечего сказать ни читателю, ни даже своей милой. Его многозначительные умолчания и многообещающие интонации ничего за собой не скрывают.

Вот, например, в стихотворении Лозина о любимой девушке Мария есть такой постоянный рефрен: «Так вот ты какая, Мария!»

Какая же? Оказывается:

Ты звонко смеешься, с весельем дружа,  
Пытливы глаза молодые.  
И что б ни случилось, — не дрогнет душа.

Ты рада снегам и весенним ручьям,  
Живешь ты, волнуясь, мечтая.

Итак, Мария — это не более, чем собрание ничего не значащих «звонких» качеств. И эта Мария почему-то вызывает у поэта приступ «лирической бдительности»:

А может быть, это ошибка моя,  
И может быть, ты не такая!

Этот «своеобразный» поворот темы объясняется очень просто. Лозин знает все приемы обыгрывания лирических тем: немножко сомнений и упреков, немножко грусти и воспоминаний детства, немножко весенней радости и осеннего одиночества. Он знает, что любимую хорошо сравнить с песней; он знает, что хорошо и поэтично, если любимая «снится — такая, как есть»; ему известны все атрибуты «красивой» поэтической речи, все поэтические позы и все хорошие манеры страдающей души:

Ты грустила и пела, о счастье мечтала  
И звала меня в даль, в полумрак голубой.

Вот это-то «всведение» Лозина делает его лирику мертвой, потому что первородный грех этой лирики — отсутствие в ней живой конкретности сегодняшней жизни и отсутствие сколько-нибудь яркой индивидуальности у ее героя, т.-е. у самого автора.

«Обыкновенный день» любого человека — это «ничей день». Жизнь, которая по мерке любому молодому человеку, — это мертвая жизнь, точнее, это — просто литературная схема жизни. И вся любовь, изображенная Лозиным, — это не более, чем трафаретная поэтическая схема любви с ее оптимистическими расставаниями, вечными клятвами, бутафорской радостью и обязательной печалью. Необходимость и происхождение всех этих перипетий

любви, психологическая и жизненная подоплека всего этого — даже не упоминается. Да и существуют ли они? — в праве спросить читатель.

Лирический герой Лозина движется в пространстве условной любви, в пространстве, засиженном альбомными и безличными лириками всех времен и народов. И, право, делается невыносимо скучно и безрадостно на душе, когда снова читаешь, что:

Может, завтра я увижусь с нею  
И услышу вновь знакомый смех.  
Буду я с подругою моею  
Веселее и счастливей всех.

Или, наоборот, когда тебе сообщают, что:

Тихий сумрак плывет над землею,  
Жду тебя, открываю окно.  
Может, с горечью, с болью, с тоскою  
Эти дни вспоминать суждено?

Совершенно под стать лирическим стихам В. Лозина его стихи о прошлом из цикла «Старая Россия». Кроме обычных жалоб людей былого времени на свою тяжелую судьбу, кроме тривиальных обличений ханжества церкви и лицемерия монахов, читатель здесь ничего не найдет. «Монастырская новелла», например, — это гладенькое и пристойное изложение, в серых традиционных стихах, старого и притом очень острого сюжета средневековых немецких шванков и французских фавль о сластолюбивом игумене и хитром монахе. Все это давно утратило для нас какой бы то ни было живой интерес.

Валентин Лозин пишет обо всем, но интересно и по-своему — ни о чем. Его внимание привлекает все, что угодно, потому что его ничто не занимает глубоко и всерьез. У него нет своей темы, своего поэтического мира и, что самое главное, — своих больших интересов в жизни. А ведь это азбучная мудрость, что без своего отношения к действительности, без своего понимания вещей подлинная поэзия никогда не была и не будет возможна.

С чувством все нарастающей досады и с раздражением перелистываешь страницы лозинской книжки. «В этой маленькой корзинке, что угодно для души». Лозин может с легкостью написать стихи о моряках и о бойцах в пустыне, о ракетах Циолковского и о черешнях Мичурина, о мечтах молодой матери и о красной сестре, о добродушных бездельниках и о сельском пейзаже; он с равной легкостью пишет сюжетные стихи и рассказывает анекдоты... Все это он делает поспешно и донельзя поверхностно, потому что душевно он непричастен ни к одной из своих тем и ни к одному из поэтических жанров. Мичурин — это хорошо! И Циолковский — это хорошо! Моряки — молодцы! И пехотинцы — молодцы!.. Дважды два — четыре, это — «идея» всех стихотворений Лозина, и в этом заключается конечное выражение той внутренней нищеты, какой отмечена его книга «Здесь я живу».

Печать внешнего описательства и риторического «скорописания» лежит на всем творче-

стве В. Лозина. В самом деле, какими еще более точными словами можно назвать такие, скажем, строки?

Как теперь скажу о нем, ушедшем?  
Нужных слов, быть может, не найду?  
Умер тот, кто родине Советов  
Завещал высокую мечту.

(«На смерть Циолковского»).

Неумение сказать о великом ученом что-нибудь большее, чем сказано в этих строках, нежелание думать прикрывается здесь с помощью очень старинного приема: «Нужных слов, быть может, не найду». Этот довольно безобидный «маневр» поэта выражает не только избобразительную беспомощность Лозина, но и является имитацией действительного переживания поэта, готовой маской «соответствующих эмоций». За пышной риторикой здесь, как и в любовно-лирических стихах Лозина, прячется пустота.

Приведенный пример не единичен и не случаен. Знание внешних приемов, с помощью которых можно без труда «овладеть» любой темой, заменяет в поэтической работе Лозина живое и глубокое восприятие современности и собственное размышление над жизнью.

А какова сегодня цена всем этим приемам? Об их старомодном и банальном характере, обо всей своей «поэтике» Лозин мог бы в заключение вполне точно сказать своими собственными словами:

Казалось, самого себя  
Забыл я где-то в прошлом.

А что же нам сказать в заключение?

Книжка Валентина Лозина заслуживала бы только фельетонного обсуждения, только справедливой едкой издевки читателя, если бы она была одиноким островком в нашей поэзии и если бы ее пороки были только частным делом поэта.

Но стоит посмотреть страницы даже последних номеров некоторых наших толстых журналов (например, «Молодой гвардии», «Литературного современника») или некоторые сборники стихов (например, Н. Грибачева, вышедший недавно в Смоленске), чтобы увидеть, что В. Лозин вовсе не одинок. Но стоит только призадуматься над сущностью пороков лозинского творчества, чтобы понять, что за ними прячется равнодушие, отсутствие живой заинтересованности в чем бы то ни было, легковесное отношение к серьезным вещам.

Д. Сенин

★

### С УЧЕНЫМ ВИДОМ\*

В книге А. И. Ульянского опубликован впервые ряд документов официального характера, относящихся к семье А. П. Ганнибала, Пушкина и его няни Арины Родионовны. На основании этих документов подробнейшим образом изложена история имени Суйды, Петербургской губернии, приобретенного А. П. Ганнибалом в 1759 году, а также история подмосковного имения Захарова, принадлежавшего бабке поэта — М. А. Ганнибал. Интересны документы о приобретении Суйды первым Ганнибалом, о переходе ее по наследству; церковные записи, дающие точные даты рождения, брака и смерти Арины Родионовны, смерти А. П. Ганнибала (хотя дата эта известна) и венчания родителей Пушкина; договор о продаже Захарова в 1811 году, содержащий подробный перечень обстановки. Документы эти важны для обрисовки быта, в котором рос Пушкин. Автор, опираясь на записи в церковных книгах, устанавливает время пребывания родных поэта и Арины Родионовны в Суйде, Захарове и Москве (в 1800—1811 и 1822 годах).

Все эти немногие документы и изыскания автора сопровождаются словоохотливым изложением всем известных вещей, начиная с биографии прославленного «арапа Петра Великого» — Абрама Ганнибала — и кончая рассказом о пребывании Пушкина в ссылке в

Михайловском. Изложение отяжелено обстоятельным описанием современного состояния Суйды, соседнего с нею Кобрин и Захарова и щедро пересыпано невероятным количеством стихотворных цитат. Автор вдается в малоинтересные подробности о семейных отношениях Арины Родионовны и ее родных и свойственников, сообщая читателю о всех браках, заключенных среди них, об именах всех детей и родичей и о современном положении ее потомков. По всякому поводу он отклоняется в сторону (см. стр. 36, 66 и др.), дает пространные эпиграфы (стр. 47), которые повторяет тут же в тексте (стр. 49). Стихи Языкова «Я отыщу тот крест смиренный» продолжают в книге трижды (стр. 57, 62 и 69). Изложена подробная и никому не нужная предистория авторских догадок и предположений, сложившихся до находки им документов (стр. 62—65) и т. д.

Иногда спорны и те незначительные выводы, к которым пришел автор. Строя все свои историко-генеалогические утверждения и предположения на церковных документах, А. И. Ульянский сам подрывает доверие к достоверности своих построений. Пытаясь непременно датировать смерть мужа Арины Родионовны 1801 годом (факт вообще весьма мало важный), он авторитетно заявляет, что наличие его имени в исповедальных росписях за 6 лет после 1801 года — ошибка церковного причта (стр. 26). Возникает естественный вопрос: почему же в одних случаях автор целиком опирается на церковные доку-

\* А. И. Ульянский. «Няня Пушкина». Изд-во Академии Наук СССР, М.—Л. 1940. Стр. 123 с 31 иллюстр. Тираж 2 000. Ц. 11 руб.

менты, а в других — отвергает их без достаточных оснований? Где же критерий?

Опубликовав церковную запись о рождении брата Пушкина — Платона (стр. 36), А. И. Ульяновский, несмотря на свойственное ему многословие, почему-то умалчивает не только о дальнейшей судьбе этого младенца, но и о том, что дата его рождения уже давно известна (как и дата смерти; см. Б. Л. Модзалевский и М. В. Муравьев «Пушкины. Родословная роспись». Изд. Акад. Наук, Л. 1932, стр. 57).

Неверно указана дата отъезда Пушкина из Михайловского — не во второй половине декабря, а 25—26 ноября 1826 г. (стр. 45). На основании церковной записи о смерти Арины Родионовны 31 июля 1828 года А. И. Ульяновский передатирует запись Пушкина:

25 июня  
Фанни  
Няня +

Он считает, что Пушкиным написано не 25 июня, а 25 июля, в связи с болезнью няни, а крест поставлен позднее, после того как поэт узнал об ее смерти (стр. 66). Версия эта допустима, но недостаточно убедительна — Пушкин мог записать о болезни няни или о свидании с ней как в июне, так и в июле, и здесь решающую роль сыграло бы начертание названия месяца в самом автографе поэта, факсимиле которого необходимо было бы приложить к этому месту книги, чего А. И. Ульяновский не сделал, предпочтя воспроизвести портреты правнучек, пра-правнучек и «пра-пра-пра-правнучки» (буквально так!) Арины Родионовны (стр. 53—55).

Автор пытается дать подлинный образ Арины Родионовны на основании цитат из стихотворений Пушкина и Языкова, мемуаров, писем и собственных домыслов. Обаятельный облик Арины Родионовны — нежной, преданной и самоотверженной подруги суровых дней поэта, заменившей ему недостававшую материнскую любовь и согретшей его в тяжелые дни ссылки в Михайловском, — достаточно известен и памятен. Значение Арины Родионовны в ознакомлении Пушкина с народным творчеством и пробуждении в нем с детских лет интереса и любви к русскому языку и фольклору — велико и неоспоримо. Доказывая это, А. И. Ульяновский ломится в давным-давно открытую дверь. В увлечении же своей героиней он не знает пределов и приписывает ей слишком большие умственные интересы. Например, о соседнем с Захаровым селе Вяземом, вотчине Бориса Годунова, Ульяновский пишет: «История этих мест... не могла не интересовать и Арину Родионовну... Она была первым путеводителем юного поэта по этим историческим местам» (стр. 27). Вряд ли Арина Родионовна, неграмотная женщина, имела такие исторические познания и интересы, не будучи даже уроженкой этих мест.

В другом месте А. И. Ульяновский пишет о няне Пушкина, что Арина Родионовна «бы-

вала и ценителем его произведений... Пушкин часто читал ей свои произведения и интересовался ее суждением» (стр. 43). Откуда взял он эти сведения? Единственным основанием ему могли служить известные строки из IV гл. «Онегина»:

Но я плоды моих мечтаний  
И гармонических затей  
Читаю только старой няне,  
Подруге юности моей.

Напомним А. И. Ульяновскому дальнейшие стихи той же строфы:

Да после скучного обеда  
Ко мне забредшего соседа,  
Поймав неожиданно за полу,  
Душу трагедией в углу.

Неужели автор не понимает, что заключение его чересчур уж прямолинейно? Приводя полностью материалы об Арине Родионовне, он, по незнанию или сознательно, пропускает ее собственный рассказ (в записи М. И. Семевского) об отъезде Пушкина с фельдшером из Михайловского, хотя рассказ этот очень правдиво рисует образ няни — простой, любящей женщины, бесконечно трогательной в своей наивности.

Нельзя обойти молчанием тяжелый, небрежный, а порой, сентиментальный язык, которым написана книга.

Великолепны некоторые выводы автора. Публикуя документ о смерти А. П. Ганнибала от «главной (головной) болезни, он поясняет: «Это указание причины смерти Ганнибала как будто объясняет нам приведенное в его немецкой биографии сообщение, что он «умер философом» (стр. 14). Поистине, этот ученый комментарий А. И. Ульяновского комментариев не требует!

В книге даны приложения, состоящие из стихов Пушкина и Языкова, народные сказки, записанные Пушкиным со слов Арины Родионовны, и ее письма к Пушкину. Все это перепечатано из распространенных изданий и, кроме того, частью уже вошло в основной текст книги. Дальше идут документы, «публикуемые впервые»:

1) Родословная Арины Родионовны с 1692 г. до наших дней. Наиболее интересные сведения о предках Арины Родионовны вошли в текст книги, потомство же ее вряд ли в какой-либо степени важно для изучения творчества Пушкина. В слепом подражании «научности» А. И. Ульяновский вдался в явную псевдонауку, с жаром устанавливая бухгалтеров, агентов и младенцев, находящихся в дальнем родстве с Ариной Родионовной.

2) Разные документы. Из них все сколь угодно ценное, кроме церковной записи о браке О. С. Пушкиной и плана села Захарова 1817 года, уже вошло в основной текст книги (см. стр. 6, 12, 17, 36, 65; половина из них сверх того воспроизведена в факсимиле).

Остальные документы: исповедальные реестры и росписи суйдовской церкви за 1737—



1806 годы, «ревизские сказки» Ив. и Ос. Ганнибалов, Жандра и Козловой за 1795 г. и 1811 г. — никому не нужны, ибо все упоминания в них об Арине Родионовне и ее родных заботливым автором использованы в тексте (см. стр. 8 и дальше).

Вывод: приложения к книге совершенно излишни.

Такова эта странная книга. Стоило ли ее выпускать да еще в издательстве Академии Наук СССР?! На этот вопрос ответить не трудно.

К. Богаевская



## ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ \*

Сборник «Американские киносценарии» может способствовать правильному представлению о положении вещей в американском кино. В этот сборник вошли четыре сценария, отобранные из лучших произведений американской кинодраматургии (периода 1932—1936 годов), написанные виднейшими сценаристами Голливуда. Здесь представлены основные жанры американских фильмов — драматическая эпопея, биографическая повесть, социальная драма и комедия. Эти сценарии легли в основу американских «сверхбоевиков», премированных, воспетых прессой и прошумевших на краях всего мира.

Несмотря на очевидное различие этих сценариев и по жанру, и по манере, и по идеологической устремленности, в них можно найти несколько общих черт, характерных и для всей американской кинодраматургии.

В основе почти всей американской кинопродукции лежат литературные произведения — рассказы, повести, романы и пьесы современных американских и английских писателей. Значительно меньше экранизаций классиков от Шекспира до Киплинга. Количество самостоятельных сюжетов — совсем невелико.

Сценарий Бен Хекта «Вива Вилья» сделан на материале книг Э. Пинчона и О. Б. Стейда; «Я беглый каторжник» Шеридана Гибнея, Ховарда Грина и Брауна Хольмса написан по сюжету Бернса; «Это случилось однажды ночью» Роберта Рискина — по рассказу С. Х. Адамса «Ночной автобус»; Ш. Гибней и П. Коллинс построили «Повесть о Луи Пастере» на материале многочисленных биографий великого ученого.

Связь американского кино с литературой чрезвычайно крепка. Качеством литературного произведения во многом определяется и уровень фильма. Лучшие произведения передовых американских писателей как правило служат основой для лучших фильмов, бесконечный поток бульварного чтива рождает сотни стандартных и пошлых лент.

Вторая особенно характерная черта американских сценариев — они пишутся несколькими авторами. Только крупнейшие сценаристы — Рискин, Бен Хект, Николс — выступают самостоятельно. Но не менее апробированные мастера, как Ш. Гибней или Сюлливен, работают обычно в коллективе, подходящем подчас до 5—6 человек.

Причина соавторства лежит в организации сценарных отделов Голливуда, где сценаристы обычно специализируются: одни — на построении сюжета, другие — на создании эффектных ролей, третьи — на диалоге, четвертые — на трюках и острогах. Для написания рядового сценария соавторство организуется сценарным отделом совершенно механически. Сценарист, построивший сюжет, часто не знает, какие диалоги написали к нему его коллеги. Соавторство крупных мастеров по созданию ведущих, не стандартных сценариев продолжается, конечно, на протяжении всей работы над вещью.

Высокий профессионализм, первоклассное литературное и кинематографическое мастерство — общее качество четырех сценариев, заключенных в сборнике.

Прежде всего привлекает внимание отточенность диалога. Действенный, напряженный, острый, конкретный, лаконичный диалог, прекрасно характеризующий героя, его эпоху, среду, национальность, дает огромные возможности актеру. Уменье в нескольких словах дать полную характеристику, в нескольких фразах — развить сложный конфликт. Разговор Питера Уорна по телефону с редактором занимает одну страницу, но содержит яркие характеристики и Питера, и редактора, раскрывает затруднительное положение, в котором оказался герой, служит завязкой всего действия сценария и по крайней мере раз пять вызывает смех зрителя («Это случилось однажды ночью»).

Разговор преподобного Аллена со своим братом, беглым каторжником, — кульминация в судьбе героя, — состоит из восьми коротких реплик, полных напряженного драматизма.

Уменье строить эпизод законченный, предельно драматичный, уменье находить пластическое выражение каждой ситуации, уменье пользоваться детально, вещью — говорящей в кино зачастую больше всяких слов — позволяет американцам избегать длинных экспозиционных сцен, строить действие динамично, отмечая все маловажное, с поистине удивительной смелостью.

«Я беглый каторжник» — вмещает в себя сложнейшую историю многих подъемов и падений Джемса Аллена благодаря тому, что авторы берут только как бы вершины событий, наиболее яркие, значительные факты, не стесняясь отбрасывать целые периоды в жизни героя и давать происшествия нескольких лет в одной, обобщающей их, драматической сцене.

\* «Американские киносценарии». Сборник. Составитель Шнейдер. Перевод Аташевой. Госкиноиздат. М. 1940. Стр. 258. Тираж 3 000. Ц. 10 р.

Точный подбор пластического материала, характерный черт, деталей позволяет американцам создавать локальный колорит эпохи, страши, нравов, — буквально в нескольких кадрах (сцены ночлежки, каторжной тюрьмы в «Я беглый каторжник», сцены на пароходе и в автомобильном лагере в «Это случилось однажды ночью», сцены в Пульи-де-Фор и в Сорбонне в «Луи Пастере»).

Наконец — стройная композиция, яркие индивидуальности всех, даже эпизодических персонажей, подчиненность всех средств решению определенной задачи — будь то биография ученого или рассказ о жизнерадостном и удачливом американце, идея неосуществимости народного государства или критика живой морали буржуазного правосудия — вот качества, присущие всем четырем сценариям сборника, качества, говорящие о большом таланте и незаурядном мастерстве их авторов.

Мы часто говорим о безыдейности американского кинематографа. Это происходит от наивной привычки видеть идею лишь в прогрессивных, близких нам по своей идеологии произведениях буржуазного искусства. На самом же деле — реакционность, а часто и пошлость многих американских фильмов — это совсем не отсутствие идеи, тенденции, совсем не аполитичность и не идейное убожество. Нужно различать понятие безыдейности и понятие реакционности идейных установок художественного произведения.

С этой точки зрения весьма интересны сценарии Бен Хекта и Роберта Рискина. «Вива Вилья» — народная эпопея об освободительном движении в Мексике. Герой сценария Панчо Вилья выписан с необычайной яркостью и силой. Он могуч, обаятелен, храбр, честен. Однако — он жесток и неукротим, как жесток и неукротим гнев черни в глазах Уолл-стрита. Попытки Вильи править Мексикой — смехотворны, они «разоблачены» в ряде действительно смешных и трогательных эпизодов. «Народный герой» Панчо — все время на идеологическом поводе у полупьяного американского журналиста Джонни. Он не жалеет ни жизни сотен людей, ни спокойствия своей родины, для того, чтобы влести лишние лавры в свой венец полководца и чтоб выручить своего пьяного друга. Он не видит цели своих походов, ненависть застилает ему глаза, облагородить его может лишь умеренный демократ, каким изображен в сценарии Мадейра.

Вихри сражений — поистине героических, порывы стремлений — поистине честных, обаяние образа — поистине ярчайшего служат идее о невозможности народного государства, о неумении народа удержать власть, компрометируется самая сущность национально-освободительного движения.

«Это случилось однажды ночью» — милая, беззаботная, веселая, очаровательная комедия. Обаятельный миллиардер с прелестной дочкой, желтый журналист, наделенный всеми чертами превосходного парня, настоящего мужчины, стопроцентного героя. Невинные конфликты на

лоне прекрасной, спокойной процветающей американской действительности. Попробуй, усомниться в преимуществах американского рая, просмотрев этот фильм, получивший четыре первых премии в 1934 году: за лучший сценарий — Роберту Рискину, за лучшую постановку — Франку Капра, за лучшее исполнение мужской и женской ролей — Кларку Гейблю и Клодетте Кольбер!

Однако было бы ошибкой считать все американские фильмы реакционными. Демократическая и революционная тенденция ярко сказывается в ряде лучших американских картин. Характерны попытки режиссера Джека Конвея и исполнителя роли Вильи талантливейшего актера Уоллеса Бирн — смягчить объективную антинародность сценария. Джек Конвей, находившийся, по собственному признанию, под сильным влиянием советского кино (в «Вива Вилья» вошли даже массовые сцены, снятые в Америке С. Эйзенштейном и Г. Александровым для незаконченного фильма «Так живет Мексика») выбрал из сценария несколько особенно тенденциозных эпизодов, так что фильм оказался значительно правдивее сценария.

Один из передовых режиссеров — Уильям Дитерле, автор «Эмиля Золя», «Жизни Луи Пастера» и «Хуареца» — строит свои биографические картины на социально заостренном конфликте передового человека с окружающей его буржуазной средой.

«Жизнь Луи Пастера» представляет собой интереснейший образец биографического фильма. Сценарий охватывает все основные жизненные вехи великого бактериолога и не кажется отрывочным или растянутым. Цельность достигнута единым устремлением центрального героя, борца за науку, его убежденностью, проходящей через все эпизоды сценария. Единство темы, единство действия, постепенное и закономерное развитие центрального образа делают сценарий монолитным. Умело построенные второстепенные ситуации (например, любовь дочери Пастера Аннет и ассистента Мартея) укрепляют композицию фильма, хотя, сами по себе, сделаны бледнее, традиционнее.

Достоинство изучения мастерство, с которым сценаристы драматизировали исторические события, нигде не извращая их, никогда не прибегая к вымыслу там, где можно оперировать фактами.

Социальная драма занимает все большее место в передовом американском искусстве. За последнее время прошумели «Мыши и люди» и «Гроздь гнева» — ленты по романам Стейнбека. Крупнейшие режиссеры — Капра, Кинг Видор, следуя лучшим традициям Драйзера, Синклера, а также традициям великого режиссера Давида Гриффита — создали в американской кинематографии прогрессивное направление, которое можно назвать американским критическим реализмом в кино.

Фильм «Я беглый каторжник» режиссера Мервина Ле Роя — произведение большой реалистической силы, большой социальной остроты. Гневный протест против буржуазной мо-

рали, борьба за человеческое достоинство, за свободу личности приближают фильм к подлинным произведениям революционного искусства Запада.

Но если авторы «Беглого каторжника» не находят иного выхода для своего героя, кроме бегства, — их умение видеть социальный смысл жизненных явлений заставляет задуматься даже советского читателя.

Госкиноиздат сделал нужное дело, выпустив этот сборник. Однако книга страдает серьезными недостатками. Нельзя было печатать эти сценарии без толковой вступительной статьи, без серьезного критического анализа всех четырех вещей. Нужно было бы включить в

книгу данные об авторах, а также сведения относительно фильмов, созданных на основе этих сценариев.

Американцы издают свои лучшие сценарии так:

1. Литературное произведение, легшее в основу сценария. 2. Литературный сценарий. 3. Статьи сценариста, режиссера, ведущих актеров об их работе. 4. Монтажная запись фильма. 5. Избранные отзывы прессы.

По такой книге, снабженной еще снимками с кадров картины, — можно многому научиться. Госкиноиздат должен заинтересоваться этим примером.

*Р. Юренев*

★

## КОРОТКО О КНИГАХ

**ПЕРВЫЙ ТОМ «ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ».**—Большим событием советской культуры является предпринятое Институтом философии Академии Наук СССР издание полноценной марксистской истории философии.

Вышел в свет ее первый том, посвященный истории философии античного мира и феодального общества.

Открывается книга историческим обзором возникновения греческой философии. История греческой философии разбита на следующие периоды: формирование рабовладельческой Греции, расцвет древнегреческой рабовладельческой демократии и упадок древнегреческого рабовладельческого общества. Самая большая монографическая глава из раздела древнеэллинских мыслителей посвящена Аристотелю.

Далее следует раздел римской философии. Он начинается с обзора ее социально-исторических предпосылок и завершается возникновением христианской философии.

Философия феодального периода также предпослан обзор ее социально-исторических корней.

Написана книга простым, ясным, увлекательным языком. Авторы старались в этом отношении следовать замечательной традиции, созданной «Кратким курсом истории ВКП(б)».

В составлении первого тома «Истории философии» приняли участие Г. Ф. Александров, Б. Э. Быховский, М. Б. Митин, П. Ф. Юдин, Б. С. Чернышев, В. Ф. Асмус, М. А. Дынин и О. В. Трахтенберг.

Издание «Истории философии» рассчитано на 7 томов.

**РАССКАЗЫ С. ДИКОВСКОГО.** — Имя С. Диковского принадлежит к числу благороднейших имен советской литературы. Его произведения рассказывают о пламенном патриотизме, о безграничной любви к родине, — обо всем том, что он засвидетельствовал своей жизнью.

Эта цельность и ясная прямота патриотического чувства С. Диковского с особенной силой выражены в собрании его рассказов,

изданном в одном томе издательством «Советский писатель». В сборник вошла известная повесть С. Диковского «Патриоты» и цикл его камчатских новелл.

Сборник открывается критической статьей Ф. Левина о творчестве писателя. Характеризуя героев Диковского, Ф. Левин справедливо пишет:

«В повести и рассказах Диковского действуют люди, которые родились в советской стране, ею воспитаны, они по природе своей советские люди, им не пришлось в прошлом переделываться, перевоспитываться, перестраиваться. Это — новое поколение, целиком выросшее в новых представлениях о жизни, о взаимоотношениях людей. Новая жизнь, сложившаяся и утвердившаяся в Советском Союзе, — их родная стихия».

Однотомник С. Диковского хорошо издан, на превосходной бумаге, с иллюстрациями и портретом автора.

**«СОВЕТСКАЯ ЛАТВИЯ», № 1. Декабрь, 1940.** Литературно-художественный и общественно-политический журнал.—Вышел первый номер журнала Союза советских писателей Латвии «Советская Латвия».

Величайшему в истории латвийского народа дню 17 июня 1940 года посвящены в номере стихи Петра Васильева и Г. Крупникова, рассказ Макара Яковлева «Баян» и очерк Мирры Крупниковой о вступлении Красной армии в Ригу.

Журнал начал печатать новое произведение выдающегося деятеля Латвии, драматурга, романиста и историка литературы Андрея Упита «Улыбчивый лист». Его подзаголовок: «Роман моей жизни». Роману предпослана автобиографическая справка писателя, избранного заместителем председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.

Большинство напечатанных в журнале художественных произведений, естественно, изображает еще вчерашний день Латвии, тот период, когда она была закована в цепи буржуазной диктатуры. Некоторые сопровождаются примечанием, не оставляющим сомнения ни

в месте, ни во времени их возникновения. Например, яркая новелла Яниса Ниедре «Так погиб человек» датируется: «Рижская центральная тюрьма, 1936 год», поэма Льва Закса «Тюремная ночь» имеет весьма реалистическую сноску: «Стокгольмская городская тюрьма. Апрель. 1940 г.»

Кроме того, в художественном отделе «Советской Латвии» помещены новеллы Индрикса Лемаиса из книги «Ветры окраин», отрывок из пьесы Р. Зингеля «Гибель Пушкина», рассказ В. Воронцова «Мать» и стихи Н. Янина, Яна Плаудиса, В. Лукса и М. Крупниковой.

Интересен и разнообразен публицистический отдел «Советской Латвии». Здесь напечатаны очерк Андрея Упита об истории латшского романа, статьи председателя Госплана Латвийской ССР Фр. Деглава «План первого года социалистического строительства» и Я. Засепского о Фридрихе Энгельсе и др. Очень интересна статья д-ра Б. Шура «Город и деревня», показывающая, как правительство кулацкой верхушки вело Латвию к неизбежному краху.

**«БОРИСЛАВ СМЕЕТСЯ».** Драма в 4-х действиях ПЕТРА ФРАНКО. — По роману Ивана Франко «Борислав смеется» сын его П. Франко написал одноименную четырехактную драму.

«Борислав смеется» принадлежит, бесспорно, к лучшим реалистическим произведениям, рисующим зарождение рабочего движения на Украине во второй половине прошлого столетия.

Иван Франко умер, не успев закончить своего романа, и несколько заключительных страниц к нему были дописаны Петром Франко. Сделал он это с величайшей тщательностью и скромностью. Эпизод романа им был написан на основе действительных фактов разгрома бориславской стачки, показанной Иваном Франко.

С той же тщательностью подошел Петр Франко к инсценировке романа. Он перенес в драму большинство диалогов и наиболее динамические сцены из «Борислав смеется», насколько их не изменяя. Таким образом, и на сцене будет сохранен подлинник Ивана Франко. Но, с другой стороны, в драме не нашли полного отражения цельность и стройность, присущие роману. Инсценировку, пожалуй, правильнее было бы назвать «сценами». Несмотря на это, инсценировка романа насыщена действием. Ее персонажи настолько колоритны и жизненны, что она представляет благодарнейший материал для сценического воплощения.

Драма Петра Франко выпущена издательством «Искусство» в авторизованном переводе с украинского Георгия Шипова.

**«КАК ИЗМЕРИЛИ ЗЕМЛЮ».** — Книжка Д. Арманда «Как измерили землю» делает честь научно-популярной серии Детиздата. Это превосходные, живо написанные научно-попу-

лярные очерки о познании земли. Очерки ярко показывают, как труден и прекрасен путь человека к познанию мира, как неукротима человеческая жажда знания.

Книга воодушевит молодого читателя верой в победу человека над природой и стремлением участвовать в гигантской победоносной борьбе, исчисляемой тысячелетиями.

Хорошо то, что автор почти избежал нарочитой «беллетризации». Она оказалась только в несколько претенциозных заголовках. Зато книга по-настоящему публицистична.

Книга Д. Арманда хорошо издана и обильно иллюстрирована.

**«ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ТЕАТРА НОВОГО ВРЕМЕНИ».** — В издательстве «Искусство» вышла книга С. Игнатова «История западноевропейского театра нового времени».

С. Игнатов пишет в предисловии, что «автор рассматривает предлагаемый учебник лишь как первый опыт систематического курса и как минимум необходимых для студентов театрального вуза сведений».

В основном книга С. Игнатова посвящена истории театра XIX века во Франции, Германии, Англии и Италии. Материал располагается автором по следующим периодам: 1800—1848 годы — борьба за реалистический театр; 1848—1871 годы — утверждение реализма; 1871—1914 годы — натурализм и разрушение реалистического стиля.

Обращаясь к последнему периоду — 1871—1914 годы, — С. Игнатов расширяет анализ, включая в свой обзор и Скандинавию.

Открывается книга вводным очерком о театре периода Французской буржуазной революции. Здесь С. Игнатов рассказывает о французских театрах того времени, их отношении к революции, о театральной политике революционной власти и тогдашнем театральном репертуаре. Здесь же дан критико-биографический очерк о знаменитом французском актере Тальма.

Заключительная глава посвящена режиссерским исканиям начала XX столетия в лице крупнейших представителей европейской режиссуры—Рейнхарта, Аппиа и Гордона Крэга.

История западноевропейского театра написана живым, темпераментным языком и читается с несомненным интересом. Отдельные главы очень содержательны. Большое место в них отводится анализу актерского мастерства и кратким очеркам жизни и творчества выдающихся актеров.

**«ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ».** — Советская лингвистическая литература пополнилась ценным научным исследованием. Это — «Общее языкознание» академика И. И. Мещанинова, выпущенное недавно в свет Учпедгизом.

Высокий научный уровень сочетается в этой книге с воинствующим духом материалистической диалектики. Академик И. И. Мещанинов разоблачает теоретические разновидности формального языкознания. Отнюдь не отрицая и

не упрощая всего огромного разнообразия явлений языкового строя в разных странах и в различные эпохи, академик И. И. Мещанинов одновременно показывает общность путей развития языка, обусловленную в конечном счете «общностью путей развития общественных форм в их движении, устанавливаемом историческим материализмом».

Учение академика Н. Я. Марра о стадийности в развитии речи находит серьезное истолкование и развитие в курсе общего языкознания академика И. И. Мещанинова. Он показывает процесс развития языка в его основных моментах, прослеживает виды исторического состояния слова и предложения.

Особый интерес этого курса заключается в том, что его научные выводы базируются на большом лингвистическом материале, в частности на развитии языков народов СССР.

«Обильный лингвистический материал, — пишет И. И. Мещанинов, — вскрываемый сейчас более углубленным изучением языков СССР, дает прекрасную возможность показать смену языковой типологии в ее резких трансформационных переходах и перестройках. В особенности наглядный материал дают языки, еще столь недавно вовсе не имевшие своего письма. ... Такие языки до чрезвычайности расширяют кругозор общего языкознания, поскольку им еще чужды традиции литературной речи».

«Сам строй литературного языка, — продолжает академик И. И. Мещанинов, — получает свои специфические особенности, отличающие его от строя живой речи. Между тем вся традиция школьной грамматики... покоится на научных основах, преемственно полученных по наследству от старого языкознания, воспитанного на классической письменности».

Значение и интерес книги академика И. И. Мещанинова выходят далеко за пределы учебного пособия.

**«ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ».** — Учебно-педагогическим издательством выпущен в свет большой, фундаментальный труд С. Л. Рубинштейна «Основы общей психологии».

В предисловии автор, не скрывая и своих собственных прежних ошибок, констатирует происходящий сейчас процесс «размежевания» между всем, что есть живого и передового в советской психологии, и всем отживающим и отмирающим».

Исправление. Во второй книге «Нового мира» (стр. 203, правая колонка, вторая строка сверху) следует читать: «и одержали над ними моральную победу».

Борьба идет за то, чтобы «превратить психологию в конкретную, «реальную» науку, изучающую сознание человека в условиях его деятельности и, таким образом, в самых исходных своих позициях связанную с конкретными вопросами, которые ставит практика».

С. Л. Рубинштейн считает особенно важными в этом смысле проблемы развития и обучения, преодоления пассивной созерцательности, изучения взаимодействия психики и действительности.

Вводная часть книги определяет предмет психологии, ее методы и дает краткий очерк ее истории, в частности в СССР — до и после Великой Октябрьской социалистической революции. В этой главе автор мимоходом касается идей и взглядов Белинского и революционных демократов.

Читатель найдет в книге сведения по психологии творчества. В главе о труде художника автор анализирует высказывания писателей о природе художественного творчества, о взаимодействии вдохновения и техники, о специфике техники для каждого рода искусства и т. д.

Особая глава посвящена роли воображения в художественном и научном творчестве, анализу видов воображения, его «техники». Интересные соображения высказывает С. Л. Рубинштейн о диалектике развития воображения: «Необходимое для преобразования действительности и творческой деятельности воображение в процессе этой творческой деятельности и формировалось. Развитие воображения совершалось по мере того, как создавались все более совершенные продукты воображения».

В процессе создания поэзии, изобразительного искусства, музыки и их развития формировались и развивались все новые, более высокие и совершенные формы воображения. В великих творениях народного творчества, в былинах, сагах, в народном эпосе, в произведениях поэтов и художников — в «Илиаде», в «Одиссее», в «Песне о Роланде», «Слове о полку Игореве» — воображение не только проявлялось, но и формировалось. Создание этих великих произведений искусства, учивших людей по-новому видеть мир, открывало новое поле для деятельности воображения».

Всесоюзным комитетом по делам высшей школы труд С. Л. Рубинштейна одобрен в качестве учебного пособия для вузов.

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва 6. Пушкинская площадь, 5.  
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК

Продолжается прием подписки на 1941 год

НА ЖУРНАЛ

# Вестник Академии Наук

41-й ГОД ИЗДАНИЯ

Ответственный редактор акад. В. Л. КОМАРОВ

«ВЕСТНИК» освещает научно-исследовательскую деятельность Академии Наук СССР и знакомит советскую общественность с работами академических учреждений, филиалов и отдельных ученых с целью популяризации имеющихся научных достижений.

В «ВЕСТНИКЕ» печатаются статьи по основным проблемам научной работы Академии, обзоры важнейших научных конференций и совещаний, критико-библиографические материалы о выпускаемой Академией Наук печатной продукции и информационные заметки о текущей деятельности научных учреждений Академии Наук СССР.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 год за 12 номеров — 60 руб.  
на 6 мес. за 6 номеров — 30 руб.

ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: Москва, 12, Большой Черкасский переулок, 2, «Академкнига». ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТАКЖЕ отделениями, доверенными конторы «Академкнига» и в магазине — Москва, ул. Горького, корп. «Б», а также отделениями «Союзпечати», повсеместно на почте и в магазинах КОГИЗа.

## ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

У Х О Д  
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА  
И ВОЛОСАМИ

НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ  
КОСМЕТИЧЕСКОГО  
МАССАЖА

У Д А Л Е Н И Е  
ПЯТЕН, УГРЕЙ, БОРОДАВОК,  
ТАТУИРОВОК И ДРУГИХ  
ДЕФЕКТОВ КОЖИ

П Р И М Е Н Я Ю Т С Я  
М А С К И:  
П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Е,  
Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е,  
П А Р А Ф И Н О В Ы Е и др.

М А Н И К Ю Р,  
У Д А Л Е Н И Е  
М О З О Л Е Й

КОНСУЛЬТАЦИИ ДАЮТСЯ ВРАЧАМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

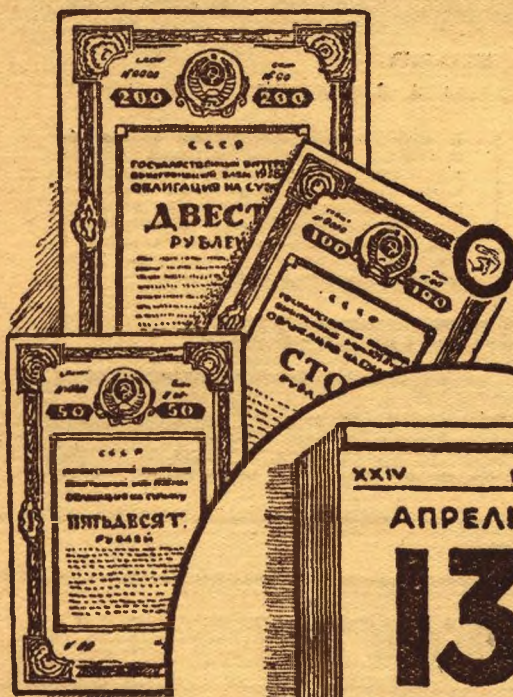
Прием ежедневно от 9 часов утра до 10 час. 30 мин. вечера.

Адреса филиалов Комбината № 3 Моспромбытсоюза: СРЕТЕНКА, 24; ПЕТРОВКА, 9; ПУШКИНСКАЯ УЛ., 16; УЛ. ГОРЬКОГО, 62; УЛ. ГОРЬКОГО, 90.

Цена 4 руб.

**25.000** рублей **МОЖНО ВЫИГРАТЬ**

по ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЙМУ 1938 ГОДА



ЕЖЕГОДНО —  
ШЕСТЬ ТИРАЖЕЙ  
ВЫИГРЫШЕЙ

**ЧЕРЕДНОЙ ТИРАЖ  
СОСТОИТСЯ**

В 1941 году  
ПОСЛЕДУЮЩИЕ  
ТИРАЖИ  
ВЫИГРЫШЕЙ  
СОСТОЯТСЯ:

15 июня,  
10 августа,  
5 октября  
и 14 декабря

В КАЖДОМ  
ТИРАЖЕ  
РАЗЫГРЫВАЕТСЯ:

12 выигрышей  
по 25.000 рублей,  
60 выигрышей  
по 10.000 рублей,  
360 выигрышей  
по 5.000 рублей,  
3600 выигрышей  
по 1.000 рублей,  
13008 выигрышей  
по 400 рублей.

**Всего 17.040 выигрышей на сумму 11.503.200 рублей.**

ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА СВОБОДНО ПРОДАЮТСЯ  
И ПОКУПАЮТСЯ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ

**ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ  
ЗАЙМА 1938 ГОДА**

Главное Управление гострудсберкасс и госкредита